

М. ШЕВЕРДИН

**ВВЕРЯЮ СЕРДЦЕ
БУРЯМ**





М. ШЕВЕРДИН

**ВВЕРЯЮ СЕРДЦЕ
БУРЯМ**

Р о м а н

Ташкент
Издательство литературы и искусства
имени Гафура Гуляма
1988

Р2
Ш 37

Художник
АНВАР МАМАДЖАНОВ

Шевурдин М. И.

Вверяю сердце бурям: Роман. — Т. Изд-во лит. и искусства, 1988. — 448 с.

Новое, последнее произведение М. Шевурдина, которое подготовлено к изданию после его смерти, завершает сюжетные линии романов «Джейхун», «Дервиш света» и «Взвихрен красный песок». Его герои участвуют в революционных событиях в Средней Азии, названных В. И. Лениным «триумфальным шествием Советской власти». Показаны разгром остатков басмаческих банд, Матчинское бекство, подъем к сознательному историческому творчеству горских племен Таджикистана, пославших своих делегатов на первый курултай в Душанбе.

Р2

Ш $\frac{4702010200 - 45}{M 352 (04) - 88}$ 42 - 88
ISBN 5-635-00045-2

© Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1988 г.



Часть первая

СИТОРЕ-И-МОХАССА

I

Это был такой сад, что цветники рая прикусили зубами недоумения палец изумления перед его красотой, а зодчий воображения пришел в удивление от его прелестей и диковин. В том саду — павильон, затмивший блеск Альгамбры. Небо поставило ногу своей высоты на его башни, а время не видело подобия ему нигде, кроме как в зеркале.

Мавлана Сахибдара

Ты человеком порожден?
Будь же человеком!
Ты не дивом порожден?
Будь же человеком!

Насир-и-Хосров

Хлопотливо прыгают в пыльной колее среди катышков конского навоза воробьи. Горлинки с рубиновыми ножками важно вышагивают прямо у ног неторопливых базарных завсегдатаев. Настороженная сорока уселась на глиняном дувале дворцового сада и, вертя головкой, примеривается бусиной глаза к лотку с жареной кукурузой.

Знойный полдень.

Здесь, у загородного эмирского дворца Ситоре-и-Мохасса, тихо, мирно. Базарчик не кричит, не вопит, как всюду, а только тихонечко бормочет. Разве кто смеет беспокоить их высочество эмира Сеид Алимхана? В крошечных, сколоченных из досок лавчонках, торговцы отмеряют одним и тем же аршином и грубый тик, и китайский шелк, звенящий при прикосновении, и шершавую кустарную бязь, и кашмирскую шаль. Слышится лишь приятное для уха «хлоп-хлоп». Ведь тут же, за дувалом, гарем эмира, а гаремные красавицы любят наряжаться.

На малорослых ишачках сквозь толпы халатников, ведя за собой вереницу тяжеловесов-верблюдов, груженных чудовищными по величине капями с саманом, пробираются сквозь толпу степняки-казахи. Звенят крышечки чайников в базарной чайхане. Азартно, но вполголоса торгуются из-за барана два перса.

Ничто, на первый взгляд, не говорит о грозных событиях, нависших над Благородной Бухарой...

Базарчик с его топещающимися навесами из сухого камыша, с покосившимися жердочками, увешанными серыми тряпицами от солнца, с горами ярко-желтых дынь, зеленых арбузов, пирамид из гроздьев винограда, торгует как ни в чем не бывало. Базарчик этот носит название — Запретный. Когда-то сам верховный судья — казикалан — запретил торговать непосредственно у ворот Ситоре-и-Мохасса. Но торгашам нет дела до запрета. Они липнут роями мух к дворцу, словно к чашке с вареньем — мархабо.

События, потрясающие мир, не волнуют их. Правда, казах — торговец сухим сыром-куртом — временно дергается, стаскивает с бритой головы лисью шапку и прислушивается. Снимает он шапку, чтобы было лучше слышно. Рука его дергает веревку, привязанную к палочке, вдетой в нос верблюда, тут же лежащего в пыли. Верблюд недовольно фыркает и пыхтит от боли. Казах заносчиво задает вопрос молодому торговцу, судя по облику батыра, по добротной одежде, преуспевающему в торговых делах, тоже тревожно поглядывает на небеса, где нет ни облачка:

— Громыкает где-то?.. Вроде у нас в Кызылкумах такое не случается. Вроде гроза без туч... Е товба! Прости, бог!

Тревога казаха и торговца-батыра — в нем трудно узнать нашего старого знакомого Баба-Калана, сына

Мергена, лесного объездчика из далекого Ахангарана — передается плюгавому оборванцу в латаном-перелатанном мундире эмирского стражника.

Проходивший мимо благообразный мулла-имам вздевает глаза и шепчет молитву. Гром среди ясного неба! Мучнисто-бледное лицо муллы вдруг наливается кровью — багровеет. Он почти испуганно зыркает из-под синевато-зеленых век в сторону Баба-Калана, на секунду-другую задерживается на физиономиях базарчей. Но ему не до них. Искоса он наблюдает за Баба-Каланом, шепчет что-то вроде молитвы или проклятия и, больше не задерживаясь, ныряет в кем-то предупредительно распахнутую изнутри калиточку, которая так ловко и скрытно встроена в глинобитную громадину стены, что сразу ее и не заметишь.

Затвор калиточки чуть звякнул и этого было достаточно, чтобы Баба-Калан резко повернулся к ней. На широком лице его отразилось удивление. Он напряженно соображал — кто был этот домулла, лица которого он не успел разглядеть. Но фигура человека, скользнувшего в калитку, кого-то ему очень напоминала...

Он так был занят своими мыслями, что не услышал далекого призывного стона суфия соседней мечети, звавшего к вечерней молитве. И только выбравшийся из своего крошечного дукана — клетушки, похожей на ящик из-под чая, толстоватый туджор, разостлавший прямо в пыль джойнамаз, напомнил ему, что пришел час молитвы.

Последовав его примеру и отвешивая рак'аты, Баба-Калан думал:

«Этот, прошедший в калитку, знакомый. Кто он? Туджор видел его. Надо осторожненько поспрашивать туджора... Он-то знает, что происходит. Базарные люди на то и сидят на базаре, что знают все новости. Иначе, какая торговля».

Закончена молитва. Базарная тревожная суета длится недолго.

К далеким частым раскатам грома привыкают. Каждый принимается за свои дела. Туджор стряхивает со своего молитвенного коврика пыль и сухой навоз. Раздувая в мангалке угли, шашлычник машет своим маленьким опахалом и зазывает проголодавшихся. Продавец ситца принимается перемеривать в который раз штуки пестренького цинделевского ситца и кирпично-красного тика. Из дворцовой калитки, суетливо семена коротки-

ми пожками, выскользнули желтолицы, обрюзгшие бесакалы — евнухи — блюстители тел и целомудрия эмирских жен и наложниц. Дворцовые стражники — страховидные, с немислимыми усами, отдали им честь и бодро вытянулись у ворот, позвякивая амуницией.

— Понаставили тут гогов-магогов! — громкогласно съязвил Баба-Калан, чем до смерти напугал казаха — торговца куртом: тот задергал аркан так, что верблюд аж взревел от боли.

Но стражники, надо полагать, поняли, что великан насмехается над ними. А Баба-Калан, пренебрегая всякой осторожностью, загородил дорогу евнухам и прямо спросил:

— Их высочество изволили ночевать в гареме?

Пораженные наглостью простолюдина, осмелившегося задавать интимные вопросы о самом халифе, евнухи отпрянули назад и метнулись в сторону:

— Их высочество — да благословенно его имя — там, где подобаёт ему находиться, — огрызнулся евнух, что пожелтее.

— А ну с дороги! — возмутился второй.

— Мыши сбивают кошку со следа, — ничуть не приуныв, сказал туджору Баба-Калан. — С ними говорить все равно, что просвещать ишаков.

В детские годы Баба-Калан заполучил прозвище «харфандоз» — рассыпающий слова, остряк, который «из одного уха делал сорок». Мерген, его отец, поручил ему пасти стадо. И в своем вынужденном одиночестве словоохотливый Баба-Калан утешался тем, что изощрял свое остроумие на неповоротливых, бестолковых ба-ранах.

Баба-Калан воспитывался в семье доктора — Ивана Петровича, учился в Самаркандской русско-туземной школе. Зарекомендовал себя как красногвардеец и разведчик. Тем не менее, простодушие пастуха и желание пошутить остались в Баба-Калане. А здесь, у входа в эмирский дворец, толпился всякий люд, немало было нищих с жадными глазами и очень уж оттопыренными для подслушивания ушами.

Не мешало Баба-Калану быть поосторожнее. Он здесь слонялся в базарной толпе не для того, чтобы изощряться в аскиябозлике — игре остроумия. Соглядатаи эмира шныряли вокруг Ситоре-и-Мохасса, приглядывались и принюхивались.

А во дворце было суетливо. Громадные ворота «до

небес» ежеминутно распахивались с пронзительным стоном — эмир так любил этот звук, что запрещал смазывать петли — внутрь пропускали двухколесные крытые арбы, расписанные как праздничные пряники. За высокой глинобитной стеной в спокойно-размеренном распорядке дворцовой жизни появилась нервозность. Она настораживала. Уж не собирается ли эмир, не дождавшись результатов битвы за Бухару, попросту сбежать.

Эта мысль заставляла Баба-Калана морщиться, хмурить брови; и его широкое, добродушное лицо искажалось до неузнаваемости. Вот и сейчас бледнолицый мулла-имам, опять прошмыгнувший мимо, столкнувшись с батыром, испуганно и недоумевающе пробормотал: «Йо, худо! О боже! Откуда ты?» — и устремился к воротам навстречу эмирским телохранителям-палванам, выскочившим на базарную площадь.

Палваны почтительно, в пояс раскланялись, створки ворот со стоном приоткрылись, и мулла-имам исчез за ними.

Палваны-телохранители были заняты своим чрезвычайно важным делом — волокли по пыли спеленутых жесткими арканами трех людей, с покрытыми синяками и кровоподтеками распухшими лицами, с обнаженными до пояса в кровавых рубцах, исполосованными плетью-семихвосткой телами, с выпирающими под кожей ребрами, с неестественно вывороченными руками, с впившимися в тело веревками в сукровице.

Взорвавшаяся оглушительным воплем базарная толпа заглушила далекий гул орудийной пальбы, слышавшейся с утра. Шарахнувшись в сторону базарчи завопили:

«Людей убивают! Казол Рок!»

Но все покрыли громкогласные возгласы телохранителей:

— Пошт! Убирайтесь! Дорогу их превосходительству назиру Мирзе!

Толпу любопытных тут же отогнали. Арестованных швырнули прямо лицом в толстую пыль. В воздухе зашвистели плети, и над чалмами и шапками замотались длинные палки фаррашей.

И снова распахнулись створки тяжелых ворот. На площадку перед ними выехала черно-лаковая коляска-фаэтон на резиновых дутиках, влекомая великолепными пегими жеребцами. В ней на кожаных апельсинового цвета подушках восседал все тот же бледнолицый мулла-имам Мирза.

Он успел приодеться. На нем был белый халат и маленькая чалма кашмирской кисеи, белизной своей оттенявшая бледно-зеленоватое лицо. Приопущенные синеватые веки, застывшая, чуть заметная высокомерная улыбочка олицетворяли спесь. Он тут распорядился, он приказывал.

Ошеломленный Баба-Калан застыл на месте. Меньше всего он хотел встретить здесь своего брата Мирзу.

Правда, Баба-Калан отлично знал, что Мирза уже давно состоит приближенным советником при Сеид Алимхане, чуть ли не назиром, пребывание его во дворце Ситоре-и-Мохасса вполне естественно и возможность встречи с Мирзой вполне реальна, и у Баба-Калана должна была быть на такой случай какая-то обоснованная «легенда».

И все же Баба-Калан был крайне озабочен. Ну, а если Мирза узнал его. Да и по всему видно, что узнал. И надо же! Как раз к моменту торжественного выезда экипажа Баба-Калан оказался на самой середине базарной площади и со стороны воспринимался словно слон над стаей шакалов. И это тогда, когда Баба-Калан не должен был попадаться своему знатному братцу на глаза. Но по неизвестным пока мотивам Мирза не сообразовал снизойти до внимания к своему брату. Он уже стоял в коляске, опершись обеими руками на облучок, и тонким, сипловатым, но очень громким голосом возгласил:

— Священный долг! Подчинение! Эй, смертный, выполняй повеление власти!

Тут он оторвал руки от облучка, чтобы сделать широкий жест, но кони, захрапев, дернулись, коляска на дутиках сдвинулась с места, и Мирза отчаянно зажестикублировал, пытаясь сохранить равновесие, и шлепнулся на апельсиновое сидение, да так забавно, что в толпе захихикали. И Мирза, и вся коляска заволоклись пылью из-под копыт затоптавшихся на месте пегих жеребцов.

Стражники и палваны зарычали: «Молчать, рабское отродье!»

Уцепившись снова за облучок, Мирза привстал и выкрикнул яростно:

— Бедные и богатые! Счастливые и несчастные! Исполняйте приказ! Повинуйтесь нашему повелителю!

Он грозно обернулся на раздавшуюся из толпы реплику:

— Горе неповинующимся! Аллах не спрашивает у раба своего! Что Непокколебимому до вас! Что ему за дело до кучки горлопанов! Что ему до проклятых горлопанов джадидов, — и он рукой ткнул в сторону несчастных, валявшихся в пыли. — Они безбожники, но аллах не почувствовал бы даже, если все верующие обратились бы в неверующих! Так записано в священной книге!

Он передохнул, шумно глотнув зеленого чаю из пиалы, поднесенной ему расторопным чайханщиком и прохрипел:

— Благосклонный к кающимся! Беспощадный к закоренелым! Царь царств! Его не убудет ни на йоту! Он, всеиспеляющий, сожжет все народы и даже не почувствует запаха дыма! Повинуйтесь! Нет отечества вне ислама!

Обессилев, он упал на апельсиновые подушки, успев еще воскликнуть в изнеможении:

— Эй там, кончайте!

Тотчас одного из связанных с силой подняли из пыли и поставили на колени.

— Благодарю пресветлого эмира нашего за оказанную тебе, скотина, милость! — издеваясь, завопил один из стражников. В руках его блеснул огромный кухонный нож. Связанный захрипел и уткнулся в пухлую пыль, сразу же окрасившуюся в багровый цвет.

— Убивают! — застонали в толпе.

Без единой кровинки в лице-маске Мирза снова встал и прокричал:

— Казнен по справедливости! Он не пользовался благами веры истинной! Он помедлил, наглец, с моливой повиновения. Он не дойдет до врат рая... упадет, соскользнув с моста Сир'ат в пропасть ада.

На базарной площади раздался вздох ужаса.

Протянув судорожно задержавшуюся руку, бледноликий холодно, непроницаемо глядел на ужасное зрелище. Теперь он бормотал так тихо, что его слышали только близстоящие:

— Ты был подобен кошке — всегда падал с высоты на ноги. И вот упал, но не на ноги... А ныне с твоего лица навсегда сбежала улыбка дерзости... Эй, переверните его!.. Пусть все посмотрят на лицо революционера!

Баба-Калан говорил сам с собой:

— О, мои горы! О, моя винтовка! Что делать? Разве собака своим тьяканьем остановит слона?

Всем нутром своим он содрогался. Но что он мог поделать? Он рвался в драку... В драку один против десятка вооруженных с головы до пят.

— Прохладные тени карагачей. Тонкая, белесая марь, стелющаяся по земле нежной вуалью. Под знойными лучами лавочки с распаренными, перепуганными физиономиями. Двое погонщиков ослов прикрыли распяленными пальцами лица и сидят на обочине мирно журчащего арыка. Вытянулся безусый юноша, откусывавший аппетитные кусочки жареной баранины с шампура. Закашлялся до слез казах — продавец курта...

И тут же под ногами на дороге в двух шагах подрагивающее в агонии тело.

Истерически вскрикнув «дод!», Баба-Калан привлек к себе общее внимание. Но тут же поперхнулся и замолчал. Двое других обреченных с завистью смотрели на шашлык. С завистью безумно голодных людей. Сглатывали судорожно слюну, и кадыки их под кожей, будто маленькие животные, ходили на коричневых шеях, к которым палач уже, видимо, примерял остро наточенное лезвие.

И вдруг... надрывные хрипы, новый стон в толпе: «Убивают!» Глаза шашлычника полны слез, мигают... Но, возможно, их разъедает дым от мангалки. Юноша бессильно роняет шампур с необъеденным шашлыком, слабой рукой бросает монету в глиняную миску... И идет заплетающимися шагами мимо окровавленных трупов. На лице его смятение.

Фаэтон на дутиках неслышно уезжает. Удаляются как-то криво, боком палваны-телохранители. В толстом слое пыли чернеют люди в лохмотьях. Невообразимый запах — смесь пыли, дыма, все еще пузырящейся в пыли крови — мешают дышать.

Трупы казненных долго не убирают. Запрещено! Так они и валяются посреди базара, облепленные мухами. Шарахаются в сторону, хрипло фыркая, кони. Обходят их, тяжело ступая мягкими лапами, верблюды. Огромные ноздри приплюснутых морд тревожно шевелятся. Воробьи ожесточенно чирикают в густых кронах карагачей.

Зной... Напряженная тишина. Бормотанье оглушенного событием базара.

Долго и жадно Баба-Калан пьет в дальней базарной чайхане зеленый чай. Чайник за чайником. Ему никак не удастся справиться с судорожным кашлем, похожим

на страшную икоту, вызванную доносящимися и сюда запахами горелого плёва, дыма кальянов и... все перебивающим запахом свежей крови.

Ненавидящими глазами смотрит он на ворота, на застилаемую нет-нет облачками пыли дворцовую калиточку, на все еще чернеющие на светлой лёссовой пыли черные трупы. Кривятся пухлые губы Баба-Калана. Он шепчет:

— Ай, Мирза, проклятый братец! Ай, судьба! Что ты с несчастными творишь?!

II

Не будь слишком сладким,
Мухи облепят.

Алаярбек Даниярбек

Товарищи по красногвардейскому полку, вероятно, не узнали бы бойца 2-го отдельного дивизиона в этом батыре, запахнувшем на себе полушелковый халат, подбитый, несмотря на осеннюю жару, ватой. И что удивительно, он нисколько не потел в теплом халате, хоть непрерывно суетился — бежал туда, шел сюда, неустанно о чём-то хлопотал.

— Аллах поможет! Людям с деньгами — шашлык, людям без денег — запах от шашлыка.

Словом, в те дни, когда вся Бухара была в преддверии больших событий, Баба-Калан внешне ничем не отличался от алчных, жадных на деньги мелких дельцов, толкавшихся голпами на пыльной площади перед высоченными воротами эмирской летней резиденции Ситоре-и-Мохасса. Он пленил базарный люд своим увлечением перепелками. Тем самым он сделался любезен и базарному сартарошу, и торговцу мороженым, и степняку казаху, и даже миршабу — полицейскому надзирателю. Мы уж не говорим о старичке Абдуазале-дарвазбоне — главном привратнике дворца Ситоре-и-Мохасса, для которого и перепелки, и певческие и бойцовые, были главным увлечением. Когда же он узрел, что этот добродушный великан, немного смешной своей неуклюжестью, видит в этих маленьких птичках способ развеять «дильтанги» — сердечную тоску, что он бережно держит постоянно две пары перепелок в халате у себя под мышками и в рукаве халата и, самое главное, птички

никуда от него не пытаются улететь, — вот тогда Абдуазал воскликнул:

«Ты, оказывается, добродушный и сердце у тебя мягкое!» То есть маленькая перепелка проложила дорогу к сердцу грозного дарвазабона, а вместе с тем и в ворота дворца Ситоре-и-Мохасса и далее в святая-святых — в гарем. А всего-то понадобилось добродушному хитрецу извлечь на глазах Абдуазала бойцового петушка стоимостью в одну теньгу, напоить его изо рта и немножко потренировать: заставить попрыгать и попетушиться перед маленьким зеркальцем, чтобы, налетая на стекло, птичка приобрела особую крепость клюва и когтей. Старик пришел в восторг: «О, да ты настоящий знаток перепелок! Да и у тебя не перепелка, а тигр!»

На Востоке похвалить, значит, напроситься на подарок. И Баба-Калан не преминул воспользоваться случаем.

«Слова обещания — умиление сердцу. Подарок — звон золота».

Так дарвазабон Абдуазал стал владельцем прелестного, задиристого петушка. Великолепный бойцовый экземпляр был посажен в клетку, висевшую в клетушке дарвазабона, и развлекал не только своего нового хозяина, но и жен эмира, томившихся за внутренней стеной эндаруна, а Баба-Калан получил право в любое время навещать дарвазабона и, пользуясь этим правом, сделаться завсегдатаем дворца.

Он был простак и любил повторять: «Готов заложить душу иблису». Но от этой и ей подобной клятв он не делался ни грозным, ни страшным.

Нет. Даже рассыпая ругательства и проклятия, он оставался тем же добродушным, нескладным, даже немного смешным увальнем. Не такой уж привлекательный, на первый взгляд, он был красив лицом, что не замедлили приметить сквозь щели в калитке эндаруна наиболее бойкие обитательницы гарема. Уголки его глаз, несколько оттянутые вниз, не скрывали живого огня зрачков. Хищно вырезанные ноздри спорили с полными выпяченными губами, застывшими в вечной добродушной усмешке. А когда они раздвигались, ослепительные зубы так озаряли его лицо, что даже самому унылому и подозрительному собеседнику делалось легко на душе. Густой юношеский румянец загорелых щек придавал облику Баба-Калана вид такого «наивняка», что развеивал сомнения самых мнительных прислужников эмира.

Даже миршаб эмира смотрел на него с благосклонной улыбкой.

Одним словом, этот добродетельный, простодушный и неуклюжий батыр благодаря своей наружности не вызывал подозрения у тех, кто в те дни толкался у ворот загородного эмирского дворца. Баба-Калан же быстро определял, что из себя представляют завсегда и базарчика.

Времена лихие,
Но мир существует
И не может прекратиться.

Эмир — пока эмир, но прислушайтесь и спросите себя: «Не пора ли?»

«Э, по одному, по одному и тысяча наберется. Сам он знал, чем начинать, но и представления не имел, чем кончать».

За какую-нибудь неделю пребывания возле дворца, на базаре, он почувствовал расположение к себе бедняков-мастеровых и позволял себе, увидев издали оголтелого миршаба — сына тигра, довольно явственно бормотать:

— Эй, ты, сын сожженного отца и развратной блудницы, недолго тебе еще прыгать.

Мелькала фантастическая мысль — поднять батраков в близлежащих селениях, напасть на Ситоре-и-Мохасса всей толпой и выкрасть эмира Сеида Алимхана.

Но Баба-Калан, по его собственному выражению, «не умел быть иногда вовремя умным» и нередко платился за это. Кроме того, Баба-Калан имел определенное задание от командования — следить за местонахождением эмира и людьми, с которыми встречается эмир, что Баба-Калану сделать было пока почти невозможно. В конечном итоге — при взятии Бухары — не дать эмиру сбежать за рубеж. И ночью, ворочаясь на кошме, он бормотал про себя изречение Шамс ал Мали:

Чему не обучат родители,
Тому обучат день и ночь.

III

Он мог остановить разъяренного быка, ухватив его за хвост. А самого могучего верблюда, повалив, заставлял силой пасть на колени, а если верблюд ему не подчинялся, он одним ударом кулака сбивал его с ног в пыль и песок.

«Алламыш»

Баба-Калан был сдержан и аккуратен в еде. Казалось бы, при такой могучей комплекции он должен поглощать огромное количество разнообразной пищи. Но Баба-Калан никогда не обжирался на глазах людей шашлыком у шашлычника. А когда базарчи устраивал «тукма» — посиделки с угощением и, не будем говорить громко, вино же запрещено — с выпивкой, то сам Баба-Калан ел мало, а к вину и не прикасался.

Поклонники «узункулака» — длинного уха и «меш-меш!» — слухов, те, «кто умеет открывать двери, но не умеет закрывать», сеяли семена сплетен. И очень вредные.

Ведь все, что связано с гаремом их высочества эмира, смертельно опасно. Эндарун, конечно, райское место, но смрадное и опасное.

Базарчи злословили. Поговаривали, что этот молодой великан ныряет по вечерам в дворцовую калиточку. Что его шелковистую каштановую бородку расчесывают белоснежные, все в кольцах и браслетах, ручки.

Запах пищи приводит к котлу.

Неведомыми путями на базаре распространились слухи, будто нашлась такая красавица, которая одаривает великана в эндаруне своими милостями. Кто она — оставалось секретом для всех.

Но разговоры шли насчет служанок... Пустяки. Они только помогали сводить знакомства с челядью дворца. В знакомых местах уважают человека, в незнакомых — халат и качество материала, из которого он сшит. А Баба-Калан появился в Бухаре в трех халатах — суконном, бязевом и шелковом. То-то же. А в мошне у него всегда бренчали настоящие серебряные старой чеканки теньги, а порой и «ашрафи». А перед звоном ашрафи опускаются даже зыркающие глаза придворных негодаев, число которых никогда во дворцах правителей не уменьшается и которые всегда предают, продают, подкапываются, убивают и сами продаются очень охотно.

Перепелки-петушки, теньги и ашрафи проложили че-

рез разные калитки и калиточки эмирскому слону — таким прозвищем наградили скоро Баба-Калана слуги — ход в первый и даже во второй двор. Там, где другого моментально бы схватили, избили и просто бы лишили столь нужной части тела, как голова, Баба-Калана свободно пропускали.

Если бы он попытался проникнуть во дворец любимым способом, давно бы его голову клевали стервятники на зубчатой бухарской стене.

А вот священную и неприкосновенную землю гарема Баба-Калан топтал своими ножищами потому, что он избрал своими покровителями соловьев и роз, золото и серебро.

Сам грозный дарвазабон Абдуазал, высокая персона по тем временам и понятиям, большой талант по части поучений, любил беседовать со стоявшим у крылечка привратничкой белым алжирским ослом. Укладывая в матерчатый кошелек очередную полновесную монету — это не обязательно могла быть «ашрафи», чаще всего это была николаевская пятирублевка — он говорил:

«От хорошего человека — хорошие деньги. Разве не хорошо?»

А в пределах дворца Ситоре-и-Мохасса дарвазабон был ничуть не меньше по своему могуществу, чем сам кушбегги для Бухарского государства. От дарвазабона зависело жить челяди дворца или умирать. Дарвазабон был главным... сплетником Алимхана. Вот и сейчас он готовил по зернышку историю, которая сулила ему полную мощну золотых и прочие милости. Не одна из женщин гарема по его милости попала в дворцовую конюшню. И дарвазабон — он нередко сам приводил в исполнение эмирские приговоры — мысленно представлял садистским наслаждением, как его нож перепилит белую шейку молодой эмирши. Он давно уже невлюбил ее. Она его называла не иначе как — «сторожевая сука».

Женщины не привлекали дарвазабона. Они были для него обезьянами из преддверий ада.

Нельзя сказать, что Баба-Калан был спокоен насчет господина Абдуазала. Он не верил дарвазабону, но, зная его алчность, считал, что пока он может затыкать беззубую пасть его, опасность разоблачения ему не угрожает.

Баба-Калан частенько бывал в чайханах, что невдалеке от Ситоре-и-Мохасса. Вклинивался в чайханные разговоры. Он обладал удивительной способностью при-

влекать симпатии. Может быть, к тому располагала его добродушная физиономия, с хитроватым взглядом павильных глаз, юношеская припухлость щек... И умение болтать.

Где он привык так много и задушевно говорить, не обращая внимания, отвечают ему или нет? Впрочем, бараны, с которыми в детстве месяцами общался Баба-Калан на горных джайляу, и сторожевые овчарки тем и отличались, что умели слушать и очень мало высказывать свои мысли. Баба-Калан утверждал, что отлично научился понимать язык животных. Поверим ему.

Ну а пока что свое красноречие он с успехом использовал для обработки умов. Он действовал тонко: не трогал живущих близ дворца, справедливо считал их «ляганбардорами» — подносителями подносов — проще говоря, лизоблюдами. На таких всяких прихлебателях надежда была плохая. Они жили дворцом, ловили на лету объедки дворцовой кухни и тем существовали.

Баба-Калан заводил разговоры с мардикерами-кетменщиками, с совсем уже ободранными батраками-пахарями, с отверженными плешивыми, которых и к порогу дворцовой калитки не пускали, с нищими, прокаженными, с шатунами-афанди, с бродячими каландарами, с вечно сварливыми мелкими торгашами, которых обдирали как липку базарные досмотрщики — сборщики налогов. Снискал он доверие и нескольких безутешных старух и гневных стариков, дочери которых были силой затащены в эндарун и находились там на положении невольниц-служанок. Баба-Калану удалось встретить в толпе базарных завсегдатаев несколько молодцов-йигитов из батраков, мардикеров, ненавидевших дворец, его обитателей и самого Алимхана.

Таких Баба-Калан привлекал словами, «полными огня и перца», классовой ненависти и обещанием «подержаться за винтовку».

Оружие красная — липкий от меда язык,
Оружие мужа — стальной клинок!

Он был быстр в своих действиях, энергичен и горяч. За каких-то две-три недели он успел съездить арбакем в Каттакурган, а один раз даже в Самарканд — точно обрел крылья птицы — и переправить в ближние окрестности под носом ширбачей даже кое-что из оружия. Но сознательных тираноборцев набра-

лось, конечно, не так уж много. Авторитет ханской власти был непререкаем и непреложен. Столица ханства, погруженная в средневековый кошмар, жила мракобесием и суевериями. Всех сколько-нибудь прогрессивно настроенных людей попросту уничтожали. Мало кто тогда уцелел. Кнут, палки, петля держали массы в беспрекословном повиновении.

О, стены благородства!
Почему из-за вас несутся
воплъ и смрад.

Стервятники грифы голошеие, нахохленные, украшали собой ветхие зубцы глиняных стен города. Ворота закрывались на закате солнца и сам кушбеги — премьер-министр Бухарского исламского государства — лично объезжал всех привратников, проверял, добросовестно ли заперты пудовые засовы, забирал огромные ржавые ключи, чтобы, вернувшись к себе домой, положить их себе под подушку до утра.

Поначалу Баба-Калан нашел себе в товарищи двух по-настоящему сознательных, подлинных пролетариев — рабочего-джинщика с эмирского хлопкоочистительного завода и помощника машиниста с железнодорожной станции Каган. Остальные в тайной бабакалановской «гурух» — группе — были, что называется, «с бору да с сосенки» сезонщики-батраки с плантации миллионера Вадьяева, бухарского еврея, который должен был ходить по бухарским улицам только пешком, подпоясанный грубой веревкой, но который ссужал Сеида Алимхана немалыми сотнями тысяч из тридцати-сорока процентов годовых. Были у Баба-Калана и крепкорукые, кривоногие кочевники из пустыни Кызылкум, голодные подпаски, столь родственные ему души. Были и безработные каюкчи, притащившиеся откуда-то с реки Амударья, из Дарганата, оборванцы из нищих селений с южных склонов Агалыкских гор. Нашелся даже один чарджуйский не то конокрад, не то калтаман, темный, подозрительный Ана Мухтар, с которым сидеть вдвоем в пустой чайхане страшновато, когда сиротливый ветер бьется в ветвях карагачей, когда не видно ни неба, ни городских минаретов, когда нет света в жестяном фанаре, не слышно ни звука и не ощущаешь ни времени ни пространства. Но калтаман смертной ненавистью ненавидел эмира и преданным псом ходил за Баба-Кала-

ном. На все вопросы Ана Мухтар отвечал одно: «Эмир — джани — животное».

Баба-Калан считал в душе, что ему во всем сопутствует успех. Но и успех имсет свои пределы, а когда успех выйдет за границы свои, он превращается в беду. Окрыленный и, пожалуй, ослепленный успехами, Баба-Калан попал в сети, расставленные дарвазабом.

Со своей «гурух» Баба-Калан успешно следил за всем, что было связано с передвижениями эмира и его приближенных. А в эти тревожные дни Сеид Алимхан буквально метался из дворца во дворец, не находя себе покоя от воображаемых и подлинных опасностей и страхов. Баба-Калан наблюдал за ним и был само внимание и осторожность.

Когда говорят — «Обернись!», —
Погляди вперед.

Действовали его люди. Сам Баба-Калан держался в тени и ничем не проявлял и не выдавал себя. Свое командование держал в курсе всех дел при посредстве каттакурганских арбакешей и кермидинских верблюжатников.

Базарные лавочники считали его туповатым торгашом, который занят прежде всего болтовней и развлечениями.

Язык барабанит без умолку,
Пока палач не отрежет его.

Так думал и придворный дарвазабон Абдуазал. Он считал полновесные червонцы и облизывался в предвкушении удовольствия, которое ему предстоит испытать в эмирской конюшне, месте казней неверных эмирских жен и наложниц.

И все же удивительно, что видный, представительный молодой йигит, щеголевато одетый, приятно пахнущий восточными «атр» — духами, щедрый на «бахшиш», сумел проникнуть не только в первый двор Ситоре-и-Мохасса, но даже и во второй, и в третий. Поистине в голове этого батыра скопились «хайоли хом» — незрелые мысли. Ведь всякий разумный человек знает, что чужой мужчина, ступивший ногой в сокровищницу любви эмира, обречен.

Но затворничество гарема порождает распущенность нравов. Игривые прислужницы хихикали. Они про-

звали Баба-Калана — Эмир-Слон. У него завелись приятельские отношения с одной из служанок — привлекательной Савринисо, которая обслуживала Суаду-эмиршу, корыстолюбивую и мстительную, хитрую, как змея. Однажды Баба-Калан издали увидел ее. Возникла она на краснопесчаной дорожке сада в голубом одеянии того цвета, которое называют «струящаяся вода». Но миловидная Савринисо с ямочками на щеках все больше нравилась Баба-Калану. Проходил он свободно через резную калитку дарвазбона Абдуазала под весьма законным предлогом: наш великан приносил каждодневно глиняную хурмачу — кринку козьего молока, которым юная эмирша Суада омывала себе лицо, шею, упругие груди, дабы нежная кожа сохраняла свою нежность и привлекательность.

Будет кожа без морщинок,
Буду любима... —

поется в народной песенке за высокой стеной. Юная эмирша Суада твердо держалась гаремного закона.

«Вышла замуж за эмира, чтобы быть пухлой и брови красить, а не заплатки на чапан мужа нашивать».

Среди других сорока двух жен она ждала благоволения повелителя, ждала — и увы! — напрасно. Сеид Алимхан метался в нервной лихорадке, чувствуя, что эмират доживает последние дни.

IV

Если у тебя
и тысяча друзей,
Считай, что мало.
Если у тебя хоть один враг,
считай — много.
Рудаки

Красноармейские конные дивизионы движутся от Кагана к Бухаре. Это уже совсем близко от Ситоре-и-Мохасса.

А здесь, у ворот в летний дворец Ситоре-и-Мохасса, идет торговля, толпятся люди, сдержанно гудят шмелиным роем, бродят в столбах пыли, солоноватой, пахнущей конским потом, кальянным табаком, жареным луком. Народу скопилось, словно в базарный день.

Там, где пища, там и мухи.

Сартарош-цирюльник, усевшись на голой земле, наматывая на костяную палочку, вытягивает из тощего бедра горожанина белого скользкого червя — ришту.

Сартарош время от времени отрывался от хирургической операции, чтобы, повернувшись лицом к восседавшему тут же толстому, совершенно равнодушному комиссионеру «фирмы» Зингер и, вооружившись бритвой, продолжать выбривать наголо его круглый череп. Комиссионер — все его знали в Бухарском оазисе под именем Садык-машиначи — взгромоздился на вертикально поставленный, очень неустойчиво, фибровый чемоданчик и опасно вздрагивал каждый раз от холодного прикосновения к коже лезвия бритвы.

— Йо, худо! Осторожней!.. У левого уха чиряк маленький вскочил... Не заденьте! Под вашей уважаемой бритвой — голова правоверного, а не дыня... Да чище брейте! Мне еще идти в покои госпожи эмирши. Швейная машина у ней поломалась, видите ли.

— А к какой именно супруге халифа вы изволите направиться? И что ей за охота утруждать свои белые ручки верчением колеса швейной машины?

— От скуки! От скуки! Развлекаться изволит госпожа Суада, их величество... Эй, ты, «Береги зубы!», подь сюда... А ну-ка, какое у тебя мороженое? А, рохат-иджон! Давай сюда! Почему?

Подбежал мальчишка с громадным подносом. На нем белели фарфоровые блюдечки с горками оранжевого от бекмеса снега, обложенные серой тряпкой со льдом, посыпанным солью.

— Кушайте! Первый сорт! Успокаивайте свою душу! От этого грохота комиссаровых пушек днем и ночью что-то душа трепещет зайцем.

Он наложил в блюдечко мороженого и угостил цирюльника.

Но тут тяжелый поднос порхнул перышком вверх. Взгляд мороженщика тоже вскинулся. Огромный Баба-Калан с усмешкой глядел на него свысока.

— Сколько тебе за все твои снежные горы, господин льда и мороза?..

— Э-э-э...

— Давай, говори... А не то так возьму, задаром.

— Э-э-э...

— Наши красавицы в гареме их высочества изнывают от жажды и от волнений, огонь распяляет им нутро... Экая стрельба идет.

Если это служитель дворца — а по своему грозному, внушающему страх виду Баба-Калан не мог быть никем иным, как по меньшей мере мехмандором — такой служитель требует и приказывает. Остается отдать ему всю свою торговлю мороженым и получить деньги, — хорошо еще, что расплатился шайтан — и идти в чайхану дожидаться подноса и блюдецек...

А огромная фигура Баба-Калана уже оказалась в своре ширбачей, вырвавшихся внезапно из-за угла прямо в базарную толпу. Под ударами палок полетели в пыль синие, малиновые, белые чалмы, покатались тыквянкі-табакерки, перевернулись хурмачи — кувшины и полился в пыль «чалоб» — разбавленное кислое молоко. У цирюльника сшибли большущую из-под варенья банку и по грязи поползли толстые, насосавшиеся человеческой крови пиявки-зуллюк, которые сартарош ставит обычно на толстые шеи полнокровным апоплексическим балям. Полетели клочья горелой ваты, выдернутые зубы, ржавые щипцы. Перевернулся тазик с холодцом из бараньих ножек. Далеко выкатились вслед за копытами коней слабые, поддурмяненные лепешки кульче-и-азаранки...

На базарчике поднялась паника. Все шарахнулись, кто куда. Короткие послеполуденные тени заметались по слепящей глаза белизне площади.

Топота почти не было слышно. Копыта, обремененные тяжелыми подковами, плюхались в ноздреватую бархатную пыль.

Ловко спасши поднос с мороженым от крупов коней и палок эмирских стражников, Баба-Калан властно отстранил охранников у ворот и вломился в привратническую — низкую, изрядно прокопченную большую камору.

— Эй, порождение человека, куда прешь?

— Куда надо! Не видишь, мороженое несу их высоchestвам.

Его ничуть не устрасил напыщенный вид дарвазобона — привратника Абдуазала. Уж больно шутовски он выглядел, тощий, в неуклюже сидевшем, как на вешалке, синем мундире хилый старичок. Аксельбанты и позументы плохо вязались с белыми бязевыми штанами и стоптанными глубокими резиновыми калошами фабрики «Треугольник». Один лишь высокий зеленый тюрбан придавал дарвазобону малость важности.

— Не видит, — ворчал Баба-Калан. — Не узнает! Идет почтенный мусульманин с райскими дарами про-

хлады и сладости, с «берегите зубы!», а он — «куда прешь».

— Кто ты, о ничтожный? — напыжился дарвазабон. Можно было подумать, что он впервые видит Баба-Калана, хотя тот и перепелок ему дарил, и козье молоко в гарем доставлял, и уже не раз навевывался с мороженым в привратническую, — чего тебе надо?

— Господин Абдуазал, господин высокочтимый дарвазабон, раскройте пошире глаза! Мы только сегодня с вами беседовали, когда я нес кринку с козьим молоком.

— Болтай тут, несчастный! Бить тебя надо, пока душа держится. Признавайся, чего шныряешь?

Зыркая по темной привратнической глазами, Баба-Калан обнаружил причину или, вернее, виновника чрезмерной придиричивости господина дарвазабона Абдуазала. На почетном месте в привратнической на коврике важно восседал не кто иной, как сам отец его — Баба-Калана — ахангаранский лесной объездчик, величественный и важный Мерген. Ни каландарская высокая шапка кулях, ни заплатанная дервишеская хирка, ни запущенная встрепанная борода не могли обмануть родного сына. Отец Баба-Калана Мерген в привратнической дворца эмира. Невероятно! Сам Баба-Калан страшно обрадовался и испугался одновременно: ведь кому-кому, как не ему, было знать, что Мерген — проводник Красной Армии, и его появление здесь, в эмирском дворце, сопряжено со страшным риском, а с другой стороны, раз он появился, значит, теперь все прояснится и установится прямая связь Баба-Калана с командованием. Но как признать своего почтенного родителя в столь неподходящей обстановке?

Баба-Калан воскликнул: «О!» и рванулся было, чтобы пасть к ногам отца и обнять ему колени, согласно нравам и обычаям Канджигалинских гор, но вовремя остановился. За спиной дарвазабона Абдуазала-Мерген многозначительно покачал головой и приказал глазами: «Стой на месте!» А взгляда глаз отца, ястребиных, пронзительных, Баба-Калан боялся. И свое смятение поспешил спрятать под грубоватым окриком на шута-дарвазабона.

— Разорался тут начальникек! Не лай! Оборвешь стебли дружеских отношений. Если проклятия сойдут с моих уст, не пеняй на меня!

— Я тебе в отцы гожусь, — заворчал дарвазабон, —

постыдись! В присутствии столь почтенного каландара из Мекки грубишь мне!

Но тут подал голос Мерген. Он счел излишним любовью шум. Нельзя спорами, криком привлекать любопытство посторонних, а тем более всяких стражников, ширбачей, палванов-гвардейцев, толкавшихся у ворот дворца, где сейчас идет тайная возня, какие-то секретные приготовления. И тем более, неуместно привлекать внимание к себе — а Баба-Калан и Мерген явно вызывали чрезмерный интерес дарвазабона, особенно этот «любитель мороженого». Ясно было Абдуазалу — не в мороженом тут дело. Он уже раньше заподозрил, что неуклюжий великан не случайно проник в гарем.

Конечно, дарвазабону было бы гораздо интереснее, если бы удалось в великане мороженщике, в этом, на первый взгляд, увальне раскусить что-нибудь вроде заговорщика из смутьянов-джадидов или, еще лучше, большевого лазутчика из Ташкента, замыслившего злое против самого эмира. О! Вот бы тогда на дарвазабона хлынули ливнем из тучи благоденствий халаты, монеты! Но и интриган, возможно, посягающий на неприкосновенность священного ложа эмира, тоже не такая уж мелкая дичина.

«Мороженое! И кому вздумал, болван, голову морочить, ему — самому дарвазабону Абдуазалу, охраняющему честь госпожей супруг эмирских, уже без малого два десятка лет... Мы и у Музаффара-эмира, и Ахада-эмира служили. И милостями Сеид Алимхана не обделены. Очень уж наши халифы в отношении чести своих жен щепетильны... А он тут мороженым нас за нос водит. Вот посадят голым на лед, быстро заговоришь».

Зная о цели пребывания сына в летней резиденции Сеида Алимхана, Мерген боялся за Баба-Калана, за свойственные ему с детских лет простодушие и бесхитрость.

Человек решительный, человек действия, Мерген принялся, как он думал, выручать сына из западни, в которую тот лез, по его мнению, без оглядки.

Едва Баба-Калан, выставив на вытянутых руках поднос прямо перед собой, принялся шутовски восхвалять свой сладкий товар: «Эе, берегите зубы, красавицы ханши!..», как Мерген поднялся во весь свой рост и, почти упираясь дервишеским куляхом в закопченные болоры потолка, загнусавил:

— Я дервиш «шазилиё»! Я дервиш, я нищий из тридцати пяти тарикатов. Я не сменю своего заплата́нного куля́ха дервишеского на венец шахиншаха. Эй, наглый юноша, куда лезешь со своим оскверняющим ротом ро́женым? Я в рот не возьму твою сладкую гадость, я — благородный ходжа, потомок пророка, воздерживающийся от аромата духов, от стрижки волос и ногтей... И ты знаешь, сынок, что при бритье бороды неловкий может раздавить насекомое, ставшее на моей священной коже священным. Или еще хуже: неловко выдернет у меня волосок и сонм нечистых дьяволов ворвется сюда и растерзает меня, посланника добрых дел. Эй, ты, йигит с подносом, взгляни на меня, наставщика, и повинуйся! Поостерегись! Жизнь дороже, всего. Никто не хочет толкать себя в яму, именуемую могилой. Верующий должен сохранять свою жизнь. Это говорю тебе я — дервиш «шазилиё» в платье кающегося. Два куска полотна, которых не касалась иголка. Один кусок на плечах, другой на бедрах, прикрывая срам...

С широко разинутым беззубым ртом, с трясущейся бороденкой дарвазабон являл собой олицетворенное изумление и восторг. Он ничего не понимал в словах Мергена, но как любитель духовных песнопений и всякой духовной музыки, восторгался дервишем. А Мерген принялся поучать Баба-Калана:

— Мы, дервиши-странники, душа моя, сыночек! Мы странствуем от одной красной двери к другой — черной. И не говорим, какая лучше, какая хуже.

Помни — раз ошибешься,
Два ошибешься, но третья ошибка —
Мать всех и всяческих бед.

Мы, дервиши, бескорыстны. Мы ищем справедливость. Наш доход — заклинания, молитвы, предсказания... туморы-амулеты... Наш дом — ханака. Но наш дом — и вот этот дворец, и никто не откажет нам в гостеприимстве. О, мой святой наставник Шейх-и-Пита, взгляни на этого темного в делах веры истинной — дарвазабона. Я дервиш, я — хызр, вечный странник, ищу в своих скитаниях бессмертие. Я заступник всех странствующих в мире... Иди же, господин дарвазабон, в сей пышный богомерзкий дворец и скажи своему эмиру, ввергнутому в горечь событий, скажи ему: «Вот пришел хызр...» А ты знаешь, несчастный смертный, что

мы, духи, являемся в образе людей. Иди же и скажи — пришел хызр из Хорасана.

— Мы... мы разве осмелимся. — Дарвазабон Абдуазал совсем растерялся.

Он не смел, не имел права даже обмолвиться, намекнуть, где в данную минуту находится эмир. А тут выходило, что он проговорился. Правда, хызр Мерген не внушал сомнений, но этот увалень... перепелочник, молочник-мороженщик...

Мерген мрачным дивом надвинулся на маленького, светливого дарвазабона:

— Распорядитесь подать чаю, постелите дастархан, а сами идите... И шепните на ухо господину Сеид Алимхану, его высочеству, что пришел человек из Мешхеда... Идите! А не скажете — берегитесь. Прогневите эмира! Идите, а его, этого неповоротливого байбака, оставьте. Я его просвещу. Яхакк! Истинно!

Насыпь на голову ослу,
что золота, что навозу,
Все равно взмахнет головой.

Мерген по-дервишески уселся прямо на чисто подметенный пол. Предложив Баба-Калану поставить в сторонку поднос с блюдечками мороженого, он заговорил уже спокойно, правда, выждав, когда дарвазабон, кряхтя, удалился:

— Что ж? И дервиши нуждаются в утешении. Ты что же, бесстыжая твоя рожа, сынок, воззрился на меня? Сейчас нам принесут чаю, мы почитаем молитвы, как читали с тобой в горах Ахангарана. Ты слушай и повторяй медленно.

Он помолчал, пока прислужник дарвазабона почтительно расстилал дастархан и подавал блюдо с пловом, а затем несколькими глотками утишил спазм голода, который терзал ему желудок и, понизив голос, прямо в лоб задал вопрос:

— Ночью и кошка кажется тигром, а?.. — Мерген кивнул в сторону двери, низкой, выщербленной, за которой только что скрылся дарвазабон Абдуазал. — Этот ушел... Но кто знает, здесь ли эмир, во дворце?

— Эмир здесь... Знаю...

— А у тебя есть люди, пешие и конные?

— Нет, нас немного, — Баба-Калан тоже снизил голос до шепота, — десятка два наберется, не больше.

— Да, с такой ратью ты, сынок, не перехватишь деспота, когда он вздумает бежать. Если вообще он здесь.

— Мы арзачи... Когда узнаем, что эмир уже победил... по какой дороге, мы должны послать йигита верхом... известить командира Сахиба Джеляла... А сами будем тоже ловить. Тут мои люди и пригодятся... Винтовки, патроны у нас есть. Достал в Каттакургане.

— Откуда знаешь про тирана? Почему так неловко, неумело лезешь? Ты не боишься, что хитрец дарвазабон перережет тебе горло?.. Он не догадался еще, кто ты?

— Нет...

— Какая самоуверенность!

— А потому, что ваш неловкий, неумелый сын уже проник чуть ли не в самый гарем, где тиран приподнимает с красавиц тайные покровы... Простак Абдуазал слеп... Он ничего не знает, не подозревает... А я знаю...

— Откуда ты знаешь?

— Одна тут... служанка... помогает... Знает, что я хочу выручить из гарема нашу Наргис.

— Наргис?.. Значит, она здесь, бедняжка Наргис, птичка в золотой клетке. Разве птичка сидит спокойно?.. — Совсем помрачнел Мерген. — Оставь несчастную в покое...

— Но как же? Бедняжка в клетке...

— Слушай меня. Сейчас придет дарвазабон. Что он скажет, неважно. А я скажу ему... объявлю, что ты теперь мой ученик, мюрид. Ты забереешь поднос и уйдешь. Жди меня в чайхане. Я пройду мимо и скажу, что надо... И что бы ни случилось, делай свое дело. А делами несчастной нашей дочери займется тот, кому надлежит заняться. Запомни: для всех я прибыл сюда, чтобы заставить Сеида Алимхана узаконить брак дочери, твоей сестры Наргис... Понял? Я купил барана и приказал резать его. Я роздал мясо стражникам дворца, и они готовят пищу. И пусть эмир осмелится не объявить ее законной супругой...

— Братец Мирза здесь...

Мерген даже переменился в лице:

— Здесь? Что-о-о?

— Здесь. Я его видел... И этот жирный суслик Али с ним.

Он коротко рассказал о жестокой казни — трагическом происшествии на базаре.

— Значит, ты говоришь, он поехал в город? О, боже!

— Он вернется... Обязательно вернется.

— Тсс, сынок, смотри на меня и делай все, что я прикажу делать.

Забренчала запорка дверки, и Мерген громко забормотал:

— О, йигит, юный Баба-Калан, о, зенит благочестия! О, я покупаю тебя и даю тебе денег, чтобы ты направил свои стопы в хадж к Каабе вместо господина главного дарвазабона, достопочтенного Абдуазала. Я буду твоим хаджфурушем, то есть продавцом священного паломничества. Ты приложишься к Черному камню, и господин дарвазабон удостоится почета хаджи... А-а, вы здесь, господин. Я и не заметил... Правильно я говорю, о, царь всех привратников, дарвазабон всех дарвазабонов? И вам, господин, не понадобится мучительно шагать полгода до Мекки. За вас отправится сей молодой йигит. И вам это не будет стоить и медного мира. Зато исполнится ваша мечта правоверного. Вы уже хаджи.

— О, иншалла, — воскликнул дарвазабон, совершенно ошеломленный свалившимся на его голову счастьем. Он шел сюда совсем с иным настроением. Он только собирался проводить каландара Мергена во внутренние покои дворца и приняться за подозрительного великана.

— И велик аллах! — продолжал вдохновенно Мерген. — Зачем же откладывать? Зачем ждать? Вы, господин дарвазабон, заслужили лучшего. Встаньте же передо мной! Сотворите святую молитву!

И дарвазабон, все еще не вышедший из состояния ошеломленности, прошептал молитву, провел по редкой щетинистой бородке ладонями и... взаправду оказался святым паломником — хаджи!

Потому что тут же Мерген, обратившись к Баба-Калану, провозгласил:

— Эй, ты, йигит! Я снимаю с тебя звание паломника к святым местам в город Мекку, к святыне мусульман — Черному камню — Каабе и возлагаю это почетное священное звание «хаджи» на сего почтеннейшего из почтенных хранителей ворот священного эмира нашего Сеида Алимхана. Отныне вы, господин дарвазабон, будете именоваться и в мечети, и в привратницкой, и на базаре... да, кстати, как вас зовут, о, почтеннейший из привратников...

— Абдуазалом нас нарекли в детстве...

— Отныне вы хаджи Абдуазал-дарвазабон! О-о-о-о!

Сморщенное, перекошенное личико дарвазабона Абдуазала-хаджи засияло восторгом. Кто из правоверных не мечтает стать святым паломником и прикоснуться губами к священному камню Каабе? И как возвышает тебя в среде окружающих твое новое имя хаджи.

Хаджи—паломник—самое почетное лицо в махалле. Хаджи — это ступенька, нет, целая лестница в придворной карьере. Хаджи... да что там — хаджи самый почетный, самый уважаемый человек в мире!

Радовался Абдуазал-хаджи. Ему, хитрецу, интригану и пройдохе и в мысль не могло прийти, что его обвели вокруг пальца, что ему дали взятку, и что эта взятка особого рода даст толчок событиям поистине необычайным.

Ну, а поначалу она спасла Баба-Калана от неизбежного разоблачения.

V

Глупец не видит в этом мире
своих недостатков,
Он ищет недостатки в других.

Фаиз

Отношения Баба-Калана и Абдуазала-хаджи дарвазабона складывались пока мирно и вполне терпимо для обоих, хотя привратнику страшно хотелось, чтобы добродушный гигант оказался большевиком. И все до сих пор, с точки зрения дарвазабона, шло как по маслу. Ему мерещилось, как ему в руки посыпятся горохом неопровержимые доказательства вины Баба-Калана, и ему во сне и наяву мерещилось, как на увальня-великана набрасываются палваны-ширбачи, избивают, ведут на аркане на площадь, казнят. А ему, дарвазабону, дносчику и свидетелю, эмир Сеид Алимхан собственными священными руками насыпает в мошну поблескивающие золотые «ашрафи», полновесные, сияющие...

Баба-Калан продолжал оставаться постоянным гостем прокопченной, продымленной привратницкой дворца и чуть ли не постоянным сотрапезником господина дворцового привратника.

Какая жалость! Афсусл! Очень жаль. Мечты «поломал» этот каландар, бродячий дервиш Мерген, громадный, костлявый, с длинным лицом горного джинна. Утешал себя тем, что одна мечта разрушилась, зато другая — осуществилась.

От радости, что теперь он носит почтеннейшее звание хаджи, Абдуазал ошалел. Он и думать забыл, что в Бухаре происходит народное восстание, что у южных ворот разгораются жестокие бои. К тому же он слишком верил в могущество эмирской власти, в незыблемость устоев ханства. Как же! Ведь он служил уже третьему эмиру. И все теперь ему казалось плавающим в розовом тумане веселья и благодушия.

В таком состоянии душевного оупения, где ему было уловить связи между Мергеном и Баба-Каланом? А отец и сын держались предельно осторожно, старались не выдавать себя ни движением, ни взглядом. И как это бывает со слишком хитроумными и мнительными, привратник Абдуазал даже не приметил того, что бросалось в глаза каждому — поразительного сходства отца с сыном, сходства двух чинар — старой и молодой.

А когда представилась возможность, Абдуазал успел вполголоса на ухо намекнуть Мергену, кого он заподозрил в Баба-Калане. Дервиш на это, презрительно оттопырив нижнюю губу, заметил: «До чего же вы, уважаемый хаджи Абдуазал, предались земным делам. В самом возвышенном вы узреваете козни и интриги. Поверьте, сей юноша — мой мюрид. Клянусь! На вашу голову падут самые ужасные заклятия пророка нашего, если вы осмелитесь возвести на столь благородного юношу напраслину. И тогда — трижды клянусь: «Тааля, аввяля, мааля!» — от вашего звания хаджи не останется и дыма...

Но все к лучшему. Дарвазабон Абдуазал выдал себя, свои замыслы. Он показал, кто он таков на самом деле и чего от него можно ждать.

Во всяком случае Мерген приказал себе быть насто-роже. Удача до поры до времени сопутствовала ему. Во-время удалось посвятить дарвазабона в звание хаджи. Почтеннейший Абдуазал вышагивал по привратницкой фазаньим петухом, пыжась от спеси и самодовольства. А через дверку, в которую, согнувшись, вышел сию минуту Баба-Калан, уже доносились возбужденные голоса. Кто-то спорил и бранился последними сло-вами.

Суматошно было перед воротами дворца на пыльной площади. Под низкими ветвями карагачей вечерние те-ни гонялись за суетившимися всадниками.

Один из них вдруг осадил коня так резко, что копы-та коня вонзились в пухлый слой пыли, и целое обла-

ко, позолоченное закатными лучами, пробившимися сквозь листву, окутало и лошадь и верхового. Всадник грубо заорал на подвернувшегося Баба-Калана:

— Эй, порождение человеческое! Куда прешь? Коня напугал, болван!

Занятый своими мыслями, Баба-Калан рассеянно и сердито глянул на всадника и усмехнулся: больно шутовски выглядел тот в своем, зеленого сукна, мундире, в каких-то чудных серебряных эполетах, аксельбантах, пышных галунах. Из-под мундира вылезали белые бязевые штаны-кальсоны, на ногах болтались узбекские кавуши с зелеными задниками, а на голове высился кое-как намотанный гигантский тюрбан.

Достаточно поболтался Баба-Калан по Бухаре и ее окрестностям, и ему не стоило особого труда догадаться, что перед ним один из эмирских ясаулов-палванов, которых эмир облачал для внушения страха людям в старье, изрядно поношенные царские офицерские мундиры. И, конечно, Баба-Калану, хотя бы из простой осторожности, следовало почтительнейше поклониться и освободить дорогу. Но он этого не сделал, и был тут же огрет по плечам камчой.

— Эй, — сжимая кулаки, закричал Баба-Калан. — Меня даже в детстве не били! Убери камчу! Не видишь — идет почтенный мусульманин? Прогуливается по базару, приценивается к товару.

Разглядев сквозь метавшуюся перед глазами пыль, что Баба-Калан одет пристойно, даже богато и вообще имеет достойный вид солидного прасола — скототорговца, офицер-палван тоже несколько поостыл и уже не так грубо спросил:

— Ты кто?

— Мусульманин.

— Говори имя!

— Я сказал — мусульманин.

За эмирскими стражниками из пыли вынырнули тени чалмоносцев с берданками.

— Говори! Эй, бейте его, пока душа держится. У меня быстро признается.

— Только суньтесь!

Баба-Калан прислонился к дувалу и вдруг выдержал один из шестов, поддерживающих у чайханы камышовую кровлю. Она затрещала и покосилась. Столб пыли и мусора поднялся вверх от рухнувшей кровли.

— Эй!

Мерген буквально вытолкнул дарвазабона Абдуазала через дверку со словами:

«Освободи юношу от стеснения, иначе оборвутся стебли дружеских отношений!»

Дарвазабон выскочил очень охотно. Быть может, ему не терпелось выступить на площади в роли уважаемого хаджи.

— Стой! Куда лезешь?! — заорал он. — Что за шум перед священными воротами обители халифа! Прекрати!

— Прочь с дороги!

— Не ори! Не видишь, кто я? Если хоть одно слово сойдет с моих уст — с уст Абдуазала-хаджи, пеняй на себя. Берегись!

— Ого! Абдуазал, вы уже стали хаджи! Когда вы успели сходить в хадж, в Мекку! Ха-ха!

— О, живой, посмотри, ведь ты мертв! Ты губишь свою жизнь в разврате и насилии. Несчастный! И ты смеешь! Да я тебе в отцы гожусь!

— В преисподнюю такого отца — лизоблюда и прихвостня. Убирайтесь в свою привратническую. Берегитесь! Полные гнева красные дьяволы идут, скачут, надвигаются. Слышишь, стреляют. Прочь с дороги!

И, забыв обо всем, забыв о Баба-Калане, эмирский офицер поднял коня на дыбы и с гиканьем умчался с площади. За ним со страшными воплями, поднимая тучу пыли, проскакали всадники.

Но дело было сделано. Заступничество новоявленного хаджи избавило Баба-Калана от крупных неприятностей, а может быть, и от гибели. Палваны и ширбачи рыскали в окрестностях Ситоре-и-Мохасса, чтобы вылавливать всяких там подозрительных, и попади Баба-Калан в лапы стражников эмира, ему бы не сдобровать.

Ночь приходит в Бухару внезапно. Тьма опускается так быстро, что базарчи едва успевают убраться с дворцовой площади со своим немудреным товаром.

Угомонились воробьи в кронах карагачей. Бродячие собаки едва успели обнюхать всякое гнилье в канавах, а уже набежали желтые, юркие шакалы с соседнего кладбища. В широком арыке заплескались блики от ярких, никогда не меркнущих звезд, а где-то за еще горячими от дневного зноя глинобитными дувалами жутко взвыла гиена...

В чуть освещенной малюсенькой лампешкой каморке за чайханой Мерген нашел Баба-Калана.

Отец и сын наконец получили возможность объясниться.

Сейчас не время и не место говорить об истинных причинах появления старого охотника Канджигалинских гор, проводника Красной Армии Мергена в эмирской летней резиденции. Его якобы привел в Бухару обычай. Да и в самом деле Мерген не мог оставаться безразличным к судьбе Наргис. Неважно, что она неродная дочь. У горцев нет даже такого родственного термина — «падчерица». Дочь его жены, пусть от первого брака — значит, и его дочь, хранителем чести которой является и он.

Участь Наргис, вот что давно поглощало не только Сахиба Джеляла, родного отца, но и его, Мергена. Были попытки ее спасти. Она ведь бежала вместе со своим стражником Али... в Бухару, чтобы мстить эмиру, и вновь попала в гарем эмира. Но как? Почему? Это мало его интересовало. Он знал одно — на честь его дочери посягнули! А для него безразлично кто! Будь это даже сам Бухарский хан... Такое не прощают!

Он, Мерген, явился в Ситоре-и-Мохасса требовать ответа, требовать справедливости.

Но эмир есть эмир. Хан есть хан. Властелин! И хоть Мерген ни в малейшей степени не являлся подданным Сеида Алимхана (эмир правил в своем Бухарском ханстве, а Мерген был жителем Туркестанской республики и ненавидел тиранов), тем не менее Мерген с мысленным трепетом, укорененным веками, мысленно же «падал в прах» перед властелином мира.

Да, Сеид Алимхан деспот, восседает на царском троне. Он из сильных мира сего!

Если бы простой смертный обесчестил его дочь, Мерген пошел бы к нему в дом и убил бы и насильника и дочь... Таков тысячелетний адат. Но насильником был сам эмир!

И в Ситоре-и-Мохасса Мерген явился не мстить. Он пришел убедиться, что дочь его «взошла на ложе» по закону, то есть, что Наргис законная жена эмира, что он на ней женился по обряду. А вот если такой обряд не выполнен, потребовать, чтобы бракосочетание состоялось, чтобы духовное лицо освятило брак молитвой и благословением божьим:

Вечером попозже Мерген должен был при содейст-

вии новоявленного хаджи — дарвазабона Абдуазала по-пасть в покои эмира и получить возможность лично высказать светлейшему зятю свою волю.

Наргис будет законной женой... Иначе...

Что произойдет во время разговора и после разговора, Мерген не представлял. Его даже по существу мало интересовало станет или не станет Наргис госпожой эмиршей.

Свободолюбивый горец, да еще с оружием в руках, прошедший горнило первых революционных лет, он ненавидел тиранов. Всех деспотов-живоглотов при всем их могуществе и величии следовало свергать с тронов. Эмира Сеида Алимхана, как и всех его предшественников, вроде Ахадхана и Музаффара, он ненавидел вдвойне. Страшился и ненавидел. В памяти его свежи были ужасные рассказы его отца и деда — очевидцев кровавых побоищ в Ташкенте и окрестных кишлаках во время междоусобных войн Бухары и Коканда, яблоком раздора между которыми и был Ташкент.

Один из таких бухарских завоевателей поклялся, что его конь будет ходить по Ташкенту по колено в человеческой крови. По совету приближенных, перепугавшихся, что придется зарезать всех жителей Ташкента, завоеватель удовлетворился тем, что слили кровь казненных в яму, куда он и въехал, торжествуя, что священная клятва выполнена.

Никаких иллюзий в отношении царей и правителей у Мергена не было. А нынешнего эмира Бухары Сеида Алимхана весь Туркестан знал как блюдолиза царя Николая, трусливого прихвостня англичан, жестокого палача народа. «Эмир — навозный жук, копошащийся в навозе».

Но, увы! Судьба пожелала породнить его — Мергена, бунтаря и революционера с тираном Сеидом Алимханом. А если еще не узаконила родство по шарияту, то надо, чтобы узаконила.

Честь семьи!

Сегодня ночью или эмир даст васику, что он тесть Мергена, или...

Чуть шипело желтое крошечное пламя в лампе. В каморке привратника густо пахло прелью и керосином. В приоткрытую дверь вместе с ночной свежестью доносились далекие шумы лагерей осажденных и осаждающих. В темноте поблескивали белки выпуклых глаз Баба-Калана.

Удивительно! Отец с сыном разговаривали спокойно, деловито, будто и не шло рядом жестокое сражение, будто не решал народ судьбу эмира, правителя Бухарского ханства.

Правда, все же нет-нет они поднимали головы и прислушивались. Но в ночи не было слышно даже одиночных выстрелов. Народ и Красная Армия готовились к решительному штурму.

Естественно, Мерген ждал, что скажет Баба-Калан...

— А если проклятый вырвется, что ты будешь делать?

— Что?

— Смотреть, как он побежит?

— Вот уж и нет... Пожалеешь волка — останешься без барана.

Баба-Калан не рассказал, как он умудрился за удивительно короткий срок не только проникнуть сквозь высокие стены загородного дворца, но завязать знакомства с узницами эмирского гарема и снискать благосклонность служанки Савринисо, находящейся при любимой молодой жене Сеида Алимхана. Попытки Мергена выяснить обстоятельства и подробности этой поистине во вкусе «Тысяча и одной ночи» истории вгоняли великана в смущение и краску. Он конфузился и краснел... Из него нельзя было и слова вытянуть, кроме одной повторяемой в разных вариантах фразы:

«Э, надо было пролезть во дворец, мы и пролезли. Надо было, чтобы мы с эмира глаз не спускали, мы и не спускаем».

Порхала жирная перепелочка,
а филин шелкал и шелкал клювом.
Бегал зайчик по тугаю,
А лис под кустиком облизывался.

Никто не решился бы упрекнуть Баба-Калана в легкомыслии или каких-либо грязных побуждениях.

Светильник вспыхнул ярко,
Сердце сгорело в шашлык —
На землю просыпался пепел.

Он, действительно, полюбил длиннокосую, ясноглазую Савринисо с милыми ямочками на щеках. Она не раз виделась с Наргис, сказала ей о брате Баба-Калане.

Кроме того, задание свое Баба-Калан выполнял с большой ловкостью и умением, подвергался постоянной смертельной опасности.

— Отец, я здесь, чтобы эмир не ушел лисой, не увильнул в какую-нибудь нору шакалом... Его нельзя упустить. Если эмир победит, я в него выстрелю.

— Стрелять? Ну нет, зверя надо брать живым. Натягивай лук на полет стрелы.

— Таков приказ! Кызыл аскер должен выполнить приказ точно. Я — кызыл аскер.

— Ты выстрелишь в него... но после васики. Когда я получу васику.

— Отец, какая васика?

Мерген объяснил в двух словах:

— Васика о браке твоей сестры с эмиром. О законном браке по нормам шариата. Васика — честь твоей сестры.

— Какая-то бумажка.

— Не говори так. Васика—по шариату. И эмир напишет васику.

— Слово отца — закон для сына. Но вот эти мои руки еще будут держать горло эмира. Вот так, чтобы и пикнуть не смог... Еще смеет обижать сестренку.

И он вытянул перед собой свои огромные ручищи, пошевелил пальцами и сжал их в кулак.

VI

Без мук любил душа
сухой травы мертвей,
Не знавшей ласк росы
и сладости дождей.
Баба Тахир

Первоначально молодая эмирша Суада и не задумывалась, чего хочет этот Баба-Калан, что ему надо во дворце. Увлечен ее служанкой Савринисо — и все. Или еще что-то с ним связано? Кто он такой? Может быть, догадывалась, но помалкивала.

«Держи язык на замке — не то зубы поломаешь».

Бытовала при дворце эмира тогда такая прибаутка: «Плотно заткни себе рот и помалкивай».

Дарвазабон знал эту поговорку. С горечью он прознал, что она имеет касательство к нему. Но ничего не оставалось ему, как последовать старинному правилу: поставь гостю угощение, а сам руки убери.

С «разоблачением» заговорщика ничего не вышло.

Эмиру кто-то все же успел сказать о шашнях Баба-Калана и молодой служанки. Но Сеиду Алимхану было не до гаремных дрызг, тем более, что речь шла всего-навсего о служанке.

В эндаруне Суада держалась ханшей, все перед ней трепетали. И уж служанку свою она, конечно, могла защитить.

Все знали: страшен гнев молодой эмирши Суады-ханум.

Новеньких гарема — новенькими «нау» в эндаруне называли девушек и девочек, привезенных из кишлаков или далеких бекств на смотрины эмиру, — она держала в черном теле. Гоняла их на служебный двор — проверяла их умение печь хлеб, таскать колючку для топлива, резать и чистить овощи. Она забавлялась тем, как эти новенькие, воображавшие, что им в гареме предстоит сладкая жизнь, разжигают очаг, жарятся у огнедышащего тандыра так, что сушится и трескается кожа на нежном лице и на груди.

Суада пыталась заставить работать и Наргис, едва та появилась в гареме. С тоской в сердце молодая эмирша Суада почувствовала, что привезенная в гарем горянка — опасная соперница, что Наргис может занять место молодой эмирши в гаремной иерархии.

Этого Суада не могла допустить. Она попыталась подчинить себе Наргис, бросилась на нее с кулаками, но встретила отпор. Дело дошло чуть ли не до потасовки. И Баба-Калану пришлось успокаивать молодых особ.

Оказывается, эмирша Суада все-таки возревновала. Она так кичилась своим положением любимой жены и испугалась, увидев Наргис в расцвете юной красоты и ощутив ее нравственную силу. Узнав, что Баба-Калан брат Наргис и что ее соперница не претендует ни на какое место в гареме эмира, а мечтает сбежать, Суада сменила гнев на милость и постаралась подружиться с Наргис, особенно когда узнала о ее любви к юноше Шамси, трагически погибшему от руки палача. Дружба двух красавиц оказалась очень полезной и своевременной. И дальнейшее разворачивание событий во многом определялось этой дружбой.

VII

Когда даруешь милость, — к тебе приходит слава,
Когда мстишь — ты вызываешь сожаление.
Абу Фаридж

О, дуку которого укрепилась власть!
Ведь путь ведет к насилию.
Но ты творишь его над самим собою.
Навои

Сеид Алимхан не знал, что, откладывая бракосочетание с Наргис, возделенную ночь наслаждения, он фактически отстранил от себя смертельную опасность. Да и как он мог подумать, что гибель какого-то молодого человека — некоего комсомольца Шамси, о существовании которого он и не знал, могла навлечь на его царственную особу угрозу неотвратимого возмездия.

А у Наргис давно созрело решение. Ее любимого зверски убил эмирский палач, иначе она и не могла думать. Убийство совершено по наущению эмирских людей, подосланных из Бухары.

Да что там рассуждать и раздумывать! Расплата свершится! И расплачиваться будет сам дикий деспот и тиран. И удар нанесет она — Наргис. Она отомстит за Шамси... Сама, своей рукой.

Наргис сознательно отклонила все попытки самаркандского Ревкома, родных и знакомых вырвать ее из дома бая в Карнапе, где ее сберегали для эмира. Она дала молчаливое согласие называться нареченной невестой Сеида Алимхана, когда в Карнап приезжали свахи — гаремные старухи «ясуманы». Она, наконец, заставила слабовольного, влюбленного в нее поэта и летописца Али, после налета дивизиона на Карнап отвезти ее не к своим в Каттакурган или Самарканд, а проводить по дорогам, кишущим ширбачами и эмирскими стражниками, через Гиждуван в Бухару — в загородный дворец Ситоре-и-Мохасса. Твердо и непреклонно сжимала она рукоятку кинжала, спрятанного на груди, и ждала в лихорадочном нетерпении прихода ненавистного эмира. Рука у нее — слабой, нежной девушки — не дрогнула бы. Так она ненавидела.

И видит аллах всевышний, не ее вина, если эмир остался жив и невредим только потому, что в связи с опас-

ностью гибели эмирата в суматохе последних дней он забыл дорогу в свой гарем.

Не надо думать, что сама Наргис была столь тверда и бесчувственна. Предстоящая встреча с эмиром — а она казалась неизбежной — ужасала ее. Она отнюдь не была героиней. Но воспоминания о трагедии ее первой любви, какое-то безумие владели всем ее существом. Образы героических женщин прошлого, шедших беззаветно на подвиг, ни на минуту не оставляли ее... Она выхватывает кинжал, она замахивается, ударяет... Она видит безумный страх в глазах тирана. Она видит его ползающим у ее ног с жалостными воплями... Нет, она не поколеблется ни секунды, и кинжал ударит в грудь злодея, как меч ангела смерти... Месты! Месты!

И для нее ожидание момента мести было не менее ужасным и мучительным, чем самая месть...

А теперь она страшно переживала.

Все оборвалось. Все планы рухнули.

Ее везут в расписной крытой арбе, скрипящей своими огромными колесами, по тряской, бесконечной дороге. Эмир не показывается. Ни разу он даже близко не подъехал к обозу.

О, если бы он хоть на минуту заглянул бы под навес арбы!

Рука Наргис сжимает рукоятку кинжала... Она бы успела.

Страдания невыполненной мести
Поистине неутолимы...

VIII

Все знали, что тело у него железное, чего никак нельзя было сказать о его сердце, которое не могло устоять ни перед одной парой ясных глаз.

Ибн Хазм

Зло живуче в нашем мире. И Баба-Калан убедился в этом, встретившись как-то вечером на одном из мрачных айванов дворца с Мирзой, своим родным братом. Встречи этой, конечно, лучше было бы избежать, но от Баба-Калана сие не зависело, а как выяснилось впоследствии, Мирза, напротив, искал встречи с Баба-Каланом.

Как должны были повести себя братья-враги в такой

ситуации, можно себе представить лишь приблизительно: недоумение, самые мрачные подозрения, неприятные воспоминания могли вылиться в резкое столкновение, гибельную ссору, громкий скандал.

Когда ты раскусил яблоко,
Что тебе приятнее найти,
Целого червяка или половинку?

Но братья были людьми Востока с его чудесами и невероятностями. К тому же оба исповедовали ислам, а мусульманину — правоверному — надлежит покорно склонять голову перед велениями судьбы. Кismet! Так суждено.

Мирза первый сделал движение и... обнял брата, который весь сжался и напрягся, сопротивляясь проявлению столь родственных приветствий. Объятие выглядело сухим, формальным, лишенным какой бы то ни было нежности. Баба-Калан, не питавший даже в детстве нежных чувств к Мирзе, тоже обнимал его теперь, стараясь скрыть свое недоумение и, выиграв время, ждать, несомненно, возникших у Мирзы вопросов.

Во всяком случае Баба-Калан подготовился к такой встрече: еще в Тилляу ходили слухи, что Мирза, сын охотника Мергена, вернулся после долгих скитаний по свету в Туркестан и служит при дворе эмира Сеида Алимхана. Сам Мерген никому не рассказывал о сыне Мирзе и держался так, словно у него и не было никакого сына Мирзы. За последние три года Баба-Калан ни разу не попадал в Тилляу, а с отцом встречался только два раза в очень напряженной боевой обстановке и поговорить им о Мирзе как следует не довелось.

Мрачно и неохотно Мерген выразил свое неодобрение поведением Мирзы:

«Книжный червь грызет свои книги. Ореховый червь грызет орех. Забыл, что сам из народа и вредит народу».

Сам Баба-Калан, мы знаем, сталкивался уже с братом во время путешествия в Мешхед и в поисках сестры Наргис в Агалыкских горах и Карнапе, и давно составил весьма ясное представление, в кого Мирза превратился.

И сейчас при встрече на дворцовом айване Баба-Калан насторожился и мысленно ошетинился.

А вот Мирза знал о своем брате гораздо меньше.

Надо учесть: Мирза не знал, что Баба-Калан состоит на службе в рядах Красной Армии да еще в частях Особого Отдела. Вообще у Мирзы, всегда высокомерно настроенного, выработалась привычка не замечать «малых мира сего».

Видел ли ты павлина?
Клюв его всегда задран вверх.
Он не видит, куда ступает.

К тому же с детских лет он привык относиться к брату обидно-пренебрежительно. Он презирал в нем неграмотного пастушонка и простака, ни на что не способного.

Много лет братья были разлучены. Впервые Мирза встретился с Баба-Каланом в караване, направляющемся из Бухары в Мешхед самым простецким погонщиком верблюдов — тюячи, полунищим оборванцем, и Мирза тогда даже постыдился открыто признать его братом. Вообще же если даже до него и доходили слухи, что Баба-Калан служит в Красной Армии, то он как-то не придавал этому значения. Что из того? Мало ли кого большевики призывали служить под свои знамена. Тем более общие знакомые, встречавшие Баба-Калана в Самарканде или Каттакургане, никогда не видели его в красноармейской форме. Всегда он ходил в узбекской местной одежде. Впрочем, Мирза не задумывался над судьбой брата: где он? Что он? Да и что там думать о незадачливом парне.

Сейчас при встрече бледное лицо Мирзы даже не покраснело. Никаких переживаний!

Мирзе понадобились секунды, чтобы поставить брата на свое место.

Высвободившись из объятий, он надменно отшатнулся и процедил сквозь зубы:

— Добро пожаловать, брат мой! Пройдем ко мне в мою скромную худжру. Следуй за мной!

Но и в небольшой, впрочем, богато убранной комнате, он нисколько не умерил своего высокомерия. Он не проявлял любопытства, вполне естественного, почти не задавал вопросов, а сразу же как опытный игрок в шахматы «расставил фигуры на доске по их значению».

«Волею всевышнего мы, то есть я, Мирза, — мы, назир и доверенный советник их высочества Сеида Алимхана, и ты, мой младший брат по имени Баба-Калан, являемся ныне родственниками халифа правоверных Се-

ида Алимхана, да хранит всеблагой его здоровье и долголетие!»

— Родственниками? Тоже мне родственничек... — возразил Баба-Калан грубо, но у него хватило сообразительности невнятно, неразборчиво прогугнявить последние два-три слова.

Но Мирза не соблаговолит даже услышать, что говорит брат, и твердо отрезал:

— А посему твое нахождение во дворце будем считать вполне правомерным и законным. На вопросы же дворцовой челяди отвечай: «Мы свояк их высочества. Супруга их высочества госпожа Наргис — наша сестра». Ты разве не знаешь, простофиля? Понял? Понял! А теперь закрой свой рот, больше не разевай и слушай.

Так Мирза узаконил неблагоприятные «визиты» Баба-Калана во дворец, не задумавшись, каким образом Баба-Калан очутился в Бухаре. Да и что он мог вообще в ней делать.

— И не задавай вопросов. Действуй и говори осмотрительно. Ты всегда был неловок, мужлан, простофиля. Что? Что ты сказал?

— Язык — конь. Не взнуздаешь его железными удилами, сбросит в грязь.

На этот раз Баба-Калан говорил открыто, смело, усиленно кивая головой, так что подбородок упирался в голую грудь, что отнюдь не придалало ему умного вида.

— Так-то лучше... И прекрати свои воровские хождения сюда. Гарем халифа — святыня. Нарушивший святыню погибнет.

— Я... Мы...

— Молчи и слушай старшего. Зло сделано, — Мирза снизил голос до чуть слышного. — Но не води украденную козу по улице кишлака, не бросай медный поднос с крыши балаханы. Веди себя осторожно.

И тут, к изумлению хитреца Баба-Калана, — а он считал себя хитрейшим, — выяснилось, что его брат, эмирский назир и ближайший советник уже знает, что Баба-Калан связан со служанкой Савринисо и удостоен милостивой благосклонности ее госпожи Суады-ханум.

«Не так уж это и предосудительно. Мало ли какие капризы приходят в голову гаремным красавицам и их служанкам. Увидела эмирша могучего батыра случайно в дворцовом саду, а может быть, и на базарчике перед воротами, когда проезжала в расписной арбе, узнала.

что он возлюбленный Савринисо, и, благосклонно покровительствуя этой чистой любви, с симпатией отнеслась к Баба-Калану. Она смотрела на него без покрывала, и он видел ее лицо, что категорически запрещено кораном, тем более, что Суада — избранница халифа правоверных, — думал Мирза. — Конечно, это плохо и подрывает устои и грозит гибелью провинившимся, — но все же Баба-Калан брат, и Мирза не счел возможным выдать его и подвести под нож палача. Да к тому же и неплохо держать в своих руках «тайну» молодой эмирши. Мало ли какую пользу можно извлечь из всего этого».

Тайна — это таинственная вещь:
То ей грош цена,
а то она весит
бухарский батман!

Теперь единственный способ, чтобы «наложить печать на уста сплетни» — это объявить Баба-Калана родственником эмира. И тогда «гвоздь строгости прибьет длинный язык к воротам молвы». Баба-Калану знакомо было наказание болтунам: за распространение слухов виновников прибивали арбяным гвоздем за язык к воротам арка на несколько часов.

И все же Баба-Калан недоумевал. Он никак не мог понять. В мозгу его мельтешили обрывки слухов, какие-то неясные разговоры.

Знал он, что его сводная сестра, комсомолка Наргис, воспитывавшаяся в семье доктора Ивана Петровича в Самарканде, была похищена басмачами среди белого дня и увезена в Бухарское ханство. Знал он и то, что похищение организовал его брат Мирза. Приближенный бухарского эмира, молодой младобухарский деятель Мирза считал богопротивным делом, что девушка-мусульманка возвращена в семье кафира и обучается в русской школе. Не смог стерпеть также Мирза и то, что девушка выходит замуж за большевика Шамси. Когда террористы-контрреволюционеры убили Шамси, Мирза возымел намерение сосватать сестру за самого эмира и, породнившись с его высочеством, упрочить свое положение при дворе. Девушка была красива, и эмир, известный своим сластолюбием, не замедлил согласиться сделать ее своей сорок третьей женой. Вот уже более месяца Наргис томилась в эмирском гареме.

Проникнув по заданию командования во дворец Ситоре-и-Мохасса с целью вызнать планы эмира и в случае, если народное восстание возьмет верх и эмиру придется бежать из Бухары, помешать его бегству, наш Баба-Калан, несмотря на все препоны, замки и запоры сумел встретиться в гареме с сестрой и хотел помочь ей бежать из Ситоре-и-Мохасса. Каково же было его удивление, когда он узнал, что Наргис и не помышляет о бегстве, что у нее совсем другие мысли и планы. Ошеломленному Баба-Калану она успела только шепнуть:

«Братец, ты ничего не понимаешь. Ты забыл про моего Шамси, а я не забыла. И не забыла, что мой Шамси погиб от руки эмирских палачей. Эмир — виновник... Эмир».

Она заплакала, задернула лицо чадрой и ускользнула, оставив Баба-Калана в растерянности: «Она ненавидит эмира... Но почему она не хочет бежать от эмира?»

Наргис даже не захотела слушать его, а ведь она, занимая такое положение во дворце, могла бы помочь брату в его планах.

Неудача ничуть не обескуражила Баба-Калана; тем более, что он был вхож во дворец и надеялся в другой раз все подробнее выяснить.

Начавшееся восстание народа, наступление Красной Армии, пришедшей на помощь повстанцам, штурм древних стен Бухары заставили Баба-Калана действовать. Вспыхнула искра. Момокалдырак поехала по небу. Грянули гром и молния.

Сейчас главное — не дать эмиру спастись бегством.

И надо же, чтобы встреча с братцем Мирзой произошла именно сейчас. В растерянности великан прятал за спиной свои сжатые в бессильной ярости кулаки. Надо что-то решать и мгновенно.

Провал всех планов?

Заставить братца Мирзу молчать о встрече?

Но как? Ведь все же это родной брат!

Не может же он удушить своего брата!

Что делать?

Сейчас Мирза позовет: «Эй, стража! Взять его!»

Но Мирза не собирался оставлять своего брата в неведении и посвятил его частично в свои планы. Больше того, по мысли Мирзы брат его Баба-Калан должен был стать верным его помощником и соучастником, конечно, в меру его умственных способностей. И тут Мир-

за держался высокомерно и надменно. Ни на минуту не допускал равенства с братом. Он, Мирза, ученый, преуспевший в Стамбульском медресе все вершины знаний, известный на Западе и Востоке деятель, а ныне уполномоченный западных государств при дворе эмира Бухарского, и к тому же назир и советник, оказывал своему младшему брату величайшую милость, ибо брат его как был нищим пастухом, таковым и остался. И Мирза ничуть не скрывал, что он стыдится и своей семьей, и отца своего, простого охотника, горца Мергена, и презирает свой родной кишлак Тилляу и всех его обитателей, «грязных, пачкающих подола своих халатов в навозе»...

Попытку протестовать — а Баба-Калан попытался заступиться за имя своего отца — эту робкую попытку Мирза сразу же и в высшей степени высокомерно обрвал:

— Молчи. Не забывай, где ты и с кем говоришь.

Все же он приказал подать чай и еду, обильную и богатую. Он предпочел разговаривать дальше за угощением. Не словом убеждают, а пловом. И он тут же, разморенный и несколько смягчившийся отличной бараниной и янтарным рисом, посвятил Баба-Калана в свои дела.

Прибыв из Турции в Бухару с высокой миссией, Мирза сумел всем внушить, что он облечен самыми высокими полномочиями Лиги Наций — и, заняв подобающее положение чуть ли не второго лица в государстве, Мирза не удовлетворился своими жизненными успехами. Честолюбие обуревало его. Одно время он возымел желание посвататься к дочери или сестре Алимхана, но эмир не нашел в своей семье подходящей невесты, а возможно, при всем желании угодить Мирзе, не счел какого-то выходца из канджигалинских первобытных горцев достойным сочетаться браком с принцессой эмирского мангытского благородного рода. Эмир не отказывал открыто, а тянул и отделывался всякими обещаниями.

События в мире и, в частности, в Туркестане не позволяли ждать. И Мирза ухватился за другую возможность.

«Уксус в наличии лучше обещанной халвы».

Роль уксуса пришлось сыграть сестре Мирзы — Наргис.

По своим делам Мирза заезжал и не раз в Самар-

канд. Навещая каждый раз семейство доктора, он был в курсе дел, касавшихся своей сводной сестры. До поры до времени он скрывал свое недовольство тем, что она учится в русской школе. Да и что он мог сделать, чтобы помешать этому. Но после Октября, узнав, что Наргис учится в новой советской школе, возмутился: «Как? Совсем юная девушка, девчонка уже отравлена ядом большевистских идей!»

По-видимому, замысел увезти Наргис из Самарканда возник у него в последний приезд в Самарканд, когда он увидел, что она созрела и превратилась в красавицу.

Нарциссы надели золотые венцы,
Лилии облачились в китайские шелка.
В руке тюльпана — рубиновая чаша.
Кошелек бутона полон золота.
Скромно прикрыла рукавом лицо,
И солнце зашло в вечернюю зарю.

Знал он и о привычках эмира Сеида Алимхана, ближайшим советником которого он сделался к тому времени.

«Прекрасный способ породниться с Сеидом Алимханом! Теперь эмир уже сделает меня первым при дворе. Законы родства у нас, узбеков, незыблемы».

Согласия у Наргис он не спрашивал. Да и кто спрашивает о чувствах у девчонки?

И потом он не считал, что совершил что-либо предосудительное. Он вырвал любимую сестру из трудной, полной лишений жизни первых лет Революции.

Да и в чем, наконец, дело? Быть женой самого халифа — доподлинно высокая честь. Это значило расстаться с дымным очагом или кухонной плитой, не спать на жестком ложе, а нежиться на шелку или бархате одеял, есть не скудную пайковую пищу вроде шаули, а плов или шашлык, объедаться сладостями поистине сказочными.

И не обязательно быть законной женой: многих девушек втайне прельщало сделаться и просто наложницей. Жизнь такая же сладкая, да еще в перспективе выйти замуж за кого-либо из молодых вельмож. По всему Туркестану шел слух, что ежедневно для гарема эмира умелые ошпазы варили по пять пудов сладчайшей халвы с орехами и миндалем, и что в обычае эмира

«приевшихся» временных возлюбленных пристраивать солидно замуж.

Бросая сестру в сказочную обстановку эндаруна, Мирза всерьез полагал оказать ей благодеяние. А что касается личных чувств Наргис, поэтических мечтаний, соловьев, роз, то все это и выеденного яйца не стоит.

Миска горяча от плова.

Мирза сумел раскалить воображение эмира, и тот дал клятву, что берет Наргис в жены. Он объявил при дворе во всеуслышание Мирзу зятем!

Зять халифа! Зять властелина Бухарского ханства! Да, безвестный сын канджигалинского горца, бродячего охотника Мергена отныне зять самого халифа правоверных.

К тому же Мирза получил теперь официально звание назира. А в сочетании с тем, что он прибыл в Бухару с полномочиями посланника из Лиги Наций и с тайной миссией от консула Британии в Мешхеде Эссертона, Мирза при дворе эмира приобретал весьма внушительный вес. Эмир отныне каждый свой шаг согласовывал с ним. Мирза был облечен поистине неограниченной властью.

Жадному — брань, щедрому — хвала! Пожертвовал Мирза сестрой и стал недосягаем в вершинах власти.

Да и с какой стати Наргис должна быть несчастна? Совсем ей не к лицу страдальческая улыбка. Да и почему супруг Алимхан должен вызывать физическое отвращение? И совсем уж он не такой неприятный. Красивый, несколько квелый, рыхлый, правда, но молодой. Чем не муж? А призвание женщины гарема — услаждать похоть супруга и рожать наследников. Разве лучше плодить с каким-нибудь «пирлетарием» или чабаном кучу крикливых ребят? А собачий лай везде одинаков.

А пока что Мирза смаковал жизнь. Он чувствовал себя великим деятелем Востока.

Мирзе нужен был Баба-Калан именно сейчас, сию минуту. За стенами дворца не смолкал гром орудий большевиков. Жалобно дребезжали стекла в богатых рамах. Летучая мышь металась под потолком.

Решив, что Баба-Калан вполне обработан и убежден, Мирза приказал:

— Отныне ты дворцовый служащий. Назначаю тебя ясаулом... Будешь охранять покой супруг их высочества.

— Э-э? А Наргис?

— Нет, Наргис как любимая невеста халифа находится под моим попечением. Ты занимайся охраной остальных.

IX

Ложь — удар, но шрам остается.

Саади

— Самый непобедимый человек тот, кому не стыдно быть глупым.

Эту и многие другие поучительные и мудрые сентенции успел высказать сыну своему Баба-Калану старый Мерген, появившийся столь неожиданно в привратницкой летнего дворца.

Старый Мерген — он уже и в ту пору почитался в своих горах Канджигалы аксакалом не столько за свою седоватую бороду клинышком, сколько за то, что являлся в полном смысле кладезом мудрости, — не мог, несмотря на чрезвычайно сложное положение и подстерегавшие его везде опасности, не поучать своего великовозрастного сына.

— Мысли у тебя, сынок, не ведут за собой слова, а едва догоняют их. И все потому, что человек ленив. Заветные желания его — пожрать да чайку попить. Видно, от сладкой дворцовой халвы тебе кровь в голову кинулась.

Перед отцовским авторитетом Баба-Калан всегда сникал. Как он мог ему объяснить, что именно во дворце Ситоре-и-Мохасса он проявил чудеса изворотливости и хитрости. А Мерген все продолжал:

— И норовист ты еще. А конь с норовом быстро устает. И как могли тебя послать сюда твои начальники? Ты архар — горный козел. Должен вон как резво прыгать по утесам...

Баба-Калан почтительно слушал отца, усиленно подкивал. Ему полагалось соглашаться. Но он-то, Баба-Калан, отлично знал, что его отец Мерген — проводник Красной Армии со дня ее создания, что он привлечен к этому делу, как знаток Зеравшанских гор, что Мерген ненавидит баев и беков, а тем более эмира. И жестокий их враг.

Знал Баба-Калан и то, что отец его имел уже много наград и поощрений от командования Красной Армии за свои героические дела. А вот сейчас приходилось выслушивать самые нелепые вещи и помалкивать,

Оказывается, по словам самого Мергена, он, почтенный и уважаемый лесничий Канджигалинского лесного хозяйства, поспешно выехал из своего кишлака Тилляу, получив тревожные вести о своей дочери Наргис. Письмо написали из семейства доктора Ивана Петровича, в котором она жила на правах родной дочери. Когда Мерген приехал в Самарканд, Наргис на месте не оказалось. Ее, оказывается, силой, против ее воли увез в Бухару старший сын Мергена Мирза, ныне состоящий ближайшим советником Сеида Алимхана. По слухам, эмир узнал о Наргис и пожелал забрать ее к себе в гарем.

— Да будет вам, отец, известно, мою сестру силой увезли... Разве она добровольно пошла бы на это?..

Но Мерген пропустил мимо ушей слова Баба-Калана и продолжал:

— Не надо было мне отпускать Наргис учиться в Самарканд... Ошибся я... Зачем девчонке науки? Ее дело не в этом, — в словах Мергена чувствовались не просто досада, злость, но и искреннее горе. — Ты разве не понимаешь, кем стала твоя сестра Наргис? О, дочь свободного горца, могущего без запинки назвать имена одиннадцати своих благородных предков-горцев... И кто она теперь?

— Остановитесь! Наша сестра — невеста их высочества. Уже назначен день свадьбы. Но произошло народное возмущение и началась война... События помешали, и свадьба со дня на день откладывается.

— Ты так говоришь... Эмир хочет взять твою сестру в жены? А где, сынок, доказательства, где свидетельства?

— Все во дворце говорят...

— О, господа, всякое преступление, всякое дурное дело содержит в себе кнут для спины виновника.

— Тут речь идет о спине самого тирана... халифа!

— Пусть... Пусть он царь, повелитель правоверных, но дочь моя. Пусть она дочь моей жены, но перед богом и законом она моя дочь. Она дочь Мергена, которого все знают от Бухары до Андижана. И я пришел говорить с эмиром. И не уйду, пока он, эмир, не подтвердит бумагой, что моя дочь станет законной женой — эмиршей Бухары.

— Отец, я...

— Не возражай... Я не уйду отсюда без бумаги. Как я смогу смотреть в глаза родичей из Тилляу?... Разве

простят они мне, если я упущу возможность, чтобы дочь моя и твоя сестра приобрела титул эмирши?.. Если не будет такой бумаги, нашу Наргис в Тилляу побьют камнями...

— Эвва! В наше советское время!

— У меня должны быть доказательства! Пусть эмир жрет ослитину и кричит: «Уши-то заячьи!» У меня должны быть доказательства!

И хоть Баба-Калан отлично знал своего грозного, непреклонного отца, знал, что тот ненавидит и презирает даже самое слово «эмир», ненавидит ненавистью, как трудовой человек, вечно испытывавший гнет и жестокость властелинов могущества на своей шее, ненавидит все, что окружает эмира в его дворце, ненавидит даже мысль о том, что падчерица может стать наложницей или женой эмира, но в то же время он, сын горца Мергена, и сам горец, понимал, что еще страшнее для Мергена мысль, что дочь его обесчещена. И Баба-Калан понял, что Мергена, большевика и воина Красной Армии, привели сюда, в эмирский дворец, не только задание командования Красной Армии, но и стыд и месть, и что каким бы ни сделала Мергена революция и гражданская освободительная война, но в вопросе семейной чести он оставался тем же непреклонным, неистовым горцем, каким был всю жизнь и какими были его предки.

И Баба-Калан встревожился и перепугался. Он перепугался за участь отца. Он не верил, что Мерген сумеет встретиться с эмиром в такой тревожной обстановке, не верил, что эмир захочет говорить с отцом Наргис, не верил, наконец, в то, что разговор кончится благополучно, если вообще состоится. Эмиру просто было не до того.

Беспокоило и то, что появление Мергена, его неистовство, его вмешательство вызовет осложнения в выполнении задания его, Баба-Калана.

Сам Баба-Калан не видел никакой разницы в том, является ли его сестра наложницей или женой эмира, но его душила ярость от одной этой мысли. Он предпочел бы, чтобы его сестра была несчастной рабыней зверя и тирана, нежели царицей. Очень неприятно воину Красной Армии, бывшему курсанту Военного училища, сражающемуся за свободу народов Востока, писать в анкете на вопрос, кто ваши родственники — «Моя сестра — царица...»

Простим же несколько наивные рассуждения горцяноши Баба-Калана, но надо вспомнить, в какие годы все это происходило. А Баба-Калан спал и видел, что он сделается командиром доблестной Красной Армии. И как было ему понять своего отца Мергена, который мог думать сейчас лишь об одном, как бы покрыть ужасный грех и позор — потерю дочьерью невинности до официального бракосочетания по закону...

И тут Баба-Калан вдруг решил попытаться помешать встрече отца с Сеидом Алимханом.

Мысль эта так вдруг захватила его, что он уж и не слышал последних поучений отца. Он думал:

«Нарушить наставления отца — смертный грех. Но, если я не послушаюсь его, я срублю дерево интриг».

А тем временем Мерген пристально, испытующе, въедливо разглядывал толстошее, благодушное лицо своего сына. Было что-то в этом взгляде до того пытлиное, недоверчивое, что Баба-Калан втиснул голову в плечи и зажмурился, словно от нестерпимого света.

— Я так и знал, что ты, сын мой, слаб... — проговорил Мерген, озираясь по сторонам, точно пытаясь разогнать сумрак, затаившийся в углах мехмонханы и высмотреть, не прячутся ли там «ослиные уши эмира».

Затем он наклонился вперед и через дастархан коротко бросил:

— Тихо!.. Здесь во дворце слушающие стены... Понял?

Баба-Калан только кивнул головой.

— Мы здесь одни. С нами никого нет... А у тебя, сынок, есть люди?

Новый кивок головой.

— Там... — Мерген поглядел на южную стену мехмонханы, откуда сюда доносился приглушенно гул орудийной канонады. — Там не сидят сложа руки на коленях. Час Бухары пробил. А я здесь смотрю... все тихо, благолепно. А их высочество потихоньку собирается уехать... сбежать, заметая след. А! Ты видел, сынок, арбы и лошадей. Что-то очень много арб и лошадей...

— Волею аллаха я здесь, чтобы он не смог уехать... сбежать... А если и побежит, далеко не убежит.

Баба-Калан побагровел, широко раскрыл рот, но больше ни один звук не вырвался из его груди.

— Не убежит... Не должен убежать!

С трудом, наконец, Баба-Калан вымолвил:

— Значит, отец... вы?

— Молчание — золото, ты знаешь... Понимаешь? Бо-

жье благо... Да, он не должен уехать, сбежать... Проклятие на его шею!

Баба-Калан поперхнулся. Обхватив руками свою большую голову, раскачиваясь, сидя на месте, он простонал:

— О, мудрость отцов, а я, Баба-Калан, попросту ишак. Я сижу тут и... не понимаю...

— Тебе смолоду не жватало понятливости...

Х

Кому пришла в голову мысль
о неповиновении?
Выйдет ли он на волосок за пределы
рабского служения?
Гиясэддин Али

Дарвазабон, запутавшийся в своих подозрениях насчет Баба-Калана, продолжал покровительствовать ему, принимая червонцы в свой кошелек. Он сумел устроить его старшим арбакешем и походным кузнецом в эмирский обоз. Но судьба готовила Баба-Калану необычайный взлет.

Неожиданная встреча с братом Мирзой в один миг превратила Баба-Калана в ясаула. В таком высоком чине он сделался начальником обоза эмира, который Сеид Алимхан втайне от народа готовил на случай бегства из Бухары. Он чуял, что приходит конец его царствованию и думал сейчас только о том, чтобы под шумок скрыться, но не с пустыми руками: обоз должен был вывезти золото, драгоценности и высшую ценность — жен эмира.

Сделавшись начальником обоза, Баба-Калан оказался в центре событий. И теперь эмир — так казалось Баба-Калану — сам давался ему в руки.

Откуда Баба-Калану было знать, что эмир оказался хитроумнее. Он рассчитал, что среди беглецов его будут искать в той части обоза (или обозов), где сокровища, а главным сокровищем, с его точки зрения азиатского властелина, были гаремные красавицы. Где же ему быть, как не при своих женах (сладострастие эмира стало притчей во языцех).

Вот почему Сеид Алимхан заранее решил ехать не в гаремном обозе, подготовка которого велась в Ситореи-Мохасса, а с отдельной группой верных телохранителей, держась в стороне и от обоза и от всей дворцовой гвардии знаменитых «палванов». И не слишком далеко,

так, чтобы иметь возможность не спускать с драгоценного обоза своих глаз.

Фантастическая перемена в положении Баба-Калана ошеломила интригана Абдуазала-дарвазабона. Вышло так, что простак и увальень-великан сделался даже начальником привратника.

Мечтал осел о хвосте,
Да как бы уши не потерять...

До последних дней Абдуазал-дарвазабон, хоть и принимал червонцы от Баба-Калана, лелеял план, оттачивал его во всех тонкостях, — как он пойдет с доносом на Баба-Калана к самому эмиру, «преподнесет на серебряном резном подносе» коварный заговор. Но одно дело доносить на какого-то подозрительного бродягу, другое — на ясаула, пользующегося милостями первого советника эмирского Мирзы.

Абдуазал-дарвазабон набрал полный рот красного перца, но молчал. С разоблачением заговора у него ничего не вышло.

Время шло, уже ближе погромыхивали пушки, а у Баба-Калана все еще с набором бойцов в «гурух» — отряд — не ладилось. Схватить эмира — шутка ли сказать! Все условия благоприятны, а видит око, да зуб неймет. Баба-Калан был готов локти себе кусать; но... И ворота, и калитка были доступны, и челядь привыкла к нему, и все его считали за своего, и его фигура примелькалась. Иди, бери эмира, засовывай в мешок и тащи в Каган, но...

С одним конем
капкари не устроишь.

Верных людей, готовых на все с ним, насчитывалось слишком мало, чтобы увезти эмира из-под носа его многочисленной охраны.

Перед народом хан — мошка...
А вот попробуй, прихлопни ее.

И Баба-Калан снова и снова идет искать людей.

В стороне, за арыком с теплой мутной водой, в чаще прячется чайхана, вернее ее назвать кукнархана, потому что чая там почти не пьют, зато даже до ворот дворца

ветер доносит приторный запах кукнара — опиума.

Курение опиума запрещено в Бухарском ханстве, но... Ведь нет среди дворцовой челяди человека, который не нырять бы в эту кукнархану.

И Баба-Калан снова идет туда же. Он знает, что сказал Кей Каус о друзьях:

Друзей по чарке за друзей не считай;
Они друзья не твои, а твоей чарки!

Но у него там встреча, придут люди.

Он переступает порог низкого, полного дыма и терпких запахов помещения.

В кружок в полумраке сидят на красных кошмах дворцовые стражники в облезших, потрепанных мундирах, чистенькие, белочалменные, совсем молодые еще муллабачи из соседнего медресе, солидные, с округлыми животиками дукандары-лавочники, веселые остряки-острословы кирпичнощекие, могучие в плечах арбакеши, более смахивающие на разбойников, и тут же, рядом с ними, явно угры-разбойники, похожие на солидных дукандаров. Особнячком сгрудились, шумят игроки в кости—кумарбозы, подозрительно красные физиономии которых и предательский блеск глаз которых выдают, что они за грех не считают нарушение запретов пророка Мухаммеда по части пьянящих напитков.

Когда скрипнули двери, чтобы пропустить Баба-Калана в помещение, большинство посетителей кукнарханы сидели, уткнувшись лицом в бороду, и пристально смотрели на чайники, стоявшие перед ними.

Они ждали, когда им принесут плов. Об этом не трудно было догадаться по густому запаху пережаренного вместе с кунжутным маслом курдючного бараньего сала. Они попивали не чай, а «обикукнар» или, проще говоря, настой из маковых головок, то есть одурманивали себя опиумом. Новый человек в здешних бухарских местах, Баба-Калан не переставал возмущаться. Всех наркоманов он и за людей не считал.

Поэтому Баба-Калан и не прикоснулся к чайнику, услужливо поднесенному ему чайханщиком. Он не посчитался с тем, что мог легко навлечь на себя подозрение. Кто из коренных бухарцев мог позволить себе проявить враждебное отношение к столь распространенному пороку, да еще к заведению, доход от которого аккуратно поступал в дворцовую казну.

Заметив, что гость и не притронулся к опиумному настою, чайханщик снова сорвался с места у самовара и принес в коробочке на подносе какие-то пилюли.

Баба-Калан отстранил и подносик и коробочку таким движением, каким отшвыривают от себя ядовитую гадину.

— Мы уже давно заметили, что господин не из здешних, — подобострастно зашепелявил чайханщик — у него был полон рот жевательного табака — наса. — Но господин могут быть спокойны. Позвольте предложить вашей милости китайские пилюли из вываренного терьяка. Весьма полезны для желудка и сердца. Извольте. Очень хорошо пожевать перед пловом. Прошу.

К пилюлям Баба-Калан не прикоснулся, но превосходному плову отдал должное, так как с утра он ничего не ел и у него давно посасывало под ложечкой.

«Теперь уже и всякий чайханщик спрашивает и задает вопросы, теперь он уже пронюхал, что я не из здешних. Хотел бы я знать, а сколько здесь сейчас эмирских джасусов — соглядатаев — среди этих презренных кукнаристов. А наши стрелять совсем перестали. Ох, и медлят, ох, и медлят. Так недолго и упустить эмира».

Действительно, канонада по ту сторону Бухары совсем затихла.

Он вздрогнул от резкого, гнусавого возгласа «Бисмилля!». Но, оказывается, тревожиться не следовало. Это кары — чтец корана — принялся нараспев, покачиваясь всем туловищем, гнусавить наизусть священную повесть о великих подвигах мусульманских борцов за веру. С аффектацией, весь корчась, кары делал паузы в самых неожиданных местах. Он вскрикивал, рыдал, стонал... Начинали вслед за ним кричать и стонать кое-кто из посетителей. Это не мешало многим из них тут же приниматься за кости или карты.

По кругу пошел кальян. По сладковатому запаху Баба-Калан сразу определил: анаша. Курили по очереди, взхлеб, с увлечением, страстью. Анаша известна на всем Востоке под названием «гашиш». Курение его почитается даже хорошим тоном, хотя разрушительное влияние анаши всем известно.

И Баба-Калану пришлось проявить всю силу воли, чтобы отстранить от себя «гальян бар дошт» — подносителя кальяна, сделав это так осторожно, чтобы вновь не привлечь к себе ненужного внимания. Ну, ладно, опиумную настойку пьют поголовно все горожане, а вот

адашу не курят, пожалуй, лишь нищие байгуши — бедняки, да вольнодумцы — джадиды.

Особую тревогу вызвал у Баба-Калана один обрванец. Трезвый как стеклышко он усиленно пытался всучить Баба-Калану несколько изящных зубочисток — дандон ков. Действовал он назойливо, выражая громкогласно недоумение, почему такой толстый, обладающий «сотней» зубов, ни с того ни с сего отказывает себе в удовольствии поковырять в них.

Определенно сегодняшнее посещение кукнарханы было неудачно. Надо уходить. Но Баба-Калан решительно не мог этого сделать. Среди искаженных, изуродованных гримасами физиономий мерцали фосфорическим светом и лица нескольких нужных людей, лица народных мстителей, с которыми он условился встретиться именно здесь, в кукнархане, как месте, вызывающем в эмирских соглядатаях меньше всего подозрений.

Баба-Калан искал всюду таких людей. Ему нужны были приверженцы. А где их найти, как не среди мусульман Бухары. Ведь город этот — адское место, где люди живут на раскаленных углях, где бедняки всю жизнь горят в огне нужды. Хлеба нет, риса нет, одежды нет, здоровья нет... И живет мусульманин... Грешник и в аду привыкает к пламени отчаяния и возносит хвалу аллаху и... эмиру.

Вот один из курильщиков, нескладный, косая сажень в плечах, малость вялый, голова круглая, низко посаженная в плечах, уголки быстрых глаз оттянуты к плоской переносице, верхняя губа с волосинками реденьких усов выпирает над нижней. Далеко не красавец, но лицо запоминается какой-то полублаженной улыбкой.

Едва в кукнархане появился Баба-Калан, нескладный курильщик, прятавшийся за спинами, выдвинулся вперед и все с такой же полудиотской улыбкой вдруг затянул на высокой ноте, заныл, перебив крайне невежливо песнопения господина кары:

— О, аллах, старое трещит по всем швам! Эти бесстыдные сумасбродные большевые сломали все преграды и стоят под стенами города! В своем нахальстве они подошли к Бухаре на расстояние, на какое десятилетний мальчик бросает камешек левой рукой! Большевые в ярости стреляют из тысячи ружей. Пусть не ослепляют себя сомнением господа таксыры с длинными бородами — до пупа и в золотых халатах, что у них армия,

что у них эти дьяволы злобы — ширбачи, что у них войско палванов в полосатых халатах! Народ гонит их, как шашлычник рой мух своим опахалом. Увы! Вам, эмир Сеид Алимхан, солнце не успеет брызнуть своими лучами, как красные аскеры поломают ворота Арка и посадят вас в мешок.

— Что ты болтаешь, бездельник! — прервал нескладного курильщика кары, но, видимо, он и сам напугался, и в голосе его звучала неуверенность.— Да тебя, дивану, сейчас на виселицу... Да ты!..

— А что я молчать буду?.. Я сейчас пришел от Каршинских ворот и все своими глазами видел... — И нескладный курильщик распялил пальцами глаза, да так, что вывернул красные веки и от вытарашенных глазных яблок лицо стало ужасающим. Он выдвинулся вперед, выхватил кальян, затянулся до кашля и захрипел устращающе: — Пусть я дивана, но единая ложь оскверняет тысячу истин. Вот сидите вы здесь, а не знаете, что врата Бухары падут, разбитые в щепки, что пушки своими жерлами направлены на вас... Народ — саранча. У саранчи нет полководца, но она все сокрушает. А теперь у народа появился на коне вожак и имя его Пирунзе, он идет, он надвигается, и в руке его огненный меч!

Кто-то из сумрака подал робкий голос:

— Где же их высочество?.. Говорили же: опоясался он поясом мужества, вооружился мечом мести и...

— Что «и»?

— Вооружил своих советников, мулл, ишанов, мударрисов, и, подняв кораны над своими головами, они пошли бить большевых.

— Как же, как же... Ни одной белой чалмы я не видел на поле боя ни среди живых, ни среди убитых. Есть у эмира осел, ученей его самого... похож на такого муллу с кораном под мышкой.

— Эй, замолчи, наконец! — закричал кары и, обращаясь ко всем сидящим, простонал: — Кара небесная на наши головы. Наш пресветлый эмир в опасности... Встанем же, мусульмане, как один, и стеной на большевых! Эй, вы! Вставайте же!

Но никто и не шевельнулся. Правда, один из стражников было положил свою пятерню на плечо нескладного курильщика, но тот легким движением попросту стряхнул ее и воскликнул, обращаясь к кары:

— Смотрите на него, задрал голову и забрался на насест высоко. Пророк настоящий. Никакая курица глаз

ему не выключет. Эй, шли бы все по домам! Большевые уже около Каракульских ворот! Видел я их островерхие шапки. Бежал я что есть духу... предупредить.

Тут он привел свои глаза в порядок и, поднявшись, зашагал через ноги и колени сидящих к Баба-Калану.

Они вышли вдвоем. За ними теньями скользнули несколько человек.

Поколебавшись, за ними вышел кары. Он жалобно взмахнул рукой и пробормотал что-то на прощание.

Кукнархана опустела.

XI

— Того, кто живет в созерцании наслаждений, необузданного в своих страстях, жадного в еде, ленивого в поступках, трусливого в битве — именно его владыка смерти сокрушит, точно вихрь бес- сильное дерево.

Джаммапада

Моя жизнь — странствования от двери к двери,
Мой доход — заклинания, амулеты,
Мой дом — монашеская ханака,
Мой наставник — благочестивый шейх.

Ибн Мункья

Поразителен Восток. Благодушный и спокойный, романтически загадочный и равнодушный к человеческим судьбам. А восточные базары — это вообще небывалый в своих контрастах и деталях, красочный и своеобразный мир. Таким базаром и был базар у дворца Ситоре-и-Мохасса.

Как и всегда, на спящий ночной базар прибредают с пронзительным детским плачем шустрые рыжие шакалы порыться в базарных отбросах. Как и всегда, долго не могут угомониться вороны в кронах карагачей. В хаузе у маленькой мечети заколебались блики звезд, а за оплывшим глиняным дувалом старого кладбища вдруг взвыла гиена. Вой ее заставил вздрогнуть старенького имама, который только-только задремал на своем ветхом одеяле, перестав прислушиваться к далекому гулу пушек.

— Кто здесь? — встрепенулся он при виде темной фигуры в дверях.

— Не волнуйтесь, отец, я свой, — вполголоса говорит Баба-Калан.

— А ты не Хызр, бродячий дух? А ты знаешь, невежда, Хызр может появляться благочестивым в разных образах. Где ты шатался? Спать пора. Что слышно в мире?

Старичок-имам равнодушно позевывает. Озабоченно вытягивает он с полки одеяло и подушку и постилат на полу для Баба-Калана. Великан квартирует у него и платит одну теньгу в сутки за постель и... за новости. Баба-Калан обязан рассказывать перед сном новости базара. И сейчас, снова сладко зевнув, старичок спрашивает, но лениво, равнодушно:

— Гром перестал? Эти красные солдаты тоже угомонились?

Сейчас, когда наступила ночь, старичка-имама ничуть не интересуют военные новости. Сладко зевнув, он спрашивает затихшего на ватной подстилке-курпаче Баба-Калана:

— А что, эмирши-сладкоежки очень красивые?

Баба-Калан не отвечает, но он не спит. Его очень заботит все, что касается народного восстания — битвы у стен Бухары. Он побывал сегодня в сотнях мест. Он разговаривал со многими людьми, и кто-кто, а он уж отлично знает во всех подробностях о событиях сегодняшнего дня. И особенно мучит его вопрос: «Где сейчас эмир? Во дворце ли он? Что он делает?»

Баба-Калан не может заснуть. Он перебирает в памяти все, что произошло за сегодняшний день.

Мечом всех языков

Я искрошил свою печень.

Перед его глазами так и стоял сам Сеид Алимхан — глава многомиллионного государства, владыка ханства, тиран, деспот. И ничего величественного, внушительного в его внешности не было. (Лишь несколько часов тому назад Баба-Калан лично столкнулся с ним в одном из парадных покоев дворца). Рисовая белизна лица, невыразительные, прячущиеся в зеленовато-синих впадинах глаза, мокрые губы, бегающий взгляд, сорочья манера вертеть белой чалмой... Весь какой-то бесцветный, посредственный, хотя и с красивой, ухоженной черной бородкой, окаймляющей пухлые, словно только что взошедшее тесто, щеки. Невольно Баба-Калан припомнил, что эта бородка — предмет тщательной заботы эмира.

Сеид Алимхан, судя по тяжелой походке, по глухому разговору, болезнен, нуден, опустошен. Заботы, свалившиеся на его плечи, придавили его, напугали.

И впечатление это только усиливается, едва он соберется вымолвить хоть два-три слова. Несколько раз он моргнет глазами, неловко улыбнется и тогда уж заговорит. Правильно про него говорят: «Наш эмир извинительно улыбается, даже когда скрепляет своей подписью смертные приговоры».

Он бормочет здесь, во дворце, что-то невнятное. До ушей Баба-Калана долетают беспорядочные слова:

— Понастроили «завуд-фабрик-машин»... На них дармоеды — падаринга лаанат — рабочие голову от безделья задрали, джадидских бредней наслушались, с большевыми якшаются. Из ружей стреляют. Кто дал им право иметь оружие?.. Приказываю всем отрубить голову... всех кафиров прирезать... Туркестан-Ташкент — источник зла. Послать армию на Ташкент, разрушить город до основания. Раньше при правоверных эмирах этих проклятых рабочих было два-три — сейчас муравьи в муравейнике.

Он стоит посреди зала слабый, растерянный. Он робко, пискливо призывает:

— Народ Бухары... правоверные!.. Обнажим мечи... Все на войну с неверными...

Его призыв ничуть не вдохновляет придворных, толпящихся вокруг него. Это сборище грязных людишек, лишенных стыда и чести, по глубокому мнению Баба-Калана. Это лицемеры, ханжи, большие духовные чины, судя по благообразным бородам. Пророчествующие дервиши в высоких шапках с перхотью на кудрях. Подхалимы вельможи, судя по расшитым камзолам и золотонабивным халатам, только и способные отвешивать поясные поклоны. Какие-то, судя по старинным мундирам, царские чиновники, нашедшие после революции прибежище в Арке. Суетливые болтуны в черных ермолках, по-видимому, из законовеев. Бородачи с лоснящимися, гранатового цвета скулами. Видимо, впавшие в панику купцы, охающие и недоумевающие, закрывать базары или, наоборот, открывать. Отдельной толпой переминаются с ноги на ногу курбаши и беки, все при серебряных саблях и маузерах. Они бубнят что-то невнятное и на выкрики эмира: «Джихад! Джихад! Где моя армия?!» — растерянно разводят руками. Тут же в толпе белоликая молодая дама в декольтированном

платье с треном в сопровождении спутника — господин благородного дипломатического вида. Она подзуживает, и он громко спрашивает: «Ваше высочество, какая обстановка?» Эмир взмахивает четками и кричит: «Некогда!» Он вдруг хватает какого-то военного и вопит: «В армии у нас девять тысяч штыков... Семь с половиной тысяч сабель... Двадцать семь тысяч могучих ополченцев... Пятьдесят пушек... И все отступают, бегут от двух тысяч большевиков, от «черного люда», у которого и ружей-то нет!..» Вопль эмира срывается в рыдания.

Толпа закружилась, завертелась.

Сеида Алимхана увели во внутренние покои.

На Баба-Калана никто не обращал внимания — подумаешь, новый ясаул. И он мог свободно бродить по залам, заполненным людьми дворца. Они скапливались по углам, растерянные, с бегающими глазами, с трясущимися бородами, на что-то надеясь, чего-то ожидая. И, вглядываясь в их лица, Баба-Калан думал: «И все они — бухарцы, и для них Бухара родина... Ведь еще мудрец Лукман говорил: «Слово родина обладает тайной силой, великой силой, превращая самых робких в храбрецов. Слово родина порождает героев...» Но эти слова не относятся к этим длиннобородым вельможам.

Баба-Калан не считал себя ни героем, ни философом. Но он был патриотом, комсомольцем и отлично знал, за что он воюет, и он презирал... вернее сказать; за людей не считал весь этот шатающийся по дворцу сброд, «паразитов», как он их называл в душе — торгашей опиумом и анашой, грошевых банкиров, ростовщиков-мздоимцев, зловредных шептунов из бекской своры, белочалменных невежд, мнящих себя учеными богословами, белогвардейцев, военачальников из Бухарского эмирата.

Чувство злобы подкатывало комком к горлу, и вдруг он сообразил:

«Ведь я ясаул. Меня Мирза назначил ясаулом, и мне полагается наводить порядок».

Он зычным голосом отдал приказ:

— Эй! Всем очистить помещение. Разойтись!

Никто не прекословил, толпы так же быстро схлынули, как до сих пор заполнили залы дворца. Слишком устрашающ был вид великана. Он шагал прямо на толпу, и толпа покорно обращалась вспять.

«Как хорошо я придумал, — говорил себе Баба-Ка-

лан, — этот пустоголовый народ все мог испортить, помешать нашему делу».

Он понимал, что время подходит к решительным действиям. Эмир терпел явно поражение. Еще вчера он предъявил Советскому Туркестану ультиматум — в трехдневный срок очистить от советских войск все населенные пункты и отдать Среднеазиатскую железную дорогу под власть эмира. Эмир объявил во всеуслышание, что, если большевые не уберутся подобру-поздорову, он их выкинет, и отдал повеление, чтобы его войска заняли исходные позиции в двух-трех верстах к югу от Бухары и, окружив город Каган, перерезали железнодорожную линию Каган — Самарканд. Эмир был уверен в своих силах, и с величайшим презрением отзывался о мятежном народе — «голытьба, рой мошек, уроды-калеки, нищие, дрянь...» Он впал в ярость, когда узнал, что младобухарский полк пехоты революционных войск наступает стремительно со стороны того Кагана, который он приказал взять и разгромить.

Когда ему сообщили, что красные мусульманские стрелковые полки прорвались через заранее подготовленные позиции — несокрушимые, по его мнению, недавно возведенные дувалы с бойницами, страх и растерянность охватили Сеида Алимхана. С хриплыми проклятиями он обрушился на духовных вельмож: «Кто говорил, что мусульмане не пойдут против нас, мусульман? Что ж, конец света пришел!»

А когда бронепоезд «Роза Люксембург» вплотную подошел к городу и открыл оглушительную пальбу по его стенам, Сеид Алимхан в ужасе бросил Арк и метался по загородным дворцам. Заткнув пальцами уши, он стонал и только на минуту отнимал пальцы. Но ничего утешительного он не слышал.

— Народ с оружием в руках на площади!

— Броневые автомобили у Қаршинских ворот!

— У большевых пушки стреляют как дьяволы! Наши пушки подбиты!

— Кавалеристы в однорогих шлемах уже скачут со всех сторон!

— Еще один поезд... Из него стреляют!

В растерянности эмир кричал на придворных:

— Где мусульманское воинство?! Все убирайтесь из дворца! Идите, воюйте!

Но тогда кто-то ему шепнул:

— Ваше высочество, вы — воин. Вы — полковник

царской армии. Возьмите же меч в руки. Поразите головы черни и большевиков...

Тогда эмир приказал всех выгнать из комнаты.

А казикалану, верховному судье, он сказал:

— Они смеют меня учить. И где это слыхано, чтобы властелин государства лез впереди в толпы врагов, чтобы пасть от руки какого-нибудь оборванного нищего...

И казикалан лишь пробормотал в бороду:

— Зайца губит его петлянье. Бежал бы он все прямо, был бы бессмертен...

Промолчал Сеид Алимхан. Ничем не показал, что он оскорблен.

О чем он думал? Под ударами мятежного народа качался трон. Какие-то мгновения... и все рухнет.

Только что ты был владыкой многомиллионного государства. Только что ты чувствовал себя великим в своей столице со стопятидесятитысячным населением, с 364 мечетями, с 50 базарами, столькими же караван-сараями, с 85 водоемами, со 138 мактабами и высшими духовными заведениями, с великолепными мечетями — Масчит-Калан, медресе Кизил Арслан, с самым высоким в Средней Азии минаретом в 87 аршин, с богатыми дворцами... И величие эмира никого не устрасило, никого не заставило поколебаться. Не помогли громадные стены в десять саженей высоты, в две сажени ширины, длиной в одиннадцать верст...

Под натиском «ничтожных» толп народа они рухнули. И Арк вот-вот рухнет... И не спасут эмира ни башни в шесть саженей высоты, ни одиннадцать верст неприступных стен, ни ошетилившаяся ружьями гвардия... Гремят где-то рядом пушки.

Что это? Вопли разъяренного народа?..

— Вон отсюда! Здесь ловушка! Скорее бежать!

Первый, кто узнал об этом, был Баба-Калан. Он внушал эмиру доверие своей внешностью, и эмир сам ему сказал об этом.

XII

Когда рука не слушает тебя, отсеки ее.

Самарканди

Пока базар упивался своими торговыми заботами и развлечениями, совсем недалеко под раскаты пушечной пальбы решалась судьба эмирата. Восставший народ с помощью Красной Армии громил пятнадцатитысячную

армию эмира, вооруженную новенькими винтовками «Зифельда» и пушками «Гочкис». Все войско уже на второй день сражения у стен города разваливалось, а двадцатитысячное ополчение попросту разбежалось, рассеявшись по степи. Мало кто пожелал положить голову за величие и славу эмира. Оставалось властелину Бухары искать утешение в строфах поэта Неф'и:

Что за времена,
Что за коловращение небес!
Если не изменится что-то,
Пусть в прах обратится
свод небес!

И среди базарной суеты мало кто услышал, как Баба-Калан, жадно перехватывавший все, даже крошечные новости, долетавшие с поля битвы, бормотал:

Нет у судьбы постоянства
Ни в добрых, ни в дурных предназначениях.
Нет у судьбы верности
ни для избранных,
ни для простых душ.

На что крутившийся рядом мороженщик — главный поставщик новостей (он был быстроног и ловок и поспевал всюду) — отвечал тоже стихами:

Что делать?
Не могут ответить...
Убитые молчат.

— Убитые, — спрашивал, с трудом ворочая от испуга языком, цирюльник. — Неужели есть убитые?

— Без числа. Лежат всюду неприбранные, точно собаки.

Ужасаясь и бледнея все больше, цирюльник продолжал брить череп очередного клиента, нараспев произнося строфы:

Нет выхода твоей душе
через врата презренного мира.
Смогри же, так пройди через мусор,
Чтобы и пылинка не пристала к тебе.

И Баба-Калан, и цирюльник, и мороженщик — все они были ценителями поэзии. Все они знали многие стихи восточных поэтов, и им доставляло удовольствие, де-

кламируя, выражать свои переживания. Мороженщик и цирюльник сейчас в звучных строфах мудрых изречений искали успокоение расхоловшимся нервам. А Баба-Калан в радостной тревоге был нацелен на выполнение своего задания и кинулся с базара в Арк. Он почувствовал, что наступил решающий час.

Нельзя, конечно, говорить, что базарная толпа сочувствовала эмиру. В массе люди были ко всему равнодушны. Сеид Алимхан не пользовался ни уважением, ни любовью бухарцев. Больше того — его ненавидели.

Эмир нашего времени,
Ради одного незаконного динара
Десять незаконностей
Превращает в закон.
Эмир — он за пределами правды!

А Сеид Алимхан под все более угрожающий аккомпанемент «грома среди ясного неба» метался в Арке в припадках безумного страха и сыпал ничем не объяснимые, порой дикие распоряжения и повеления.

— Развалить, разнести по кирпичу в прах все «завуд, фабрика, машин». Этих рабочих всюду, как муравьев, расплодилось... Рабочих всех — источник смут — казнить!.. Нос задрали... Наслушались «большевых» да джадидов. Якшаются с урусами. Головы долой! Повелеваем головы отрубить, на ворота выставить... в нази-дание! Эта Туркестанская республика — гнездо кафирских змей... Туркестану голову долой!

Растерянно суетились около него приближенные. Один за другим исчезали, чтобы уже не вернуться, любимцы, подхалимы. «Предел величия» превращался в ничто.

Он осел!
В нем нет и следа совершенств.
Наденет ли он черную одежду
Или зеленую накидку суфия.

Эмир прятал голову под грудой одеял, потому что к ночи усилился артиллерийский обстрел. Канонада сотрясала густой, знойный воздух, подушкой прижавший минареты и купола медресе...

И вдруг тишина. Гул орудий прекратился. Со стоном эмир выбрался из-под одеял. Он встал, шатаясь и беспомощно взмахивая руками. Он пошел. Ноги у него заплетались.

Его подхватили под руки.

Он вышел и... больше не вернулся.

Когда Баба-Қалан, запыхавшийся от бега, кинулся во внутренние покои дворца, эмира там уже не было.

ХІІІ

Житейская корысть, хотя бы в малой частичке, не покидает ни одного сердца.

Мир Ажмон

Мерген принадлежал к разряду твердых людей. Он не прощал даже маленьких промахов и слыл в своем Тилляу беспощадным.

Когда виноград на землях товарищества по совместной обработке земли только-только зацветал, председатель Мерген обходил все шикамы, внимательно рассматривал каждую будущую гроздь, а таких в винограднике имелось без счета, и тут же решал, что делать, чтобы урожай был выше... Он заставлял применять новое в возделывании земли, но не забывал и опыт предков: по всем сводкам, к примеру говоря, надо бы открывать весной виноград, а Мерген постоит, подставив ветру и солнцу лицо, глубоко понюхает воздух и не разрешит. Или все скажут: «Рано поливать». А он пройдет по полевым чекам, не поленится наклониться раз сто и размять комья земли пальцами и прикажет: «Дайте воду».

Зато и попадало любому за не так сорванную кисточку винограда, за оставленные на земле яблоки из падалицы, за плохо сбитый ящик, за брошенный на землю грошевый гвоздик.

«Скупой Мерген» — звали за глаза его, особенно молодые. «Придира. Скрыга».

Да, он был бережлив и даже скуп. «Бороду свою в делах побелил». Принимая гостей, разрешал подавать на дастархане немного лепешек. И его за это попрекали. А на самом деле он просто бережно обращался с каждой крошкой, с каждой сухой корочкой. Он знал по себе, как трудно быть пахарем. Хлеб — святыня. «Наломают лепешки, разбросают, затопчут». Потому же и ни одна рисинка от плова не должна попасть на пол или палас. «Мы-то пахали и сеяли, они сбоку припеку из тех, когда небосвод строили, кирпичи носили». Кто не знает, какой нечеловеческий труд тратят рисоводы под знойным полуденным солнцем. Сколько

воды и пота надо пролить на рисовых чеках, чтобы вырастить эти нежные, тучные зеленые метелки, дающие белые, прозрачные зерна, такие сытные в плове или молочной каше.

Очень скупко отмеривал он чай для заварки. Скупость шла еще от старых времен, от тех времен, когда чай в Туркестане ценился чуть ли не на вес золота, а в период разрухи и гражданской войны и взаправду шел вместо денег: за пять пачек чая выменивали целого барана, а в калым за юную невесту могли дать и сотни две пачек самого что ни на есть высокосортного байхового «кок-чая». Часто гости могли наблюдать картину семейного быта — дверь в мехмонхану приоткрывалась, и у порога на циновку нежная в перстнях и браслетах ручка выставляла два-три чайника, и тоненький голосок сухо приказывал: «Берин! Дайте!» Хозяин, кряхтя, поднимался, чуть ворча и шаря в кармане, направлялся к цветастому, обитому пластинками цветной меди сундуку, со звоном поворачивал ключ в замке, вздыхая, отсыпал из мешочка чай, направлялся к чайникам и аккуратно, чуть ли не отсчитывая чайники, засыпал заварку в каждый чайник. Да, чай ценился. По старой памяти он ценится и сейчас.

А Мерген сохранил привычку скупиться с чаем. Привычка! Экономии, правда, он соблюдал во всем. Оставшиеся после праздничного угощения-тоя в колхозе продукты он брал под свой личный контроль, не доверяя своим завхозам и югурдакам, «которые на деле оставляют зазубрины». Даже оставшийся в котлах плов, как говорится, брался на учет. А уж там вареные куры, баранина, сало, конфеты, фрукты — все аккуратно складывалось в посуду и коробки и отправлялось... Вот тут-то и пилоязычным, и прихлебателям позлословить, назвать председателя «собакой жадности», которая и зернышка проса не упустит — мало ли есть в колхозе обиженных и завистников у председателя, державшего в руках бразды товарищества... Да только у длинноязычных да шлепающих губами сразу же «поток иссякал». К месту, где устранивался только что той, подъезжала шустрая ишак-арба. На нее грузили коробки и кастрюли. Арба быстро исчезала, а так как она обслуживала сиротский интернат, всем оставалось лишь благоразумно попрिдержать языки.

Все это Мерген называл разумной скупостью. Черта эта являлась неизгладимым следом бедности, когда Мер-

ген жил на горе в своей дымной хижине-полупещере и «делил каждую рисинку на четыре части». Сейчас он распространил скупость на артельное имущество.

Бережливый, Мерген был бережлив не для себя, а для всего товарищества. У него не пропадала коробочка хлопка, колос пшеницы, кисть винограда, литр молока... Он пренебрегал теми, кто его ругал. Щедрый покупает себе хвалу, бережливый заслуживает. И самое удивительное: он никого в своем кишлаке не наказывая, ни на кого не повышал голоса. Председатель сажал провинившегося перед собой и «весь кипящий и в то же время холодный», долго смотрел на него с укоризной. Получалось так, что виновный не дожидаясь, когда председатель предъявит ему обвинение, а сам заплетаящимся языком, в полном расстройстве принимался «объясняться». Потом решалось, может ли человек, не стоящий и одного ячменного зерна, оставаться в своей должности, или продолжать выполнять работу, или вообще оставаться в коллективе. Нечестных в артели не держали. «Надо вести хозяйство, чтобы ни вертел не сгорел, ни шашлык не подгорел».

Правда, скупость председателя порой доходила до смешного. Живя по многу дней в горной хижине, он спал на тоненькой, старенькой курпаче, кипятил чай в дупотопном «обджуше», сам чинил старенькие, но столь удобные для хождения по щебенке и камням «мукки». Отправляясь, обычно по заданию командования Красной Армии, в далекий путь по кочевьям и пастбищам туда, где, как поется в старинной песне, «зеркальные озера есть, в тех озерах вода вкуснее сахара-леденца», он никогда не брал из артельной конюшни коня, — хотя это полагалось ему по должности, — а шел пешком до первого кочевья километров за двадцать. После чаепития и деловых и неделовых бесед он говорил: «Да, халат свой я оставлю повисеть на колышке у вас, а мне дайте тулупчик, да и пешком я дальше не пойду — ноги что-то гудят». Он облачался в тулуп, так хорошо защищавший от горных ледниковых ветров, садился на подведенного ему коня и отправлялся дальше. Мерген не видел ничего предосудительного в своих поступках. Кроме того, он никогда не брал с собой командировочных, полагаясь на «мехмончилик», и даже искренне бы удивился: «Да что вы? С гостя никто и пять копеек за пищу не возьмет. Да такое горное чудище Гули-Биобон с кишлаками слопают... А потом я ради них же самих

тружусь, неделями по горам и оврингам скитаюсь. Чашка кумыса, да сухой кусок лепешки для своего председателя у них всегда найдется». Справедливости ради следует сказать, что он воспрещал по случаю своего прихода в аул резать барашка или устраивать особое угощение, что все знавшие его с горячностью рвались делать. Он не допускал, чтобы «ветер трепал его бороду».

Никто точно не знал, сколько лет Мергену. Его сверстники, его близкие родственники-одногодки покончили с делами земными, но всякий, кто его знал, невольно проникался уважением к нему. Председатель не бросался словами, а забивал их, словно гвозди. Он ездил по ущельям и ледникам на коне с неутомимостью юноши. Глаза Мергена со взглядом орла замечали малейшие перемены в горных селениях и на пастбищах. Горе тому, кто лапой тянулся к мирным пастухам и селянам. «Да что, бараны ваши, что ли?» — впадал в ярость какой-либо попавшийся басмач.

В том-то и дело, что они были не его, а общественные.

Мерген по многу дней скитался на «самом верху» у перевалов.

Когда же в долине Ахангарана и в горах происходил перерыв и в военных операциях, красноармейские части получали роздых, он возвращался отдохнуть к себе на гору. Уходил своим размашистым, величавым шагом. Лишь на крутых подъемах горец забрасывал полы чапана на поясицу, закидывал руки с посохом назад и, слегка согнувшись, ритмичным шагом поднимался по крутой тропинке, напрямик вверх, минуя серпантин каменной дороги, по которой ездили на ишаках и верхом, а иногда даже и на арбе. Дорогу проложили по почину Мергена еще во второй год Советской власти, но не для того, чтобы легче было добраться до мергенового жилища, всем известного под названием Горное убежище, а потому, что за хижинкой и перевалом начинались джайляу, где летом тилляусцы выпасали свой скот. То была очень важная отрасль хозяйства селения Тилляу.

Новой дорогой сам Мерген не пользовался. Сильный, могучий, он ходил крутыми тропами и головоломными лестницами из накиданных природой скал и камней.

Ходил Мерген один и жил в своем Горном убежище одиноко.

Для блага мыслей!

Да будет высок холм,
На который мне подниматься,
О, одиночество,
 самый дорогой спутник,
И иду я туда,
 куда влечет меня Млечный Путь.

Эти поэтические строфы Мерген обычно не декламировал, а напевал на заведомый мотив под тихое позвякивание кобуза, сухое и постукивающее, словно падающие маленькие брусочки дерева. И, закончив, неизменно речитативом объявлял:

— Так сказали вы, о поэт, философ ававитянин Аш Шантара.

И тогда в его глазах читалась мечта и даже нежность мечты. Кто бы мог подумать, что в человеке с таким грубым, побуревшим от горных ветров лицом с хрящеватым носом, сухими скулами, с упрямым подбородком скрывается мечтатель. А Мерген всю жизнь мечтал. Он мечтал с голодного, нищего детства о справедливой светлой жизни. И не только для себя. Для людей.

Мечтал он и теперь, когда часами сидел, любуясь синими горами на пороге своей хижины. Но сейчас к мечтам примешивались удовлетворение и торжество.

Мерген был одинок. Семейная жизнь у него не сложилась. Его детей жизнь разбросала далеко. Но он не чувствовал себя одиноким, ибо его путь шел среди людей. Он воевал за власть народа, за Советы.

Мерген не был тщеславен, но то, что Красная Армия сразу же с первых дней гражданской войны нашла в нем необходимого, полезного проводника, преисполняло его чувством гордости. Все эти годы он был в рядах армии и, как говорилось, на переднем крае — разведчиком.

С началом решающих операций под Бухарой он очутился в самой гуще событий, более того — во дворце эмира.

Когда и как он придумал способ проникнуть в Ситоре-и-Мохасса? Кто знает.

Но способ был идеальным и остроумным. Что угодно мог вообразить эмир, но только не появление разгневанного тестя — отчима Наргис.

Что ж, согласно устоям адата, приходилось принять этого неизвестного ему человека со всей любезностью и вниманием, допустить до своей особы и даже рас-

порядиться оставить их вдвоем наедине для родственного разговора.

Иначе нельзя. Обычай есть обычай. А обычай требует относиться к отцу жены как к своему собственному.

Таким образом, разведчик Красной Армии, горный охотник Мерген проник в летнюю резиденцию эмира, охраняемую и оберегаемую столь тщательно, что, казалось, за стены ее не могла проскользнуть и мышь.

Теперь можно и действовать вместе с сыном и, прежде всего, не дать возможности Сеиду Алимхану бежать от народного гнева.

XIV

Зло настигает того,
кто его совершил.
Арабская пословица

Сон горца чуткий, нервный, даже если старые кости Мергена покоятся не на жесткой соломенной подстилке, а на подлинно эмирских мягких курпачах — тюфячках, подбитых шелком и бархатом. И даже если сновидения тягостные, мутные, вроде того, что кого-то тащат волосяной веревкой за шею с явным намерением отрубить ему голову.

— Тьфу! — бормотал с трудом приходящий в себя Мерген, — в сем эмирате за дурные дела — милосердие без справедливости, за добрые дела — справедливость без милосердия...

— Пред вами, — прозвучал невнятно голос в сумраке расписной мехмонханы, — я... сам... от милости аллаха, то есть, это вы, уважаемый тесть самого халифа, то есть наш тесть... иншалла! Довелось свидеться в такой час тревоги, смятения всеобщего... Не могли встретить достойно отца любимой супруги, цветка красоты Наргис... в отлучке мы... придворные люди получают палок и плетей... Разве так принимают во дворце тестя эмира?.. Эй, люди! Проклятие!.. Все сюда... О боже, какой миг ужасный!..

В мехмонхане едва пробивался сквозь щели ставень длинный голубой луч луны. Зайчиком он колебался на мучнисто-белых щеках и лбу эмира, оставляя черные провалы глазниц и превращая лицо, обрамленное черной бородкой, в лик мертвеца.

Мерген отплевывался, бормотал молитвы. Говорив-

ший с ним человек, судя по всему, сам эмир Сеид Алимхан, был более похож на призрак, чем на живое существо. И приятный голос прерывался на каждом слове, и фразы превращались в какую-то мешанину из обрывков странных слов.

Что это?

Продолжение сна? Видение? Бред?

— Ох,— забормотал Мерген,— поистине, где я? И неужели...

Все-таки Мерген добился своего. Как ни пытался помешать хитрец дарвазабон, как ни приставляли к груди его копья и сабли стражники, как ни тянул его назад в полном смятении Баба-Калан, но в какой-то момент, пользуясь всеобщей суматохой, Мерген проник во внутренние роскошные покои дворца. В зеркальном, он, отстранив прислужников, уселся по-хозяйски на груду одеял, подложил под локоть бархатную подушку и, все еще задыхаясь от борьбы, проговорил свирепо:

— А ну-ка, шакалы, троньте тестя эмира!

Для наглядности он передвинул вперед на поясе свой узбекский нож в кожаных, дорогого тисненья ножнах.

— Подать чаю... Тестя эмира жажда мучит.... Ну!

Он медленно попивал эмирский высокосортный чай. Покрикивал на мечущихся суетливыми тенями прислужников, ошалевших, не знающих, что им делать с этим горцем, голос которого приводил их в трепет.

Мерген вызвал много суеты и беготни, казалось, весь дворец жужжал, как растревоженный улей.

Но эмир так и не появлялся. Впрочем, это выяснилось позже: он и не мог появиться. Он отсутствовал — находился в городской своей резиденции — в Арке. Под гул и гром орудий он предпринимал неуверенные попытки заставить что-то делать впавших в панику и смятение советников.

Часа два он просидел в комнате с радиопередатчиком — последней новинкой техники, понукая дрожащим голосом радиотехника-индуса и присутствующих военных советников из зарубежных стран. Радиотехник делал отчаянные попытки связаться с Мешхедом и передать призыв эмира Лиге Наций о помощи. Но телеграмма «Большевики штурмуют стены Бухары» — так и затерялась в пространствах эфира. Передатчик трещал, свистел, хрипел. Аппарат был слишком несовершенным, а радист неопытен. Благовоспитанный англоиндийский юноша запутался в кнопках, проводах, лам-

пах. Он ничего не мог уловить в наушниках и побелевшими губами спрашивал у окружающих: «А комиссары далеко?»

Так или иначе Сеид Алимхан был занят делами, а Мерген свирепел от ярости и голода. Разве он мог притронуться к яствам, поданным на шелковом дастархане, пока «их высочество» зять не пригласит «канэ мархамат» — откусать.

Мерген неожиданно заснул на подушках, сломленный усталостью. Он не спал уже трое суток и, вполне естественно, что гнев оскорбленного отца был пересилен крепким, мирным сном.

Поздний час заставил знакомство зятя с тестем скомкать на нет.

Да и сам Мерген не мог спросонья сразу опомниться. Он только гудел басом:

— Господин... их величество... Да что там... Я пришел говорить о дочери моей Наргис. Клянусь, если... Проклятие небес тогда на твою голову, тиран... Требую васику! Требую свидетельство о браке... по закону. Я отец, и мое право...

Бледный череп закружился, заплясал среди таких же черепообразных ликов. Певучий голос Алимхана прозвучал в темноте:

— Наш тесть, о... мы рады... даруем милость... вышую... премного довольны... Эй, назир, приступайте... Свечей...

И тут все закружилось, засуетилось в вихре халатов, чалм, колеблющихся язычков стеариновых свечей, в дыму не то исырка, не то коптилок и светильников... Какие-то руки натянули на могучий торс Мергена дорогой зеленого сукна халат, затем шелковый, подбитый ватой, затем нестерпимо яркой расцветки, в широченную полосу — розово-оранжево-голубой. И каждый халат препоясывал самолично трясущимися руками поясным платком — бельбагом — сам Алимхан, у которого на белом лбу выступили капли пота.

Какой небывалый почет и уважение! Сам халиф завязывает на животе тестя пояса.

А тут на уже не могущего шевельнуть рукой горца надели — о высшая мера награды! — роскошно поблескивающий и мерцающий золотом и рубинами парчовый халат — эдакую пудовую ризу — и застегнули на животе бархатным поясом в четверть шириной, густо усаженным яхонтами, сапфирами, рубинами, бирюзой.

Из последних сил эмир Алимхан приподнялся на цыпочки и надел, нет, закинул на голову Мергена золототканую тубетейку стоимостью в целый кишлак Тилляу со всеми домами, мечетями, школой слепых, рисовыми полями и кошами волов.

— Поздравляем... Уф, усталость... мучение, — Сеид Алимхан бессильно плюхнулся на курпачи и потянул за собой куль из халатов, в который превратился ошалелый Мерген. Он разевал рот глухо, гудя что-то про васику о браке. Но оказавшись в объятиях дорогого, столь обстоятельно гостеприимного тестя, да еще самого правоверного халифа, разве можно протестовать? — Муборак булсин! Поздравляю, — возгласил все так же ласково, певуче Сеид Алимхан... Пожалуйста, угощайтесь! Откушайте... Вас прошу... дорогой тесть мой...

Станный это был свадебный пир. А Мерген — разгневанный, обуреваемый самыми черными мстительными чувствами, — пытался добиться от Сеида Алимхана истины.

А истина эта заключалась, по убеждению Мергена, в том, что падчерица его Наргис делалась не женой, а одной из многочисленных наложниц эмира и что он должен требовать восстановления попранной чести девушки. А Сеид Алимхан всячески уводил разговор в сторону, юлил, дипломатничал. Он, Сеид Алимхан, сам не помнил, был ли заключен брак по шариату, существует ли васика — документ. И сейчас по всему дворцу Ситоре-и-Мохасса и даже в окрестностях разыскивали придворного муфтия, забившегося в какую-то щель от страха.

Проще было отмахнуться от всего, не обращать внимания на Мергена. Но Сеид Алимхан не желал в такой тревожной обстановке скандала и осложнений. Он плохо представлял себе, откуда «на его голову свалился» этот Мерген, кто он такой, но отлично знал нетерпимость своего бухарского народа в делах семейных, болезненную щепетильность в вопросах чести девушки и не хотел создавать лишних осложнений, когда весь порядок в эмирате закачался и затрещал.

И нужно же, чтобы эта история с девушкой Наргис всплыла в такой критический момент, когда сотрясались древние глиняные стены, а трон под эмиром ходил ходуном. Нельзя допускать ни малейшего шума. Люди эмира в покоях дворца говорили шепотом, делали все втихую... Сеид Алимхан готовился к бегству... И надо же!..

Проще всего... было приказать «успокоить» скандального старика. Но что скажет Наргис?

А ведь молодой, прекрасной Наргис было уже отведено место в первой, самой разукрашенной, крытой арбе... И если она узнает, что с ее отцом что-то случилось?.. Сквозь шум в ушах Сеид Алимхан совершенно реально услышал женский визг... ее, прекрасной Наргис. Визг! Вопль. Да такой, что разбудит все спящие тревожным сном окрестности дворца...

А нужна тишина... Полная тишина. Спокойствие...

Но человек оказался несговорчивым. Всякие царские яства Мерген поглощал с завидным аппетитом, но твердил нутряным басом свое:

— Мы не глина. На дожде не размокнем. Вы все говорите: «Я — зять, вы — тещь». Где бумага, где фетва с подписями и вашей эмирской печатью? Что я покажу у себя в селении старикам, а? Давайте, эмир, фетву. Вон сколько говорите, а фетвы нет. У говоруна ум на кончике языка, но язык не делается умом, а ум не становится острее... Ваши посулы, ваши обещания, эмир, — сто фазанов в кустах, а вы мне в руки дайте одну перепелку — фетву о законной вашей жене по имени Наргис.

И потом ни отличный плов, ни жареный барашек, ни халва, ни шербеты не могли заставить Мергена отказаться от требования позвать в мехмонхану его любимую дочь Наргис. Пусть она скажет своему отцу сама, своим языком, кто она—эмирша или наложница...

Этого еще не хватало. Чтобы шум и скандал поднялся на весь дворец. Сеид Алимхан прислушивался. Нет ли какой возни на женской половине. Там строгонастрого отдан приказ: всем собирать, укладывать свою мягкую рухлядь, грузиться в темном саду на арбы, пригнанные на песчаные дорожки. Все предупреждены: бабе, какая пискнет, — нож в горло.

И прелестная Наргис, разбуженная, поднятая с постели, поеживается от холодного дуновения предутреннего ветерка, натягивая на себя одежды, возится с вещами, идет по кочковатой глине в тьму, залезает в арбу на жесткий помост...

А тут еще Мерген пристал с ножом к горлу: позови ее! У самого Алимхана все внутри вздрагивало от нетерпения и ревности. Они уезжают, бегут из Бухары, а он не может быть рядом с ними, оберегать их от грубых прикосновений.

— Ляббай? Что вы сказали?

А, это голос, как из глиняного хума, этого джинна горных вершин.

— Надоел! Хватит!

Но, аллах велик, осторожно! Надо сдержаться. Этот надоедливый великан — все же отец жены, с которой он, эмир, не провел еще брачной ночи в дозволенных супружеских наслаждениях.

— Успокойтесь... Фетва! Сейчас я покажу вам фетву. И Наргис? Сейчас... Я приведу вам Наргис, только не кричите... Недостойно здесь кричать...

Господи, он, эмир, унизился до пререканий с каким-то диким горцем... Но что поделывать? Стены Ситоре-и-Мохассы низки, а за стенами люди, простолюдины, клеветы, соглядатаи, комиссары, ох! Тише! Спокойнее. Не дадут уйти, уехать! Помешают.

Эмир поднимается, но из неуклюжего куля высовывается рука и хватает за полу эмирского походного камзола.

Да, эмир уже в походной одежде. Он совсем готов к отъезду. Он давно уже скакал бы на коне в ночи и ветер дул бы ему в лицо, если бы не назойливый этот горец со своей болтовней о чести, обиде, мести.

Вот и сейчас:

— Стой! Я не пушу... Не верю! Чтобы уметь быть добрым, надо иметь злость в сердце. Ваши слова, эмир, не умили моей мести.

— Пустите... Я приду... Она придет... С бумагой...

— А вы обещали сами привести ее. Она придет. На что мне обещанная. Вы обманываете. Вы кто? Любитель зла ради зла? Вы облакаете себя в одежды лжи.

— Остановись!.. С кем говоришь?.. С халифом правоверных говоришь... Священный я...

— Вы мулла, который ходит мочиться у стенки своей святой мечети...

— Что-о!

Но тут Мерген допустил какую-то оплошность: он разжал пальцы и кончик подола эмирского одеяния выскользнул из руки.

Вся череда бледных физиономий с провалами глазниц завертелась вокруг дастархана, по дастархану, по все еще не могущему подняться от тяжести пудовых одежд Мергену.

Все бежали, топтали его, светильники погасли, тьма обрушилась на все. И когда Мергену удалось, барахта-

ясь и разрывая бельбаги, наконец, подняться, он прыжками устремился к какой-то двери, высвечивающей в противоположной стене светло-желтым четырехугольником.

Вывалился Мерген прямо во двор, слабо освещенный лунным неверным сиянием. Тут металась в странном, даже угрожающем безмолвии люди, кони, верблюды.

Первый, на кого натолкнулся Мерген, был его сын Баба-Калан:

— Где он? — хрипло спросил он.

— Суслик сбежал.

— Суслик?

Баба-Калан сыпал проклятия, когда они с отцом прокладывали себе дорогу в разношерстной толпе, расшвыривая, подобно слонам, челядь.

Безумно пяля глаза, раздирая рты и неестественно сипя перед этими двумя великанами, все разбежались в страхе. В сумраке, под кронами густых деревьев, Мерген и Баба-Калан казались грозными колоссами, а тут еще золотом блестящий халат на горце превращал его в глазах трусов и подхалимов в самого хана.

И нет ничего удивительного, что их никто не посмел остановить и тронуть.

А когда они очутились в чайхане, Баба-Калан зычно позвал своих людей: «Эй, кто в бога верует!» И тут, рядом с ним сразу оказались, выбежав из темноты, и цирюльник, и шашлычник, и мороженщик, и мардикеры, и базарчи, которые еще днем кружились у ворот летнего дворца. И у всех вдруг оказались в руках поблескивающие дулами отличные кавалерийские карабины. Каждый с возгласом: «Мы здесь!» — выбегал на площадь и схватывал под уздцы таинственно появившегося коня.

— По коням! — оглушительно скомандовал Баба-Калан. — За мной! К Самаркандским воротам! Эмир — будь он проклят! — удрал!

Непочтительный сын не отдал своего коня Мергену — так горел желанием самому влезть в схватку, — а только обернулся и крикнул:

— Найдите, отец, коня. Догоняйте!

Довольно долго провозился Мерген, стаскивая с себя золоченый халат, выскочил из чайханы, стянув с лошади беспомощно барахтающегося стражника, отобрал винтовку, легко вскочил в седло и поскакал по пыльной дороге, ворча: «Ну, сынок! Ну и сынок!»

Прислушиваясь к удалявшемуся топоту кавалькады, он погнал коня туда, где в малиновом зареве утренней зари высились черные купола и резные столбы минаретов древнего города.

XV

О, гот, кто вздумал жечь людей
калеными углями,
сам обожжется!
А кто рад несчастью сына своего дяди,
Тот сам испытает его.

Али Мутанби

Его зло вышло ему навстречу,
и он стал пленником своих дел.

Самарканди

О том, что происходило в те дни у древних стен Бухары, уже писали и историки и писатели. Восставший народ и пришедшая по его призыву на помощь Красная Армия штурмовали последний эмирский оплот, и не было такой силы, которая могла бы остановить «джейхун» народного гнева.

О джейхуне писал в момент происходящих событий в своей тетради в бархатном переплете поэт и летописец Али — сын муфтия, находившийся рядом с Мирзой при дворце эмира.

«Бисмилля! Здесь, в райских садах Байсуна, придя в себя на острове тишины и сердечного спокойствия, вдали от штурмующих горную долину волн войны наш слабый калям и не пытается в подробностях описывать то, что мы называем гибелью, несчастьем, бедствием.

Пала твердыня власти. Почему? Нет больше священного оплота религии. Почему? В пыли и прахе бегают птицы чалм. Почему?

Да, все «почему»? По нашему скромному разумению, причина всех бед в недомыслии и глупости натуры человеческой. Свойственна же эта глупость и великим мира сего даже в большей мере, нежели маленьким человечкам, людям простым и невежественным.

Вот взгляните. Мы здесь заносим события в страницы летописи событий последних дней, а рядом возлежит на гранатовом ковре повод и причина тех событий — сам их высочество эмир Бухарского ханства Сеид Алимхан. Но какой он эмир! Он бывший эмир. Руки у него трясутся, как у лихорадочного больного, пиала выскальзывает из пальцев и чай разливается по дастархану и

шелковому одеялу, а рот кривится и брызжет слюной робости, изрыгая слова: «Мы — вождь! Мы — газий! Мы победим!»

Не к лицу говорить о победе тому,
кому набили палками пятки.

А где вы, о господин могущества, были вчера. Сами, вместо того, чтобы собирать силы и укреплять государство, предавались наслаждениям и разврату с луноликими девами. Воображали себя Искандером Македонским и Тимуром Гураганом, потрясали сломанной пикой и грозили покорить весь мир. Вопили, что не бойтесь большевиков и всех уничтожите, если вздумают они напасть на священное государство — Бухару. А сами в тиши ночей готовились к трусливому бегству.

Вам предлагали мир и спокойствие. Кто предлагал? Народ. Кто, как не народ, говоривший: оставьте тиранство, будьте справедливы, не обездоливайте сирот и вдов. Будьте мудрым правителем. А вы, эмир, прирезывали мудрых, как баранов, только за то, что советники твои указывали на твои пороки... И терпение народа исчерпалось.

Вы знали, что в вас нет и крошки храбрости и мужества. Вы смирились с мыслью, что потеряете Бухару и золотой трон в Арке. Вы просили ференга Эсертонна, английского консула, вывезти в Персию все драгоценности, что эмиры сотни лет прятали в подвалах Арка, и хранить их. Богатства, принадлежащие бухарскому народу, вы отправляли караванами в Хорасан в банки проклятых англичан, золото в слитках, серебро, бесценные камни и ожерелья. Говорили, что богатствам там не было числа и что тайно их переправили за границу, и теперь вы тоже говорите, что уедете за границу. Конечно, вы позаботились о себе, эмир, много у вас отложено про черный день. Мы, грешный раб, вам своим калямом, помнится, писали в английское консульство в городе Мешхеде, что сдаете на хранение британским банкам ценности, стоимость которых исчисляется в тридцать пять миллионов фунтов стерлингов, что в переводе на ваши деньги равняется четыремстам миллионам рублей. Велик бог, на такие деньги можно жить где угодно набобом. В том письме вы, эмир, писали: «Возьмите, господа, мои богатства на свое попечение до более светлых дней и восстановления нормальных условий».

И теперь, эмир, вы говорите: «Светлые дни наступили. Мы покидаем наш народ, наше священное ханство, дабы оттуда, из-за границы, начать новую борьбу с большевиками и вернуться к управлению нашими любимыми подданными с помощью наших друзей англичан». Проклятие!

Нужен бухарскому народу такой государь? Нет, терпение бухарцев иссякло, как вода в колодцах пустыни. Народ не устранился ваших увешанных оружием пуштунов-наемников. Против пушек — палки и дубины! Против пулеметов — кулаки. Против ваших молитв — призыв — долой эмира! Всесилен гнев народа.

Что вы теперь? Вы не правитель государства, а вор, обворовавший свой народ и спрятавший уворованное у врагов людей — англизов. Вот кто вы!

Мы — мирный, тихий писец, книжный червь. Но в дни Страшного суда, когда народ поднялся против тирании, вы, эмир, прячьтесь трусливо за стенами Арка, дали и нам, летописцу, в руки ружье и приказали: «Иди, сражайся!» Стреляй в подлых мятежников. Мы пошли на улицы, где шла война. Ружья стреляли. Пушки грохотали подобно небесной момокалдырак, камни, которые метали простые люди, летели в таком количестве, что тучей затмили солнце.

Но что могли мы, мирный летописец? Повернулись и ушли. Мы сказали эмиру, который лежал под одеялами, согреваясь от озноба, страха и ужаса под двадцатью одеялами: «Пушинку сдуло дыхание народа».

И мы покинули Арк и наложили запрет на мысли об эмире и поспешили заняться тем, что было в нашем сердце. Среди хаоса и смятения мы поспешили тогда в Ситоре-и-Мохасса, где, по имевшимся у нас сведениям, находилась в опасности та, кому мы отдали все свои мысли и стремления.

Роза цветет среди бурь и гроз,
Соловей, распахни крылья и защити розу.

А народ Бухары, мы знаем, точно грозный морской вал, смел с лица земли и воинство эмира, и ширбачей, и миршабов, и наемную гвардию — гордость эмира. И не оказалось никого, кто встал бы еще на защиту тирана и пришлось ему зайцем прыгать по степям и горам до самого Байсуна.

Мы пишем. Калям наш находит путь от чернильни-

цы к бумаге. Сии строчки мы пишем для себя, и глаза их высочества Сеида Алимхана не увидят их.

Да и мы из осторожности выроем яму глубиной в двенадцать локтей и положим на дно наши записи, закопаем, а сверху положим камень в двенадцать батманов.

И мы останемся единственным читателем, который читал написанные им же строки гнева и возмущения. Аминь!»

* * *

Тетрадь в сиреновом бархатном переплете не была захоронена в яме. Поэт и летописец Али, как и все авторы, был влюблен в свое творчество и пожалел свои писания.

XVI

Ушибешь нос —
заплачет глаз.

Алаярбек Даниарбек

И нужно же, чтобы чека из колеса выскочила вовремя. Арбы для каравана беглого эмира готовили задолго до дня штурма. Их проверили, отремонтировали, подновили. Готовились в далекий путь. Особо заботливо отнесли к тем арбам, которые должны были везти не золото, не парчу, не самоцветы, а самое драгоценное — прекрасные благоухающие розы гарема!

Колеса смазали так, чтобы они не скрипели, чтобы не тревожить ушки розовые и нежные. Словом...

Словом, не успели проехать арбы и одного фарсанга, огромное колесо соскользнуло с оси, арба накренилась, и красавицы оказались в пыли. Визгов и криков было предостаточно!

Наргис, как это не удивительно, оказалась именно в этой арбе. Сейчас она с гневным, раскрасневшимся лицом стояла на обочине дороги. И презрительно смотрела на тянувшийся гигантский обоз арб в пыли. Сколько ни трудились, обливаясь потом и вопя арбакеша, колесо не становилось на место. Баба-Калан тоже трудился.

Молодая женщина, запылившая свой атласный камзол, кидалась с кулаками на арбакешей, колотила их кулачками по согнутым спинам и кричала.

— Не смейте! Я жена халифа! Вас всех повесят! Обоз уходит! Мой супруг эмир вам всем прикажет отрубить головы!

Служанка Савринисо принялась отряхивать ее одежду.

В туче пыли двигались чудовищными привидениями арбы, верблюды, люди. Ревели животные, ржали лошади, вопили люди.

И все перекрывал истошный крик эмирской супруги:

— Как смеешь ты, — кричала она на Баба-Калана, — говорить со мной, женой халифа?! Как смеешь ты поднимать глаза на меня?!

— Да, да... Я жена эмира... Что ты, ахмак-дурак, не соображаешь? Как делаются женой халифа... Меня никто не похищал... Меня никто не покупал... Я согласна! Эмир согласен! Вот ей, — она показала на Наргис, — не понравилось быть женой. Эй, ты чего спрашиваешь? Жена ли я эмира или не жена... не бойся, не сомневайся: я в своем доме сама себе царица...

Она покрикивала на слуг и арбакешей, все еще беспомощно возившихся возле арбы. Она горделиво прохаживалась, пыжась и задираясь. Ее подруга скромно стояла в сторонке и не вмешивалась. А говорливая эмирша прямо напрашивалась на вопросы, но когда их никто не задавал, она сама отвечала:

— О, Алимхан любит ходить ко мне, в мои покои. Угощается он джукандом. Это персики, сушеные моими ручками, начиненные сахаром и толчеными орехами. Сама своими пальчиками с крашеными ноготками кладу ему в рот... Пою его кандобом — сахарной водичкой... А то любит он фересбеджский чай с медом Зирабулакских гор. Нет меда лучше, чем в моих родных долинах... Эй вы, собаки, долго мне еще ждать?! Птичкой полечу я за своим соколом! Посмейте меня еще задержать на полной пыли и навоза дороге... Не могу ступить в пыль нежными ножками, которые так любит ласкать мой супруг и повелитель! Эй!.. Эй!.. Поторавливайтесь, а то я не успею на привале приготовить его любимую шурпу из травы ишторус, привезенной с моих Зирабулакских гор... Страшен гнев моего повелителя.

Облако пыли от проезжающих последних арб затянуло и дорогу и обочину, на которой находились женщины. Что произошло дальше никто не сообразил... А когда пыль углеглась, на дороге стояла, перекосившись набок, одноколесная арба. Лошадь и слуги исчезли. Исчезли и обе женщины со служанкой.



Часть вторая

КРАХ

Надежда — цветок в бутоне, а верность — свет во мраке. Немизбежно, что бы цветок распустился, а свет проясился.

Кабус

Он был одним из чудес нашего времени.

Алишер Навои

I

Баба-Калан со своими спутниками поспешно кинулся к канаве и рухнул в нее, вернее, в сухой арык, и больно ушиб колени. Донесся топот конских копыт, Баба-Калан вжался в сухую комковатую глину, сделался сам похож на большущий ком лёссовой глины, наполовину слившись с блеклой, пожухлой травой и колючкой. Он умел отлично маскироваться. Колени еще ныли, железные колючки саднили кожу на руках и на щеке, прижатой к земле. Есть ли время обращать внимание на подобные мелочи. Баба-Калан напрягся. Он весь был внимание и не спускал глаз с кавалеристов, отчаянно

пыливших среди опыливших, приземистых дувалов, мимо полуразвалившегося мазара. Руки его хладнокровно поглаживали приклад карабина, палец нежно прикасался к спусковому крючку... Баба-Калан и винтовка слились в одно существо, кишное, настороженное. Да, не поздоровится сейчас кому-то.

Чуть заметно Баба-Калан скосил глаза. Его спутники в точности подражали ему. Баба-Калан с трудом мог разглядеть своих аскеров, залегших в колючке в сухом арыке и на склоне кладбищенского холма. Зной томил.

Около старой, покосившейся мазанки, в тени от растрепанного камышового навеса, на камышовой циновке-бунре, сидели, по-восточному сложив ноги, две женщины. Они в своих чачванах не шевелились и походили на черные кули.

Снова Баба-Калан посмотрел на приближавшихся всадников. Жестокие сомнения одолевали его.

Открывать по ним огонь?

Они, эти всадники, опытные воины, так показалось ему. Да, они послали впереди себя по обочинам дороги четырех лазутчиков в простой одежде и притом, по видимому, даже без оружия. Возможно, они прятали его под полами старых халатов. Но эти люди опытные лазутчики, разведчики. Смотрите, как быстро они вертят своими чалмами, зыркают по сторонам. Да, остроглазые соглядатаи. А с виду совсем «плешивые» с Ляби-Хауза. Здорово прикидываются. Но они самые опасные.

За ними на приличном расстоянии, но в пределах видимости, рыскали десяток вооруженных всадников, одетых не по-бухарски, то ли в белые арабские бурнусы, то ли в белуджские белые сорочки.

Их-то и принял Баба-Калан, не разглядев как следует в пыльном облаке, за пуштунскую охрану эмира Алимхана. Какой просчет! Разве отправился бы эмир в поход с жалкой кучкой охранников да еще в день битвы и штурма. Вон и до сих пор слышна пальба. Грохот вдаль не смолкает. Зловеще бухают пушки. Но Баба-Калан находился словно в горячке. Только что, несколько минут назад, прибежавшая от супруги эмира Суады-ханум служанка Савринисо сказала то, что ему нужно было знать: «Эмир бежит по самаркандской дороге».

В голове сразу лопнула тетива, Баба-Калан сорвался с места. Схватил винтовку и побежал к дороге, мучительно думая: «Не успею! Эмир должен был вы-

ехать ночью, по холодку. А поехал в самый зной. Вот хитрец!»

Где же он? Где же эмир, удирающий из своей столицы. Не иначе, как вон тот, отдельно рысящий в серой пылевой мари черный джинн. Он! Именно он! И эта ошибка сыграла решающую роль в дальнейших событиях.

Кто-то скакал за одиноким всадником, но уже совсем неразборчивыми мятущимися тенями.

На догадки и раздумья оставались секунды.

Эмир бежит, бросает Бухару. Уже сбежал. По дороге Самарканд—Дарваза, как и предполагалось. Задание командира надо сейчас же выполнять — немедленно сообщить. Но пока доедешь — упустишь. А упустить нельзя!

Значит, всадник — эмир.

У Баба-Калана десятка три добровольцев — аскеров, но большинство из них не стреляли еще ни разу в жизни.

Задержать эмира, захватить, просто остановить его бегство? У него охрана. Наемники! Эмирская гвардия палванов-ширбачей, настоящих головорезов, опытных в драке и убийстве, лихих рубак...

И упустить эмира нельзя!

Он приложил к горячей, воспаленной щеке прохладный, полированный приклад — какая ясность мыслей! — слегка нажал на спусковой крючок — на собачку! (Как нежно называют русские эту самую роковую часть затвора винтовки...).

Одинокий всадник на мушке. Собачка плавно нажата.

Выстрел.

Силуэт джинна метнулся и упал.

Сколько бы Баба-Калан дал сейчас, чтобы вернуть пулю.

И кто бы знал, что этот выстрел вспугнет ехавший поблизости, по соседней дороге, эмирский обоз и повернет колесо судьбы. Одиночный выстрел какого-то неизвестного горца из долины Ангрена.

Дальше все произошло в мгновения. Топот и тяжелый сап лошадей. Вскрики: «Вождь убит!» Выстрелы. Суматоха. Метнувшиеся белые бурнусы. Почти черные, усатые лица с белыми оскаленными зубами. Удары, от которых звон в ушах, в голове. Боль. Свалка.

И такой знакомый, густой баритон:

— Остановитесь!

И через секунду:

— Живьем! Допрошу сам! Перевяжите меня! Кровь.

До боли впиваясь в плечи, в руки белобурнусники подтащили к вождю отчаянно сопротивлявшегося Баба-Калана. Сахиб Джелял сидел под глиняным дувалом смертельно бледный, со страдальчески искривленными губами, с лицом, залитым потом.

После ошеломления у Баба-Калана мелькнула мысль:

«Где же эмир?.. И в кого я стрелял?.. Сахиб Джелял?.. Я попал в него... Убил?!»

Тот самый командир мусульманского конного дивизиона Сахиб Джелял, недавно приехавший из-за рубежа и обратившийся к командарму Михаилу Васильевичу Фрунзе с просьбой принять его добровольцем в Красную Армию, готовившуюся к походу на эмирскую Бухару.

Тот самый Сахиб Джелял, сын самаркандского кожемяки, как слышал Баба-Калан.

Тот самый Сахиб Джелял — воинственный легендарный вождь, известный всему Востоку борец против колонизаторов в Азии и Африке, слава о котором разнеслась по всему миру.

Тот самый Сахиб Джелял, который, узнав, что народ Бухарского ханства не вынес гнета тирана эмира и поднялся против него с оружием в руках, предложил свою руку и меч революционерам бухарцам в их битве с ненавистным эмиром.

Наконец, тот самый Сахиб Джелял, дивизион которого в авангарде Красной Армии двигался к Ситоре-и-Мохасса, на помощь Баба-Калану в его трудной задаче перехватить эмирский обоз с беглым эмиром.

Именно с Сахибом Джелялом Баба-Калан поддерживал последние дни связь через нищих калей и патлатых дервишей-каландаров из кукнарханы, чтобы одним ударом в удобный час захватить эмира.

И надо же было Баба-Калану дать такую промашку: встретить Сахиба Джеляла пулей, выстрелить в вечного воина, сражавшегося всю жизнь против всех и всяких тиранов, будь то ханы или беки, итальянские колонизаторы в Триполи или британские империалисты в Египте, турецкие башибузуки в Сирии или эмирские ширбачи в Карнапчульской степи.

Двое в огромных чалмах и белой одежде хлопотали

около чуть стонавшего Сахиба Джеляла, перевязывали ему окровавленное левое плечо.

С удивлением Сахиб вздернул брови. Он тоже, видимо, узнал Баба-Калана. По взгляду его был понятен приговор, и он больно отдался в груди. Сахиб Джелял не пожелал задавать вопросов. Кому-то он кивнул. Пальцы до боли вцепились в плечо Баба-Калану. Он грубо стряхнул руку, тянущую его в сторону.

Но тут между Баба-Каланом и Сахибом возникла женщина, то есть, вернее, темно-серый куль паранджи. Из-под конской жесткой, как проволока, сетки прозвучал голос:

— Не смейте! Не смейте!

Сахиб снова удивился:

— Что? Женщина?

— Не смейте! Он живой человек!

— Самое умное в жизни — смерть! — Сахиб говорил, еле шевеля языком. Видимо, рана оказалась серьезной. — Смерть исправляет все глупости! Исправляет все идиотства жизни!

— Но он мой брат!

Женщина откинула чачван, и все, ошеломленные видением, замерли. Тут, среди серых дувалов, облаков пыли, диких усатых ликов возникла пери с ярким румянцем, блеском черных глаз, с задорными пунцовыми губами, выкликая мольбы и угрозы:

— Не смейте! Не трогайте!

Молодая женщина прильнула к Баба-Калану, обняла его за шею.

— Братец, милый братец! Они не посмеют! Народный мститель! Борец против тирании! Господин, вы мудрый, вы великодушный! Взываю к кротости!

Первым движением мысли Сахиба Джеляла, когда он очнулся после ранения, было убить Баба-Калана: кто в тебя стреляет, тот твой враг! Кровь за кровь! Сначала отомсти, потом разбирайся... Боль не дает рассуждать.

Что тут повлияло? То ли сияющее видение женской красоты, то ли слово о борце с тиранией...

Еще мысли мешались в мозгу. Но тем и отличался от многих прочих Сахиб Джелял, что он мог думать разумно в самых трагических обстоятельствах. Он знал цену боли, страданиям. Потрясение от боли, от жестокости, от страданий он познал совсем еще в юном почти возрасте в Бухаре. Сын самаркандского кожемяки испы-

тая нечеловеческие муки, муки ада, когда его вытащили из худжры тихого медресе, потянули, зверски избивая, по улицам, побили камнями базарные торговцы с воплями «безбожник» и швырнули в яму вонючего клоповника зиндана. Унижение человека, которого пальцем не трогал отец его, строгий, но справедливый ремесленник. Эмирская плеть семихвостка, рвавшая с мясом его спину, жгучая саднящая боль от ран, отвратительный зуд от укусов клещей, не прекращавшийся день и ночь, судороги от голода, горящий ад во рту, в груди, в желудке от жажды... Но Сахиб выжил, сохранив в рубцах на теле и в рубцах души жгучую боль и ненависть к эмиру и ко всем тиранам. И боль эта, никогда не прекращавшаяся, не дававшая отдыха, сделала его, Сахиба Джеляла, мудрым в решениях и беспощадным в битве.

И он сказал:

— Женские упреки! Мы кроткие? Кротки подземные кроты. — С минуту — тягучую минуту — он не отрывал глаз от прекрасного видения. Он не слушал потока слов мольбы. Но он сказал:

— Отпустите его... Мне не нужна кровь твоего брата, женщина. А теперь замолчи. Высшая степень искусства уговаривать — это молчание. — Переведя взгляд на понурившегося, сгорбившегося Баба-Калана, он бросил: — Посоветуемся! Ты — воин-медведь!

Баба-Калан пытался умирить колотящееся сердце, бешеное смятение чувств. Все его добродушное лицо дергалось. Переход от смерти к жизни не так-то просто уяснить. Люди в белых одеждах отвернулись и смотрели в сторону весьма даже меланхолично. И не потому, что своим ростом, разворотом батырских плеч, ошеломляющих размеров кулаками он внушал трепет — вот пойдет крушить и лупить белуджей, а именно их привел в Бухару с собой Сахиб Джелял — они было приняли Баба-Калана, ранившего их вождя, за пуштуна из эмирской охраны и пытались разделаться с ним, как с заклятым врагом. Они сконфузились, когда выяснилось, что перед ними не пуштун, а узбек, а с узбеками белуджей связывала извечная дружба.

Сжав свои кулаки-кувалды, Баба-Калан просипел:

— Отдайте винтовку!

— Отдайте воину оружие! — со стоном сказал Сахиб.

— И мне винтовку! — воскликнула с торжеством

Наргис. Резким, но полным изящества движением, она сорвала паранджу с головы и оказалась в бархатном, облегающем стройный стан камзоле. — Я буду стрелять!

— В кого? — слабым голосом проговорил Сахиб Джелял. перевязка закончилась, но ему не стало лучше. Из-под полуопущенных век он не сводил взгляда с Наргис. Он улыбался ей. Одним своим видом она действовала на него целительно. Среди этих глинобитных, растрескавшихся стенок, рассадника скорпионов, в своем живописном дорогом мужском костюме она казалась выхваченной из другого мира. В воспаленном воображении Сахиба Джеляла — у него начиналась горячка — молодая женщина встала гурией среди могил и развалин старого, заброшенного мазара. И его, сурового воина, умилила неземная нежность взглядов, которые она бросала на Баба-Калана. Вот она, сестринская любовь. И даже не так важно, что она продолжала лепетать, прося за брата:

«Он сокол был, а перед ним стая воробьев. Он разогнал охрану дворца... Он — лев, а перед ним было стадо диких свиней. Он опоясался бельбагом мести на эмира-тирана из-за меня, собиравшей флаконы слез, меня — оскорбленной в своем девичьем достоинстве. Он не виноват, что желтозубый шакал сбежал мышонком через мышиную норку».

И тут в голове Сахиба Джеляла возникла мысль, сначала неясная. «Она назвалась сестрой этого увальня Баба-Калана. Увалень — сын Мергена. Значит, это Наргис — дочь Юлдуз... Моя дочь... Судьба!»

Наконец-то он встретил свою дочь Наргис!

И он перелистал мгновенно книгу своей памяти.

Много лет назад — да, прошло уже лет восемнадцать, он в дни изгнания, живя в горах Ахангарана, взял в жены дочь тилляуского батрака Пардабая красавицу Юлдуз.

Из всех жен Сахиба Джеляла она была самой прекрасной, самой любимой.

Судьба, ты коварна и слепа,
Ты вертишь колесо жизни
простых смертных
То вверх, то вниз.

И надо же было такому случиться! Сахибу Джелялу пришлось бежать от губернаторской полиции, скрыться

в Кашгарии, а оттуда уехать в далекие страны. Там, за рубежом, он узнал, что его любимая жена вышла замуж за его друга — лесного объездчика Мергена. Да и что ей оставалось, бесприютной, брошенной в горном замке-каале, беззащитной, готовящейся стать матерью.

Но что до того Сахибу Джелялу! Жена, по обычаям Востока, должна была ждать мужа хотя бы до могилы.

Судьба распорядилась так, что Юлдуз после этого перестала существовать для Сахиба Джеляла. Но у них с Юлдуз — он узнал много позже, осталась дочь. Нельзя сказать, что он был совсем лишен отцовских чувств. Нет, он пытался найти ее, освободить из рук врагов, вырвать из лап проклятого эмира. Он сделал все, что мог, чтобы Наргис, его дочь, была освобождена. Но, увы!.. И вот теперь, — о судьба!

Улыбка судьбы, —
Ты увидишь ее
и во мраке.

Дочь. Прекрасная дочь! Она уже была на коне с карабином в руке. Баба-Калан жестами, словами пытался умерить порыв сестры. Но Наргис уже разошлась вовсю, проявила всю пылкость характера, ломающего все рамки шариата и адата, предписывающего женщине в подобных обстоятельствах молчать и повиняться.

Наргис уже гарцевала на лошади с призывными возгласами:

— За эмиром! Смерть тирану! Поскачем! А то он — кровавый деспот, уйдет, сбежит, скроется от гнева народа!

Наргис звала к действию. Сахиба Джеляла, лежавшего на кошке у дувала, одолевали видения. У него поднялась температура.

А в это время из глиняной развалюшки вышла, нет, важно выплыла, постукивая каблучками изящных кавушей, женщина в парандже. Не откидывая чачвана, она сварливо прикрикнула на Наргис.

— Слезь с коня! Не выпяливайся потаскухой. И ты, Баба-Калан, батыр, чего зазевался и стоишь корчагой с просом? Тиран, их высочество голохвостый, убегает... Вон уже солнце повернуло к закату. Ты что же, Наргис, воображаешь, эмир забыл про нас с тобой?! Знаешь, что нам будет, если он вернется. Посадит он тебя на раскаленную докрасна железяку. Вспомнишь

свое безумное бахвальство.. А раз раскрыла рот, то знай, что нужно его закрыть. Вы думаете, что Сеид Алимхан дожидается, пока его поймают краснозвездные отряды? Кровопийца Сеид Алимхан бежит уже, как заяц. А вытереть сопли и взяться за дело никто из вас не собирается. Да вы, я вижу, трусили перед ним!..

— Тревога!

Крик стряхнул со всех одурь и растерянность. Из облака пыли выехали новые всадники. Они с первого взгляда не были вооружены. По крайней мере винтовок у них не было видно. Не слезая с коня, первый из всадников, судя по обмундированию, командир Красной Армии, сорвал с головы буденовку, чтобы вытереть мокрый от пота воспаленный лоб.

— Баба-Калан, ты почему здесь?

— Брат? Ты?

Только теперь Баба-Калан узнал гидротехника Алешу. Так он почернел и похудел.

— Скорее! Эмир въехал на плотину... Мне сейчас передали. С ним наемники и ширбачи.

Слова гидротехника произвели на Сахиба Джеляла необыкновенное действие. Он, несмотря на ранение, встал с возгласом:

— Скорее! Догнать его!

II

Сейчас же гаси огонь,
пока еще можешь погасить.
Если пламя разгорится,
сожжет весь мир.
Не давай врагу натянуть
тетиву лука,
Пока сам можешь
пустить стрелу.

Сузени

Те люди благородны, которые, отказавшись от поисков собственного счастья, стремятся к счастью для всех живых существ, которые искренно страдают страданиями остальных людей.

Викарма

— Коня!

Раненный в плечо Сахиб Джелял с помощью своих белуджей взобрался в седло и воскликнул:

— За мной!

Уже на полном скаку он хрипло спросил оказавшегося рядом с ним гидротехника Алексея Ивановича, сына своего друга врача Ивана Петровича.

— Алеша-ака, где они? Показывайте дорогу.

Облако пыли, белое, густое, покатилося по степи на северо-восток. Кавалькада мчалась в полном молчании. Лишь мягко бухали в густую, глубокую дорожную пыль копыта коней.

Радостная весть поднимает
и мертвеца из могилы...

Весть о том, что эмир близко, совсем рядом, вдохнула новые силы в изнемогавшего от раны Сахиба Джеляла. Он ничего не забыл. Он много лет лелеял ненависть к Сеиду Алимхану. Ненависть побледнела за годы, но не угасла. Бледная месть жила в душе бывшего студента медресе, подвергшегося унижительной экзекуции по приговору эмира.

Мстительные мысли свирепствовали в мозгу Сахиба Джеляла. Тут все перемешалось: и ненависть к тиранам, и невыполнение задания командования, и личная обида.

Сеид Алимхан оскорбил его дочь Наргис. Все его самолюбие восстало. Сахиб Джелял знал историю похищения Наргис из Самарканда. Он и тогда воспринял ее как оскорбление, вспомнил свою неудачу в Карнакчуде, когда он сделал попытку выволить дочь из плена. «Месты! Месты!—стучало в мозгу.—Догнать тирана!»

Тяжело рысил конь. А Сахибу Джелялу казалось, что благородное животное все медлит. Он хлестал коня по боку. И это он, который был так добр в душе, что обычно даже уздечку не дергал слишком резко, чтобы, как он говорил, не обидеть коня.

А Баба-Калан со своими йигитами едва поспевал за Сахибом Джелялом и его белуджами.

И потому, что они мчались, несмотря на пыль и зной, очень быстро, они неожиданно-негаданно выскочили через небольшой кишлак в окружении садов на широкую галечную пойму Зарафшана. Гролом среди ясного неба грохнули по каменистому фронту сотни копыт. Появление их было столь внезапным, что ширбачи, пустившие коней пастись на зеленую луговину не успели ничего толком сообразить. Не успели даже вскочить на коней, многие не успели даже выхватить саблю из ножен.

— Ур! Бей эмира! Руби наемников тирана!

Ярость схватки не уступала ярости мести. Такой бой не требует мыслей. Весь человек обращается в сверкающий клинок, и напряжение мускулов, и вопль, исходящий из груди, «ух-ух!».

Бой у плотины закончился в минуты. Боя, собственно говоря, и не было.

Белобурнусная «личная гвардия» Сахиба Джеляла уничтожила всех ширбачей. Ни один наемник не ушел. В зелени травы, на серой прибрежной гальке пестрели полосатые шелка, мерцала парча и алела лужами кровь.

В плен не брали. В битве белуджи в плен не берут.

Потные, с разводами грязи на лицах, с размотавшимися, запятнанными кровью тюрбанами, на взмыленных конях воины пустыни съезжались в одно место. Здесь, упряно пахнущих тугайных трав, в жидкой полуденной тени лежал Сахиб Джелял. Глаза его были полуприкрыты, лицо так же, как и у всех, покрылось подтеками пота с пылью, дыхание с сипением вырывалось из груди. Чалмой Сахиб Джелял упирался в передние ноги коня своего «араба», приведенного из Йемена. Верного коня, который никогда не подводил хозяина. Конь высоко держал голову и свирепо фыркал на подъезжавших. Конь охранял своего хозяина.

Зной. Жажда. Горький пот. Боль от ссадин и ран. Дорожная пыль вместо перевязок на раны. Соленый привкус крови. Тихие стоны раненых. Безумная усталость. Ни один лежавший, из разбросанных по всей луговине, не шевельнулся. На поле битвы стояла тишина. От галечника струились потоки горячего воздуха. Лежавшие так и лежали...

Теперь, когда все съехались к нему, вождю, тот спросил их:

— Почему не говорите?

— Его мы не разыскали...

— Голову эмира! С чем я поеду к товарищу Фрунзе?

— Сеида Алимхана не было здесь.

— Проклятие!

В разговор вмешался комиссар:

— Эмир, оказывается, послал сюда самых отпетых ширбачей разорить плотину.

Слабо застонав, Сахиб Джелял из-под руки обвел глазами луг и всю пойму.

— Осмотрите все как следует. Проверьте каждого из них...— Он махнул рукой в сторону разбросанных тел.

— Господи, среди тех, для кого погас факел жизни, его нет.

— И все же ищите!

— Проверять нечего, — сердито проговорил понуро

стоявший рядом со своим конем и нервно хлеставший по крагам плеткой гидротехник Алексей Иванович.

Два белуджа подталкивали человека с мучнисто-бледным лицом, с туловищем, похожим на пустой обвисший халат. Это был Мирза. За ним вплотную шагнул с винтовкой наизготовку Баба-Калан.

Как Мирза мог уцелеть в ужасной схватке? Наверное, потому, что он от страха остался бессильно сидеть на земле, в том месте, куда опустили его сделавшиеся ватными ноги. Мирза испугался так, что и сейчас дар речи не вернулся к нему. Он отдавал себе отчет, что лишь случайно уцелел во время кавалерийской рубки, и что ему теперь нужна вся хитрость и изворотливость, чтобы сохранить свою жизнь. Он понимал весь ужас своего положения. Кругом лежали десятки трупов тех, кто всего четверть часа назад воинственно размахивали винтовками, кричали, вопили, стараясь изо всех сил замести следы беглого эмира.

И все они неподвижно, неуклюже валяются в песке и колючке. А ведь среди убитых были и надменные господа власти и богатства, еще вчера правившие государством... Какое ужасное событие!

И от самого себя Мирза не мог скрыть, что сам он уцелел в силу стечения обстоятельств. Он струсил, ноги у него отказались служить ему, и он не побежал. Побег он — и сабля этих белых привидений нашла бы его.

Мирза струсил и стыд жег его. Ему бы радоваться, что среди всадников в белой одежде оказался его родной по отцу брат. Значит, не все пропало! Значит, можно надеяться, что братец замолвит за него словечко и его, Мирзу, не убьют здесь, на раскаленной серой гальке, среди чахлах кустиков янтака и полыни, не швырнут его тело на растерзание стервятникам и шакалам. Значит, есть надежда, что его отвезут в штаб. А там он мог положиться на свою изворотливость и ловкость. Перед лицом большевистских начальников он, Мирза, настоящая персона, политический деятель, с которым нельзя не считаться.

Страх смерти отступил. Теперь стыд, ненависть терзали бледноликого. А уже через минуту Мирза вообще чуть не задохся от ярости, встретив острый, ясный взгляд Наргис, взгляд, полный укоризны и... жалости. Она жалела брата за то, что он оказался трусом. Она снисходительно краснела за него. И он еще больше возненавидел Наргис, которая всегда подсмеивалась

над ним, над его чахлым видом, над его слабостью. Он всегда боялся ее острого языка.

— Потаскуха, — выдавил он с трудом и чуть слышно. — Позор! С открытым лицом! В мужской одежде. Будь проклята!..

— Молчите! — проговорил властно Сахиб Джелял. — Вы не судья. Вас самого сейчас будут судить. Эй, господин Мирза, куда... по какой дороге бежит эмир? Говорите быстро. От вашего ответа зависит, останетесь вы здесь, на песке, или сохраните жизнь. Быстро!

— Вы не смеете, — вздернул голову Мирза. — Меня охраняет мандат Лиги Наций!..

— Он не сохраняет, а убивает. Отвечайте на вопрос! У нас нет времени болтать. Или — или!

Мирза весь метнулся к Баба-Калану.

— Брат! Братец! Скажи им... замолви слово!

— Где эмир?! — воскликнул Баба-Калан и угрожающе наставил на Мирзу дуло винтовки. — Я не брат тебе. Мои братья — красноармейцы.

Баба-Калана всего трясло. По широкому, добродушному лицу градом лил пот.

И вполне благоразумно, не пытаясь вилить, Мирза объяснил:

— Их высочество эмир направил свои стопы по Самаркандской дороге в Гиждуван.

— А что делали вы? — спросил комиссар Алексей Иванович. — Почему вы оказались на плотине?

— Я... мы, — бормотал Мирза, стараясь ни на кого не смотреть.

— Очень просто, — ответил сам на свой вопрос комиссар. — Плотина снабжает водой всю Бухару. Водопровода вы, дядя Сахиб, знаете, в столице нет. И если вода в арыках иссякнет, люди в Бухаре останутся без воды. И народ, и красноармейские части, штурмующие сейчас стены города. Мы подоспели вовремя. Эти гады, — он посмотрел сумрачно на лежавшие повсюду трупы, — получили воздаяние за свой подлый умысел.

— Кто отнимет у жаждущего в пустыне чашу с водой, тот подлежит сам смерти от жажды. Свяжите предателя крепче и бросьте на солнцепеке, — решил Сахиб Джелял. — А мы — в седло!

Но комиссар думал по-другому. Мирза казался слишком важной птицей, чтобы отмахнуться от него так просто.

— Мы оставим караул на плотине. Он и присмотрит за пленником, — предложил он.

— Оставлять караула не надо.

— Почему?

— Посмотрите на это побоище. Никто — ни враг, ни друг не посмеет приблизиться к плотине... Мертвецы охраняют плотину бдительнее, чем тысяча аскеров...

И показалось это или нет, но комиссар-гидротехник увидел, что, говоря о мертвецах, Сахиб Джелял вздрогнул, словно спину ему прижгли каленым железом...

Сахиб Джелял сказал совсем тихим, угасающим голосом:

— Нет выхода твоей душе
через врата презренного мира,
Смотри же, когда проходишь через мусор,
Чтоб и пылинка не пристала к тебе!

Назначаю совет.

Тихий шепот Сахиба Джеляла подхватили воины-белуджи. Они решительно встали в круг. Каждый при этом бросал свое оружие на середину в знак того, что они не разойдутся, пока решение не созреет.

— Повиновение начальнику! — воскликнул Баба-Калан воинственно.

— Надо хоть посты выставить, — заметил комиссар. — Нас голыми руками возьмут.

И вправду, совет не затянулся. Решено было взять Мирзу с собой до встречи с первой же красноармейской частью. Мирза сразу возликовал. Он получил отсрочку, равную жизни. Спустя минуту, все уже были в седле.

Странно, но Сахиб Джелял не обратил внимания на то, что в его отряде прибавилось еще три человека — причем, три женщины. Одна — сестра Баба-Калана, его родная дочь Наргис. Она повела себя со всем легкомыслием и горячностью молодости и вопреки строжайшему приказу Сахиба Джеляла приняла участие в схватке. Опьяненная битвой, она забыла обо всем. Рядом был Баба-Калан. Наргис ехала с пылающим лицом. Она горячила совсем напрасно коня, о чем ей не постеснялся сказать комиссар Алексей Иванович.

— В такую жару, Наргис, лошадей, даже трофейных, надо беречь.

— Как хочу, так и буду!

— А конь-то славный. Так нельзя, сестренка.

У Алексея Ивановича вертелось на языке целое нравоучение, которое он высказал бы на правах стар-

шего в семье, но вмешалась в разговор женщина в парандже, трясящаяся рядом на довольно-таки неважной клячонке.

— Ах, как это великодушно, о, аллах... Таксыр комиссар изволит беспокоиться о скотине, но его, такого доброго, ничуть не заботит, что мы, нежные и слабые создания аллаха, изнемогаем от зноя и усталости.

— Кто вы? — спросил комиссар. — Я хочу знать, что вам нужно в отряде? Наргис — сестренка, а Саври-ниси невеста друга. А кто вы — не знаем.

Ему надо было давно поинтересоваться этим. Но он не решался потребовать, чтобы женщина подняла чачван и показала лицо. Мало ли было случаев, когда под паранджой и конской сеткой проникали в расположение военных частей вражеские лазутчики.

— Сколько вопросов! Ах-ах!

Ручка выскользнула из-под паранджи и забросила чачван на голову. Комиссар смог бы вполне удивиться, даже зажмуриться, потому что лицо, которое он увидел, было красивым, несколько жесткой восточной красотой, но он только еще серьезнее задал вопрос:

— Кто вы?

— Это Суада. Эмирша... Она помогла мне бежать, — смело заявила Наргис.

Во всем облике Суады чувствовалась пресыщенность наслаждениями, обилием гаремной жизни. Очень молодая, но бурно пожившая женщина, откровенно принялась строить глазки Сахибу Джелялу и комиссару, чем ввела последнего в немалое смущение. Нисколько не смущаясь, Суада продолжала:

— Говорили в старину: видными йигитами женщины любят. Мудрых уважают, добрых и глупых любят, смелых боятся. А замуж выходят за сильных... Сила бывает разная. Сила бывает и в могуществе. И никто из девушек государства не откажется от участи стать женой могущественного халифа. Нежиться в шелку, кушать сладко, повелевать... Разве плохо?

Но тут же она принялась поносить эмира, грубо, последними словами. Когда же Сахиб Джелял, прислушивавшийся к разговору, поинтересовался, почему она, царица, жена халифа, убежала из Арка, она без всяких церемоний ответила:

— Женой государя называться хорошо, лестно, а вот не быть ею на самом деле... Сеид Алимхан похотлив. Он тащил все новых и новых в гарем. Кому из нас,





бедных, молодых, охота так жить. Кровь-то в жилах горячая...

И она, задернув лицо чачваном, долго хихикала.

— А развода у эмира разве добьешься?.. Одной низостью раболепия не проживешь, — продолжала она. — А годы жизни идут. А тут вдруг неразбериха, посадили нас на арбы. Я вместе с Наргис и служанка с нами бежали из обоза.

А когда у Суады сдвигался в сторону чачван, исподтишка, умиленно поглядывала на Сахиба Джеляла.

— Нам придется оставить ее в первом же кишлаке, — сказал комиссар.

— Теперь у меня с эмиром развод... — запротестовала Суада. — Теперь новые времена. Я объявляю трижды: «таляк» Сеиду Алимхану... Я поеду с вами...

III

Силы человека не исчерпать,
воду из колодца не вычерпать.

Туркменская пословица

— Эмир опять ушел.

В словах комиссара Алексея Ивановича звучала беспредельная усталость. За последние сутки ему не удалось и на мгновение сомкнуть глаза и поспать: начдив Георгий Иванович и разведчик Мерген сидели в тени карагача возле Сахиба Джеляла.

— Нет, хитрая лиса, эмир, не так прост, — мрачно проговорил Мерген, — у него повсюду глаза и уши. Шаг мы сделаем, а уже к нему скачут йигиты. Проклятый знал, откуда идет отряд Сахиба. — Он сочувственно поглядел на лежавшего в тени вождя арабов и продолжал: — Знал и пошел в сторону. Здесь его не было. — Он обвел рукой луговину, усеянную телами убитых. — Подлая душа, он знал, что, если попадет в руки Сахиба, то нить его жизни оборвется. Э, да это едет сынок. Быстро он вернулся.

Подскакал на совсем заморенном, хрипло дышавшем скакуне Баба-Калан. Вот уж про кого нельзя сказать, что он утомлен или думает об отдыхе. Он выглядел свежим и бодрым. Легко соскочив с коня, он вытянулся перед Георгием Ивановичем:

— Товарищ начдив, разрешите доложить. Эмирские пуштуны уклонились от боя и рысью уходят на юг, Говорят, там с ними, — да сгорит его отец, — сам Сеид Алимхан.

— В том-то и дело, что неизвестно, в какой группе эмир. И, обращаясь к адъютанту, Георгий Иванович приказал:

— Передать по радиции командиру Первой Туркестанской кавдивизии... Он уже, наверное, занял Китаб и Шахрисабс, чтобы встречал эмира в степи. Перехватить эмира надо во что бы то ни стало.

— Мы сами пойдем туда, — слабым голосом протянул Сахиб Джелял.

Он приподнялся на локте. Рана, видимо, причиняла ему немалые страдания, но в глазах не потухал огонь нетерпения. — Пойдем на юг... Он не мог уйти далеко...

— Вот подтянутся эскадроны и двинемся. Но вы, дорогой Сахиб, останетесь... Вам надо в госпиталь...

— Наш госпиталь, Георгий-ака, в седле... Не для того мы ходили в Сибири в кандалах, не для того моя спина изъязвлена палками эмира, не для того мы не знали годы покоя, чтобы, лежа на одеяле, умирать и слышать, что враг ускользнул... Нет, Сахиб Джелял умрет не на одеяле, а на поле с саблей в руке!

Я ношу свою жизнь
в руках своих.
Придет час — и я швырну
ее в лицо смерти.

Торжественный тон он сменил на самый простой, добавив, поморщившись (видно, рана его мучила):

— Но не раньше, чем поймаю эмира вот этими руками.

— Вы безумец... Вы рискуете своей жизнью.

И тогда Мерген философски заговорил:

— Вся его сущность
Замешана на любви к своему народу.
А на страницах его сердца
нет иных писем,
Кроме имени Родины
и любви к ней...

Топот коня прервал Мергена. Из тугаев вылетел на темном от пота коне боец из мусульманского полка. Он осадил лошадь в двух шагах от Георгия Ивановича и от ложа Сахиба Джеляла.

— Вести! — хрипло воскликнул он.

Бледный, взволнованный Сахиб Джелял сел на кош-

ме, Георгий Иванович встал, чтобы принять рапорт красноармейца.

— Что-то? Говори!

Вестник соскочил с коня и, только отвесив всем поклон по-восточному, начал хрипло выкликать:

— Бухара кончен!.. Эмира прогнали!.. Трон поломали золотой... На рассвете пушки изрыгнули огонь и смерти!.. Тогда открылись Каршинские ворота! Тысячи белых чалм вышли... У людей в руках белые флаги. На устах «Аман! Аман!..» — Пощады! — Большевики милостивы... Красноармейца великодушны. Баальшой «митинга» начался у ворот... Мир пришел... Война кончил...

— А эмир?! Где эмир?! — воскликнул Сахиб Джелял.

Больше ничего не волновало его.

— Их светлости эмира нет в Бухаре... Эмир еще вчера ушел с конницей и обозом...

— Куда ушел? Говори! Не тяни.

— Не знаю... Никто не знает. Пошел он в преисподню.

Он склоняется к молитве,
А на поверку — он осел,
порвавший узду веры.

Сахиб Джелял лег бессильно на кошму.

— Мы тут читаем перлы поэзии, а он ушел... Ушел... Ну нет, — вскочил он, — мы тебя догоним, Сеид Алимхан!

Георгий Иванович командовал своему эскадрону: «По коням!»

IV

От рыка льва долины содрогались,
словно от раскатов грома.

А лев ступал по земле, гордый своей
силой, неся в своих широких лапах вра-
гам бедствие, а в острых когтях смерть.

Низами Гянджеви

Вз Подробности сделались известны много позже, но Мерген, опытный охотник и следопыт, казалось, разгадал во многом хитроумные действия Сеида Алимхана.

Понимая, что его постараются задержать, эмир в ночь накануне штурма распорядился тайно организо-

вать, кроме своей колонны, еще три такие же точно из всадников и обозных арб, которые для маскировки из ворот, незаблокированных красноармейскими частями, выехали в разные стороны. Сам же, одетый скромно и неприметно, сопровождаемый верными людьми и сильным конвоем, кружным путем пошел через Гиждуван, где его никак не ждали, и через линию Среднеазиатской железной дороги в сторону города Карши.

В крайнем раздражении Мерген всячески поносил своего сына:

— Увалень ты! Что наделал? Проклятый эмир ускользнул у тебя между пальцев... Ты чуть не убил Сахиба Джеляла... о, бог мой, такого человека... Ты потерял след эмирского обоза. Правильно говорится у поэта Шейхи:

Ты совершенство среди длинноухих.
Ты, о Шейхи, без сомнения, умнейший
и добродетельнейший среди ослов...

Не полагалось сыну обижаться на отца, рядовому бойцу — на командира, а Мерген был командиром отряда разведчиков, и Баба-Калан довольно невразумительно оправдывался:

— Но мы его разыщем. Никуда он не уйдет. Георгий Иванович... его за горло...

Мерген не отчаивался, но положение не внушало особенных надежд. Степь раскинулась на сотни верст, солнце жгло, мучила жажда, кони выбились из сил. На горизонте в сером мареве мельтешили неизвестные всадники. За ними следили укрывшиеся в зарослях колючего кустарника воины отряда Сахиба Джеляла.

Взмыленный конь Баба-Калана едва держался на ногах. Баба-Калан проскакал на нем без малого туда и обратно два десятка верст предупредить руководителя операции Коновалова, что, как удалось установить ночью, огромная колонна всадников с вереницей крытых арб движется как раз в ту сторону, где в тугаях сейчас затаился отряд Сахиба Джеляла.

Баба-Калан докладывал Сахибу Джелялу:

— Там уже знают... С аэроплана видели четыре эскадрона... Одна пулеметная команда идет на рысях. Ударят около кишлака Бустон по эмирским палванам, погонят всех сюда. А мы должны из засады... только, чтобы не заметили...

— Велик бог! Умывает эмир руки, хочет прорваться в Карши и дальше к границе... Ошибся эмир... Дорогая ошибка!

— Ну теперь ему крышка, — заметил комиссар Алексей Иванович. — Мы его не пустим.

Мерген сидел на земле и массирует с жалостью ногу коня.

— Наши кони совсем плохи, не выдержат конного боя... Надо здесь засаду сделать. Пока будем стрелять, Коновалов подойдет.

План Мергена был хорош, но опасен. Конница, сопровождавшая эмирский обоз, по всей видимости, еще свежа и легко может смять малочисленную группу Сахиба Джелила, если он последует совету Мергена...

Но для раздумий не оставалось времени...

Из-за стены зарослей вдруг выплеснулись вопли и грохот выстрелов. И почти в то же мгновение из зарослей выскочил всадник белудж. Он свалился с коня под ноги Сахибу Джелилу и завопил:

— Они здесь, господин! Это тут, верстах в трех. Эмир бежит через железные рельсы.

— К бою! — скомандовал Сахиб Джелил. — На коней!

Откуда у него только силы взялись. Он вскочил без чужой помощи на подведенного ему коня.

— За мной!.. Мыотрежем им путь к отступлению!

Сахиб Джелил уже понукал совсем еще не отдохнувшего коня призывными возгласами, стараясь вдохнуть в него новые силы.

«Такое ранение, а он мчится вихрем в пустыне», — поражался комиссар, едва поспевая за Сахибом Джелилом.

Они вынеслись на открытое пространство вовремя. Сбоку надвигалась туча всадников.

— Стойте, не стреляйте! — неистово закричал комиссар. — Это наши...

— Какого черта, товарищ Сахиб?! — кричал командир Георгий Иванович, сидевший лихо на бешено крутившемся коне... — Еще минута — и мы вас скосили бы из пулеметов.

— Где сатана-эмир? — хрипло спросил Сахиб Джелил.

— Вон там, — Георгий Иванович ткнул кнутовищем пагайки на восток. — Поворачивайте свой отряд в чащу. Укройте как можно тщательнее и оттуда ударите наперерез. А мы двинем вон из того лога...

С удивительной легкостью эскадроны развернулись и скрылись в пыли. Солнце висело чуть ли не в зените. Степь дымилась. О приближении эмирской колонны можно было судить лишь по туче пыли, стлавшейся на самом горизонте, ровная линия которого нарушалась торчащими, словно спички, телеграфными столбами вдоль линии железной дороги.

Комиссар весь дрожал от возбуждения. Непрерывно поправляя пенсне, он вглядывался вдаль и сердито бормотал:

— Шляпы... Где обещанный бронепоезд? Эмир опять обвел нас. Пропустить такую ораву через линию!..

— Возьмем без поезда, — заметил как-то равнодушно Сахиб Джелял. Он привстал в стремях и вглядывался вдаль, оценивая положение.

— Ну, дядя Сахиб, вам повезло. Эмир лезет прямо к нам в руки. Кому удача, тому и справа... Только вот...

— Что?

— Вам плохо, дядя Сахиб. Вы, пока что, спешили бы. Мы попону расстелем. Полежали бы. На вас, смотрю, лица нет...

— Замолчи, сынок. Всю жизнь я мечтаю, как эмир будет барахтаться вот в этих моих руках, — он сжал и разжал тонкие, сильные пальцы. — Старые счета давно пора свести... Эй, Камран, разожги кальян. Пришло время покурить.

Солнце немилосердно палило. Лицо Сахиба струйками заливал пот. Говорил он хрипло, с надсадой. Руки его жадно вцепились в большой походный чилим, покрытый серебряной инкрустацией. Он с силой затянулся.

— Идут! Идут! — Баба-Калан ломился медведем через заросли тугаев. — Идут... Они потянутся прямо мимо нас по старой арбяной колее.

— Не стрелять! — скомандовал комиссар Алексей Иванович. — Сейчас Георгий Иванович даст по ним из пулеметов. Они повернут в их сторону. Тут мы и обрушим сзади на них огонь и клинки. — Алексей Иванович вытянул свою казацкую саблю. Сталь выглядела тусклой и совсем не воинственной. Поджав губы, комиссар несколько секунд разглядывал ее и, вздохнув, с силой отправил обратно в ножны. Нет, комиссар Алексей Иванович отнюдь не владел мечом да и кстати вспомнил наставления старого драгуна: «А ты не больно махай, еще уши своему коню обкарнаешь». Нет, уж лучше без сабли. Благо в кобуре есть маузер...

Не слишком утешительные мысли. Но что поделаешь? Он, даже будучи комиссаром, оставался мирным, глубоко гражданским человеком.

В прорехи ветвей джангала отлично было видно, что делается в открытой степи. Туча пыли приближалась. И даже можно было все отчетливо разглядеть.

Впереди колонны всадников важно ехали вооруженные: все, как один, в каракулевых папахах, в темных, в черную полоску, халатах. Перед их рядами бешено крутились на беспокойных конях то ли наемники-пуштуны, то ли моголы... Над ними трепыхалось зеленое знамя, застилаемое все время облаками пыли.

— Смотрите! Смотрите! — заговорил комиссар. — Что это?

За охранным отрядом тянулись черной змеей в светлых облаках пыли силуэты крытых огромноколесных арб.

— Гляньте!

— Да это наш обоз... из Ситоре-и-Мохасса! — воскликнул Баба-Калан. — Да я сам как ясаул снаряжал наш гарем. Ну, не иначе там сам эмир в первой арбе. Ну, тамом! Кончен! Попался наконец, попался, сукин сын... Иначе гвардии бы тут не было бы и духу...

— Да тише ты... — шугнул сына Мерген. — Не знаешь, как засаду держать? — Он стоял около стрелы своего длинноногого коня, сжимая винтовку в руках, готовый взметнуться в седло по первой же команде. На лице его, задумчивом и мечтательном, нельзя было прочесть ни волнения, ни возмущения. Это было лицо охотника, настороженно выжидающего появления из-за скалы давно выслеженного барса... Ну уж от его, Мергена, пули Сеид Алимхан не уйдет!

— Что случилось? — нетерпеливо вырвалось у комиссара. — Почему Георгий Иванович не стреляет? Да стреляйте же!

И эскадроны словно ждали этих слов.

В первое мгновение трудно было разобраться, что произошло. Застрекотали далекие пулеметы, загрохотали рвущиеся гранаты. Георгий Иванович достиг того, что называется внезапность. Даже из тугаев было видно, как заметались, падая с лошадей, эмирские гвардейцы. Какие-то всадники, попав под огонь, попытались повернуть на выстрелы, повыхватывали блеснувшие на солнце сабли. Взвились с диким ржанием кони на дыбы. Шархнулись, вертя громадными колесами арбы, внося в

ряды гвардии полную сумятицу и беспорядок. По стерне и меж зеленых кустиков янтака бежали какие-то неправдоподобные, в странных балахонах, женские фигуры. И все это в столбах густой пыли.

Кучки паникующих всадников, наконец, построились спиной к засевающим в засаде воинам Сахиба Джеляла, как он и рассчитывал, и рысью двинулись на показавшихся на гребне холма краснозвездных конников. Снова вспыхнули маленькими молниями сотни клинков.

— Началось! — сурово проговорил Сахиб Джелял. — Ну, эмир, твой час пришел! Эй, подсадите меня на коня!

— Вам нельзя, — только успел проговорить комиссар, но Сахиб Джелял выводил уже своих белуджей из зарослей.

С гиканьем, с воплями дикими, как Аравийская пустыня, размахивая дамасскими мечами, конники Сахиба Джеляла помчались наперерез эмирским наемникам-пуштунам и полосатым гвардейцам. Вот-вот должна была начаться рукопашная. Но вдруг, ехавший впереди эмировцев седобородый в пунцовом камзоле, очевидно, начальник, повернул коня и погнал свою банду прочь в степь. Только сейчас в шуме битвы, покрывая все хаотические звуки, послышалось увесистое, грозное буханье орудий.

— Бронепоезд! Ура! — не придерживая коня, кричал комиссар. И все подхватили его возглас и закричали «ура!».

Действительно, подошел из-за горизонта долгожданный бронепоезд. Паника захлестнула эмирское воинство. И мало кто из пуштунов-наемников и гвардейцев сумел уйти...

Бой кончился также внезапно, как и начался. Сахиб Джелял бок о бок с Георгием Ивановичем и другими командирами медленно ехал по полю, усеянному хурджунами, амуницией, каким-то пышным тряпьем. То там, то тут нелепо торчали огромные перевернутые арбы, с верхами, обшитыми кошмами, с валяющимися рядом разбитыми сундуками. Там и тут лежали окровавленные трупы.

Кони, покрытые белыми клочьями пены, медленно передвигали ноги и тяжело дышали, надсадно всхрапывая. Но Сахиб Джелял сидел прямо и строго. Он не выпускал из руки своего знаменитого меча, сталь которого, чистая, узорчатая, отливала синим огнем под лу-

чами солнца. Нет, даже в самой гуще боя Сахиб Джелял сегодня не нанес ни одного удара мечом. Он искал в пылу схватки только одного врага — эмира.

И увы, не нашел.

— Где же он? — думал вслух Сахиб Джелял.

— Эмир? — переспросил Георгий Иванович. — Пока мы деремся тут с его кавалерией, господин Сеид Алимхан лисой проскользнул через линию железной дороги и скачет на юг.

Сахиб Джелял был крайне расстроен, но старался и виду не показывать. Он только продекламировал:

Не отчаивайся, о душа!
Быть может, и к нам вернется время,
И к нам судьба повернется лицом,
а не спиною,

V

Укротите же их необузданность мыслью о натиске смерти.

Ибн Хазм

Нет ничего лучше сердца и языка,
когда они чисты.
Нет ничего хуже сердца и языка,
когда они грязны.

Лукман

Конечно, Сахиб Джелял, опытный военный, не преминул предупредить: «Не теряйте голову в преследовании». Но все они так увлеклись, что именно потеряли голову, оторвались в ночной тьме от своих и задержались в маленьком степном селении, состоявшем из двух десятков глинобитных хижин.

Доставив раненого Сахиба Джеляла в дом местного аксакала, старейшина белуджей Катран спросил разрешения своего начальника продолжить преследование и ускакал со своими в степь. Сам Сахиб Джелял настолько ослабел, что не мог держаться в седле и только распорядился: «Идите по пятам. Среди них сам проклятый эмир. Берите его живого».

Конь Баба-Калана внезапно сильно захромал и ве-
дникан при свете костра, тихо ругаясь, поправлял ско-
бчившуюся подкову на копыте.

Молчаливая, мрачная Наргис и неразлучная с ней Савринисо бродили по темной стороне двора, куда почти не достигал свет костра. Наргис, ошеломленная, по-

терявшая дар слова, возможно, понимала лучше всех, что они попали в трудное, почти безвыходное положение. Белуджи не возвращались, а они остались почти беззащитными среди враждебной степи.

Глинобитные низенькие домики безмолвно серели кубиками на фоне темного, забрызганного капельками звезд неба, померкшего от пыли, поднятой степными ветрами, горячими, но освежающими, шелестевшими в камышинках старенькой покосившейся мехмонханы. Временами они доносили откуда-то не то шакалий вой, не то ликующие вопли, больно отдававшиеся в сердце Наргис и ее спутницы. Они сулили опасность и ужасы...

Накрывшись с головой халатом паранджи, под самым дувалом лежала на паласе Суада. Она спала и вроде даже всхрапывала. Но, вернее всего, молодая эмирша притворялась. Вчера Суада сказала Наргис:

— Попались мы. От руки повелителя не ускользнешь.

Сейчас она спала или делала вид, что спала.

Поколебавшись немного, прикрыв наполовину лицо подолом накинутого на голову бархатного камзола, Наргис проскользнула к костру и, подойдя сзади, тихонько коснулась кончиками пальцев плеча Баба-Калана.

Он так резко обернулся, что задел руку сестры, и камзол с ее головы сдвинулся в сторону.

Свет упал на лицо девушки и, хотя момент был совсем неподходящий, комиссар, стоявший рядом, невольно залюбовался ею. Ни бой, ни усталость не сказались на Наргис. Здоровый румянец пробивался сквозь крепкий загар. Густые, правильного рисунка брови оттеняли чистоту выразительного, высокого лба. Смелый взгляд светлых, вернее светящихся, несмотря на свою черноту, огромных глаз; резко очерченный, несмотря на пухлые губки, рот, раздувающиеся ноздри... Нет, она совсем не походила на гаремных затворниц.

Она подошла к Баба-Калану и, хоть он сидел, а она стояла рядом, головы их были почти на одном уровне, и она казалась почти миниатюрной рядом с великаном. И все же ее не называли бы маленькой и хрупкой.

Комиссар Алексей Иванович поразился. Как она выросла! Какая перемена! Всего два года! Он не узнавал ее. А ведь много лет они росли вместе.

Сегодня Наргис скакала верхом с прирожденной сноровкой и ловкостью йигита. Правда, девочка воспитывалась в семье военного врача, где молодежь привыкла к седлу, к скачкам, к лошадям... Наргис выросла в

обществе своих названных братьев и любила мальчишеские забавы. Но скакать в бою — а они сегодня вступили в схватку с наемниками и «полосатыми» гвардейцами эмира, — пожалуй, чересчур. И наша воинственная «гаремная затворница» (другого определения комиссар не мог подобрать) с воинственным кличем вырвалась на своем трофейном чистокровном жеребце вперед и на всем скаку ловко стреляла из довольно-таки тяжелого для таких нежных ручек карабина.

Какой уж тут гарем! Такие воительницы, вероятно, были в орде древней царицы пустыни Каракум гордой Тамарис, прославленной эллинскими историками две тысячи лет назад.

Гаремные прелестницы! Нет. Такие натуры раскачиваются на ветру несчастий и бед, гнутся, но выдерживают жесточайшие ураганы... А Наргис перенесла много, чересчур много.

Голос Наргис был чистым и звонким.

— Толстяк, — бросила она вызывающе в действительно толстое, припухшее лицо Баба-Калана, — наши сердца плачут от голода. У нас нет даже на чем отдохнуть, — и она показала глазами на Суаду, спавшую в неудобной позе у дувала. — У нас почти кончились патроны, кругом кишлака во тьме ползают волки и шакалы. Пусть проклят будет он, Сеид Алимхан! А вы сидите сложа руки. Ну, ладно, ты мой брат, толстяк и лентяй, размазанное тесто в корчаге... Ну, а вот они!.. Они мужчины и воины. Что же, мы так и будем ждать, когда нас сглотнут, как кошка проглатывает мышат!..

Обижен был Баба-Калан, но осторожно снял нежную ручку с плеча и посмотрел сконфуженно на сидевших вокруг костра:

— Э, мм-м, — промычал он невразумительно, — не подобает женщине... гм-гм... задавать вопросы с открытым лицом... м-м-м почтенным... воинам и мужчинам. И потом... неудобно... не обзывай меня... я не толстяк... Я курсант Красной Армии...

— Вот как! Удивительно! Но я, толстяк, задаю вопросы не тебе, а... Мне стыдно, что ты, мой брат, молчишь, когда мы заблудились в степи... Когда вот-вот начнут стрелять, а у нас стрелять нечем... И мы погибнем в этой западне, среди этих домишек, как гибнут бродячие псы. А я... я... — И она положила руку на узбекский нож-кинжал, висевший на поясе... — Нет-нет, я не дамся...

Отбросив халат, Суада села и сказала, ни к кому не обращаясь:

— Зарежься, Наргис! Тебя все равно прирежут... за строптивость... за то, что ты, жена эмира, бесстыдно скакала на лошади и стреляла в верных слуг своего мужа и повелителя.

— Замолчи, Суада! Тебя не спрашивают, главная подстилка эмира. — И Наргис ударила кулачком по плечу Баба-Калана. — Я тебя спрашиваю, мой жирный братец, а через тебя вот их... воина и вождя с мудрой бородой... Сахиба Джеляла. Он опытный, мудрый... или вот братец, храбрый, толковый, но он не воин. Он мирный.

...А теперь на нем военная форма со значками... И он должен за тебя пораскинуть умом, что делать? Почему? И вон еще сидят воины с винтовками. Я видела, как они сражаются. И еще я вижу воинов. Пусть ответят слабой женщине. Или они бараны, дожидаящиеся ножа мясника эмира? — Волосы у нее растрепались, глаза горели, голос срывался почти в истерические нотки. — Вот они больны, — глазами она показала на Сахиба Джеляла... — Они страдают от раны... по твоей вине, Баба-Калан. Дай им покой... Не буди! Не думаю, что если собаки закрыли свои пасти, то стало тихо... — Она замолкла и прислушалась к далеким, смутным стонам ночной степи. — Ну, я понимаю отлично, что они точат на нас зубы! Без боя они не упустят добычу. Но одно прошу — живой меня не отдавай. У тебя в револьвере хватит пуль... Одну... мне...

Голос у нее дрогнул, и Баба-Калан так растерялся, что сразу не нашелся, что ответить. В нем было столько еще детской наивности и порядочного добродушия, что от слов сестры его просто в жар и холод бросило. Савринисо заинтересованно все наблюдала: и ее мысль металась то в защиту Баба-Калана, то соглашалась с Наргис.

Прятавшаяся в тени дувала Суада снова заговорила поспешно, беспорядочно:

— Говорите, не говорите! Думайте, не думайте! А? У халифа народу с ружьями полно... И всех вас, еще на рассвете, прикончат тут в ловушке... Они убивают без зла. Так собака душит кошку... Хи-хи-хи...

— Она хоть и женщина, но права, — поднял голову лежавший до сих пор молча человек, закутавшийся в белый верблюжий чекмень.

Свет упал на его зеленовато-бледное лицо с темными провалами глаз. Это было лицо Мирзы, вчерашнего назира и доверенного советника эмира Сеида Алимхана, а ныне пленника начальника добровольческого соединения Красной Армии, вождя племен Сахиба Джелляла. — И не забывайте, — продолжал Мирза, — хоть она и крикливая баба, но она госпожа Суада — законная супруга эмира Бухары Сеида Алимхана... И в нашем положении госпожа Суада может быть очень полезна. От ее слов... от теплого слова и улыбающегося лица эмир согревался в Арке и делался рабом ее приказаний.

Со снисходительным презрением Суада посматривала на Мирзу, говорила хриплым, требовательным, не терпящим возражений тоном. Она привыкла повелевать...

— Еще смеет какой-то назир... бывший назир так обращаться со мной. Эй, господин Мирза, ты забыл, что разговариваешь с высокой особой... с супругой самого халифа... Нас морят голодом, нас, которая приучена есть сладко и сытно... Я голодна и, если ты не можешь достать пищу, пусть меня отпустят домой... в Бухару. Не хочу терпеть.

Она поднялась во весь рост и, гордо изогнув стан, выкрикнула:

— Подайте кушать! Я голодна!

Всем изрядно надоели причитания госпожи эмирши. И они живо встрепнулись, когда из темноты вывернулась над дувалом голова в чалме, а под чалмой выглядывала круглая физиономия.

Голова изрекла:

— Госпожа, котел уже кипит... Одну минуту.

Эмирша торжествующе взвизгнула. Голова исчезла.

Тогда Мирза повернулся к костру и, морщась, сказал:

— Видите? Здесь сама госпожа! И никто не хочет, чтобы при сражении ей причинили вред. Вы в безвыходном положении... Сеид Алимхан ускакал. Пусть едет в Афганистан, пусть в Китай, пусть в ад. Никому он здесь не нужен. А вот то, что здесь осталась его любимая жена, он не знает. Тому, кто ему вернет любимую жену, эмир хорошо заплатит, простит все грехи, дарует врагам жизнь. Пустите меня, я договорюсь с эмирскими людьми... Объясню...

— Скорее тигр будет слушать советы мышки, чем он ваши женские советы, — Алексей Иванович усмехнулся.

— И это правда! — воскликнула Наргис. — Ты, Сауда, что раскричалась здесь?

— Эй ты, гордячка! — взвилась госпожа эмирша. Она даже подседа поближе к костру. — Ты — задирающая нос. Не верю, что ты осталась невинной, и нечего тебе кичиться... Ты вкрадчива, умна, но не настолько, чтобы держать эмира в своих нежных ручках, как держу я...

Сварливая перепалка затянулась, и спавший на небольшом айванчике Сахиб Джелал прервал женщин:

— Близится час молитвы... Брысь, вы! Хватит споров! Женщин мы к эмиру не пошлем, даже если наша жизнь зависит от этого.

Оживившись, бледнолицый подхватил:

— Женщина—орудие... Жена эмира—отличный залог... Клянусь, до сих пор вы не думали об этом.

Алексей Иванович вспомнил свое не раз высказанное мнение о Мирзе: «Человек с воровскими глазами». И, действительно, глаза Мирзы бегали:

— Знаем, как лживы женщины,— быстро заговорил он, — и все же мы удивляемся, когда оказывается, что наша сестра такая... и не лучше остальных. О женщинах в нашем положении нечего говорить... Скажите, господа, если я устрою... договорюсь... Вы обещаете, комиссар, отпустить меня?

Наргис разъярилась.

— И это говоришь ты — мой брат?! Какое ты имеешь право? Ты, который сам продал меня, мечтавшую о жизни, об учении, о свободе. Отвез, продал эмиру в гарем! Да, да, слова проклятия просятся на язык, но я не могу произнести их... Розовый куст любви в гареме поливают слезами. О, там жены хоть испытывают отвращение к эмиру-супругу, но ревнуют. Из-за ревности им чужая курица лебедем кажется... А молоденькую мою подружку, такие, как она, — и Наргис повернула лицо к жене эмира, уже жадно что-то евшей из глиняной миски, — погубили в гареме. Ее напоили сучьим молоком, и она выкинула... Сделали это, чтобы она не родила наследника Алимхану.

— Молчи, несчастная... Я тебя сделал женой эмира, я, твой брат, осчастливил тебя. Замолчи!

— Осчастливил... Да будет проклят тот день и час, когда ты обманом увел меня из Самарканда! Ты не брат мне, ты злой дух.

— Говорю тебе — придержи язык. Нам нельзя,

чтобы даже стены слышали твои богохульные слова... — Бледнолицый совсем осмелел. Поудобнее расположившись у костра, он внушительно заговорил: — Они ведьмы... Они смеют, и не могут. Но они утеха и наслаждение эмира, и эмир любит женское тело. Ради женщин, я уже говорил, мы сможем избавиться от гибели. Давайте, я поклянусь на коране, — он вытащил из-за пазухи книжечку в телячьем, блестящем, с тончайшим тиснением переплете... — Поклянусь торжественной, страшной клятвой. Поеду к эмиру или к кому-нибудь из его приближенных и договорюсь обо всем... Поверьте клятве на священном коране...

— Не будьте ханжой, господин назир, не разводите бобов за счет религии. Вы ни в какой коран сами не верите. Вы поклоняетесь корану, имя которому — успех, польза.

Алексей Иванович вмешался потому, что дела приняли явно неприятный оборот и не было оснований верить хитрому, пронырливому восточному дипломату.

Чуть морщась от боли, молчавший до сих пор Сахиб Джелиал заговорил:

— Господин Мирза, господин хитрости и вероломства, не кладите голову целиком под коран.

— Одним словом,— снова заговорил комиссар,— умиляться нечего. Вы, богомольцы,— враги, жестокие враги.

Презрительно пожав плечами, Мирза потуже завернулся в халат и устремил взгляд на язычки пламени костра. «Не хотите, не надо»,— говорили и его мертвенно бледное лицо, и вся его нахохлившаяся фигура, и медленно шевелившиеся на коленях длинные желтые пальцы.

«Точно черви»,— брезгливо подумал комиссар.

Резкие прямоугольники глинобитных домиков кишлака, высоченные, аккуратные сложенные башнями скирды сена и хлеба все четче вырисовывались на светлом участке неба на Востоке.

Медленно вскинув лицо, пунцовое от вспыхнувшего яркими язычками пламени, девушка сказала:

— Мирза — не брат мне. Он был братом когда-то... когда мы играли на зеленых холмах Тилляу. Сейчас он Злой дух — Ифрит. Не хочу, не могу быть сестрой Ифрита. У меня брат вот он.— И она ласково вновь положила ладонь на плечо Баба-Калана.— Его слушайте, а того не слушайте. Каждое его слово — ложь и хитрость.

Широколиций дехканин, тот, что высывался из-за дувала, принес к костру большую деревянную миску с джугаровой кашей, в которую были воткнуты большие ложки с длинными ручками.

Дехканин конфузливо извинился:

— Чем богаты, тем радуем. Не подумайте... Их высочество госпожа тоже соблаговолили кушать. И похвалили. А потом, то есть вскорости, чай будет. Обджуш у нас чугунный маленький, а госпожа эмирша чаю много пьют... Мы сейчас.

Кланаясь, так и не разгибая спины, он скрылся в темноте.

Проводив его глазами, комиссар не очень весело буркнул:

— Хорошо, что явился человек с блюдом каши. Мог кто другой так шастануть из-за дувала. А пока — бери, раз дают. Прошу к дастархану.

Ужинали все молча—это можно было назвать и завтраком — утро близилось. Молчали, пока пили чай,—кстати, настоящий зеленый, что в то время можно было назвать роскошью. И это тоже настораживало.

— Ну что ж, намозолить зубы такой пищей трудно. Но сыты, и на том спасибо.

— Теперь бы отдохнуть,— заметил комиссар.— Но, во-первых, мы, очевидно, попали в дом богатого человека — вполне естественно по степным масштабам. Это, так сказать, нищий бай. Но все-таки бай со своей кулацкой идеологией. Эмиршу он обхаживает, а нам отдает долг... долг гостеприимства. И вообще смотреть надо в оба. Во-вторых, с рассветом надо отсюда выбираться. Подсчитаем боеприпасы, посмотрим винтовки...

— От теплоты гостеприимства,— проговорил тихо Сахиб Джелял каким-то тусклым голосом,— от улыбающихся лиц человек согревается и делается рабом того, кто оказывает гостеприимство. Возблагодарим хозяина этого дома. Пока он здесь, мы в безопасности. Но утром он уйдет и... мы в руках врагов.

Бледноликий Мирза сварливо забормотал:

— Я вам не друг. Вы понимаете, и я не скрываю. Советую — положите в сторону смертоносное оружие. Повесьте на шею уздечки и поводья. Выйдете на восходе солнца в степь и покорно ждите... А мы поедem вперед и скажем, чтобы в вас не стреляли.

— Нет,— тихо, но яростно отчеканил Сахиб Джелял.— Воины не сдаются... Это трус бежит, бросив в

пыль даже свою голову. Мужественный защищает даже чужие головы.

— Будем пробиваться с боем,— медленно проговорил комиссар-гидротехник Алексей Иванович.— Но что делать с вами? — Он посмотрел на Суаду, а затем перевел взгляд на Наргис и Савринисо.— Ну, мадам эмирша останется здесь в кишлаке или... на все четыре стороны... Куда угодно...

— Э, нет,— вступилась за нее Наргис.— Суада-ханум поедет с нами.

— Ну ладно. А вот как быть с тобой, сестренка? — Комиссар снова посмотрел на пылающее лицо Наргис.— Ты и так подверглась стольким опасностям. Пока мы доберемся до Карши или Гузара, нас непременно раз двадцать обстреляют.

— Я — воин! Я — боец Красной Армии... доброволец... А ты, Алеша, не смеешь оставлять меня здесь... в этой дыре... Не бросишь меня и Савринисо. Она верный друг.

У Наргис на глазах блестели слезы, а Савринисо прижалась к Наргис.

— Ну тут в вопросе ясность,— со смешанным чувством восхищения и сомнения проговорил Сахиб Джеял.— Согласен... Согласен...

— Согласен и я. Только, Наргис и Савринисо, с условием: не лезьте под пули, держитесь позади.

— Эх, ты еще мало получила затрещин от судьбы, сестренка... И Савринисо подвергать опасности боюсь,— неуверенно проговорил Баба-Калан. В голосе его звучали нежность и забота.— Ну, а вот этот... наша главная забота, груз на нашей шее,— и он с ненавистью посмотрел на нервно шевелящиеся на коленях Мирзы пальцы-черви.

Бледнолицый испугался.

— Брат, смеешь ли ты так говорить? Мы с тобой одна кровь! У нас один отец! Как смеешь ты даже думать...

— Я думаю, что сейчас война. А на войне лучше, когда враг без головы.

Все как-то замерли, перевели дух... Вся суровость, весь ужас войны встали перед ними во всей наготе.

— Давайте отпустим Мирзу,— прозвучал колокольчиком нежный голос Наргис.

Мирза взглянул на нее радостно и заговорил, захлебываясь, задыхаясь. Бледнолицый торопился, с ужа-

сом понимая, что секунды текут, мчатся. Он даже встал перед костром на колени и сложил свои пальцы-червяки молитвенным жестом, вертя головой и искательно переводя мечущиеся глаза с одного лица на другое. Он говорил, говорил... Он юлил, плел что-то насчет ошибок, насчет доброты Советов, насчет того, что эмир плохой... Он молил не убивать его и даже повизгивал от ужаса...

— Сколько смелых, сколько гордых, никогда не болевших никакой болезнью, ввергнуты из-за таких, как он, предатель, в могилу...— сказала Наргис.— И из-за таких трусливых, дрянных людишек... И это мой брат... бывший брат... И...

— И?..— спросил Баба-Калан.

— И все же лучше... Пусть идет, куда хочет.

Все еще молчавший, спокойно слушавший все это со смешанным чувством безразличности, Сахиб Джелал заговорил в раздумьи:

— Оставляя в стороне подлость... коварство, подобные люди необыкновенно предупредительны... обходительны... Таким не место под солнцем. Таких трусов давят каблуком.

Но стоит ли возмущаться ветром,
когда он знобит мое тело.

Можно ли возмущаться грязью в колдобине,
которая заставляет меня споткнуться.

Все так же, стоя за спиной Баба-Калана, Наргис всхлипывала... Своим плачем она зывала к милосердию и жалости.

Окончательно раздавленный, обмякший Мирза уронил голову на грудь.

— Да, сестренка,— сказал комиссар Алексей Иванович, — ты добрая... Что же будем делать? Что?

— Огонь гаснет, но не остывает,— сказал Сахиб Джелал.

— Брать с собой невозможно,— проговорил комиссар.— Оставить здесь — предаст нас.

— О! — воскликнула Наргис.— Я знаю, что делать.

Она метнулась в темноту и тут же привела за полу халата толстощекого хозяина дома. Он упирался изо всех сил, но Наргис буквально втокнула его в круг света, падавшего от костра:

— Вот вам имам. Оказывается, наш гостеприимный

хозяин — имам мечети. Пусть Мирза даст клятву... страшную клятву на коране, на воде, на ноже...

С любопытством и явным интересом Мирза глядел на возбужденную, взбудораженную сестру, а она воскликнула напряженно, отчаянно:

— Пусть поклянется на коране перед этим имамом, который сидит всю ночь там и подслушивает... Поклянись, что если мы тебя отпустим, ты уйдешь, уедешь и забудешь о нас, никому не скажешь, кто мы, куда мы поехали... Клянись! Скорее! А то уже светает. Клянись! Я тебя прошу!

Воровские глаза Мирзы метались. Он бормотал что-то несусветное:

— Эти женщины, ведьмы!.. Поклясться? Клянусь... Сатана... Зная лживость всех баб, еще удивляемся. Аллах велик! Клянусь!

Несмотря на сумрачный свет, видно было, как вспыхнуло от стыда лицо Наргис. Но она продолжала яростно твердить.

— Клянись! Клянись!

Хлопотливое оживление Наргис вдруг сникло. Взгляд ее сквозь дым и пламя костра встретился со взглядом Сахиба. Она так и застыла с глиняной пиалой воды в руке. Девушку поразил, пригвоздил тяжелый этот взгляд.

Она вздернула свои брови-стрелы и спросила:

— Домулла, вам не нравится что-то? Вы недовольны?

— Небо сошло на землю, земля вздыбилась к небу. Этот проклятый изрыгает на тебя смрадные слова, а ты глотаешь их...

Обряд клятвы получился несколько балаганный. Комиссар распорядился:

— Всем спать. Несу дежурство я. Через два часа разбуду тебя, Баба-Калан. Потом... Впрочем, потом выступаем.

VI

К одному поступку моему
сатана был путеводителем.
К сотне великих грехов
я законный путеводитель сатаны.
Сузени

Враг расставил силки хитрости.
Лысец — разинул глотку жадности.
Саади

Поспать в прохладную ночь на кошме — благо. Наргис и Савринисо, подбравшись к молодой эмир-

ще, улеглись, но не спалось: они все время шептались и очень горячо.

Надо сказать, что бессонная ночь ничуть не сказалась на девушках. Щеки их заливал румянец, глаза оживленно блестели, когда они кипятили в обджуше чай, подкидывая веточки, колючку и кизяк. Госпожа Суада проснулась и ждала, когда позовут к дастархану. Толстые щеки хозяина имели вид распаренного теста, а Сахиб Джелял настолько побледнел и осунулся, что комиссар, Алеша-ага, едва взглянув на него, сочувственно пожал плечами.

Хлопотавшие у костра Наргис и Савринисо вскипятили чай. Наргис взглянула из-за дыма костра на Сахиба и замерла с глиняной пиалушкой в руке.

Она почти лукаво подняла недоумевающие свои брови-луки и спросила:

— Отец, вы не согласны?

Из-под халата высунулось лицо Мирзы, заспанное, во вмятинах от твердой подушки, бледное более, чем когда-либо. Видимо, Мирза уже давно не спал.

Сахиб Джелял вежливо приложил руку к груди и заговорил:

— Небо сошло на землю. Земля оказалась наверху. С каких пор, дочь моя, женщина... девчонка решает судьбы мира?

— Мы поступаем неправильно, отец? — удивилась Наргис вполне искренне.

Голос ее дрожал. Уходящая ночь тяжело ступала по домам, по степи, отбивая тяжелые верблюжьи шаги. Сумрак давил. Пулеметным треском вспыхивали сучья в зеве хлебной печи — тандыра, около которого мельтешила неслышно вынырнувшая из дома степнячка в красном платке, с серебряными украшениями на лбу. Мирный запах свежееиспеченных лепешек и домашнего дыма не прогнал беспокойства и напряженности в сердце Наргис. Тоска и страх томили ее, хотя все во дворе выглядело мирно, буднично — и изрыгающий огонь тандыра, растапливаемый степной сухой колючкой, и хозяйка, хлопочущая с тестом, и грабли, прислоненные к глиняному дувалу, и путники, сидящие у полупотухшего костра с пиалами чая в руках.

Сахиб смотрел сурово, невозмутимо. Он не сразу ответил на вопрос. Истинный рыцарь пустыни, арабийский бедуин, каким Сахиб стал за многие годы странствий по степным тропинкам, он пренебрегал стра-

хами и опасностями. Сахиб долго молчал, прежде чем заговорить. Наконец, сказал, вкладывая в свои слова столько презрения, сколько мог:

Змея под подушкой..
Небольшой огонек, вырастая,
Обратит в золу и пепел священную Мекку.

Он не говорил, декламировал. Наргис от неожиданности присела и завороченно не спускала глаз с шевелящихся в мечущихся отблесках костра губ и бороды Сахиба Джеляла.

Бледнолицый — он тоже уже сидел у костра, отщипывая кусочки горячей лепешки и вздрагивая при каждом слове. Следивший за каждым движением Сахиба Джеляла, он забеспокоился, поняв, откуда ему грозит опасность. Воспользовавшись тем, что Сахиб Джелял сделал паузу — ему вообще было трудно говорить, он имел вид совсем больного человека — Мирза торопливо забормотал:

— Я тут ни при чем. Дело не в Сеиде Алимхане, не в его высочестве эмире... Я передовой, прогрессивный. Никто не подумает, что я за деспота... ха-ха... смешно. Он тиран. Мы тиранию не признаем... Мы враг Сеида Алимхана. Он враг нам...

— Что? Что такое?

Это заговорила молодая эмирша. Она изволила с важным видом завтракать на своем паласе у дувала за особым дастарханом. Из уважения к ней хозяин принес ей хурмачу с каймаком. Набитый рот не помешал эмирше завопить:

— Ах ты, сукин сын, Мирза! Безбородый Мирза! И ты смеешь о его высочестве! Да он тебя, предателя...

Она подавилась и замолкла с судорожно открытым ртом. Где-то недалеко, за стенами домов, вдруг взвыли... Кто-то выстрелил. Вой оборвался.

— Кому «нам»? Кому Сеид Алимхан враг? — с насадой спросил Сахиб.

— Нам... Тем, кто имеет ум объединить всех тюрок... Утвердить общую культуру, утвердить общую платформу... Вы знаете, что такое платформа? Для всех тюркских племен... Под рукой османской Турции. Утвердить единство, прогресс,

— Ты кто?

— Я?! Мы?!

— Ты — узбек... и у тебя язык поворачивается говорить такое?

— Мы враг эмира Сеида Алимхана. Мы против гнилой тирании... за Туркестан... э-э... без большевиков...

— Для кого ты стараешься?

— Нам нужно государство благородных людей, купцов, помещиков, полководцев, таких вот, как вы... Цвет тюркского народа... Единая конфедерация от Алтая до Черного моря... на развалинах России... Бухара, Ташкент, Самарканд, Фергана, Уфа, Казань, Астрахань, Крым, Баку... И единая мать — Стамбул... Турецкий султанат...

Бледнолицый запутался. Здесь, у костра, шел странный, неправдоподобный диспут под аккомпанемент далеких криков, воя, стрельбы... Дым источал из глаз слезы, из горла вырывал кашель.

Надо было, видимо, браться за оружие, искать укрытия. А этот аравитянин, словно в своем бедуинском шатре, среди вождей племени сидит с холодным спокойствием, перебирая пальцами черные зерна-костяшки эбенового дерева и продолжает невозмутимо задавать вопросы, более подходящие для трибуны какой-нибудь Лиги Наций, а не разговоры в степи у костра.

Комиссар от нетерпения то сжимал, то разжимал пальцы на рукоятке клинка. Ему, мирному гидротехнику, невероятных усилий стоило по приказу самого командира из водохозяйственного работника Наркомзема превратиться в комиссара, в военного человека. Да еще такого военного, которому не сразу пришлось окунуться в бухарские события, в войну, с ее схватками, перестрелками, конными атаками, окружениями, осадами, переговорами с врагами.

А тут еще веди политические споры с явным врагом. Принимай самолично решения.

Вон при всем внешнем своем спокойствии даже Сахиб Джелял начинает нервничать. А что уж говорить о Мирзе. Тот окончательно сдал: бледнеет все больше. И бормочет совсем уж несуразное.

И все это в такой тревожной обстановке.

Но что ж! Чай выпит, лепешки и прочая пища съедена. Отдана дань гостеприимству. Хозяин теперь не будет стрелять в спину: в гостей, даже уезжающих, не стреляют.

А бледнолицый нудит и нудит, с позволения Сахиба Джеляла. Нельзя прерывать, Сахиб Джелял слишком видная фигура!

— Народы Туркестана, — тянул Мирза, — не созрели, чтобы управлять своей судьбой. Пример — прогнивший режим эмира. Пример Хивы... Коканда... Ой, не спешите! Не выносите решения... Выслушайте. Мы в Берлине с Энвер-пашой недавно. Мы там в эмиграции ждали... У нас в Стамбуле Союз туркестанской молодежи... Задача — борьба с Советской властью... А эмир только орудие...

«Ого! Тилляуский воробышек, клевавший навоз на тилляуском базаре, теперь стервятником прилетел из Стамбула терзать живые тела людей», — думал с ненавистью комиссар. Он встал, стегая свои коричневые краги офицерским хлыстом:

— Честное слово, пора кончать.

— Я не молодежь, — мрачно пошутил Сахиб Джеллял. И Мирзу всего передернуло от плохого предчувствия... — И мне, Сахибу, и воинскому сардару нет дела до ваших лиг и... Энвер-паши. Энвер-паша такой же... Память о нем среди арабов Аравийской пустыни... память о владычестве турок корявым шипом вонзилась в плоть бедуинов. Энвер-паша такой же, кровь проливающий колонизатор, людоед, пожиратель женщин и младенцев, как Чемберлен, Пуанкаре, Николай Кровавый. О, сколько раз мой меч висел над головой этого подлого зятя, подлого халифа, убийцы людей Энвера-паши!..

— Довольно с ним. Извините, дядя Сахиб, разговор окончен. Пора, — сказал комиссар.

— Нет, нет! — воскликнул бледноликий. — Стойте! Выслушайте! Я уполномочен... Облечен полномочиями... У вас есть выбор. Выбирайте английский эликсир. Он волеет новые силы...

С ожесточением Сахиб Джеллял процедил сквозь зубы:

— Большая кошка проглотит маленькую.

— Идем же с нами! Подчиним Туркестан Европе. Историческая необходимость. Ничего не понял Сеид Алимхан... глупец Алимхан. Единственная мера спасения страны. Бухара свяжется железными дорогами с Индией... с Персией, Китаем. А этот глупец... Алимхан приказал разобрать рельсы, сжечь шпалы... кричал: «Железная дорога погубила благородную Бухару...» А ведь через железные дороги мы будем привлекать капиталы, богатства цивилизованных государств...

— Эка, куда хватил... — иронически протянул комис-

сар. — С перепугу о высокой политике запел. Не до нее сейчас, дядя Сахиб. Давайте решайте.

Сахиб Джелял не сказал больше ни слова. Все напряженно молчали.

Внезапно заговорил Баба-Калан. Он выразил мысль по-своему:

— Удержится ли лед на солнце, а?

Бледное, искаженное страдальческой гримасой лицо Мирзы колебалось, белесым пятном дрожало на фоне свинцового неба. Выражение лица нельзя было разглядеть, но глаза пугали. Черные кружочки зрачков, окаймленные белками и синими веками, угрожающе, посудачьи, тарасились. Мирза походил на уродливое чудище. Голос хриплый, скрежещущий. Мирзе чудилось, что он сумел убедить Сахиба в чем-то. И он с азартом игрока бросил последнюю карту. Весь дергающийся, извивающийся, он казался порождением кошмара. За его блеклой фигурой, в дымных клубах, пахнущих своеобразной глиной и пустыней, казалось, прятались и шевелились безобразные лики, рогатые, косматые, сопевшие, хихикающие.

— Не воображайте... я не один. За мной сила и могущество. Мы сотрясаем весь Туркестан. Мы растоптали ташкентских комиссаров, мы растопчем и вас...

Он уже и угрожал.

— Яснее, — проговорил через силу, с отвращением, комиссар. — Кто это «мы»?..

— Мы — это «иттихад вэ таракки», мы — Туркестанская военная организация, мы — кашгарская академия иттихадистов, мы — мелли иттихад, могучая армия ислама, мы — Энвер-паша и его эмиссары во главе с Юсуфбеком... мы — это мы. Мы — генерал Макман. Мы — все золото и оружие Британской империи... Мы — ангел возмездия и гнева...

— Наконец-то, раскрылся, — сказал комиссар. — Одно несчастье — тут намешалось в эту кашу столько сантиментов и родственных чувств, что...

Он сердито и несколько растерянно смотрел на лицо Наргис и на Баба-Калана...

— Британский генерал Макман... — протянул Сахиб Джелял. — Британское золото... британское оружие. Не слишком ли много британцев... И этот зверь Макман. Где он? Дайте его сюда. Я гоняюсь за ним по всему миру, а мой меч давно плачет по его шее... шее британца.

Бледноликий Мирза опять заюлил, завертелся. Ви-

димо, неодолимая сила тянула его вскочить, прыгнуть через дым костра, бежать. Но мысль об оружии, лежавшем на коленях у сидящих у костра, делала слабыми его ноги. И он оставался на месте, пригвожденный к земле ужасом. Бледные губы его шевелились, издавая плохо слышные, неразборчивые звуки.

Баба-Калан с любопытством разглядывал бледное, истощенное лицо Мирзы. Он с недоверием и неудовольствием отнесся к церемонии клятвы, затеянной Наргис, и ко всему тому, что говорил бледнолицый.

Баба-Калан многого не знал из запутанной кухни большой восточной политики. Сейчас он понял одно: в Наргис пробудилось чувство жалости к брату — к этому липкому, с каменным сердцем и холодным рассудком человеку... нет, не человеку, а змее, извивающейся у них под ногами.

Баба-Калан не питал к Мирзе никаких родственных чувств, несмотря на то, что тот был его братом по отцу.

С душевным трепетом вспоминал Баба-Калан своего Мергена. Конечно, будь он здесь, не отстань с группой бойцов от мусульманского дивизиона Сахиба Джеляла в ночной тьме, все бы решилось. И Баба-Калан очень сетовал, что отца его нет с ними.

Возможно, что прямой, простодушный Баба-Калан и сейчас не остановился бы перед крайними мерами, если бы не Сахиб Джелял и не Наргис.

А теперь Баба-Калан с любопытством внимал всему происходящему у дымного кизякового костра.

Отсветы еще далекой зари рассыпались, расплескались тихо по небосводу. Звезды медленно гасли. Пламя умирало в костре, а где-то за домами и глиняными дувалами кишлака нет-нет и возникали снова и снова вопли, ударяли выстрелы, напоминая, что времени на раздумья нет, что опасность крадется из ночи к дворику, к их мирному очагу, к их совсем не мирной беседе за дымным костром. И, быть может, лишь трусость и растерянность эмирских людей, кружащихся вокруг кишлака, служит им щитом.

Проще смотрел на все комиссар Алексей Иванович. Оставить в кишлаке Мирзу, а самим уехать в степь, кишлящую остатками разгромленных армий эмира — глупость, да еще преступная. Комиссару многое открылось только сейчас, но он почувствовал и понял, что тилляуского мальчишки Мирзы, товарища детоких лет в лапту и ащички, нет. Есть некая личность — господин

Мирза, политическая фигура, высящаяся в центре самых невероятных событий. Как? Что? Сейчас не время разбираться. Сейчас ясно одно: их столкнула судьба на узкой тропинке. И если бы опасность грозила только ему, комиссару, он посторонился бы и пропустил товарища детских игр. Они разошлись бы каждый своим путем. Но Мирза представлял опасность для многих, для народа, для дела, которому посвятил себя комиссар, для борьбы за власть Советов в Туркестане.

Ужасно трудно чувствовать себя судьей. А так или иначе комиссару надлежало выполнить обязанности судьи.

Комиссар знал, что есть одно решение — оставить Мирзу на свободе нельзя. То, что в детстве они ели из одной касы, играли в одни игрушки, не могло остановить приговора, отвратить участи бледноликого. Даже то, что отцом Мирзы был Мерген, которого доктор Иван Петрович и его семья почитали и уважали за самого близкого, родного человека, ничего сейчас не меняло.

С болью в сердце, с гнетущей тревогой следил комиссар за всеми манипуляциями принесения клятвы, хотя меньше всего верил в этот фарс. Иначе смотрел на обряд клятвы Сахиб Джелял. Клятва на коране и воде — железная. Никто, и в том числе даже сложившийся и законченный политический интриган, такой, как Мирза, — а теперь Сахиб кое-что припоминал из разговоров и слухов о нем, распространившихся на Среднем Востоке, — не посмеет поломать клятву, чтобы не заслужить позора клятвopеступника. До обряда клятвы Сахиб Джелял не колебался. И иного решения — как не отпускать Мирзу — у него не было.

Клятва заставила Сахиба заколебаться. Он слишком долго жил в Аравийской пустыне, общался с бедуинами — с коварнейшими разбойниками, но честнейшими в клятве и обещании. Обычай пустыни напластовался в душе и разуме Сахиба, в глубинах его натуры.

И он, молитвенно проведя сверху вниз по бороде, процедил сквозь зубы:

— Этот человек совершил зло. Этот человек — сам воплощение зла и предательства, но он дал клятву на коране и воде. Коран священен, вода трижды священна! Здесь присутствуют кровные родственники этого человека, которым он причинил зло. Закон пустыни говорит: о мере зла пусть судят родственники... Отдать

Мирзу родственникам! Пусть делают то, что надо. А мне больше нет дела до этого человека.

Для Сахиба Джеляла важно было одно — избавиться от Мирзы. А вот каким способом, неважно. Он не колебался бы в Аравийской пустыне, если бы судьба повелела ему, полководцу и вождю, решать. И он бы решил и выполнил бы решение собственноручно.

А сейчас здесь, на земле Бухары, пусть решают кровные родственники.

Его немного коробило, что в решении вопроса главной была девушка Наргис, хотя она и дочь ему. Но и здесь на Сахибе Джеляле лежала бедуинова печать. У бедуинов в шатре часто в решении вопроса жизни и смерти голос женщины — решающий голос. «Слово женщины — гром небесный!»

И еще две женщины присутствовали при клятве — Суада и Савринисо. Ого! Она жена эмира, халифа мусульман! Пусть он беглый эмир! Пусть его халифство не стоит и медного «чоха» — гроша, но все же халиф... А она делила ложе с халифом.

Жена халифа взирала на все происходящее с любопытством, свойственным обитательнице гарема. И не потому, что ее интересовала судьба советника ее мужа. Бледноликий вел себя извивающимся ужом и, по мнению Суады, не заслуживал ее внимания.

И пусть они делают с ним, что хотят. Она даже плюнула в сторону Мирзы.

А все еще глазевший из-за дувала имам, он же скотовод — просто сгорал от любопытства. Луноподобную свою физиономию он измазал о дувальную глину, трясь о нее щеками и подбородком, и все вздыхал. В предрассветных сумерках он мог, наконец, разглядеть как следует лицо Мирзы. И как только мог эмир выбрать в назиры, в советники безбородого «куса». Министр бухарский! Большая личность и вдруг безбородый. Вот такие безбородые и назначаются эмиром налоговыми сборщиками и шляются по степным отарам. Возись с ними, торгуйся, отбивайся от поборов. Бай даже прослыл за опасномыслящего, сболтнув при свидетелях: «Пахарь с омачом — аллах с мощной!» Лишь неделю назад пришлось отогнать в Кассан в бекский дворец целую дюжину баранов, чтобы заглушить «злойный лай эмирских псов». А немного раньше, летом, ведь этот бледноликий был здесь проездом с ширбачами и приказал баю-скотоводу отогнать свои отары каракуль-

ских овец за реку Амударью в пределы афган. «Не отгонишь — мои ширбачи шкуру с живого сдерут и на столбе перед мечетью повесят».

Когда вчера приехали всадники и среди них оказался бледноликий, бай с перепугу чуть в штаны не напустил. Думал — конец.

«Вот теперь пусть господин назир покряхтит... А то с живого шкуру... придумает же...»

Чабаны бая тогда овец отогнали, но не на юг по степным дорогам к амударьинским переправам, а на север к Зирабулакским горам.

Злополучный имам-бай боялся слова «афган», лихих и настырных разбойников. Но и слов «большевой» и «совет» бай боялся не меньше. Большевые не любят помещиков. Вот и смотрел и слушал бай всю долгую августовскую ночь. Старался понять и разобраться в споре между бледноликим министром и большевыми комиссарами и... не понимал, что же делать.

Растерянность бая сослужила группе Сахиба Джеляля большую службу — возможно, спасла их. Когда поздно вечером лазутчик из отряда эмирских ширбачей тайком пробрался в кишлак, имам-бай заверил его, что, кроме назира и его свиты, в кишлаке никто не ночует, что назир «изволят молиться и готовиться ко сну», что не велено беспокоить...

В ужасе от всего, что происходит, и особенно от того, что он сам наделал, луноликий имам-бай находился в состоянии малярика, в которого вцепился очередной приступ с жаром, ознобом, полнейшим затуманиванием мозгов. Он был способен только на то, чтобы слабым, чуть слышным голосом командовать двумя малаями: «Несите!», «Уберите торбы!», «Подтяните подпруги!»... Он трепетал, не зная, останется ли его круглая, как шар, голова на плечах...

Не знали, что делать и все участники ночного «диспута» у костра. Всё — и светлый небосвод, и быстро гаснущие звезды, и зябкий степной ветерок — все говорило: наступит день. Кони прядали ушами, тянулись головами через дувал и с силой втягивали пряный от запахов трав степной воздух, рвались из кишлачных душных дворишек, пропахших терпким дымом и соленой пылью и глиной.

Решительно тряхнув головой, отвечая на какие-то свои мысли, комиссар встал и все забеспокоились. Бледноликий понял: решать будет этот хладнокровный,

со спокойным лицом, ни разу не вспыхнувший за всю ночь у костра урус-большевик. Бледнолицый не ждал ничего хорошего от такого решения и схватился за голову, и застонал сквозь зубы. Он понимал и знал: такие спокойные, неразговорчивые на вид люди беспощадны в своих решениях.

Комиссар поманил имама-бая. Тот перевалился своим тяжелым брюхом через глиняный дувал, неуклюже бухнулся оземь, вскочил, просеменил несколько шагов и ткнулся головой в ноги комиссару.

— Дать корм коням!.. По десять фунтов ячменя в торбу...

Откуда-то выбежали два батрака в лохмотьях и принялись надевать торбы на морды коней.

— Приготовиться к отъезду. Едем через полчаса. Проверить подпруги. Госпожа эмирша, вы остаетесь. Отправляйтесь на женскую половину. Нет? Почему? Предупреждаю — будет стрельба. Опасно.

Сахиб Джелал заметил:

— Никому не избежать своей судьбы, ханум. Совет нашего друга-комиссара мудрый.

Суада заметалась.

— Эй, вы! Вы меня вырвали из рук халифа. Вы отвечаете! Доставьте меня в Бухару!

Голос ее сорвался в визг.

— Вот! Пусть он,— она ткнула пальцем в сторону бледнолицого, окончательно растерявшегося, сжавшегося у потухшего костра в комок и издававшего стонущие возгласы,— пусть он отвезет меня в Бухару. Не подобает жене халифа правоверных оставаться здесь, среди грязных чабанов... Ааа! Они разбойники! Они убьют меня, ограбят, отнимут... Опозорят!

Она вдруг начала снимать с себя драгоценности и протягивать их... Но не бледнолицому, а комиссару...

— Довольно! Прекращаем дискуссию.— Он подозрительно разглядывал метавшихся по двору у коновязей людей бая.— А вы, господин назир, или как вас там... советник, предупреждаю — сидеть на лошади смирно... Не кричать, не разговаривать!

* Тут его взгляд остановился на девушке:

— Товарищ Наргис... сестренка, прошу не высказывать вперед. Савринисо, вас также прошу. Мы тут не по агалыкским лугам с тюльпанами верхом катаемся. В небо, как в копеечку, из винтовки не палить.

Патронов у нас мало... Аллюр в степи — карьер. Поедем на север.

Последние его слова были обращены к Сахибу и Баба-Калану.

Заря внезапно залила небо золотым урюковым светом изумительного оранжевого оттенка.

Коней напоили. Имам-бай выбежал из мехмонханы крайне озабоченный.

— Неужто уезжаете, не докушав. Не подобает! Неудобно! Меня принижаете... Гостеприимство! Попейте...

В руках он держал две большие фарфоровые касы с ширчаем. Такие же касы поднесли оборванцы.

Ширчай, то есть плиточный зеленый чай, заваренный на кипящем молоке со сливочным маслом, солью, черным перцем, с кусочками ячменной лепешки — отличный завтрак для путешественников рано утром перед долгим, быть может, стоверстным путем.

— Наш бай молодец, — не удержался комиссар.

Он попытался расплатиться за фураж, за хлеб, за пищу, но хозяин задергался в судорогах при столь явном нарушении законов гостеприимства...

— Это не помешает ему поспешить предупредить эмировскую свору, как только мы выедем из кишлака. — Сказал это Сахиб Джелал с трудом, при помощи бая и Баба-Калана забираясь на седло. Он сильно ослабел за ночь. Видимо, рана давала себя знать. Когда кавалькада выехала из кишлака, верхушка маленького минарета, высившегося над плосковерхими балаханами кишлака, побагровела. В стрельчатом окошке минарета заалела в заре чалма суфи—муэдзина. Гнусавый голос затянул:

— Нет бога, кроме бога и пророк его...

Но комиссар уже не оглядывался: призыв на молитву — призыв, возможно, к миру и благоволению... А может быть, сигнал эмировцам?

Их провожал этот успокоительно мирный возглас, дразнящие мирные запахи жаренного в кунжутном масле лука. Очень мирные возглас и запахи!

Они всматривались в степь пристально, напряженно, до боли в глазах. Каждый вел себя в соответствии со своим характером.

Вдыхая бурно вздымающейся грудью свежий бальзам степи и гор, Наргис с блестящими от восторга глазами горячила, вопреки запрету, коня так, что он просто танцевал на утоптанной дорожке. Савринисо была возле подруги. Баба-Калан, находясь рядом, ехал

по-чабански грузно, ехал будто бы опекая сестру и невесту, которая вырвавшись из эмирского дворца, преобразилась. И милое лицо ее с ямочками на щеках стало еще привлекательней. Бледнолицый висел на спине коня кулем, уткнув голову в плечи и вздрагивая судорожно при каждом шаге. Сахиб Джелял, несмотря на слабость и боль, гордо, как и подобает кочевнику-арабу, вытянулся в седле и озирался очень воинственно. Госпожа эмирша оказалась лихим всадником. Она ничуть не терялась, закинув на голову чачван, старалась не отставать от девушек.

И тут только впервые за сутки комиссар обнаружил, что эмирша была очень недурна собой.

Он поймал себя на совсем неподобающем: он залюбовался ею. «Вот как бывает. Тут надо боевыми операциями заниматься, стрелять надо... Доставить Наргис с госпожой эмиршей товарищу Фрунзе, раненого вождя в госпиталь отвезти, а он с очаровательной пери глаз не спускает. Угораздило!»

Что на это скажешь? Комиссару Красной Армии Алеше-ага только исполнилось девятнадцать, а в девятнадцать лет и не грех полюбоваться степной красавицей, гарцующей лихой амазонкой на горячем коне.

Эти праздные размышления комиссара были прерваны самым неожиданным образом.

VII

Смелость отпугивает несчастье.

Бароха

Но события этой книги при всей их фантастичности призваны выразить высокую, поистине дикую причудливость души или хотя бы показать ее читателю.

Г. Честертон

Наргис доложила по-военному комиссару Алексею Ивановичу. Глаза ее блеснули, губы кривились в нервной улыбке:

— Товарищ командир, за тем холмом эмировцы, возможно, и сам эмир.

— По коням! — скомандовал комиссар. — Разведку вперед!

Еще не улеглась терпкая пыль, еще чихал приبلудный пес, крайне недовольный, что его выгнали из куточка полуденной тени, еще садились в седло запоздав-

шие конники, а разведчица, допивая пиалу чая, успела рассказать все, что видела.

Прежде всего она протянула небольшой листочек, весь покрытый арабскими письменами.

— Вот, читайте! Тут такое, что все матери и дети Нураты плачут как по покойнику. Оплакивают и свои жилища и гумбез святого пророка Хазрета. Говорят, черная разруха надвинулась тучей. Беда! Те, кто помоложе, уже на кяризы убежали. Старики остались, подставив шею под острие меча. Читайте!

Хороша была Наргис со своими блестящими глазами, пылающим румянцем, загорелыми щеками, длинными черными косами, высвобожденными из-под полинялой, но лихой буденовки.

«Большевики русские,— читал вслух комиссар, нет-нет и поглядывая на разведчицу, а она сердито хмурила свои брови-луки и глазами приказывала читать дальше,— большевики разделили бухарский народ на две части — революционеров и басмачей. Проклятие! Эй, мусульмане, мы, Абдукагар, командующий их величества эмира, пишем вам потому, что мы дети единой с вами мусульманской семьи. Если вы не жалуете население степи, то есть себя самих, то и мы жалеть не будем. Пусть его, то есть вас, сожрут волки и шакалы на кладбище».

Воззвание было отпечатано на гектографе, очевидно, во многих экземплярах.

— Эге, дело поставлено у эмира на солидную ногу. Да, кстати, этот Абдукагар — карнапский бек.

— Бек сам не очень грамотный,— проговорила разведчица, странно смутившись.— При Абдукагаре состоит от эмира в советниках секретарь или бухарский мирза Латиф Диван-беги. Он толкует законы. Сам в руки не берет оружие, такой человек. Он... это, возможно, Мирза...

Она замаялась и покраснела.

— Что он? Вы говорите про него?

— Он при штабе Абдукагара появился, как рассказывают, два дня назад. Ну, конечно, как только мы его отпустили... Он называет себя представителем эмира.

— Вот видишь... Пожалели мерзавца...

На глазах разведчицы выступили слезы. Щеки ее сделались совсем пунцовыми.

— Нет, он не брат мне. Предатель народа не может быть братом. Мерген узнает — проклянет его. Мерген





пойдет в становище Абдукагара и собственными руками задушит подлеца, изменника народа. Какой ужас!

И совсем по-женски она запричитала, заохала, утирая глаза боковым концом буденовки.

Положение усложнялось невероятно. В голове комиссара, взволнованно поглядывавшего на разведчицу, складывались планы один невероятнее другого. Определенного решения еще не сложилось.

Обнаглевший Абдукагар действовал с наглостью поистине беспардонной. Пользуясь тем, что в степи красноармейских частей почти не осталось, он успел за два дня совершить налеты на кишлаки и железнодорожные станции, грабил, хватал, убивал.

Кто-то сказал, что в банде Абдукагара нашел прибежище эмир.

Отряд шел день и ночь по пятам за бандой. Наргис предупредила, что бандитская группа Абдукагара по меньшей мере раз в пять многочисленнее и к тому же отлично снабжена оружием и боеприпасами. На что комиссар довольно самонадеянно заявил:

— Я плохой Суворов, совсем даже не Суворов, но суворовское правило знаю — врагов бить, не считая сколько их там.

Он, впрочем, имел право так говорить.

Накануне Баба-Калан со своим маленьким отрядом ворвался в лагерь Абдукагара и после кратковременно, но жаркого боя разгромил бандитов. Сорок верблюдов с мукой и рисом, десяток лошадей, отара баранов и много оружия — весьма солидные трофеи увенчали эту операцию.

Рассматривая захваченные винтовки, комиссар только поджимал губы. Бойцам он сказал:

— Вот вам политграмота. В нас летят пули, убивают, ранят, калечат. Из каких, из чьих винтовок? Из абдукагаровских. И почему эти винтовки из Англии? А? Подскажите. А потому, что это винтовки интервентов-империалистов. Абдукагар — лакей и прихвостень империалистов. Понятно?

Разгром базы, обошедшийся Абдукагару потерей двухсот человек, притушил его активность.

Держался он по-прежнему нагло, пыжился, но избегал мало-мальски серьезных столкновений с Сахибом Джелалом. Операции приняли характер игры в кошки-мышки.

Обломав зубы, Абдукагар кинулся в сторону Буха-

ры. Здесь его тоже встретили достойно. Шайку разгромили у селения Хатырчи. Абдукагар якобы ушел в сторону Карнапа. Несомненно, он попытается увести эмира в сторону Байсуна.

Быстрота, натиск. Комиссар имел право говорить, что он действует по-суворовски.

Комиссар снова посмотрел на все еще не могущую успокоиться разведчицу.

«Так вот, если мы официально, так сказать, обратимся к этим... к Абдукагару и его компании, они нас встретят пулями,— думал комиссар,— а если, предположим, родная сестра первого министра Алимхана желает поговорить мирно, тихо... Разъяснит безвыходное положение банды... предложит, скажем, позондирует почву... предложит эмиру сдаться на почетных условиях...»

Теперь вновь в связи с падением Бухары необходимо было предложить Абдукагару сдаться.

— Я поеду... поговорю... — откликнулась Наргис.

— Ну нет, так с кондачка мы решать не будем. Подумаем, посоветуемся. Возникло много предложений и одно серьезнее другого.

Как еще отнесется Абдукагар к предложению сдаться. Падение Бухары вовсе не озадачило его. Наоборот, мания величия обуяла его еще больше. Из рядового бека он поднялся в командующие.

— Трудно сказать, куда умчался с бандой Абдукагар,— заметил комиссар.— Ужом выскальзывает.

— Ничуть не трудно,— быстро возразила Наргис.— Он в Карнапе.

— И ты точно знаешь?

— Точно. Там сейчас его штаб.

— Ответ на вопрос: что подумает, что сделает твой брат Мирза, если ты встретишься с ним в лагере Абдукагара... Поможет ли он нам уговорить эмира сдаться?

— Не знаю. Одно скажу: увидев меня,— она опустила лицо,— без чачвана он разозлится и скажет: «Позор!»

Сахиб Джелал предложил свой план.

— Достать паранджу... и этот, как его, чачван. Дочь моя, придумай историю: узнала про брата... решила уговорить из жалости сдаться. Эмирату — конец. Советы — всюду. Жаль, нет старого Мергена. Где он?

— Где-то здесь, в степи, в частях Красной Армии. Вы же знаете, Сахиб, наш Мерген незаменимый проводник,— вмешался в разговор Алексей Иванович.

— Да, был бы он здесь, что-нибудь придумали бы. А сейчас... давайте прикинем на местности. Надо же обеспечить операцию, да так, чтобы этот бандюга ничего не заметил. А тебя, — Алеша посмотрел на пылающее румянцем лицо юной разведчицы, — мы не оставим. Ты должна все время чувствовать, что мы с тобой рядом.

Наргис все еще стояла, уронив голову на грудь. Наргис ничего не сказала.

«Они не знают закона... нашего закона. Мирза?.. Какой он?»

Снова и снова перебирала Наргис события последнего времени. Ужас смерти Шамси, похищение ее, плен в Карнапе, сватовство эмира, Ситоре-и-Мохасса. И все это дело рук ее брата Мирзы. Нет, ждать братских чувств от Мирзы не приходится. Лучше она сама поведет переговоры с Абдукагаром.

А у комиссара на душе остался неприятный осадок и... холодок в сердце.

VIII

Хотел он раздобыть доброе имя, да не знает, где продается этот товар.

Алаярбек Даниарбек

Попал я в край пустынный.

Ветер здесь — огненный гармись.

Куда ни пойдешь, всюду засады ^{земля — соль,}

Жаждущих, как чума, убийств. ^{разбойников.}

Мавлоно Нахви Герати

Земля дышала огнем. Жар плескался в лицо. Обжигал. Казалось, из-под копыт лошади выбивается не пыль, а язычки пламени, желтого, тусклого. Тяжело дышалось. Очень тяжело. Каждый вдох жег грудь.

По краю степи, там, где земля соприкасается со свинцовым небосводом, в тучке пыли и взметнувшегося песка двигался уменьшенный расстоянием темный силуэт всадника.

Необыкновенный это был всадник. И те, кто внимательно и пристально наблюдали за ним, поражались все больше. В буденовке со звездой, в гимнастерке с «разговорами», в красных кожаных чембарах ехал по беспокойной, опасной степи боец Красной Армии. Ехал опрометчиво, безумно, смело.

Один! Кто он?

А когда раскаленная мгла просветлела, когда тяжелая серая пыль рассеялась, можно было разглядеть, что боец — женщина, молодая и красивая.

Степь по виду мертва, выжжена, суха, но степь живет. Каждый овражек, каждое растрескавшееся от сухости старое арычное русло, каждый бугристый, кишачий скорпионами и каракуртами древний отвал живет своей скрытой жизнью. Вон, вжимаясь в песок, пополз кто-то в синей чалме. А там, в ложине, уже скачет во весь опор джигит. На вершине холма, похожей на горб верблюда, сидит чабан не чабан, басмач не басмач и, морщась от солнца, смотрит из-под ладони козырьком в ту сторону, где скачет по степи девушка на коне.

Наргис все видит: и того, ползущего в синей чалме, басмача, и облачко пыли от поскакавшего йигита.

У Наргис недовольно оттопырена губка. Она раздражена. Не только духота раздражает, не только хорящиеся в степи враги... Наргис недовольна сама собой. Она ведет себя недисциплинированно, — позволяет себе самовольничать. Она подсознательно рассчитывает на снисходительность командиров. Она прикрывается от упреков и выговоров щитом своей исключительности. Во всем дивизионе она одна женщина-боец, да еще — разведчик. Савринисо определили кашеварить, и она, находясь в относительной безопасности, выполняет свои обязанности, радуясь тому, что Баба-Калан рядом, и надеясь на то, что война скоро закончится и она с Баба-Каланом уедет в его родной кишлак Тилляу, чтобы стать хозяйкой его очага.

Наргис же рвется в бой, в разведку.

И вот сейчас она едет по степи открыто с таким видом, с такой гордой осанкой, точно говорит всем: «Все смотрите на меня, я вас не боюсь».

Но она боится. Опасность слишком велика.

Что ж поделаться? Другого выхода нет.

Уехала сегодня она без разрешения. Более того — заместитель начальника разведки дивизиона Хабибуллин — он только вчера прибыл из мусульманского полка в дивизион и не представляет себе, что молодая женщина может служить в Красной Армии разведчиком, — сконфузившись, выговаривает Наргис:

— Надо... Вам запрещается выезжать... одной в степь.

— Мне начальник разведки Баба-Калан разрешил. Баба-Калан ревностно опекает свою смелую сестру. Вопрос о поездке Наргис в стан Абдукагара был решен, но срок выезда в Карнап на переговоры с Абдукагаром не был назначен. Баба-Калан еще ночью уехал искать штаб корпуса и вряд ли вернется к вечеру.

Но Наргис не рассказывает Хабибуллину о том, что Баба-Калан разрешил Наргис участвовать в разведывательных и фуражированных рейдах, он ни разу не допускал, чтобы сестра отправлялась в степь одна, без надежного прикрытия. Хабибуллин же здесь, в дивизионе, только второй день и порядков здешних просто не знает. Он робко бормочет:

— Что скажут... Молодая... э... и едет одна.

— Я служу... я не в женском пансионе, а в кавалерийской части Красной Армии. А наш дивизион не гарем эмира, и вы не придверник гарема...

Наргис дерзит. Под диковатым взглядом глаз Наргис молодой командир стушевывается и краснеет. Но он свои права знает и остается непреклонным. В отсутствие начальника он не разрешает Наргис отправиться в разведку.

Впрочем, разговор состоялся до ее поездки.

И вот Наргис в пути.

Степь в здешних краях ровная-преровная. На серой ровности ни одного приметного овражка, ни одной сколько-нибудь заметной рывины. За зелеными, почти черными кустиками янтака и ползком незамеченная не проползешь. А что говорить про столь приметного на желтом фоне горизонта всадника.

Небо в зените не голубое, не синее, а свинцово-серое, пышет жаром и зноем прямо в лицо вместе с терпкими запахами полыни и каленой глины. А там, где небосвод упирается в край земли, возникают из серо-желтой мари такие же серо-желтые адыры — невысокие холмы, и на них плоскокрышие кишлачные домики, тоже серые. Кишлак даже не стоит, а вроде плывет и, кажется, что под него можно спокойно заехать вон к тем, появившимся неведомо откуда чуть маячившим голубым куполам, хорошо видимым даже отсюда.

Жаром пышет степь в лицо. Но смуглая розовость щек и матовая белизна открытого лба Наргис не боится солнца. Прелесть красоты горянки вышла из раскаленного жерла тандыра — хлебной печи, из пышущих жаром скал ущелий, из пучин огненных гармсилей. Неж-

ную на вид кожу ее выдубили джинны песчаных вер-хушек барханов, курящихся на горячем ветру. Что для Наргис какие-то ветры степей и пустынь? Она красива в своем красноармейском шлеме. Ей очень к лицу кавалерийская гимнастерка цвета хаки.

И притаившийся за низкой оплывшей глиняной стенкой степного колодца чабан шепчет себе при виде девушки-всадника:

«О пери! Настоящая пери!»

Он настолько поражен, что не пытается убежать и, когда к нему вплотную подъезжает Наргис, даже не спрашивает, куда это направляется на своем коне-ветерке волшебное видение пустыни.

Черным листком, сорванным с карагача, маячит в небе беркут. Он парит в вздымающихся вверх струйках горячего воздуха. Беркут не видит на земле дичи... Все притаились в своих норках. И, паря в выси, беркут застыл и, кажется, что он дремлет.

А в степи — тоже беркуты... Вон они в синих чалмах в развалинах одинокой глинобитной мазанки, при-тулившейся к обочине степной дороги. Но больше всего чалм в старинном, из плоских жженных кирпичей и по-луобрушенных арок огромном караван-сараяе, возник-шем перед разведчицей, словно из подземных недр на лысом холме.

Наргис узнает караван-сарай. Это Карнап. Эти арки, эти стены из плоских кирпичей штукатурили и обнов-ляли каждую весну, когда в Карнап соизволял приез-жать их высочество эмир Сеид Алимхан с женами, что-бы принимать серные ванны в здешних источниках.

У Наргис возникают воспоминания, тягостные, тоск-ливые. Сколько долгих, тягучих месяцев она томилась здесь взаперти, сколько пережила! У нее и сейчас вдруг заняло сердце. Ведь сколько раз до ее ушей долетал слух, что эмир едет в Карнап, чтобы, наконец, устроить той и жениться на ней. Сколько раз по ночам она в бессоннице переживала во всех подробностях пред-стоящую встречу с ним!.. До боли она сжимала руко-ятку кинжала. О, тогда она верила в то, что месть свершится... Но эмир не приехал в Карнап...

А потом? Путешествие в Бухару. Дворец Ситоре-и-Мохасса.

Гладкий лоб Наргис рассекает вдруг вертикальная морщинка...

А сейчас надо думать о другом.

Не прячутся ли в развалинах враги? Не слишком ли опрометчиво забралась она так далеко! Вдруг успеют напасть на нее. Но в глубине души шевелится мысль:

«Не посмеют! Я парламентар. И я все же считаюсь женой эмира. Для них я жена халифа... А у нас на Востоке!.. О!.. Они не посмеют!»

И все же эта поездка — отчаянный поступок. И как мог ее толкнуть на такое дело ее мудрый отец Сахиб Джелял. Нет, он не мог послать ее на верную гибель.

«Так и знала! Вон черные фигурки высыпали из развалин. И что-то поблескивает. Дула винтовок! А вдруг начнут стрелять? Мурашки побежали по спине. Рука невольно тянет повод...

Назад. Но, конечно, поздно...

Басмачи — болваны. Что им стоит! Крикнуть бы надо... Далеко. А в кармане платок не белый, а темно-малиновый. Слишком стремительно собралась она в эту поездку. Не подготовилась. Не подумала даже о клочке белой ткани. Не попросила прикрытия. И Хабибулина не послушала.

Вот они скачут уже в ее сторону. Вот плоды самонадеянности!

Повернуть коня, пока не поздно. За ее конем никто не угонится. У нее конь из эмирской конюшни, вороной, резвый.

Нет. Нельзя. И самолюбие задето. Неужто она не уговорит этого людоеда Абдукагара сложить оружие?

И Наргис, отвечая на свои мысли, встряхивает головой так, что буденовка сползает ей на самые глаза. Пока она борется со шлемом и, наконец, сдвигает его на прическу из накрученных кос, в степи происходят перемены. В облаках пыли навстречу Наргис скачут четыре всадника. Хотя они и на большом расстоянии, но видно, что намерения у них не слишком воинственные. Никто из них не снял с плеча винтовку.

А все-таки это вооруженные йигиты. Значит, басмачи.

Да, с ее стороны отчаянный поступок — попытка уговорить Абдукагара, заявить ему в лицо, что положение его «чатак», что с падением эмирата он загнанный в нору шакал...

С тем же успехом, пожалуй, можно уговаривать Большой минарет — Манора-и-Калян в Бухаре. Об Абдукагаре даже свои говорят: лютый хищный волк.

Но он воюет против Советов не для того, чтобы помочь Сеиду Алимхану вернуть престол, а сам промышляет о троне в Бухарском Арке. Малограмотный мужлан!

Да, смела, слишком смела Наргис. Но решение принято. Да и не посмеет Абдукагар причинить ей зло, ей — жене халифа.

Теперь, когда скачущие всадники уже не более чем в сорока шагах, Наргис узнает по описаниям в одном из них самого Абдукагара.

Риск, опасность огромны. Хоть авторитет павшего эмира еще велик, но ведь в степи говорят и другое!

«Узун-кулак» разнес на всю степь, что Абдукагар, бывший волостной правитель и эмирский курбаши, прослышав о воине-девушке, объявил:

«Вот такая мне по душе. Девушка-батыр! Такая подходит в жены Абдукагару-батыру».

И будто бы он справлялся:

«Куда нужно засылать сватов?»

Это такое осложнение, которое она совсем из виду выпустила. Но главное — Наргис ломает все коранические и шариатские законы. Она мусульманка, сбегавшая от мужа — священного халифа. Она, сбросив сетку из колючего конского волоса, шеголяет в красноармейской форме среди мужчин. Она, Наргис, дурной пример для женщин Востока.

Всадники совсем близко. По лицу Абдукагара видно, что он поражен красотой всадницы. Он закидывает карабин, который держал до сих пор в руке, на плечо. Да и кто будет стрелять в такую красавицу!

Наргис гордо вскидывает голову и тоже забрасывает карабин за спину. Мирный жест...

Самоуверенности в девушке не убавляется. Опасность растет, но Наргис не покидает уверенность в своей неуязвимости. «Ну раз сам Абдукагар выехал навстречу, раз он здесь...»

IX

Мышь на тигра рассердилась, а тигр зевнул.

Алаярбек Даниарбек

Легкомысленный быстро хватается за меч —

Потом кусает локоть раскаяния.

Захириддин Бабур

Опасность отодвигалась. Потом говорили, что Абдукагар сказал своим бандитам:

«Берегитесь! Ее не трогать! Она перн, сошедшая по золотым ступенькам с радуги. Она заставит любого человека делать то, чего он совсем не хочет...»

Самоуверенность Наргис возникла из сознания своей красоты и неуязвимости.

«Неотесанное бревно Абдукагар, иначе Кагарбек, как его звали в Тилляу, не посмеет и пальцем меня тронуть, меня, супругу эмира! Эмиршу!»

При встрече с басмачами Наргис проявила полное самообладание.

Она отлично знала, что он из себя представляет, этот пресловутый командующий силами исламской армии.

«У него знамя на пороге, а на почетном месте плов!»

Абдукагар в ярости не отличал красного от белого. Идеи, идеалы, высокие цели джахида?.. Ему было не до них. Его привлекала покрытая белым соблазнительным жирком, только что освежеванная тушка барана, соблазнительно желтое сияние николаевских червончиков, атласная кожа черноглазых красавиц.

Чувственные восприятия были ему вполне доступны. Отвлеченные же рассуждения, высокие материи — будь то слова пророка Мухаммеда или лозунги каких-то там панисламистов и пантюркистов — не были доступны ему.

Для лозунгов и мыслительной деятельности при Абдукагаре состоял особый человек, джинн из мрачной бездны...

И вот тут-то самоуверенность подвела Наргис.

Она думала, что все знает об Абдукагаре и его банде... Оказывается, нет. Советник Абдукагара умело держался в тени. Его изжелто-бледное лицо оставалось неподвижным. Глаза тоже ничего не говорили. В поджатых губах в ниточку выражалось презрение. К кому? К Наргис? К Абдукагару?

Вернее всего, советник Мирза презирал весь мир. Он не сказал ни слова. Он слушал и наблюдал.

Встреча с Мирзой, только два дня назад отпущенным под честное слово, озадачила Наргис. Хоть слух прошел, что он у Абдукагара. На ее лбу от стыда и ярости выступила испарина. Нужно же случиться такому! Отчаяние безнадежности пронизало ее. Но она не сдавалась. Наргис сразу же заговорила, обожгла словами.

Она взывала к басмачам, коснувшись самых сокровенных их чувств, чаяний.

У всех у них есть жены, матери, дети, семьи. Матери, жены проклинают их, бросивших непонятно почему свои жилища. В очагах стынет зола. Котлы валяются рядом пустые, перевернутые. Дети умирают от голода. Горе тем, кто забыл о материнской ласке. Обида, нанесенная матери, не забывается ни на этом свете, ни на том.

Обидные слова — из гнилой соломы,
Хоть зубы во рту гнили.

Басмачи краснели, кряхтели, смущенно отворачивались.

Громче всех кряхтел и сопел Абдукагар. Дыхание со свистом вырывалось из его распаренного, тучного тела. Он смущался и конфузился. Ему такое совсем не шло. Раскаяние совсем не подходило к его грубой топорной наружности. Тучный, с круглым лицом, с темными щеками и подбритой жесткой бородой. Чудовищные брови жесткого черного волоса жалобно шевелились, лоб лоснился бараньим салом. Толстые губы вздрагивали.

Каждому на голове написано встретиться... К кому интерес, с тем и встретишься! Она прекрасна своей красотой...

Меньше всего занимал Абдукагара предмет разговора... Ошеломленный, он и не понимал, что девушка-йигит приехала смело, очертя голову в его логовище, и что она ведет себя не беспомощной жертвой, попавшей в капкан, а проповедником.

Абдукагар усадил Наргис на великолепный черно-бело-оранжевый байский палас. А чтобы нежным бедрам этого божественного видения не было жестко и колко, он собственноручно наметал поверх паласа целую грудку курпачей, пусть пропитанных степной пылью, но по крайней мере мягких. И под локоток Наргис швырнул свою личную походную бархатную подушку... Нельзя же иначе — супруга эмира, жена халифа, да к тому же красавица из рая...

Он не отвечает даже на призывы парламентаря, а принимается косноязычным языком расточать комплименты.

«В цветниках надежд моих выросла роза. Урюк моего упования дал зрелый плод. Юрта моего нутра оза-

рена чирагом счастья. Ночь томления и страданий сменилась зарей благополучия».

Он совсем растаял, и сало текло с его языка совсем как с пальцев, которые загребали рис с блюда и обрывали куски мяса с дышащих божественными запахами бараньих обжаренных сахарных косточек.

Потому что по мановению руки волшебника, едва супруга халифа — Абдукагар не желал даже в мыслях называть эту преподобную красавицу Наргис парламентаром — прибыла в его лагерь, помешавшийся в эмирском курортном караван-сараяе, — и уже ароматы плова проникли со сквознячками по всем закоулкам и коридорам старой постройки.

Теперь через какие-то там минуты соблазнительная пирамида риса, пропитанная кипящим бараньим салом, увенчанная аппетитно обжаренными кусочками баранины и головками оранжевого чеснока, высилась на узорном глиняном блюде на дастархане перед знатной гостьей.

Ее уже усадили так, что вроде она сидела во главе дастархана, с другой стороны, она отодвинулась в стрельчатую нишу в стене и могла не накидывать на голову тут же откуда-то принесенную паранджу с чачваном, чтобы не принудить правоверных мусульман впасть в соблазн смотреть на открытое лицо столь достойной особы. Наргис сидела в тени, с трех сторон закрытая стенками ниши, и на нее мог смотреть лишь сам Абдукагар, усевшийся напротив, на другом конце дастархана.

Что же касается Мирзы и двух есаул-баши, то, чтобы взглянуть на Наргис, им пришлось бы наклонить головы к самой вершине рисовой пирамиды.

Толпившиеся на замусоренном дворе рядовые басмачи, если и пытались заглянуть в нишу, то ничего, кроме смутной тени, разглядеть не могли.

Итак, сумев соблюсти и обычай гостеприимства и законы религии, Абдукагар, раздуваясь от самодовольства и млея от лицезрения небесной красавицы, засучив рукава, протянул свою волосатую ручищу к блюду, возгласил: «Ка'нэ! Мархамат! Иенг!» И одновременно погрузил свои грубые коричневые пальцы в благоухающую массу горячего риса.

Будучи в полном смысле слова грандиозной «нозанин», образцом изящества и нежности, Наргис ничуть не была шокирована ни поведением хозяина дастархана, ни его грубостью и нечистоплотностью. Она про-

ехала верст двадцать, проголодалась и с удовольствием ела плов.

Счастлива молодость! Ни грозная опасность в лице этого курбаши, сидевшего и чавкавшего перед ней, ни драматичность обстановки не могли нарушить ее аппетита. Сейчас ее заботило одно обстоятельство: где же Сеид Алимхан? Значит, он уехал, или, может быть, его вообще здесь не было?

За дастарханом царило молчание. Гости изредка передавали друг другу отборные соблазнительные куски баранины. И чьи-то руки протягивались в тень ниши с самыми жирными кусками и обрывками внутренностей, которые считались деликатесом, чем подчеркивалось внимание госте.

Кушая с отменным удовольствием, Наргис обдумывала свое положение, и к тому моменту, когда самый прожорливый из участников трапезы сам Абдукагар, многогласно рыгнув, проворчал: «Коса обке!» — и когда опорожнил, не отрываясь от края, полную касу ледяной родниковой воды, все начали вытирать сальные руки о голенища сапог, давая тем самым понять, что они тоже насытились. Все тоже выпили ледяной воды, и Наргис не отстала от мужчин, хотя обычай этот чужд горцам и принят только в кишлаках и аулах Зарафшанской долины. Впрочем, она обратила внимание, что Мирза не вытер пальцы о сапоги. Он извлек из кармана своего белого чесучевого камзола ослепительно чистый платок и тщательно и долго вытирал им руки. Воду он не стал пить, отодвинув от себя пиалу... Но все это он проделал с таким видом, как будто говорил: «Умываю руки!»

Сытый Кагарбек олицетворял собой добродушие. Человек грубый, но любезный и даже склонный к добродушию в состоянии сытости, он смаковал отдых, приятную теплоту в желудке, зрелище красоты. Кагарбек искренне считал, что перед ним божественная благодать и победа! Он весь был под обаянием женской красоты и сытости и рассказал анекдот о каком-то великом мастере-поваре...

С Наргис он был почитителен, все-таки она из эмирского семейства. Халиф и эмир Сеид Алимхан все еще мнил в ореоле божественной, так сказать, власти. Отблеск этого ореола распространялся и на Наргис, что придавало сидящей скромно красавице особый блеск и лоск.

Кагарбек похотывал вполне плотно, но, чтобы осмелиться посягнуть на собственность эмира, на жену царственного мангыта... Никогда! И он так мрачно и грозно поглядел на своих помощников и на басмачей во дворе, что у всех заныло под ребрами.

Но Кагарбек не простак, конечно. Он не выпустит вожаденную добычу. Бек Абдукагар еще найдет способ добраться до ее атласной кожи.

Он из-под гущины бровей смерил взглядом постную физиономию своего советника Мирзы. Кагарбек терпеть не мог советов этого надоедливового эмиссара, присланного к нему из Афганистана англичанами. Мирза ничего не смыслил в военных налетах, ни в корме для коней, ни в водопое, ни в седлах, ни в том, как, положив под седельную подушку кусок самого жесткого верблюжьего мяса, через десять ташей сделать нежным и вкусным, хоть сырым кусай и ешь... Нет, Мирзе лучше не задавать вопросов. Он сам день и ночь зудит и зудит.

Но в вопросе, можно ли спать с женой эмира или это запрет, тут, пожалуй, этот книжный червь, бьющий постоянно по своему небу языком говорун, может что-либо посоветовать.

Абдукагар весь нетерпение. С одной стороны, он не знает, как подступиться к Мирзе со столь щекотливым вопросом, а с другой... не говорить же об этом в присутствии Наргис.

Но Мирза раскрывает рот сам без вопроса. Он, подняв перед собой свои тонкие, белые ладони, произносит молитву благодарения: «Хейли баррака...».

Молитва прочитана... Но Мирза не кончил. Он движением руки останавливает уже приподнявшегося, чтобы встать, Абдукагара и его есаулов. Не раньше чем они снова сели и с некоторым сомнением глянули на него и в глубь ниши, Мирза снова открывает рот, чтобы издать скрипучие звуки...

Вот когда душа Наргис затрепетала птичкой в когтях кота. То, что говорил Мирза, могло напугать, убить кого угодно.

Слова Мирзы ужаснули и Кагарбека и его помощников.

Самого Абдукагара словно трахнули арбяной оглоблей по макушке бритого черепа. Он, кстати, в блаженном состоянии духа, предаваясь сладостным мечтам, все еще блестящий от растопленного в плове сала,

растирал только сегодня чисто выбритый череп. Абдукагар даже хрипло взвыл при словах своего советника: ничего подобного он не ждал.

Совсем плохо стало Наргис. Сердце у нее захолонуло, как говорят о бедственных обстоятельствах киш-лачные тетушки и мамушки.

Хриплый, деревянный голос вещал так, что было слышно, наверное, во всем караван-сараяе:

— Раздеть догола... Привязать к хвосту скакуна, подложив ему колючки под потник. Погнать в степь. Прогнать за десять ташей. Пусть смотрят на нее, на-гую, звери, люди, небеса. Пусть так снимет своим по-зором позор халифа. Пусть камни и колючка сдерут с нее всю опозоренную кожу. И пусть подохнет как собака...

Мирза встал и ткнул рукой прямо над дастарханом, над блюдом с остатками жира и плавающими в нем рисинками, в грудь Абдукагару.

— Исполни! Это говорю тебе я — муфтий Стамбула. Поспеш! Не теряй времени. Она предательница и клятвопреступница, за ней сейчас явятся красные дьяволы. А ты, командующий армией ислама, разнежился, разнюнился, словно томный Меджнун перед Лейли. Кто она? Позор мусульманских женщин! Гнусный пример разврата. Эй, несите арканы, рвите одежды, привязывайте... Вон выбегает ее конь. Быстрее!

Ошеломлен, растерян Абдукагар. Он подавлен. Дико разочарован. Не такого совета он ожидал от все-сильного Мирзы.

Весь в испарине, багровый, он возражает. Он боится Мирзы. Тот подавляет его не столько своими полномочиями от эмира и ференгов, сколько змеиным взглядом. И сейчас взгляд делает свое дело. Он сдается. Какой ужасный скачок из сада мечтаний и цветов в пропасть злодеяний и жестокости!

Но при всей своей дикости и грубости Кагарбек в отношении женщины не может допустить такого надругательства.

— Зачем, так сказать, обнажать... позорить прелести? Она виновата, преступница. Побить камнями... Тебя, Наргис, не будут долго мучить. Но покорись. Я прикажу вырыть яму. Тебя положат в мешок и опустят туда по груди... Видишь, тебя нельзя обнажить. Тебя надо бы утопить, но нет реки. Тебя забросают камнями. А мешок завяжут над головой. Нельзя повредить

такую красоту... И кровь супруги халифа не прольется.

Самое страшное было даже не в смысле того, что говорил этот волосатый, с масляными глазками, добродушный толстяк, а в хладнокровном тоне его, безразличном тоне.

И Наргис понимала с замиранием сердца, что он не пугает. Что он всерьез обсуждает вопрос о казни.

Она мысленно заметалась в безвыходности положения. Боролась прежде всего сама с собой. Она преодолела себя.

Но Наргис растерялась только на мгновение. Слишком резок был поворот от гостеприимства, от плова, от сальных улыбок к угрозам.

Свое женское достоинство Наргис сумеет защитить.

«Боже, неужели они вообразили, что я попытаюсь торговаться за свою жизнь! Неужели они воображают, что все женщины имеют малодушное сердце».

Ни одна искорка надежды на родственные чувства брата Мирзы не промелькнула у нее в голове. Она даже не поразилась, что именно брат произнес первый приговор. Брат давно уже не брат.

Он гадина.

Но степняк Абдукагар!.. Он-то туда же. У него-то совсем другой характер и обычай. Он, видно, совсем спятил.

Но откуда могла знать Наргис мысли Абдукагара.

Откуда могла Наргис сообразить, что в Абдукагаре разыгрались чувства собственника. Он был им, когда управлялся со своими поместьями и отарами. Он остался им, когда судьба подбросила его на высшую ступеньку силы и могущества.

Нить мыслей Абдукагара, когда он облизывал пальцы после плова, раскручивалась примерно так:

«Господин советник решил надругаться по шариату над этой красавицей. Красива супруга халифа. Неприкосновенна! Не подлежит утеснениям и насилию. Раз советник, он же и муфтий Стамбула говорит, что красавицу Наргис можно и нужно казнить, значит, он знает, что это можно сделать безнаказанно. Хош! Раз он говорит, что сначала нужно ее опозорить, значит, он знает, что позора халифу не будет. Жена человека — имущество человека. Если причинишь вред имуществу человека, подлежишь суду. Господин Мирза хочет сделать вред прелестнице, поувечить ее тело пери. Вред имуществу халифа. Значит, она — Наргис, уже не иму-

щество халифа. Ага, раз так — она мое имущество, моя собственность. И я...»

Из-под насупленных бровей он деловито рассматривал Мирзу. Его советы ему изрядно надоели. Он не противоречил, но просто делал по-своему. Но в мелочах. Плохо разбираясь в политике, он знал одно — надо воевать против большевиков. Большевики отдали землю боснякам и нищим, прижали баев и кулаков. Сам Абдукагар давно уже не был ни баем, ни кулаком. Но они наняли его воевать за них. Они платили ему хорошо. Они позволяли ему грабить, наживать грабежом имущество. Обещали после войны землю, звания, жен, коней. Бек Абдукагар воевал за эмира добросовестно, с умением и храбростью. Он выполнял эмирские указания через его советника, вкрадчивого, жестокого Мирзу. Мирза говорил ему: «Надо убить» — и он приказывал убивать... Вот и сейчас...

Но сейчас он не хотел убивать: такую прелестную пери!..

Вот еще! Этот советник вздумает еще предложить золото бросить в реку. Или взять драгоценный камень и разбить вдребезги его тешой... Убить такую красавицу!

Нет. Наргис принадлежит теперь по праву захвата — так говорится в коране пророка Мухаммеда — ему, Абдукагару, и он никому ее не отдаст. Разве халиф потребует ее обратно? Нет. Сеид Алимхан далеко, где-то скитается по степи и горам. И Мирза сказал, что она, Наргис, больше не жена эмира.

Теперь Наргис будет женой Абдукагара. Все!

Мирза не смотрел на несчастную. Он перебирал четки и ждал, что еще скажет ему мужлан и тупица Абдукагар. Мирза не намеревался спорить, вступать в дискуссии. Надо было только обставить казнь дерзкой большевички так, чтобы весь Туркестан содрогнулся, чтобы все женщины взвыли от ужаса, чтобы им неповадно было открывать лицо, забрасывать паранджу с чачваном в костер, чтобы женщины-мусульманки не лезли бы в Красную Армию.

Но расправиться с Наргис оказалось не так-то просто. На пути встал Кагарбек. И тогда Мирза тотчас после трапезы посылает срочно нарочного в соседний кишлак привезти жившего там в изгнании известнейшего и почтеннейшего ахунда.

Пусть ахунд судит женщину. Мирза не имеет звания казия и не может судить жен халифа. Он не судья.

Цель же была ясная и четкая. Судить Наргис так, чтобы весь свет содрогнулся.

Всякая, даже минутная отсрочка казни для осужденного — кусочек надежды.

Полная горестных и в то же время яростных размышлений, Наргис сидела все еще в темной от надвинувшейся тени нише — солнце уже клонилось к западу. Двор караван-сарая наполнился дымом и гарью от кипящего бараньего сала с кунжутным маслом. От дыма першило в горле и бородачи, хлопотавшие у свежеемых бараньих туш, кашляли с каким-то особым надрывом.

Перхающие звуки болью откликались в сердце Наргис. Бандиты сейчас оживлены и хлопотливы — режут и потрошат баранов, кашляют нарочито громко, мрачно развлекаются. С каким же любопытством будут они смотреть на казнь, ее казнь, когда придет ахунд.

Отчаянно думала Наргис и ничего не могла придумать.

Мелькнула, было, надежда, когда к Наргис приставили двух карнапских старушек: женщина скорее поймет женщину. Но старухи оказались глухими или прикинулись глухими. Они не отзывались ни на какие просьбы Наргис и цепко держали ее, не пропуская ни малейшего ее движения. Старухи увели Наргис в помещение одной из эмирских купален. Выломанная кем-то дверь позволяла видеть и слышать все, что происходило во дворе.

Время тянулось черной тоской.

Но к вечеру привезли ахунда. Абдукагар приветствовал его появление шумно, но пренебрежительно.

«Эге, у господина ахунда ноги, руки дрожат — будет богатым».

Но ахунд что-то заупрямился; к радости Наргис. Никак не хотел заниматься делом, особенно узнав, что Наргис жена халифа. Мирза монотонно зудел что-то, а Кагарбек в конце концов рассердился и заявил:

— Получите шесть баранов, а нет, убирайтесь пешком. А мы тут сами порешим. Кто затащил осла на крышу, тот сам спустит его на землю.

То ли шесть баранов подействовали, то ли не было сил идти по ночной степи на слабых, старческих ногах три таша, но ахунд согласился.



Часть третья

СТЕПНЫЕ ПРИЗРАКИ

I

Мужество делает ничтожными даже удары самой судьбы.

Демокрит

Судилище над Наргис состоялось в Карнапе. Здесь были ахунд, имамы и Мирза. Привезли каких-то биев, двух-трех имамов. Кагарбек занял скромно последнее место.

Только ахунд раскрыл рот, чтобы сказать слово, как за воротами прогремел выстрел... По двору побежали люди, шелкая затворами винтовок.

Ахунд весь затрясся и простонал:

— Отказываюсь... Отрекаюсь... Мы ученый. Отпустите нас!

— Ученый?.. Мудрец из мудрецов. Ученый без дела. Пчела без меда,— рявкнул Кагар на совсем уж смутившегося ахунда и побежал отдавать распоряжения.

Поднялась суматоха. Седлали коней. Кагарбек вопил:

— Давно надо было!.. Красные уже тут!

За стеной поднялась стрельба. Имамы решительно встали и объявили:

— Казнить развратницу! Приступайте. Эй, несите веревки!

Старухи больно вцепились в руки Наргис.

Но Кагарбек отшвырнул от несчастной и имамов и басмачей.

— Уходите! Не пугайте меня. Я пуганый. Гром тучи собаке не во вред.

Бек Абдукагар был страшен, и все от него отступились.

Он приказал отвести Наргис во внутреннее помещение и предупредил старух: «Груды отрежу!»,— а сам кинулся в темноту.

Полыхали языки пламени в кострах, призраками метались вооруженные по караван-сарая, визжали пули. То все исчезали и стрельба удалялась. Тогда опять на глиняном возвышении появлялись кулями в белых чалмах судьи и начинали гнусавить. То ночь взрывалась стрельбой из винтовок и судьи растворялись во тьме. Куда-то бежал мелкими шажками ахунд с вытаращенными глазами, с развевающейся белой бородой. То врывался в кольцо света Абдукагар, страховидный, с карабином в руках, и рычал в окошечко, за которым сидела пленница:

— Не бойся! Сейчас прогоним!

Переходы от надежды к отчаянию притупили в Наргис все чувства. Но одно она понимала: в дивизионе знали, что она попала в беду. Дивизион дрался с бандой, чтобы выручить свою разведчицу.

Судилище прерывалось трижды. Бешеная атака Баба-Калана смяла банду, но разбилась о высокие стены курганчи — караван-сарая. Буденовки мелькали в проломе стены у ворот. К утру бой стих.

Но и суд сник. Ахунда и его имамов сморил сон. Баба-Калан с бойцами ушел в адыры — холмы.

Заснули и старухи. Наргис не связали. Абдукагар не подчинился требованиям ахунда. Воспользовавшись тем, что дверной замок держался на полуистлевших веревочках, она на цыпочках неслышно проскользнула по парапету бассейна и застыла у стрельчатой арки, всматриваясь в сумрак двора.

Наргис отлично знала здесь все ходы и выходы. В прошлые дни, когда ее держали в ичкари Магруфбая, она много раз обегала все здешние «курортные» соору-

жения, возведенные по велению Сеида Алимхана с немалой пышностью. Он бывал и в Пятигорске, и в Крыму, и в Сестрорецке, во всех фешенебельных курортах Российской империи и кое-где за границей и потратил немало золота, чтобы возвести нечто похожее на минеральные ванны, тем более что природа не поспешила, и Карнапские теплые источники и по целебным свойствам, и по высокой температуре оказывали отличное действие на желудок и печень его высочества. И чтобы не скучно было, Алимхана сопровождали белотелые и кипарисостанные, признанным ценителем прелестей которых он был.

Раньше, в дни пребывания здесь эмира, весь караван-сарай блистал красотой. Очаровательные прислужницы — кенizeк — суетились с серебряными подносами и изящными светильниками. Полы устилала египетские циновки из папируса. Повсюду в курильницах дымил фимиам, чтобы заглушить сероводородный запах тухлых яиц. Кисея и парча еле прикрывали ослепительную наготу девичьих станов...

Как все ужасно изменилось! И она, Наргис, не в тончайшей тунике из бенаресской ткани, а в кожаных галифе, вся в амуниции и ремнях. И не звон дутара несетя из павильона, а густой храп и стоны раненых. И ждут Наргис не атласные курпачи, а колючие веревки, скручивающие руки, и камни, сдирающие мясо с тела...

Какая перемена во всем! Наргис невольно ощупывает себя, и вдруг ее озаряет дикая радость. Ремни амуниции приводят ее пальцы к кобуре, а в кобуре?..

Неужели! Боже мой! В кобуре ее наган! Забыли! Не отобрали! Наган наградной. Она мысленно видит золотую пластинку с выгравированной надписью:

«Бойцу дивизиона Наргис за храбрость. Командование полка».

Сразу же Наргис обретает силы и решимость. Она идет по двору. Никто в темноте ее не разглядит... Никто не окликнет.

Она знает, где привязан ее конь, ее верный Джиранкуш. Не спеша отвязывает его Наргис и ведет через двор к воротам.

Все хорошо. Никто не окликает ее. Она не знает еще, удастся ли отворить ворота. А там ведь караул! И достаточно случайно мелькнувшего блика света, чтобы ее... изобличить.

Наргис чуть не наступила на голову спящего. Бритая голова лежит на белой с черным киргизской шапке. Она осторожно выдергивает войлочную мягкую шапку, натягивает себе на голову... Жаль, одной рукой не заправишь под шапку косы, длинные, тяжелые — ни же поясницы. Но шапка придает ей смелости. Теперь её не отличишь от йигита. Она уже у ворот, уже под сводом.

Во тьме шевелятся басмачи, молча сопят, не спрашивают.

Нарочно грубым голосом говорит:

— Отпирай!

— Кто? Что?

— Отвори! Приказ самого!

Неужели поверили? Бренчит, грохочет пудовый засов — она его помнит. Бренчит ключ в замке... Скрипит — безумная радость! — створка-ворот...

Слабый свет озаряет сводчатый проход. И среди лохматых бород, отвислых усов, мохнатых шапок возникает почти прозрачное, меловой бледности лицо Мирзы.

Вскрик звенит под сводом. Выстрел оглушил всех.

Молодая женщина вырывается из свалки. Пытается взобраться на коня.

Абдукагар вопит:

— Не стрелять! О, девка-йигит!

Ее стаскивают. Но она понукает коня, стреляя, сбивает басмачей с ног. Кидается к воротам. Ворота закрыты.

Она помнит внутреннюю лесенку в башне ворот. Ощупью, в полной темноте ползет по ней, обдирая ногти о склизлые кирпичи. Брезгливо отшвыривает что-то мохнатое, шевелящееся.

В лицо ударяет свежая струя. Наргис уже на крыше. Она отбивается битым кирпичом от лезущих к ней с воплями: «Держи ее!»

Но басмачи лезут со всех сторон. Ее схватывают и тащат вниз. Бандиты озлоблены, у них есть убитые, раненные. Они требуют мести. Зажигают смоляные факелы. От них светло, как днем.

Но Кагарбек строг и непреклонен:

— Узбечка — настоящий батыр. Девушка-батыр из войска легендарных сорока девушек Кырккыз! Не смей ее трогать! Я девушку отпускаю. Народ скажет: «Офа-

зин, Абдукагар! Молодец, Абдукагар!» Поезжай, девушка, домой. Жди сватов.

Поворот мыслей поистине достойный степного бека. Абдукагар оглушительно хохочет, так, что все басмачи поеживаются. Наргис в отчаянии. Непонятно, издевается над ней Кагарбек или говорит серьезно.

При свете факела глаза его горят вожделием и восторгом.

Мирза что-то шепчет на ухо Абдукагару. Тот вдруг начинает посмеиваться. Что они задумали?

Лицо Мирзы кажется Наргис жутким. Такими жуткими в детстве казались таинственные злые силы за стенами глинобитной мазанки в снежный буран.

Мирза непреклонен. Абдукагар настроен благодушно.

Красные конники, получив ночью отпор, не показываются. Абдукагар не настолько прост, чтобы думать, что его оставили в покое. Бек пьет чай — и позаботился, чтобы чай был со свежими лепешками. А лепешки он заставил печь бойца Красной Армии — Наргис. Кагарбек утром от души развлекался: «Посмотрим, так ли хорошо девушка-батыр месит тесто и разжигает тандыр, как стреляет из проклятого револьвера». Он стоял на хозяйственном дворе и радовался весьма самодовольно придуманной шутке. Насупив свои жесткие брови, он похохатывал, играя камчой чудовищных размеров. Бек был само добродушие и самодовольство. Медно-красное лицо его сияло. Как же! Он одержал победу и в перспективе заполучит красавицу в жены. Камча проделывала в его руках самые невероятные «курбеты». Кагарбек хлестал ею молодецки, со свистом по голенищам своих сапог, то подбрасывал высоко и тут же ловил с ловкостью фокусника. Но он явно угрожал. Он не потерпел бы, если бы его каприз не был тут же выполнен.

Наргис ни разу в жизни никто не ударил. И она безропотно выполняла приказ бешеного курбаши: пекла в тандыре лепешки, быстро, скоро, чем привела его в восторг.

— И батыр хорош, и хозяйка!

Он смаковал чай со свежими пшеничными лепешками, когда под руки привели совсем ослабевшего из-за ночных событий ахунда, и суд возобновился. Но шел он вяло. Единственный, кто настаивал на суде по существу, был Мирза, поддерживал его ахунд.

Еще недавно разъяренные басмачи, готовые из мес-

ти растерзать молодую женщину, сейчас, после сытой еды, расположения добродушного Абдукагара, незлобиво посмеивались, слушая пространные речи ахунда и мрачные наставления Мирзы.

Все очень удивились, когда Наргис снова вырвалась из своей каморки и легко взбежала по крутой лесенке на крышу.

Дело в том, что над Карнапом пролетел громко тархтящий «Ньюпор» с красными звездами на крыльях. Он не стрелял, не бросал бомбы, а просто пролетел, очевидно, производя разведку. Видно было, как один из летчиков, перегнувшись из кабины, разглядывает в большой черный бинокль караван-сарай и скопление басмачей. Наргис услышала звук мотора до появления аэроплана и, мгновенно оказавшись на плоской крыше, уже размахивала войлочной киргизской шапкой и кричала, будто ее могли услышать там, на самолете:

— Бросайте бомбы! Они все тут!

— Дура-баба! А если бы они тебя из пулемета? Ты всех попусту злишь, — ворчал Кагарбек, когда подоспевшие старухи уводили раскрасневшуюся, возбужденную Наргис, — и чего тебе надо! Молчи!

Обескураженный Кагарбек вернулся на возвышение, чтобы выслушать приговор над Наргис.

Настойчивый, упрямый ахунд добился своего. Молодую женщину приговорили к позорной смерти. Абдукагар побагровел, злобно глянул на Мирзу, но, кроме невнятного рычания, не сказал ни слова. На требование ахунда — немедленно совершить казнь, — буркнул:

— Чираг горит, пока есть масло. Девушка — истая узбечка... Пригодится. — И настоял, чтобы исполнение приговора отложили.

Кагарбек долго о чем-то тихо совещался с Мирзой. Наконец, Мирза сел на лошадь и уехал.

Проводив его, Абдукагар долго разгуливал по двору с чрезвычайно довольным видом.

II

Любую собаку я ставлю выше тебя,
ибо у тебя есть грехи, а собака без-
грешна.

Д'ибиль

Из народных легенд узнаем, что Сахиб Джелял со своим интернациональным дивизионом попал в ловушку. Надвинувшиеся лысыми шапками горные массивы,

отвесные стены ущелья в полкилометра высотой, каменные осыпи перекрыли все дороги и тропы, оторвав дивизион от передовых частей Красной Армии. На горных провалах, на шатких мостиках через протоки — то тут, то там виднелись малиновые выцветшие камзолы сарбазов и поблескивающие синей сталью дула винтовок. Но сарбазы не стреляют. Опасаются случайно зацепить пулей их высочество эмира, еще со вчерашнего вечера расположившегося на открытом айване над каменным руслом сая. Эмир даже и не пытается укрыться за скалу. Нет, он нарочно выставляет напоказ свою персону в бутылочного цвета русском полковничьем мундире с блестящими эполетами и золотыми аксельбантами.

Эмир будто бросает вызов: «Нате, смотрите — ваш повелитель в горе и несчастье. Ваш повелитель в плену. Спасайте своего халифа!»

Эмир медленно поворачивает то вправо, то влево свое мучнисто-бледное лицо, оттененное черной холеной бородкой, и надувает в жалобной гримасе губы. Черные глаза его бегают тревожно.

Где же те, кто его выручит? Где же?

На том же айване Сахиб Джелял, комиссар, бойцы дивизиона. Они прогуливаются в открытую. Они в безопасности. Стрелять по айвану сарбазы и не попытаются.

Поглядывая на эмира, Сахиб Джелял тихо говорит:

— Вы в кольце. Мои белуджи говорят: из этого ущелья и ящерица не выскользнет.

Комиссар Алексей Иванович в раздумье. Вдруг он чуть-чуть усмехается:

Заведи войско в место смерти —
и оно будет жить.
Брось его в место гибели —
и оно будет жить.

— Что это? — спрашивает с некоторым недоумением Сахиб Джелял.

— Это стихи... поэта Сымо Цзян. Рано над нами крест ставить. У нас винтовки, пулеметы «Льюиса», подсумки полны патронов. Пусть сунутся, а с ним... — он тоже смотрит на эмира, — мы успеем.

— Участь его мы решили еще вчера. На ваши сти-

хи я отвечу стихами иранского поэта... не помню его имени:

Можно ли бояться света из-за летучих мышей,
не выносящих солнца!

Лучше самим ослепить тысячу летучих мышей.

— Но он эмир... бывший эмир. Не будет ли ошибкой его... так... слишком просто. Мы... Надо его доставить командованию. Вам не кажется?

— Пока нам будет казаться то или другое, эмир сбежит или, что еще хуже, его спасут.

— Что и говорить. Ваши слова, дядя Сахиб, холодом дуют на мое сердце...

Комиссар Алексей Иванович думал:

«Чего можно ждать от Сахиба Джеляла? Он ненавидит тирана, он давно жаждет отомстить ему. Он может расправиться с ним. Дядя личность своеобразная: «Весь мир существующий и несуществующий он удостаивает своей страстной и чистой влюбленности, а иногда не менее странным проклятиям»,— пришли ему на память слова Блока.

Комиссар мрачнеет. Он, глубоко мирный человек, никак не может привыкнуть к войне. Да и к тому же одно дело встречать врага лицом к лицу в ошеломляющей схватке, в бою, и совсем другое, как сейчас, видеть врага, который невинным сусликом греется на осеннем горном солнышке.

«Надо что-то решать,— думает комиссар, и гримаса отвращения делает его мягкое, добродушное лицо мрачным, суровым.— Надо решать, положение действительно пиковое».

В полдень в долине появился верховой с развевающейся белой чалмой в руке. Когда он подъехал поближе, в нем узнали Мирзу. Первым движением Сахиба Джеляла было приказать белуджам пристрелить его.

— За обман! В Арабистане с изменниками и нарушителями слова разговаривают пулей или кинжалом.

Комиссару потребовалось немало усилий, чтобы утишить гнев воина-аравитянина и выслушать Мирзу.

— От слов его смердит. Пусть будет краток!

Сложив униженно руки на животе и делая вид, что среди слушавших его нет никого, кого бы он знал, Мирза произнес одну лишь фразу:

«Мы выпустим вас из ущелья, если вы отпустите их высочество».

На минуту воцарилось молчание. Затем Сахиб Джелял, приподнявшись на локте, приказал начальнику своих белуджей:

— Эй, Камран, отведи этого клятвопреступника на край скалы и останови его словоизлияния.

Мертвенная бледность разлилась по лицу Мирзы, но он довольно твердо проговорил:

— Не спешите, досточтимый господин Сахиб Джелял. Ваше положение хуже плохого. Пророк сказал: «Наилучшее дело — это торговля». Ваш товар — смерть, наш товар — жизнь. Подумайте.

— Минуточку, — вмешался комиссар, — вот едет еще один парламентар. Посмотрим, что он скажет.

Действительно, по зеленому берегу сая скакал еще один всадник. Он тоже держал в руке чалму, конец которой трепыхался на свежем горном ветерке.

— Что ж, подождем, — проговорил слабым голосом Сахиб Джелял, но, видимо, не собирался менять своего решения. Понимал это и Мирза. Он все еще стоял в позе просителя и, закусив свои синеватые тонкие губы, смотрел вниз на петлявшую по обрыву тропинку, по которой поднимался всадник.

Все тоже следили за всадником, и потому никто сначала не обратил внимания на эмира, который, встав со своего ложа, тоже подошел к краю ущелья, чтобы взглянуть на карабкающегося вверх всадника. Эмир слышал весь предыдущий разговор и, очевидно, нервничал. Но лицо его, отечное, одутловатое, внешне оставалось бесстрастным. Ровно, без дрожи прозвучал его голос, когда он вдруг обратился к комиссару:

— Человек, не имеющий своего ума, если и умеет ценить чужой ум, — умнее самого умного... Не правда ли? — И, обращаясь к Мирзе, продолжал: — Эй ты, мудрый советник, если так будешь торговать, мир удивится, если голова твоего эмира скатится в яму. Ты забыл, Мирза, что сказал мудрый торговец душами человеческими... э-э-э... маулаано Нафис.

— А что, ваше величество, он сказал? — спросил окрепшим голосом Мирза. Он понял, что эмир своим многословием тянет... цепляется за соломинку и боится, что Сахиб Джелял не захочет ждать и приведет свой приговор в исполнение. Тем более, что на каменную площадку вышел начальник личной охраны

Сахиба Джеляла Камран и весьма красноречиво лягнул затвором. Белудж пристально смотрел на Сеида Алимхана, и тот ничего не читал в глазах белуджа, кроме беспощадной решимости.

Срывающимся фальцетом эмир прокричал:

— Слушай, Мирза, приложи к стали золото, и она сделается мягкой... Вот что сказал маулаано Нафис.

— Но,— поперхнулся Мирза, растерянно разведя руками,— испокон веков за царей не давали золото... Разве достойно?

— О, бог мой велик! — в отчаянии забормотал эмир в ухо Мирзе.— Будь я хоть кабаном в тугаях, но я шах... э-э-э... я царь, а за... жизнь царя надо платить. Приказываю платить. Иди! Поезжай! Привези мешок золота... два мешка... Скорее!—И, бросившись к Сахибу Джелялу, эмир, согнувшись в поклоне, простонал: — Почему вы молчите? Отпустите Мирзу. Прикажите ему: пусть едет. Скажите, сколько ему привезти. Назовите сумму... Вы получите золото... много золота... э-э-э... и отпустите нас. Мы понимаем — из одной рисинки плова не сварить. Надо много золота... Вы получите море золота... Только отпустите нас...

— Образумьтесь, ваше высочество. Стыдитесь! — выдержанно и даже спокойно сказал комиссар. Но последние слова насчет золота вывели его из себя.— Идите на айван, господин эмир... Сидите и ждите! Что решено, то решено...

Но Сахиб Джелял в ярости бормотал. Можно было только разобрать:

— Возбудитель зла становится во главе зла! Золото сует торгаш за свою шкуру! Повелитель правоверных — зеленый скорпион, вылезший из щели!..

Он был очень картинен в своем искреннем гневе, величественный, с искаженным яростью лицом. И эмир совсем сник, свалился кулем на одеяло, уткнулся своей холеной бородкой в грудь и больше не вымолвил ни слова.

А белудж Камран, сжимая в руке винтовку, мычал:

— Ты думаешь, если засыплешь себя золотом, то проберешься сквозь его кучу. Чепуха!.. Раздавят тебя, словно жука, торгаш.

Но внимание всех уже привлек новый парламентар. С возгласом «ассалом алейкум», он соскочил с коня, по каменным ступенькам взбежал на площадку и принялся отвешивать всем поясные поклоны.

Во вновь появившемся все сразу же признали поэта и «летописца» Али, сына тилляуского муфтия.

Разряженному в шелковые халаты, в бенаресской изящной чалме, в лаковых сапожках, надушенному индийскими «атр» — духами — господину поэту и летописцу Али подобало скорее ехать на свадебный пир, нежели скакать по скалистым кручам, мокнуть в ледяных водах горных потоков и принимать участие в боевых схватках.

Но Али не собирался сражаться. Снова склонившись в глубоком поклоне перед Сахибом Джелялом, он попросил разрешения говорить.

Все с удивлением посмотрели на Али и более всех Мирза. Сразу стало понятно, что оба парламентаря действовали несогласованно, каждый по собственному усмотрению.

И начал переговоры Али, сын муфтия, весьма своеобразно. Встав в позу, приложив руки к груди, он декламировал:

Я видел одну девушку
И знал — она чище воды,
Нежнее ветерка, тверже гор!
Она светлее солнца,
Прекраснее милости,
Усладительнее здоровья,
Слаще мечты, ближе души,
Устойчивее резьбы на камне!

— Что ты хочешь, Али, сын муфтия? — раздраженно проговорил комиссар. — Или ты не понимаешь, где находишься? У нас вовсе не мушоира. Ну же, к делу.

— Знай же, комиссар, не всякий поклон — молитва. И не каждый, у кого глаза, зрячий. Пойми ты и пусть поймет господин Сахиб Джелял: обращаюсь к нему со словами благоразумия и веры, потому что речь идет о жизни и смерти.

— О жизни и смерти вон его? — спросил Камран, показывая на эмира. — Да мы, дружок, уже все решили.

— Э, нет! Глупость — и в пустыне глупость! Где вам понять? Вы всегда отличались недогадливостью. Так вот слушайте. Господин Сахиб Джелял, я пришел говорить о прекрасной Наргис — вашей дочери! Гибельная беда грозит ей... Гибель! Горе нам!

— О, аллах!

Только и вырвалось из груди Сахиба Джеляла. Он встал и страшный в своем гневном движении двинулся на изящного расфранченного Али, который невольно попятился назад.

— Негодяй! Не смей своим поганым языком касаться имени нашей благородной дочери!

Не будь так ослаблен ранением Сахиб Джелял, вероятно, он просто придушил бы Али, который все пятился. Али все знали: он был слабоволен, изнежен, мягок. Но он сумел совладать с собой и, остановившись, выпрямился и попытался возразить Сахибу Джелялу:

— Не отчаивайтесь, господин! Счастье вернется — и к прекрасной!

— Что с ней? Говори!

Еще секунда — и Сахиб Джелял вот-вот вцепился бы трясущимися от слабости руками в шею Али.

— Она здорова, но, увы, опасность черной тучей нависла над ней.

— Где она?

— Она в Карнапе. Царица красоты в плену. Ни одна рука не смеет коснуться ее, сереброликой. Она птичка в клетке. Сто нукеров Абдукагара стоят вокруг караван-сарая, где томится владычица моего бедного сердца. И, увы, мне, безутешному, я бессилён...

Но тут вмешался комиссар Алексей Иванович:

— Хватит болтовни! Карнап близко... По коням! — скомандовал он. — Я еду, дядя Сахиб. Дайте мне дюжину ваших белуджей, и мы разнесем банду Абдукагара. Вперед!

Но комиссара остановил мелодичный голос любезного, как всегда, Али. Изящно поклонившись, он поспешил объяснить положение:

— Увы, дорогой братец, ваша горячность сожжет вас самих и ничуть не поможет божественной мечте... Ваших нукеров, будь они трижды яростные воины, перестреляют, точно кекликов, на горных склонах. Кругом, за каждым камнем, за каждым кустиком янтака сидят с длинными, как шест, мултуками аскеры эмира и только ждут, когда какой-нибудь легкомысленный высунет нос наружу из-за стен...

— Спасибо, что предупредил. Оказывается, совесть у тебя не окончательно скисла, — заметил комиссар. — Но отбросим эмоции, и перестань, пожалуйста, говорить красиво... Объясни, Али, зачем ты приехал?

— Спасти жизнь розе нашей мечты.

— Неужто нашей Наргис грозит такая опасность?

— Увы, да! И если бы девушка не была законной супругой... не считалась супругой их высочества эмира, разве кто-нибудь дал теньгу за ее ангельскую душу и прекрасное тело?.. О, горе нам! Она, перед которой сереброликая луна лишь глиняная тарелка, может каждый час предстать перед ангелом смерти, и смерть ее — да не скажу я такого слова! — будет ужасной. И что я — увы и еще раз увы! — бессилен оградить ее от гибели.

Все переглянулись: по-видимому, несмотря на несколько выпренный стиль, в словах Али звучали подлинные горе и ужас. Просто он, восточный поэт, не мог выразить их иначе. Больше того, он, взрослый мужчина, плакал настоящими слезами, и они капельками скатывались по его смугло-румяным щекам.

III

Я был бы
безумным Меджнуном.
Если б продал государство арабов
и персов, а ценою была б жизнь
Лейли.

Саади

На горной площадке находилась мехмонхана, к которой примыкал айван. В мехмонхане, пока не принимая участия в разработке плана по спасению Наргис, доктор Иван Петрович делал операцию раненому белуджу. Его неизменный помощник Алаярбек Даниарбек был рядом с ним.

Тогда-то у Сахиба Джеляла и комиссара Алексея Ивановича и возник план спасения девушки Наргис, — узнаем мы из горских легенд. Сейчас невозможно восстановить план во всех подробностях. В оставшейся после Али летописи «Счастливые и несчастные светила, озарявшие сладостью и горечью благородную тропу жизни их величества могущественного эмира», как раз те страницы манускрипта, в которых описывались скитания Сеида Алимхана по каршинским степям, оказались вырванными.

Приходится восстанавливать эпизод переговоров по рассказам людей гор.

Надо сказать, что эмир, возлежа на своих одеялах, в конце тени айвана, только делал вид, что ему безразличны споры и возбужденные разговоры, вызван-

ные появлением Али. Он отлично все слышал и видел.

Пошептавшись о чем-то с Мирзой, молчаливо сидевшим на краешке одеяла у него в ногах, он громко сказал:

— Пойди и спроси!

Согнувшись и не поднимая головы, Мирза робко приблизился к Сахибу Джелялу:

— Их высочество хотят сказать свое слово.

Сахиб Джелял и комиссар вопросительно посмотрели в сторону эмира. Тот понял это как приглашение к разговору. Кряхтя и сопя, он поднялся со своего ложа и важно, не торопясь, подошел.

— Господа,— сказал он,— позвольте нам, властелину и правителю государства, предложить вам совет. Присядем.

Когда все уселись на кошму, сложив ноги по-турецки, эмир важно распорядился:

— Говорите, Мирза!

Мирза вздохнул, пошелкал зернами четок, словно они помогали ему собраться с мыслями.

Его речь сводилась к следующему:

Положение эмира трудное. Большевики осмелились поставить его на порог смерти, за что несут, конечно, ответственность перед всемогущим. Но и положение комиссаров и самого Сахиба Джеляла тоже не лучше. Смерть тоже глядит им в глаза, потому что их окружают тесным кольцом непобедимые воины ислама. Судьба самого Мирзы, да не будет его бахвальством, соединена с судьбой эмира и находится на острие стрелы. Разговор придется вести о супруге господина эмира — недостойной Наргис. Суд почтенных духовных лиц и казиев Каршинской степи, да будет известно присутствующим, уже присудил девушку Наргис к ташбурану — побиению камнями.

Пренебрегши возмущенными возгласами, Мирза предложил: единственный выход, это отпустить эмира, и вместе с ним его — Мирзу. Тогда комиссары получат от эмира «иджозат-намэ» — разрешение покинуть ущелье и уехать, куда им угодно. Ну, а участь недостойной Наргис решит сам эмир, захочет простит — захочет накажет.

Мирза не стал выслушивать возмущенных протестов и поспешил дополнить предложение эмира:

— Эмир понимает, что ничего даром не делается. Поэтому он хотел бы предложить господину Сахибу Дже-

лялү выкуп в золоте и драгоценностях за съю особу (и за особу Мирзы). Но эмир не делает этого потому, что для Сахиба Джеляла золото — дым от костра в пустыне. Знает эмир и то, что комиссар — столп чести и ни за что не возьмет золото. Значит, нет выхода? — Многозначительно помолчав, Мирза воскликнул: — Недостойная грешница!

В чем дело? Все смотрели вопросительно, но на сухом, мертвенно бледном лице незаметно было движения мысли.

— Что он хочет? Не слушайте его! — воскликнул сидевший чуть в сторонке Али.

— Ох, ох,— сказал, скривив губы в улыбке, Сеид Алимхан, — стыдно нам, стыдно за великого государя, хана Бухары... э-э-э... предлагать выкуп в виде нашей супруги Наргис... за нашу священную персону.

— Недостойно! — пробормотал Мирза.

— Я могу дать той непознанной жене развод,— важно провозгласил эмир, подняв вверх руки.

— Соглашайтесь,— сказал, плача, Али.— Ибо как только Абдукагар узнает, что эмир дал развод жене, ее сразу потащат в степь и...

Эмир простонал:

— И нас постигнет предначертанное... э-э-э...

Эмир почувствовал полное удовлетворение — он озадачил Сахиба Джеляла и комиссара. Прикрыв веками глаза, скорчив постную мину, он принялся благоговейно перебирать четки. Видимо, теперь он мог надеяться на лучшее.

Тогда Мирза решил «подбавить огня в костер размышлений».

— Злой рок непреложен. Эта, нарушившая законы божеские и человеческие, девушка Наргис обречена. Сегодня вечером недостойная прекратит свое существование.

Свой ужас и горе Сахиб Джелял и комиссар всячески старались скрыть. Не то было с Алаярбеком Даниарбеком, вышедшим из мехмонханы, которая примыкала к айвану.

Он обернулся к дверям и позвал:

— Доктор-ага, идемте сюда! Вы слышите, что здесь говорят!

Доктор Иван Петрович появился на пороге. Руки с засученными рукавами медицинского халата были в крови.

— Иду, иду! Могу обрадовать: операция закончена. Пуля — вот она! Подлая, басмаческая...

И он протянул вперед руку, на ладони которой лежал кусочек металла.

— А что у вас? Что случилось? Я просил не отрывать меня. Но теперь можно. Сахиб, ваш белудж через недельку будет скакать на своем коне и стрелять так же метко, как и раньше.

— Возблагодарим аллаха за ваше искусство, доктор, — проговорил рассеянно Сахиб Джелял. — Но сейчас просим принять участие в маслахате... Речь пойдет об...— и тут голос у него дрогнул,— о нашей дочери Наргис. Теперь смерть коснулась ее лица.

— Господи... Час от часу не легче... Что произошло? Но тут поднял руки и запричитал Алаярбек Даниарбек.

— И дом наш стал обиталищем траура! Мы сами правим своим судом! Что за дело до нас этому эмиру?

Брезгливо оттопырив губу, Мирза сказал:

— Девушка Наргис более не жена их высочества. Их высочество удостоил Наргис разрешением на развод, Наргис приговорена, и казнь свершится, если...— он остановился и, вскинув свои иссиня-зеленые веки, оглядел всех и, понимая, что от него ждут совета,— продолжал: — Но может быть избавлена от позорной участи быть привязанной к хвосту дикой кобылицы или от побития камнями. Сохраните жизнь и достоинство господина власти Сеида Алимхана. Отпустите его — и вы получите девицу Наргис свободной и невредимой.

— Яшан! — в восторге воскликнул Али.— Соглашайтесь! И прекрасная будет жить и наслаждаться жизнью. О, я снова вижу солнце!

Но Сахиб Джелял сначала не соглашался отпустить эмира. Губы его шевелились: «Нет! Нет!» Он был так близок к тому, что жажда мести будет удовлетворена. Эмир был в его руках. Одно движение руки и... Камран нажмет собачку своей винтовки. Камран не отходил от эмира и спокойно, без малейших колебаний исполнил бы приказ своего вождя.

Сахиб Джелял произнес: «Нет, нет»,— но горло ему перехватила судорога.

Да, в Сахибе Джеляле отцовские чувства, любовь к дочери боролись с чувством неудовлетворенной ненависти к эмиру.

«Как я допустил? Дочь моя может погибнуть!»

В глубине души комиссар уже решил: жизнь — за жизнь; они отдадут Абдукагару эмира за Наргис. Комиссар не мог допустить, чтобы его сестренку волочило дикое животное по колючкам стены, по острым камням...

Пусть потом скажут, что он допустил ошибку, отпустив эмира, пусть судят, но Наргис будет жить.

Алексей Иванович одним рывком вскочил и, поправляя португую, оглядел всех, и все поняли—вопрос решен.

Первым возликовал Али:

— О, счастье! Благословение небес на тебе, комиссар. Благословение и на мне, ничтожном, проморгавшем жизнь из-за толкования корана, но все же успевшем отвести руку смерти от прекрасной из прекрасных!

— Итак, господа,— прервал восторги Али Мирза,— пусть немедленно их высочество получит свободу и коней.

— Кто вам поверит? — заговорил Сахиб Джелаял.— Где гарантии, что девушка будет отпущена?!

— Слово эмира! — воскликнул Мирза. Обычно медлительный, холодный, он весь горел.

— Мы поклянемся на коране,— занудил Сеид Алимхан.— Э-э-э... Разве недостаточно клятвы халифа правоверных на священной книге?

— Тогда вот что,— сказал доктор.— Господин эмир пишет письмо Абдукагару. Алаярбек поедет с письмом. Вы, Алаярбек Даниарбек, без костей, проскользните, проползете... шагов ваших не услышат... оседлаете ветер... Нужно доставить письмо, чтобы предупредить Абдукагара... Следом за эмиром с Мирзой поеду я. Мы, можно сказать, старые знакомые.. Да и Абдукагар слишком обязан мне — не забудет же он, что и на свет божий глядит благодаря медицинской науке.

Решением доктора остался недоволен лишь Сахиб Джелаял.

— Вы подвергаете себя опасности,— сказал он.— Не всегда побеждают самые добродетельные. Подлецы — мастаки по части ударов из-за угла, а аллах всегда на стороне сильного. Он отдает предпочтение тому, кто лучше сражается. Вы храбритесь, доктор, но я вас не отпущу одного.

— С нами поедет Али... И бросим разговоры. Я еду. И будем утешаться словами Вольтера: «Истинное мужество обнаруживается в бедствии».

IV

Слова правды бывают, увы, горьки.
Мир Амман

Я боюсь его всегда, стою ли я, сижу
ли или лежу на одре сна.

Джаф'ар

После ужина к Абдукагару пришли несколько басмачей.

— Ты, бек-хаким, постоянно обагрешь руки кровью и нас заставляешь пачкаться в людской крови. Ты, бек-хаким, пьешь мусаллас и нас, мусульман, поощряешь — мы пьем вино, нарушаем закон пророка. Ты, бек, прелюбодействуешь с мусульманками и не мусульманками...

— Вот и неправда, — разъярился Кагарбек, — я не женюсь на ней, пока она трижды не скажет эмиру: «Таляк!»

Но басмач невозмутимо продолжал:

— Ты, хаким-бек, копишь золото в хурджунах, забирая половину добычи...

— Что ты вякаешь, дурачина — ахмак? Чего тебе надо?

— Хватит злодейств! И так мы все по горло в море проклятий. Отпусти девку-йигита. Дай ей свободу.

Абдукагар терпеть не мог тех, кто лез ему в душу. И он поднял крик. Но как он ни свирепел, басмачи твердили:

— Дай ей ее коня! Отпусти! Пусть едет!

Вскоре перед возвышением собралась молчаливая разношерстная толпа басмачей. Лисьи шапки, тяжелые полушубки, несмотря на жаркое время года, мягкие сапоги, пулеметные ленты вокруг груди, разнокалиберные винтовки, но больше всего английские, одиннадцатизарядные, сабли, ятаганы, плети-семихвостки... Толпа шевелилась, ворчала. Напряженные, любопытствующие физиономии, темные, в шрамах, с бельмами на глазах от колючего песка пустыни, носатые и безносые, с бородами седыми, черными, как смола, с разевающимися ртами, полными кипенно белых зубов, и беззубые. Надвинулись на Абдукагара, сидевшего на супе и делавшего вид, что он ничего не видит и не замечает. Но пиала предательски подпрыгивала в его темной от загара и грязи руке.

Абдукагар как раз решил делать то, чего требовали от него его басмачи, совсем затершие его в своей толпе. Он понимал, что идет проба сил. Его басмачам надоело воевать, и они воспользовались первым удобным поводом. К тому же масса подвержена мгновенным переменам настроения и жадна на всякие зрелища. Прикажи Абдукагар еще ночью казнить Наргис, и толпа ринулась бы зверствовать. Гибель Наргис была бы неизбежна. Никто бы не остановил жаждущих мести. Они вымещали бы свою злобу. И выместили бы на первом подвернувшемся, в данном случае, на Наргис.

Но теперь они требовали, чтобы молодую женщину отпустили. И все дружно, в один голос, ревели:

— Отпусти!

Ахунд сколько угодно мог воздевать очи, взмахивать руками, употреблять всеу все девяносто имен аллаха,— толпа не расходилась. Все прибежали сюда, бросив караулить стены, оставив распахнутыми ворота, побросав оружие. Окажись поблизости дивизион, красные конники без выстрела захватили бы караван-сарай.

Первым это понял Абдукагар. Он страшно встревожился, толкнул в бок своим кулачищем ахунда и, притянув его больно за ухо прямо к своему рту, что-то орал ему.

Упираясь руками в палас, ахунд с трудом поднялся на четвереньки, а затем с помощью присутствующих кое-как выпрямился и провозгласил:

— Клянусь именем бога! Женщина предстанет пред лицом эмира Сеида Алимхана... святого халифа! Он сам решит ее участь...

— Разойтись! По местам!

Заорав так, что стервятники, сидевшие на высоком обломке стены, замахали тяжелыми крыльями, Абдукагар выпустил им вдогонку всю обойму из маузера, а сам тяжело прошагал во второй дворик, к купальням, и, остановившись у маленького окошечка, заделанного фигурной решеткой, сказал:

— Девушка, сиди тихо. Народ кричать будет. Стрельба будет. Все равно сиди тихо. Кто придет, сиди. А брата твоего прикажу сюда не пускать. И ох, что мне надо? Одного благосклонного взгляда красавицы... Вот и все...

Проворчав что-то, он, тяжело припадая на ноги, отдуваясь, пошел в большой двор, где бродили кони, стонали раненые и запах гнили под пронзительными

лучами солнца пустыни струился и наполнял все ходы и переходы.

Красноармейцы Баба-Калана буквально через несколько минут бросились к глиняным стенам караван-сарая. Впереди цепей шел с маузером в руке Алексей Иванович.

Надо было вырвать пленницу из лап Абдукагара.

Говорят, бывает чудо. Чудо свершилось. Хоть комиссар шел открыто, во весь рост, ни одна пуля не задела его.

Комиссар сурово говорил:

— Они нервные, возбужденные. Их нервирует, когда идешь на них вот так. Руки, пальцы дрожат у стрелков. А когда целятся, туман в глазах. Ну и все мимо.

Конники ворвались под огнем в первый двор караван-сарая. Басмачи не выдерживают рукопашной. А сейчас можно было подумать, что они, очевидно, не хотели драться. В крови, в поту, с выпученными, налитыми кровью глазами, они столпились в коридорах и закоулках. Выставив в окошечки, в дыры, щели дула винтовок, не целясь, палили кто куда, пока под рукой были патроны. И они выли, по-волчьи, чуя гибель, хотя у них было полно оружия и патронов.

Где-то в темном чуланчике столкнулись бежавшие, обезумевшие от этих воплей Абдукагар и подоспевший за доктором Мирза. Абдукагар сжимал в руке огромный мясницкий нож и хрипло вопил:

— Не отдам! Она принадлежит мне! Пусть мертвая! Не отдам!

Мирза взвизгнул:

— Не смей! В ней наше спасение! Где она?

Они бросились к чуланчику и распахнули дверку. Абдукагар замахнулся ножом. Но Мирза, вцепившись в его руку, повис на ней и закричал:

— Встань!.. Иди!

Размахивая палкой, Мирза буквально погнал ошеломленную, рыдающую от ужаса Наргис вверх по одной из многочисленных в этом здании мраморных лестнок на стену. Он бил несчастную палкой и крепко держал ее за руку, чтобы она не упала вниз, прямо во двор, в скопище басмачей. Сквозь застилавший глаза туман Наргис узнала коричневые, красные, усатые, лосящиеся от пота и грязи родные лица. Бойцы ее дивизиона радостно кричали:

— Наргис! Живая!

Дружное «ура» сотрясло стены караван-сарая. Кто-то уже бросился вперед. Уже подставили лестницу.

— Стой! — скомандовал комиссар.— Тихо.

Он увидел, что Наргис стоит на краю стены не одна. Крепко держа девушку за предплечие, за нею прятался Мирза. Алексей Иванович сразу понял: нужна осторожность! Что-то здесь не так.

Он приказал прекратить шум.

— В чем дело? Наргис, спускайся!

— Говорить буду я! — крикнул вниз Мирза.

Он не высовывал голову. Бледнолицый очень ценил свою жизнь. И меньше всего хотел рисковать. Перед дулом винтовки он испытывал неодолимую слабость.

Мирза продолжал, и голос его набирал властность и требовательность:

— Наша позиция неприступна! Вы все уходите за ворота!

— Еще что! — возразил комполка.

— Вам нужна эта женщина. Я знаю. Так вот, если вы не исполните моего приказа, ее сейчас обнажат и у вас на глазах предадут постыдной казни. Посадят на кол... В назидание всему миру. Уходите! Пусть у ворот остается кто-то один. Тогда я скажу свои условия.

Ругаясь и ворча, Баба-Калан заставил бойцов попытаться. Они шли, ступая по лужам крови, перешагивая через убитых и раненых...

Теперь переговоры велись у ворот. Мирза не вышел. Послал трясушего бородкой ахунда и его имамов. Ахунд поставил условие:

— Ночью выпустите нас в степь... Всех. На конях и при оружии. Преступницу против закона шариата, живую, невредимую, отпустим на колодцах Куль-Турсун, что отсюда в одном таше. Попытайтесь отбить пленницу в дороте — получите ее мертвую...

По настоянию Мирзы, Абдукагар сам выработал эти условия. Он никак не хотел идти на них, но потери в банде были слишком велики. Мирза стоял над головой и долдонил:

— Все из-за нее. Ты виноват. Ты не смеешь мне возражать. Она моя сестра: Я делаю с ней, что захочу. Если ее цена — сохранение нашего отряда бойцов ислама, надо платить...

— Я не отдам ее,— ныл Абдукагар.— Надо придумать другое.

— Выхода нет! Иншалла! Иначе ей смерть.

Долго раздумывать не приходилось. Из чулана доносился плач. Старухи едва могли сдерживать бившуюся в истерике Наргис. Она тоже не выдержала. Она рвалась к двери. Кричала:

— Я здесь! Скорее!

Она дралась со своими охранницами старухами, но они, вопя: «Подлая тварь!» — буквально зажимали грязными ладонями ей рот.

До наступления темноты переговоры возобновлялись несколько раз. Их вел теперь поэт и летописец Али, пробравшийся в караван-сарай. Комиссар не решался вновь начинать атаку. Предлагались новые и новые условия, но через пустырь Али ходил в караван-сарай. Ахунд твердил свое. Конечно, по наущению Мирзы. Сам он, ослабевший, впавший в протрацию, давно отдал бы эту беспутную женщину красному командиру: «Бери, отпусти только наши души!»

А тут приходилось слабым, заикающимся голосом повторять:

— Не выпустите — побьем камнями...

Ему трудно было говорить: очень был голоден. Басмачи не готовили ужина. Даже самовар никто не сообразил поставить. А тут — веди переговоры.

Уже поздно вечером ахунд показал в открытые ворота комиссару Алексею Ивановичу на нескольких басмачей, рывшихся во дворе в куче отбросов.

— Что такое? — спросил комиссар сдавленным голосом.

— Засунем в большой полосатый кап твою женщину, завяжем над головой, опустим в яму... Вот досюда, — он провел рукой по груди. — Забросаем камнями... Стрелять будете... Не успеете... Ох!

Он совсем выдохся, этот праведный судья. Ахунд и не чаял, как отсюда выбраться. По собственному побуждению, чтобы ускорить события, он устроил целую инсценировку.

При всей своей слабости и бессилии он успел, по выражению лица комиссара, сообразить, что тот ужаснулся, когда узнал, что Наргис хотят устроить «ташбуран». Комиссар не мог сдержать своих чувств.

На его глазах привели Наргис при свете чадающих самодельных, окунутых в кунжутное масло факелов, не столько светивших, сколько чадивших дымом и ко-

потью. Молодая женщина едва держалась на ногах. Волосы распустились, глаза дико озирались. Она не могла разглядеть, кто сидит на возвышении и выкрикнула:

— Подлецы! Звери!

Но голос ее прозвучал чуть слышно. Никто за целый день не нашел нужным дать ей попить, дать кусочка хлеба. Сотрясаемый страстями Абдукагар, занятый высокими мыслями о спасении красавицы от верной смерти, проникнутый, с его точки зрения, самыми высокими чувствами, не подумал о такой простой мелочи, что его пленница умирает с голоду. Ведь именно она несколько дней назад по приказу Абдукагара пекла в тандыре пышные пшеничные лепешки с кунжутными семечками.

Находясь в полуобморочном состоянии, Наргис безразлично отнеслась и к тому, что кто-то почти к самому лицу присунул пахнущий шерстью мешок, и кто-то заломил ей назад руки и начал ее вязать, и столь же равнодушно отнеслась к тому, что кто-то сказал:

— Держитесь! Не поддавайтесь, выручим!

Пока до сознания дошло это, она соображала, как во дворе караван-сарая мог оказаться поэт Али, и что о ней, оказывается, думают, ее увели опять в чулан. Она пыталась забыться сном. И это почти получилось, если бы не мысль, обжегшая мозг: «Нельзя терять ни минуты».

Наргис вскочила и бросилась к дверке, приоткрыла. Дверка закрипела так, что могла разбудить всех джинов пустыни. Но старухи не шевельнулись в темноте, а старик, сидевший на корточках в коридоре, чуть освещенный смрадно коптившим чирагом, вскочил:

— Кто? Кто?

Про старика Наргис забыла. И кто мог бы подумать, что у него такой чуткий сон.

— Тише... ты человек или животное?

— Я... я... сын человеческий...

— Тогда принеси воды и... хлеба... кусочек.

— Зачем тебе пить-есть? Все равно тебе устроят ташбуран.

— У тебя дочь есть?

— Есть... и внучки есть.

— Ты что, радуешься, когда они от голода плачут?

- Что ты! Разве я зверь?
- Так принеси мне поесть.
- А ты не убежишь?
- Куда я могу?..

Но старик не ушел. Он пошарил за пазухой и достал узелок.

— Тут тебе принесли... пищу принесли. Кишлячные женщины позаботились, сказали: «Ту женщину казнить не могут. Она — жена халифа. Не посмеют басмачи казнить, сделать ташбуран для нее... Сготовили женщины плов эмирский, вот каса, с пятью приправами — с перцем — раз, с тмином — два, с чесноком, с маслом, с морковью... Пусть покушает, порадуетя, нас вспомнит».

В мыслях Наргис была не еда. Как она хотела, чтобы старик отлучился хоть на минуту. А он приветливый, доброжелательный, не отходил от дверей. Он даже пододвинул чираг — светильник, чтобы молодой женщине удобно было поесть. Но он не отступился ни на шаг. Когда она поела, погасил чираг.

Опять Наргис осталась в полной тьме со своими мыслями, с ужасными мыслями... Но снова затеплилась искра надежды. Ее пытались освободить. Кто? Она не знала, но кто-то скребся в стену, чуть слышно стучал чем-то железным. По шороху она поняла, что отколупнули штукатурку.

Чей-то голос чуть слышно бормотал:

— Не бойся... Народ тебя любит. Хочет помочь. Потерпи. Тут пауки ядовитые, ящерицы, скорпионы... Но ты не бойся, нору я раскопаю. Тебя вытащу... На волю пойдешь.

По глиняному лазу в каркасной стене к ней пробрался поэт Али. Она должна потерпеть, подождать до полуночи. Он, Али, высвободил бы ее сейчас: басмачи спят, Абдукагар спит. Но глиняный лаз, — во! беда, — уперся в кирпичную стенку. Прочный кирпич, старый кирпич. Ударить — гудит как барабан «наубат». Все раскопал, а о кирпич споткнулся, кирпич еще абдуллахановский. И балка арчовая...

Али уполз за инструментом.

У Наргис радость ожидания неопишуемая. А потом переход от радости к отчаянию. Мирза прислал одного из имамов сказать:

«Участь твоя решена. Заступничество мое даст тебе легкую смерть. С тебя не снимут с живой кожу. Чучело

твое не набьют соломой и не вывешат на стене на позор. Он, брат, упросил, чтобы ее побили камнями».

Имам наговорил страшного и исчез. Али больше не появлялся. Молодая женщина отчаянно пыталась разломать штукатурку на стене. Чулан был старинной худжрой, построенной век назад. Глина превратилась в цемент, и что с ней сделаешь ногтями?..

— Ага, разведчица, развратница, уползти змеей хочешь!..

В дверь ворвались старухи и вцепились в нее с воплем. Затрещали двери чулана. Стало светло. В лисьих шапках вошли, гомоня и ругаясь, есаулы. За спинами их маячило белесым пятном лицо Мирзы.

— Приступайте!

Жалостливо заголосили старухи, вцепились Наргис в плечи, потащили из чулана.

На тонувшем в предрассветном сумраке дворе натянули через голову шерстяной мешок. Наргис кашляла, задыхалась, пыталась кричать, отбиваться. До слуха ее донеслось: «Кота бы когтистого к ней!» Снаружи посыпались удары. Мешок швыряли, сунули, видимо, в яму.

— Ташбуран! Приступайте во имя бога! — послышался крик.

— Не смейте! — зарычал кто-то, по-видимому, Абдукагар.

Тупые удары обрушились на голову Наргис.

— Бей!

Это было последнее, что слышала Наргис. Мелькнуло еще в тумане: «Не так страшно... Неужели умерла?..»

V

И огню в степи есть мера.
Лишь вражде нет меры!

Алаярбек Даниарбек

Рука урагана швырнула
в ручей тюльпаны,
и под их краснотю
вода уподобилась клинку меча,
по которому струится кровь.

Ал Укайли

Народ долины хорошо знает о разведчице Красная косынка. Весть о предательском захвате ее быстро распространилась всюду: от Каттакургана до Бухары,

от Кызылкумов до Карши и даже южнее. Большинство людей боялись Абдукагара. Когда стало известно при каких обстоятельствах захватили девушку-йигита в плен, степняки возмутились. Испокон веков не полагается пальцем трогать парламентаров. Так было во времена Искандера Зулькарнайна, и при Тимурленге, и при Шейбани, и вообще во всякой войне. Это закон!

Гнев людей пересилил страх. Послали вестников в гарнизоны. Вооруженные чем попало толпы двинулись на перехват басмачам по степным дорогам. Почтенные арык-аксакалы поехали в дивизион к комиссару, предлагая помощь. Они прекрасно знали всю оросительную систему, в частности, и подземные галереи водных источников Карнапа. Знаком был с нею и гидротехник Алексей Иванович.

Поздно вечером он взял с собой группу комсомольцев-бойцов и проник с ними внутрь караван-сарая.

Никем незамеченные, они проникли в помещение первого эмирского купального бассейна и наткнулись на самого Кагарбека, который налаживал отказавший пулемет «максима». Кагарбек не знал, что творится в большом дворе.

Первым ступив в помещение бассейна, комиссар Алексей Иванович открыл огонь без предупреждения. То же делали выходящие по одному бойцы. Мгновенно погасли свечи и чираги, которыми была освещена походная оружейная мастерская. Произошла свалка. Стрельба вызвала панику во всем караван-сараяе.

Схватка продолжалась несколько минут. Кто в кого стрелял в темноте—не разобрать. Но, как всегда, комиссару везло. Ни одна пуля не задела его. Среди комсомольцев и бойцов были убитые и раненые.

Действуя прикладом, сбивая с ног каких-то — разве разглядишь в темноте? — кричащих и вопящих людей, комиссар выбежал во двор. Здесь металась сотня всадников, сгрудившихся в кучу в проходе ворот и перед ними. Бешено ржали лошади, вопили басмачи.

Комиссар успел разглядеть только как «шайтаном», верхом на огромном коне, лупя кого попало камчой, продирался сквозь толпу всадник — в огромной меховой шапке. Но он мелькнул и исчез в груди копошившихся тел.

Через темную стену караван-сарая ползли, карабкались убегающие басмачи. Алексей Иванович обратил внимание, что несколько человек волочили что-то тяже-

лое, шевелящееся и, показалось ему или нет,— жалобный женский вопль приглушенно прозвучал в ночи.

Он резанул по сердцу.

— Вперед! Не стрелять! — крикнул комиссар.

Пробиться к стене через двор, полный мечущихся людей, лошадей, непонятно откуда набежавших баранов, стоило большого труда и времени. Ни комиссар, ни его сопровождавшие не стреляли. Изредка перед ними возникала искаженная гримасой ужаса и боли физиономия.

«Большевы! Красные! Аман! Милости!»

С трепетом комиссар поднимал меховые шапки, которыми кто-то прикрыл лица убитых. Комиссар знал, что Наргис ходит в мужской одежде и потому боялся обнаружить ее в каждом убитом басмаче.

Когда он, склонившись, рассматривал лицо совсем еще безусого убитого, страшно изуродованного ударом клинка, он вздрогнул и обернулся. Вжавшись черным комком в угол, старуха бормотала:

— Ее увезли!

Но голос другой старухи — их оказалось в углу две — завершал:

— Убили... казнили развратницу... Закопали...

А когда начали раскапывать свеженабросанную землю на большом дворе, из-под полуразвалившейся стены выполз каравансарайщик и запротестовал:

— Неправду говорит старая. Казнить начали. Камни бросали...

— Кто посмел?! — сорвался в крик комиссар и начал трясти каравансарайщика за плечи.

— Мы ничего... Мы помочь хотели. Не успели. Но ее вытащили в мешке и увезли.

«Это значит — ее тащили через стену... и я упустил...»

А тут еще из-за спины каравансарайщика шептал какой-то благообразный чалмоносец:

— Она жена эмира, и лишь эмир мог судить ее. Увезли ее. Теперь она далеко.

Приказав забрать чалмоносца — это был поэт и летописец Али — Алексей Иванович продолжал поиски. Он наводил порядок, пока не появился отряд красных конников.

Абдукагар бежал.

«Он мечется по степи», — сказал Баба-Калан.

Когда они наконец добрались до верхушки стены

курганчи, высоченной, сложенной из огромных блоков пахсы — глины, замешанной на камышовом пухе и мелкой соломе, оказалось, что снаружи приставлены лестницы, а в темноте слышится удаляющийся топот коней.

Внизу, под стеной, ахунд протянул стонущим голосом:

— Уехали! Увезли! Горе нам. Абдукагар убил Мирзу. Мусульманин мусульманина.

А во дворе продолжалась возня. Красные добровольцы, наконец, ворвались во двор. Многие годы злоба, душившая народ, прорвалась наконец.

— Кончай душегубов! Бей!

Трясущихся басмачей вытаскивали из каменных зданий купален, из всяких нор, узких проходов. Никому не давали пощады.

При свете коптящих дымных факелов комиссар бродил по двору. Приткнувшись спиной к стенке колодца, сидел седоватый есаул и, зажимая рану на плече, бормотал:

— Мы по приказу... Мы не виноваты.

На земле, рядом с ним, валялась винтовка, набитые патронами подсумки. На кожаном ремне висел маузер, инкрустированный золотом, видимо, побывавший в мастерской афганского оружейника.

У самых ворот в эмирскую купальню громоздились тела убитых.

Обыскивали, обшаривали все помещения каравансарая и эмирского курорта. Нашли убитых бойцов. Их отнесли в малый дворик и покрыли полотнищами из шелка, обнаруженными в старой эмирской кладовой.

С болью в сердце комиссар все еще искал повсюду смелую разведчицу. А вдруг все-таки ее не увезли.

— Абдукагар ушел в Красные пески... Где его найдешь?! — говорил Баба-Калан, когда они скакали по утренней пыльной дороге на север.— Он — жаба. Всадников с ним осталось совсем мало. Его голову ценят не дороже, чем петух ценит головку зеленого лука... Он залезет под камень. Выжидает. Не первый раз. Но я достану его и из-под камня. Он мне заплатит за все...

Баба-Калан не поверил поэту и летописцу Али, который считал, что его тень, господин советник самого

Сеида Алимхана, по всей вероятности, убит в ночной схватке в караван-сараяе...

Они скакали во весь опор. Погоня продолжалась. Ветер пустыни бил им в лицо. Плохой ветер, сухой, с мириадами песчинок, больно бивших в лицо.

Не верил Баба-Калан словам ляганбардора — подхалима Али. Он требовательно допрашивал его, не стесняясь хлестнуть его по спине камчой. Он подозревал в этом приторном красавце ловкого интригана, умеющего все ухватить, устроить, всюду попасть, залезть, обернуться. Такие водились в махаллях Бухары.

— Водит и водит нас, как тюячи-верблюжатник водит за веревочку с палочкой, продетой в нос верблюда.

И Баба-Калан принимался выразительно чихать и фыркать совсем по-верблюжьи.

А на поспешных привалах — надо же покормить, напоить загнанных безумной скачкой коней в такую жару! — ляганбардор Али как ни в чем не бывало вытаскивал из глубины кармана книжку в бархатном переплете и принимался химическим фиолетовым карандашом записывать что-то...

Когда в Карнапе Али схватили, комиссар не счел нужным отобрать у него эту книжицу. И сейчас он не позволил Баба-Калану сделать это.

— Он шпион. Мерзавец-пройдохал!

— Из пройдохи получается самый хороший шпион. Но не трогайте его. Пусть пишет.

— Проклятие! Он пишет по-арабски. А у меня в дивизионе нет ни одного грамотея, кто разобрал бы его коранические закорючки...

— Ничего... Я прочитаю...

Но комиссар Алексей Иванович не стал отбирать записную книжку у поэта Али, пока все листки ее не оказались исписанными почти до конца.

Али спрятал книжку, когда началась перестрелка с Абдукагаром, прижатым в ущелье близ Гузара.

Кагарбеку дорого обошлась его карнапская авантюра. Он зарвался, возомнив себя могущественным беком, несмотря на то, что под Карнапом он потерял почти всю свою шайку.

Планета Сатурн,
как бы высоко она ни стояла,
Солнцем не будет.
Звезда, не взойдя, сорвалась.

VI

Мужи войны и не помышляли ни о зубах льва, ни о клыках слона, ни о когтях леопарда, ни о пасти крокодила.

Низами

Никто не сомневался в опытности проводника Мергена. Но что он мог поделывать? Двое суток йигиты Кагарбека затягивали отряд в пески.

Желтый зной. Раскаленное солнце в зените, ни былинки, ни капли воды. Бойцы вопросительно, с мольбой поглядывали на Мергена. Сами они еще терпели, но кони выдохлись, сдали. Коней надо поить хоть раз в день. Иначе конь не конь. Иначе слезай с седла и превращайся в пехоту. А какой кавалерист хочет, чтобы ему сказали: «Пехота, не пыли!»

И еще обиднее из душного ада, из раскаленной печи, где, казалось, от жары глаза лопаются, смотреть издали на зеленую полосу призрафашанских обильных тенью и водой садов.

Губы потрескались, языки распухли во рту, не ворочаются. Мерген не позволил пить воду из попавшегося, наконец, плохонького колодца. Он склонился над черным зевом, втянул ноздрями прохладный воздух и поморщился.

— Яд там. Отравили воду.

Красноармейцы матерились. Кони понуро стояли и прятали головы в свои короткие тени. Ветер не приносил облегчения: ветер дул из Кызылкумов, а в Кызылкумах в это время года еще жарче, чем на холмах. Вот подул бы ветерок со стороны Зарафшана.

Кто-то из красноармейцев сказал:

— Абдукагар нарочно загнал сюда — от жажды погибать.

— Разговорчики!

Комиссар не допускал нарушения дисциплины даже в самых трагических обстоятельствах. Гибель от жажды, конечно, худшая из трагедий, но без разрешения боец не имеет права поднимать голос.

— Разговоры! Кони не имеют голоса. За коней бойцы говорят... Плохо. Очень плохо. И вот рядом, не очень далеко, внизу, красота и прелесть долины. Близок локоть, да не укусишь. Говорят, умирающему от жажды можно утешиться, наслаждаясь зрелищем садов. Умирающим от жажды видятся миражи — полновод-

ные озера и свежая зелень садов. Рай у мусульман арабов — тенистые лужайки и журчащие струи, а потом уже еда и гурии. Вода! Ужасно хочется пить.

Они изнывают от жажды, а неподалеку — знаменитый Согд.

Красота и прелесть самаркандского Согда настолько известна, что нет никакой надобности рассказывать о них...

Кто это говорит? А, Мерген-проводник. Он страдает от жажды не меньше других, но молчит. Он водит их по горам и степям и совсем не виноват, что отряд попал в засаду. Пуля уже нашла Мергена. Вон у него рука замотана у локтя бинтом, темным от сукровицы. И к жажде Мергена добавилась боль от раны. Мергена, видимо, лихорадит. Рана наверняка воспалилась. Пуля, кажется, задела кость. Но Мерген и не думал проситься, чтобы его отпустили из дивизиона. Напротив, он сказал командиру:

— Помогать надо. Дорогу искать. Сила еще есть.

Мерген силен и могуч не только телом, но и духом. Несмотря на то, что он страдал от раны, от жажды, он еще подбадривал бойцов.

— Стемнеет и поедem к воде. Сейчас не надо. Абдукагаровцы стреляют здорово. А ночью пули пойдут к звездам. А мы пойдem к воде. Воды много в арыках. Есть в Лоише ключ: Вода, ух, какая холодная! Зубы выскакивают от такой воды. У нас, у узбеков, есть такой поэт — Хафиз-и-Абру. Про наш Зарафшан он пел:

По обеим берегам Зарафшана
Сплошь шумят сады.
Кругом пашни, населенные места.
И цветут луга.
А золотые плоды
Здесь лучше, чем в других
местах.

Зарафшан, Зарафшан!
Я люблю тебя!
Во всех домах,
Во всех жилищах
Есть текучая вода.
Зарафшан — жители твои
Известны своим гостеприимством.

Заходи, странник,
Заходи, воин!
Я напою тебя из белой
касы
Холодом воды из источника!

Солнце палило и палило. Кони протягивали головы в сторону зеленого, многоводного Согда и жалобно ржали. Ржание их походило на стон.

Боец-связист Матраков почти потерял сознание от слабости. Он бредил. Ему казалось, что идет российский дождь — открытым ртом он будто ловил воображаемые капли воды.

— Подтянем излишек длинных поводков,— говорил Мерген. — Нельзя спускать поводья, нельзя ходить. Лежите. Силы тратить не надо. Скоро солнце пойдет к краю земли, а мы пойдем к воде.

У Алексея Ивановича ноги заплетались от слабости. Он посмотрел на бойцов. Да, не только Матраков был плох. У многих от слабости руки висели словно плети.

— Слушать мою команду! — вдруг прокричал Баба-Калан.— Оружие осмотреть. Почистить! Скоро в бой! Все зашевелились. Загремели в знойной тишине пустыни затворы. Залязгал металл.

Что значит команда? Призыв к действию. Откуда у людей и силы взялись?

— Правильно,— тихо сказал Мерген.— Почему рабочий человек жив остается, где байский сынок помрет? Потому что рабочий, чайрикер, батрак кетменем землю всегда копает. Мешки поднимает, грузит. Быков пару на пашне погоняет. Уходит и приходит... Ой!.. Ой!.. К голоду и жажде привыкает. Глину ногами месит, пахсу складывает, огонь в очаге разжигает, пищу себе сам готовит. Потому руки и ноги у батрака железные, горло луженое, желудок верблюжий. По десять дней без воды обходится. Тут у нас байских сынков нет?

— Нет! — откликнулся Матраков.— И принялся чистить винтовку.— Мой отец тоже батрак был. И я батрак.

— Чего же ты из-за глотка воды раскис? Привыкай,— ворчал Баба-Калан.— Я чаю в доме отца не видел. Отец мой был батрак из батраков. Кроме камышовой берданки и чурбака вместо подушки, в мазанке для спанья у нас больше ничего не было. Так что ж,

нам из-за того, что подлый Абдукагар воду в колодце испортил, помирать, что ли?

— Озверели ваши бай,— сказал Матраков.— Мало того, что из-за земли и богатства зубами грызутся, а еще и воду забрать хотят. Дудки-с!

Солнце скатывалось лимонным шаром к далеким стального цвета холмам. Мерген-проводник долго разглядывал холмы, степь, далекий желанный Согд. Потом спустился в сухой сай и исчез.

Его долго ждали. Когда желто-оранжевая заря охватила полнеба в стороне Бухары, он не пришел. Спустились неверные, таинственные сумерки. Степь молчала. Из долины Зарафшана поползла темнота, и почти мгновенно по-южному все погрузилось в мрак. Но и тогда Мерген не появился. Комиссар нервничал и вслушивался в ночь. Бойцы в муках жажды дремали.

Мерген пришел близ полуночи.

Вернее, приполз. Со стоном спросил:

— Пойдем с дракой или без драки?

— Сначала надо напоить коней и... бойцов,— проворчал командир, — а потом вернемся и зададим им перцу. Кто у них? Абдукагар?

— Нет. Это тот самый подлец.

— Мирза?

— Он.

— Надо будет взять его живьем. Но сначала вода.

Двинулись в кромешной темноте. Мерген вел отряд. Долго вел.

Шли пешком, ведя коней на поводу. Долго, мучительно плелись. Когда уже почти потеряли надежду, вдруг над ухом зазудел комар, один, другой. Щеку ожег укус.

Если бы из тьмы вдруг возник сияющий, прекрасный ангел или неземная пери, им не обрадовались бы так, как обыкновенному малярийному комару-анофелесу: где комары, там вода.

А еще немного погода раздалось божественное журчание. Оказывается, рядом была река.

Лошади встрепенулись и принялись продираться сквозь камыши. Захлопали ноги по воде. Кони засербали губами: они пили!

VII

О, несчастный, ты жаждешь славы и золота, а ведь прежде, когда тебе хотелось испить воды, ты лакал ее вместе с собакой из дождевой лужи.

Башишар ибн Бурд

Так в происшествии, случившемся в Карнапе, в караван-сараяе оказался замешанным поэт и летописец Али — сын тилляуского муфтия, не слишком маленький, но незаметный настолько, что его редко кто вспоминал. Вся его наружность восточного красавца, его голос, поведение ускользали из памяти моментально, и сколько бы вы ни старались припомнить его облик, это обычно не удавалось.

Во всяком случае одна примета была несомненной — он не отпускал бороду. Али начисто брился, оставляя только небольшие усы. Носил серую шелковую чалму. Щеки у него были румяные. А вот какие у него были глаза — бог знает: он всегда опускал их долу. И наконец, он почти всегда находился с Мирзой.

Когда-то они жили вместе в одной худжре бухарского медресе, затем в Стамбуле. Содержал их отец Али — муфтий. Но случилось так, что в силу своей бесхарактерности и бездеятельности Али рядом с умным, корыстолюбивым Мирзой потерял свое лицо и превратился в исполнителя его воли, в его тень.

В событиях в Карнапе Али был возле Мирзы до той самой трагической ночи, когда красные ополченцы ворвались по подземному ходу в купальни эмира. Тень потеряла в дикой суматохе своего хозяина... Но не исчезла, не умерла... А зажила самостоятельной жизнью. Комиссар и Баба-Калан решили, что Али многое может им сказать.

Но Али молча протянул им старую, несколько засаленную записную книжку.

Одну из записей приведем полностью, потому что она имеет прямое отношение к нашей истории и к судьбе Наргис.

Вот эта запись:

«Наргис добра. Солнце и розы открывают ее солнечную, подобную розе, природу невинности и чистоты. Она добра, несмотря на то, что люди причинили ей много зла. Она полна жизненной бодрости.

Положение Наргис тяжелое. Сводный брат ее господин мой Мирза, могущественный и всесильный, решил

погубить свою сестру. Положение госпожи Наргис утесненное. Мирза подверг ее неестественному понуждению, насильственно отдав замуж за нашего пресветлого эмира, правителя достойного, но развратителя невинных девственниц.

А разве от насилия не иссякает бьющая ключом радость молодой жизни, драгоценная казна чувств, и бриллианты восторга юности?

И то, что ныне госпожа Наргис — образец добродетели и совершенство красоты — переступила законы шариата и адата, сохранившиеся в закоренелой форме в варварской нашей Бухаре, не есть ли это прямое следствие этого варварства? Она подверглась злой участи и теперь не отличает добра от зла в жажде мести за свое поруганное достоинство.

Мстить женщина не смеет. Месть — достоинство мужчины. И свершая месть, она не подозревает, что навлекает на себя гнев всего мира».

VIII

В летописи — обилие бредней, примешанных ко всяким преданиям и рассказам.

Беруни

От поэта требуется, чтобы он писал хорошо и красиво, что же касается истины, то ее требуют от пророков.

Аль Аскара

Познакомимся сейчас с одной из сохранившихся записей, сделанных летописцем господином Али в записной книжке в бархатном переплете.

«О правоверный! Когда на глаза твои попадет сей пергамент, лучше не читай написанных на нем горьких, как черный перец, слов. Начертаны они калямом моей рукой по повелению великого и достоуважаемого — да пребывает он в мире и благополучии — халифа правоверных их высочества Сеида Алимхана. Но, — удивительная судьба нашего летописания! — господин и владыка мира Сеид Алимхан снова распорядился предать сии исписанные листы огню и забвению.

Наше время похоже на черноту измены,
которая пришла на смену
прекрасной верности.

Господин эмир сжал губы упрямства и на доводы нашего изумления изволили заявить:

«Ничто, задевающее прямо или косвенно имя халифа, не может остаться ни на языке, ни на бумаге».

А при чем тут его имя, если все, что надлежит изложить в сей главе летописи, произошло и случилось.

Все тщета и пустяк в мире,
Забудь пустой разговор,
Отвернись от лая и не слушай
Всякую речь, требующую ответа.

А наш мудрый эмир Сеид Алимхан — не про него будь сказано — ведет пустые разговоры, когда речь касается такого мудрого и хорошего человека, как доктор Иван, подобный светилу древней медицины Лукману Хакиму.

Итак, это вместилище страданий и несчастий, именуемое судьбою, даровало в predetermined роком день и час великому эмиру Сеиду Алимхану освобождение от уз брака с несравненной Наргис. Их высочество великодушно и милостиво обещало избавить прекрасную Наргис от ужасной казни, даровать ей освобождение и отпустить ее к родственникам и друзьям. В чем эмир и дал клятву на воде, кинжале и священном коране. Словом, с комиссарами был заключен договор, достойный преславного государя, на основании которого их высочество господин власти Сеид Алимхан был отпущен с условием освободить Наргис в сопровождении доктора Ивана с неизменным Алаярбеком Даниарбеком, брата нашего вместилища хитрости и интриг Мирзы и нас — ничтожного раба аллаха. Все мы поспешили в сторону Карнапа, где, как мы знаем, пребывал с войском гроза мира бек Абдукагар. Сеид Алимхан изъявил желание, присоединиться к войскам ислама и выполнить клятву, то есть благосклонно распорядиться об освобождении из плена прекрасной Наргис.

Сочетание светил благоприятствовало столь счастливому происшествию, достойному быть записанным золотыми буквами в жизнеописании эмира Бухары Сеида Алимхана.

И все волею всевышнего свершалось согласно предначертаниям небес и договору с клятвой эмира.

Мы быстро ехали по степи, никем не потревожен-

ные, но наступила тьма по случаю захода светила, и господин эмир изъявил желание отдохнуть. Поскольку не оказалось на пути ни города, ни селения, ни поместья какого-либо уважаемого бека, господину эмиру пришлось довольствоваться кошмой и теплом дымного костра одинокого чабана. О горе, тот чабан не имел ничего из угощения, кроме катышков курта — сушеного овечьего сыра и иссохшей ячменной лепешки.

Поужинав, господин эмир соблаговолил разрешить доктору и нам, грешным, после кормления коней лечь спать, а сам, заявив, что желает предаться размышлениям о судьбах мира, удалился несколько в сторону от костра с вместилищем коварства и зла господином Мирзой для собеседования. Мы же ползком подобрался к ним и — да будет проклята хитрость человеческая! — подслушали, о чем беседовали господин эмир с Мирзой.

«Мы эмир государства и халиф правоверных,— изволил сказать их высочество Сеид Алимхан,— дали клятву на воде, на кинжале и на священном писании. Это хорошо, потому что тем самым мы сохранили самое драгоценное, что даровал человеку всевышний, то есть жизнь. Слава аллаху! Но мы поклялись подарить жизнь и свободу этой ничтожной девице... Наргис. Что же получилось? Теперь она поедет по степи и всюду почтет за честь трепать своим языком, что ее ничтожество послужило выкупом прославленного и могущественного эмира. Какое поношение нашей чести и благородства!» Тогда этот выродок Мирза сказал: «А кто вас, ваша светлость, понуждает давать свободу девице? Тем более, она ваша жена». «Но мы же дали клятву!» Тогда господин злодейства сказал: «А кто заставляет вас ехать к Абдукагару и возиться с этой Наргис... Мы поедем утром не на север в Карнап, может, там уже красные... Мы направим головы коней прямо на восход солнца и поспешим со всей быстротой ног коней в Байсун, где, как известно, еще сохранились верные вам беки. Я же, проводив вас, поспешу к Абдукагару... И вам не придется нарушать клятву. Пусть Абдукагар делает с Наргис, что хочет. Он же не будет знать, что вы клялись». Великий эмир возблагодарил бога за то, что он даровал ему в лице хитроумного Мирзы такого мудрого советника, но, подумав, сказал: «А что мы скажем доктору?»—«Доктор спит, а когда он проснется, мы будем далеко. Мы заберем его лошадь, и пешком он нас не догонит». Тогда господин эмир сказал:

«Лучше бы он не проснулся... Много лет назад этот человек унизил наше достоинство при всех моих приближенных.

А принизить честь великих,
все равно, что играть со смертью.

Этот самонадеянный докторишка отказался от наших даров и посмел упрекнуть нас в немилостивом обращении с нашими подданными мусульманами. И даже наш орден не взял. О, несчастный!» Слушая этот разговор, мы поразились изменностью побуждений повелителя правоверных и пролили слезу огорчения над участью хорошего человека — доктора, но тут из западни нашелся выход. Мирза сказал: «Мысль о мести, ваше высочество, отложите, дабы не вышло шума и осложнений».

И они с эмиром, словно воры, уехали до рассвета, ничего не сказав мне и забрав лошадей, мою и докторскую. Я промолчал: мы были без оружия, а Мирза его имел.

И мы поняли: подыми мы шум — Мирза не остановился бы ни перед чем и тогда мы не смогли бы облегчить участь прекраснейшей из дев.

Меж добром и злом —
одна пядь.

На свете нет ничего отвратительнее языка. Люди осыпают друг друга бранью, призывая имя сатаны. Увы, мой язык до утра не переставал работать, вспоминая их высочество эмира.

Доктор же, проснувшись, нашел нужным сказать:

«Все к лучшему, Али. Никто не знает, как поступил бы эмир, приехав в Карнап. Он просто нарушил бы свою клятву на воде, на кинжале, на священном писании и бог знает на чем еще. А для нас главное — спасти девочку Наргис. Жаль только, что мы остались без коней. Пешком до Карнапа целый день пути».

И наш мудрый доктор взял займы у чабана его посох и, опираясь на него, пошел в Карнап, а мы поспешили за ним.

— Без зла нет добра,
без добра нет зла...

Зло хранит доброе,
доброе хранит зло...

Так рассуждал доктор, пока мы тяжело и медленно шли по степи.

И кто скажет, как бы поступил с Наргис справедливейший из владык мира эмир Сеид Алимхан, если бы соблаговолил сам прибыть в Карнап за своим выкупом? Не пала ли бы черная тень гибели на прекраснейшую из прекрасных?

У великих правда — ложь,
а ложь — правда.

Но и самая слабая тень, да не упадет на священную особу их высочества Сеида Алимхана! А потому мы вырвем листки из нашей книги и предадим их огню».

* * *

То ли Али не предал их огню, то ли запутался в событиях, но листков с описанием неблагоприятного поступка Сеида Алимхана не уничтожил. Со временем они оказались в личном архиве доктора Ивана Петровича.

IX

Был он человеком приятным в общении, хорошим в обращении, прямым и откровенным в своих суждениях, добродетельным в поступках.

И не являло время подобного ему по знаниям и проницательности.

Якут

В Джаме, зеленой долине, было сравнительно холодно. От холода синих, сиреневых, нефрито-зеленых горных вершин с белыми, снеговыми тубетейками делалось спокойно на душе. Они прохлаждали мысли и умеряли волнения. Внушали равнодушие к опасностям.

А были ли опасности? Про Абдукагара говорили: «Опасный тип».

Кагарбек был пациентом доктора больше десятка лет. А Алаярбек Даниарбек — верным его соратником и помощником. И кому-кому, а доктору надлежало знать, что у бека за пазухой: камни ли? Хлеб ли гостеприимства?

Доктор не любил Абдукагара. И говорил ему прямо в лицо:

— С виду вы, бек, тигр, а в душе мышонок.

Оскорбительно для обыкновенного человека. А вот бек, могущественная личность, не обижался, или делал вид, что не обижается.

— От ваших черных дел — только слезы. Народ проклинает Абдукагара. Именем бога вы позволяете вашим мюридам убивать людей, жечь хлеб, истреблять посевы, виноградники, разгонять школы.

— Э, маленький человек замахивается на великих!

— На «э» ответу: «Э, пока у вас в руках плеть, вы храбрецы! Вы понимаете — если бы не культура, если бы не передовая медицина, давно бы стервятники сожрали бы ваши мозги. Если вы такой умный со своим шариадом, чего это вы силком тащите меня, врача, сюда в горы, а? Советовались бы со своими табибами. Ан нет! Когда госпожа смерть заглядывает, кидаетесь к культуре».

В своих разговорах с Кагарбеком доктор был всегда резок и бесцеремонен. И в те далекие годы, когда все- сильный волостной правитель в кишлаке Тилляу стонал и хныкал от грозившей ему слепоты, и ныне, когда он превратился в могущественного курбаши, доктор говорил с ним, не скрывая своего презрения:

— Ревнитель шариада... Нос у вас до небес, а все правоверные должны перед вами склониться носом в пыль. Кого вы пугаете, господин хороший?

Но не слишком ли смело действовал доктор, когда в поисках Наргис он прямо направился в Джам, узнав, что Кагарбек после разгрома своей шайки укрылся в горном кишлаке...

Приходу в мехмонхану господина курбаши предшествовало сиплое, шумное дыхание. Слово «ассалом» Кагарбек произнес с высоты своей величественной фигуры.

Длиннейшая трость, настоящий «асо-мусо», тяжелая походка, круглая голова с топорщащимися бровями-щетками и черной колючей бородкой. Лишь багровые следы залеченной застарелой трахомы несколько умаляли общее впечатление грозы и могущества, ибо даже в писании сказано:

Вождь племени тот,
взор которого подобен орлиному.

Доктор сухо ответил на приветствие и даже не встал. Он смотрел на бека, как на своего давнишнего пациента, излеченного от верной слепоты, и доктор без стеснения высказал ему все, что о нем думал.

Бек покорно и безропотно выслушал неприятные слова. Человеку, который вернул тебе когда-то свет, вернул жизнь, можно все простить.

Он даже не присел, когда доктор сделал пригла- сительный жест в сторону драной дехканской подстилки.

— При столь мудром ученом,— сказал Абдукагар,— одним уместно сидеть, другим стоять. Мы постоим. Да извинит нас великий таиб, но настало время побеспо- коить его нашим вопросом... А дабы все было уместно и подобающе, позвольте вручить вам, уважаемейший и почтеннейший Иван-дохтур, вот эту государственную бу- магу.

— Что такое? — не протянув руки за бумагой, спросил доктор.— Что вы еще придумали? Мало того, что под пулями винтовок тащите меня в эту затхлую дыру, а тут еще...

— Мы вручаем вам, господин доктор, «Хат-и-пр- шод»... Вам, искуснейшему в веках врачу, сотворяюще- му чудеса, достойные Моисея, вручаем эту бумагу, да- ющую право лечить всех мусульман, преклоняющихся перед искусством медицины...

Несмотря на такую предупредительность, доктор ощутил тревогу: все-таки он сейчас пленник.

— Собака прежде, чем сесть, обожит место сто раз,— говорил по-прежнему сипло и подобострастно Абдукагар. Он явно заискивал. — Мы к вам, великий ученый, со всем доверием и вниманием.

— Мрак и свет вместе не бывают. Или я занимаюсь своими медицинскими делами, и вы меня выпускаете из... этого клоповника, или оставьте меня в покое.

Тяжело вздохнув, Кагарбек простонал:

— О, мы обиженные богом! На нас, злосчастных, камень и снизу валится! Что пользы от врачей? Врачи запрещают вкусную еду, заставляют пить горькое и со- леное... да еще ругают нас. О боже, просвети этого не- верного!..

— У каждого человека, господин Кагарбек, есть то, что он прикрывает штанами благочестия... Но оставим пустые разговоры. Скажите, что вам известно о девушке по имени Наргис?

Голос доктора дрогнул, сердце замерло.

Но Абдукагар склонил голову и ответил уклончиво:
— Их высочество супруга халифа пребывают в покое и безопасности.

Х

Судьба — это как повезет:
Одна ночь — «бархатная подушка»,
Другая ночь —
 на голой земле!
Один день — без куска хлеба.
Другой — целый курдюк!

Абу ибн Зейд

Лицо Алаярбека Даниарбека с надбровными дугами, плоским носом, широкими, шевелящимися ноздрями не отличалось привлекательностью, если бы не его умные глаза и хитроватая улыбка. По глубокому убеждению доктора, редко кто мог с ним сравниться по опыту и мудрости, не говоря уж о таких его чертах, как честность, справедливость, дружба, преданность.

Алаярбек Даниарбек попал в самую гущу этих оголтелых басмачей, выкрикивающих коранические изречения и воинственные молитвы. Ведь от одного их вида можно было впасть в растерянность и отчаяние — с почерневшими лицами, поблескивающими белками шалых глаз, мечущиеся в столбах серой пыли, отупевшие от наркотиков и ударов длинными шестами. «С нами бог! С вами Хызр!» «Убивайте неверных!» Вопили, рычали басмачи, ненавистно поглядывая на доктора, стоявшего на ветхом деревянном помосте степной чайханы. С невозмутимым видом он жевал свой тарасобульбовский ус и раздумывал: «Ну ладно, я-то известно зачем забрался в эту эмирскую банду, а за каким дьяволом мой почтенный Алаярбек полез в самое пекло? Что он может сделать? Чем он мне поможет?». А Кагарбек так некстати, ничего не сказав доктору, ускакал с несколькими йигитами из кишлака.

Положение оказалось очень опасным. Пока что доктор мог держать толпу на расстоянии, ибо поднял над головой письмо эмира об освобождении Наргис. Письмо имело внушительный вид — написано на пергаментном листке с золотым обрезом, с восковой на ленточке эмирской печатью. А в те времена каждая «кагаз» — бумага, да еще с такой печатью, вызывала в неграмотных, тупых басмачах священный трепет. Это письмо пока что служило охранной грамотой.

Но все волнения доктора разрешились мгновенно, едва на взмыленном, храпящем коне появился сам Кагарбек.

Он тут же водворил в толпе своих йигитов тишину и самолично разогнал камчой свое ошалевшее войско.

Грузно сползши с коня, он отвесил доктору «салом» и пригласил его в глубь чайханы, где уже чайханщик с малаем расстилал весьма приличный темно-гранатовый кзылякский ковер.

Усевшись по-турецки, доктор вымыл руки над тазиком под стружкой воды из лебединого носика резного кумгана (и когда только успело всё появиться) и теперь уже спокойно оглядывался. Кишлачок, куда он пришел пешком из степи, был привлекателен своими густо зелеными круглыми карагачами «съада». Густая тень, накрывающая помост, манила к отдыху. Прохлада и зеленый чай, чего еще может пожелать путник, особенно после двадцати верст пути по знойной пыльной равнине. А тут, чего еще лучше, гостеприимный чайханщик под бок подтянул ястук — круглую подушку. Надо же оказать почет гостю самого курбаши Абдукагара! И вот уже звенит крышечка чайника — заваривают чай.

Сам Абдукагар после минутного раздумья вдруг тяжело поднимается, и, приняв от доктора письмо — послание эмира, произнеся «Баракалло!» — удаляется в зимнее помещение чайханы, крошечную хибарку. За ним спешит молодой йигит, судя по белой чалме, секретарь. Нетрудно догадаться, что Абдукагар, как всем известно, сам неграмотный, стесняется показать это доктору и уходит, чтобы выслушать читку вслух документа.

Доктор остается на своем месте. У стенки чайханы на паласе восседают бородачи при оружии в больших тюрбанах. Это явно помощники Абдукагара. Они не заговаривают с доктором, а важно и неторопливо попивают чай.

У самой лесенки на помосте расположился с чайником и пиалой Алаярбек Даниарбек. Судя по его невозмутимому виду, он ничем не интересуется. Ни взглядом, ни движением он не показывает, что знает доктора. Он что-то задумал. Но что?

Чаепитие затягивается. Абдукагара все нет, Доктору становится невыносимо это ожидание.

Осушив очередную пиалу, он решительно встает и, не обращая ни к кому, громко говорит:

— Что ж, надо познакомиться с санитарией и гигиеной в почтенном селении Джам.

Он, не колеблясь, идет по мосту, ожидая окрика, но окрика не раздается. Все в чайхане заняты чаепитием и своими разговорами. Алаярбек Даниарбек тоже остается сидеть. Отчаянно подмигивая и гримасничая, он показывает глазами на санитарную сумку, в которой всегда возит лекарства для доктора. Глаза Алаярбека Даниарбека вопрошают, как быть. Идти за доктором или сидеть на месте? Открыться или делать вид, что он не знает доктора?

Детские хитрости... Доктор пожимает плечами и сбегает по лесенке на пыльную дорогу. У доктора — свой план: раз Кагарбек предоставил ему какую-то свободу, надо разузнать у жителей кишлака, что творится в окрестностях.

Доктор всегда и всюду находит своих пациентов — мужчин и женщин. А у женщины нетрудно выпросить любые секреты. Кстати, доктор не раз уже бывал в Джаме в прошлом, когда лечил знаменитого разбойника Намаза — это было еще до революции — и вполне может рассчитывать, что встретит своих старых знакомых. Пациенты — преданные и благодарные люди. А насчет женщин расчеты особенно верные. К большим женщинам у доктора свободный доступ: у него в кармане кителя «фетва» — дозволение женщинам показываться доктору с открытым лицом, выданное еще два десятка лет назад советом шейхантаурских имамов.

Доктор направляется в узкую улочку Джама. Никто его не останавливает. Встречные басмаческие йигиты не только не орут на него, как это было совсем недавно, а наоборот, отвечивают глубокие «саламы». Сзади слышатся шаги. Доктор не оборачивается: много-много лет слышит он эти шаги — это идет за ним его верный Алаярбек Даниарбек.

Надо поскорее обойти несколько дворов Джама. Не здесь ли где-нибудь Кагарбек прячет Наргис. Если только она здесь, доктору обязательно скажут об этом.

Тайна — это змея.

У змеи — хвост,

а хвост всегда высунется.

Вот уже второй день доктор Иван Петрович, в вотчине курбаши и командующего армией ислама господина бека Абдукагара и все еще не может выяснить, что произошло в степи, что случилось в Карнапе. Ни Абдукагар, ни его приближенные ни словом не обмолвились, где эмир Сеид Алимхан, что с Наргис.

Доктор встретился с Абдукагаром и его воинством вдали от Карнапа — по расчетам доктора, идти ему надо было еще верст тридцать по голой холмистой степи.

Поэт-летописец Али еще накануне встречи вызвался пойти вперед: «У нас ноги молодого джейрана, мы, подобно ветру, слетаем туда-сюда и досконально все выясним». Доктор не слишком верил этому вкрадчивому, льстивому красавчику, но силой удержать его при себе не мог, а ноги действительно порой отказывались служить. Идти дальше без отдыха он не мог и расположился у дувала-развалюхи, возле заброшенного степного колодца. Его мучили мысли насчет Наргис, но он сразу же заснул мертвым сном безумно уставшего человека.

Как он и опасался в душе, поэт и летописец Али утром не вернулся — он, мы знаем, в ту ночь принимал самое непосредственное участие в битве в Карнапе, спасал Наргис — и доктору пришлось дальше идти по степи одному.

Иван Петрович шагал, опираясь на пастушеский посох, любясь красками Карнапчульской степи, и в щебете утренних птиц ему слышались давно читанные строфы восточного поэта:

«Я дервиш! Я дервиш твоей души,
и сердце разрывается
при мысли о твоей черной судьбе».

Круглый, на коротких ножках, Алаярбек Даниарбек едва попевал за доктором.

Из-за холма выкатилось человек десять всадников, и он оказался перед Кагарбеком, своим старым знакомцем — волостным Тилляу. Сердце ёкнуло от предчувствия, но беглый взгляд показал, что среди всадников нет женщины, и все в груди доктора сжалось от тягостного предчувствия. Бросилось в глаза, что среди йигитов некоторые были в окровавленных, наскоро намотанных повязках. Не нашел доктор среди басмачей никого,

кто бы хоть сколько-нибудь походил на эмира Бухарского Сеида Алимхана.

«Что же случилось в Карнапе?» — И все же доктор не задал этого вопроса: ни что случилось, ни куда едет Абдукагар, ни где эмир, ни где «выкуп» за него — бедняжка Наргис?

Да, задавать вопросы на Востоке в высшей степени невежливо. Даже в таких драматических ситуациях!

Не задавал вопросов доктору и Абдукагар, хотя любопытство буквально распирало его и самая встреча в степи, в сотнях верст от городов, была вообще непонятна.

— О, аллах, мудрый доктор идет пешком. Эй, подать великому хакиму коня самого лучшего! Не подобает совершенству знаний ходить пешком! Слуге — тоже коня.

В словах Абдукагара звучал настойчивый вопрос, но доктор не торопился с ответом. Письмо эмира жгло ему грудь. Но зачем теперь письмо, когда здесь нет Наргис — выкупа за жизнь эмира.

И он только проговорил вско:

— Я вижу, что была битва. Я вижу, что у вас, Абдукагар, есть раненые, нуждающиеся в милосердии. Давайте остановитесь.

Но и Абдукагар не спешил рассказывать доктору о бое в Карнапском караван-сараяе. Не о чем ему было рассказывать, нечем было хвастаться: войско его потерпело поражение. Все мысли Кагарбека были заняты тем, что делать дальше, куда бежать.

Единственное, о чем он мог думать — как бы унести ноги из негостеприимной степи. И едва доктор сел на подведенного ему отличного коня, Алаярбек Даниарбек, вспоминая своего верного Белка, взобрался на смирную лошадь. Абдукагар помчался, увлекая своих всадников в сторону синевших далеко на востоке вершин Агалыкского массива. Так против своей воли доктор со своим фельдшером оказался в Джаме.

В какой-то мере это вполне устраивало доктора. Он шел по улочке, выбирая ворота, чтобы постучаться к какому-нибудь из своих старых пациентов. Расспросить, узнать о Наргис. Доктор вообще меньше всего думал о себе, о своем положении.

«Девушку держал Абдукагар в плену в Карнапе. Что Абдукагар мог сделать с Наргис?.. Остается предположить, что бека выгнали с боем из Карнапа. Банда у него что-то малочисленная, потрепанная. Многие ра-

нены, еле на конях сидят. Может быть, здесь с Абдукагаром не все уцелевшие его аскеры, может быть, часть их ускакали после боя по другой дороге. Стараются отвлечь от своего начальника Абдукагара... Наверное, и Наргис, свою пленницу, они везут с собой. Они не могли ни убить ее, ни оставить в Карнапе. Она, бедняжка, слишком ценна... Жизнь эмира...»

Топот копыт заставил доктора обернуться. Над ним склонился йигит: «Господин хаким, их превосходительство просят вас в чайхану... на плов!» Пришлось вернуться.

XI

Душа его была мешаниной чувств, смутной, как бурое с лиловым, где ни один цвет не остался самим собой. Он как парча из алых и черных нитей — переплетенье радости и скорби.

Г. Честертон

Доктор Иван Петрович и Алаярбек Даниарбек приехали из Джама в Карнап и попали под власть Абдукагара, хотя в отношении к ним проглядывала снисходительность. Абдукагар сидел на кошме, пыжился, раздуваясь жабой и обильно сплевывая ярко-зеленую от «наса» слюну.

Он восседал, опираясь на шелковые ястуки, непомерно выпятив толстый живот, уперев в бедро рукоятку своей серебряной камчи, и смотрел на доктора.

— Хочу даровать вам, доктор, милость, — сказал он с комической важностью, желая показать, что в его воле — казнить или миловать.

— Милость? Какую же милость может оказать своему исцелителю исцеленный? Испокон веков никто и никогда не смел доктору оказать милость, даже сам царь.

Доктор понимал, что Абдукагар, жестокий в своей дикости, не постеснялся бы расправиться с любым, но только не с ним, не с врачом, который спас его в свое время от слепоты.

— Вы неверный, урус. А в коране сказано: «Неверного убей!» Но вы особенный... неверный. В ваших руках тайна врачевания. И вы должны жить и лечить мусульман... Оставляю вам в виде милости жизнь. Худога шукур! Милость божия! Все мои помыслы направлены на сохранение здоровья и счастья мусульман.

И он вдруг закричал поистине страшным голосом: — Эй, все вы! — Он обращался к толпе своих сарбазов. Свирепо тарашил глаза и распушивал пальцами свою жесткую бородку. — Эй! Слушайте! Этот урус — не кафир! Он сподоблен благодати и великой мудрости от бога. Он исцелитель. Видели? Он вылечил и меня. Отныне назначаю уруса главным лекарем в своих владениях. Поняли?! И берегитесь все, кто посмеет обидеть уруса-доктора!..

Абдукагар напыжился. Видимо, он считал, что такой его вид наиболее внушительен.

— Шкуру с живого спущу!.. И пусть доктору дают все, что ни попросит... Хлеб, мясо, халаты... Все! Чтобы не нуждался. Пусть живет!

Поворот в настроении Абдукагара не был для Ивана Петровича неожиданностью. Он не сказал Абдукагару даже «спасибо», хотя переход от опасности к освобождению был несколько неожидан. Ему, конечно, помолчать бы, но он не удержался, чтобы не подпустить шпильку. Доктор глубоко презирал всех, как он их называл «хамов», таких, как Шахриябский бек, как кушбег бухарский, как генерал-губернатор туркестанский, как пруссак полковник под Перемышлем, когда он предъявил ультиматум о вывозе госпиталя с ранеными, как румынский лейтенант, как белочешский обер, совавший ему, доктору, в лицо револьвер, требуя выдачи «русские комиссарен», как колчаковские члены трибунала, приговорившие его в Омске к расстрелу в двадцать четыре часа... Он мгновенно вспомнил их «морды», искаженные тупостью. Он смотрел на самодовольную расплывшуюся широкою физиономию Абдукагара и громко вслух сказал:

— Твоя милость? Хм! Как ни прятать ты, Абдукагар, за улыбкой зло, оно все равно себя покажет. Не пугай и... не благословляй! Сам узнал: болезнь приходит бегом — удаляется шагом.

Доктор ничуть не тушевался. Он стоял, прямо глядя в лицо Кагарбеку, этой величественной горе из телес и десятка халатов. Он ничуть не был героичен в своем старом, с побелевшими швами кителе с серебряными двуглаво-орластыми пуговицами, в суконных темных с красным кантом брюках и давно глянец несносимыми хромовыми сапогами, на которых позванивали серебряные шпоры кавалерийского образца. Эти шпоры почему-то производили сильное впечатление на больных. Уз-

беки народ-лошадник, и всякий, кто ездит верхом на коне, пользуется у них особым уважением.

Взгляд Абдукагара встретился со взглядом доктора. Абдукагар не выдержал... Взгляд скользнул вниз. Или он до сих пор не видел у доктора шпор?

По лицу бека было заметно, что он расстроился. Вскочив на коня, взмахнул камчой, больно стеганул его под брюхо и ускакал.

Доктор даже не глянул вслед. Выждав, когда облако взметнувшейся пыли отнесло в сторону, перешел ослепительно белую дорогу и присел на помост чайханы, Знаменитой карнапской чайханы, в которой останавливаются все, едущие через Карнапскую степь, попить чайку, отдохнуть от зноя и духоты в тени единственного в степи сада. Доктор вздохнул наконец полной грудью, освободившись от такого душевного напряжения.

Густая зелень, почти черная в тени, по контрасту с ослепительным солнцем на дороге и за дорогой, не скрывала изобилия плодов, выхваченных солнцем из недр листвы. Урюк золотился крупными оранжевыми бусинами, достойными украсить нежную шейку самой прекрасной девушки Бадахшана.

Набухшие красноватыми соками жизни, чудесные лапчатые листья, в каждый из которых можно завернуть сочащуюся жиром баранины и соком лука долму величиной с кулак, обрамляли виноградные гроздья. Подлинная оргия жизни среди выжженной степи!

Подняв голову, доктор любовался широко раскинувшимся зеленым шатром, затеняющим бирюзу неба над помостом, покрытым красно-черно-белым жестким паласом. Местами буйные плети обвились вокруг веток полувековой яблони до самой верхушки кроны.

И тут взгляд доктора упал на неугомонного хитреца Алаярбека Даниарбека.

Неизвестно как очутившийся в Карнапе, сам собственной персоной маленький обитатель самаркандской махалли Юнучка, вперив глаза в раскинувшуюся изумрудную зелень со вздохом удовлетворения и зависти проговорил:

— А кто же, достопочтенный хозяин, полезет на дерево?

— Ляббай? Что нужно? — переспросил выглянувший из-за прозеленевших тульских самоваров чайханщик.

— А кто, не побоявшись сломать шею, полезет на та-

кую высь рвать яблоки, пусть то будут яблоки прама-тери нашей Евы. А яблочки. Вон какие... Даже красные бочки, хоть поспеют еще нескоро. Но сколько их... Вы, случаем, урус, не по агрономии ли... не из школы ли садоводства, что по вокзальному шоссе в Самарканде?

Алаярбек Даниарбек все ещё не хотел показать, что он близко знает доктора. Кто его разберет, что за люди сидят в чайхане. Наверное, басмачи, отставшие от своего вожака Абдукагара.

Всячески стараясь предостеречь доктора, Алаярбек Даниарбек корчил забавные рожи, подмигивал, насупливал мохнатые брови. Он хотел дать понять, что страшно рад увидеть Ивана-дехтура живым и невредимым. Он все как-то забавно, но многозначительно вертел головой, и доктор увидел, наконец, Белка, который был непрменной принадлежностью Алаярбека Даниарбека, не менее непрменной, чем Россинант бессмертного Дон Кихота. И хоть Алаярбек Даниарбек был гораздо более похож на Санчо Пансу, доктор улыбнулся неожиданному сравнению.

Белок мирно жевал сено на другой стороне дороги рядом с... Доктор даже удивленно вздохнул. Рядом с Белком так же мирно зарылся в сено мордой его, докторский конь, казенный, принадлежавший 12-му стрелковому полку, конь уже почтенных лет, служивший доктору верой и правдой еще до начала мировой войны. Доктора очень беспокоила участь «ветерана», как теперь он именовал своего коня.

Конь стоял привязанный к коновязи по ту сторону пыльного, сожженного солнцем тракта.

Самым поразительным было то, что чайханная «карават» с услаждавшими свое естество прохладой и чаем проезжими завсегдатаями стояла на самом краю раскаленного пекла.

Райский сад был словно обрублен вдоль тракта дамасским клинком. За буйством зелени и прохлады открывалась знойная площадь песка и глины, каким, наверное, является самый настоящий мухамеданский ад — дузах — пустыня со всеми своими атрибутами: колючим песком, с трепещущими в горячих, вздымающихся вверх струйках гармсиля блеклыми травинками, с быстро перебирающей мохнатыми рыжими ногами фалангой — бихоркой, один отталкивающий вид которой вызывает произвольную дрожь в спине, с белеющими частоколом ребрами верблюда, с красными лысыми бар-

ханами, с жалкими кустами саксаула, похожими на ломающие руки бесплотные скелеты грешников, выползающие из-под нагромождений песка:

Сад и пустыня жили рядом. Они терпели друг друга, притаились. Демоны пустыни готовы были вцепиться в горло ангелов рая, но... не пускала вода.

Парой ножек-столбиков «карават» стояла на пустынном берегу говорливого, веющего прохладой арыка, другой парой — на другом — тенистом. Вода неторопливо текла под досками настила и сквозь широкие щели соблазнительно поблескивала струями.

Арык служил границей ада и рая. На пустынной стороне рок сулил неизбежную, казалось бы, гибель, а на другой даровал облегчение — освобождение от смертельной опасности.

Доктор попивал чай с наслаждением и думал: «А еще несколько минут назад я и мечтать не мог, что когда-нибудь испытаю такое удовольствие».

Он поглядывал на Алаярбека Даниарбека и вывел заключение: опасности еще подстерегают. Иначе чего ему делать вид, что он меня не знает.

В обычной своей манере «аскии» Алаярбек Даниарбек начал издаലെка:

— Мы слышали в долине. Мы слышали в горах. Нам сказали, что по дорогам Карнапчуля путешествует сам достоизвестный и премудрый Лукмон-хаким... Великий доктор, поистине исцелитель от болезней, воскресающий дочерей правоверных пророк Иисус, мавзолей коего находится не так близко и не так далеко в городе Нур-Ата. Едет по караванным тропам сама медицинская наука, воскресающая мертвых... О чудо!.. Дорогие друзья, — обратился он с медовой улыбкой и маслянистым блеском в глазах к присутствующим чаевникам, — не встречал ли кто премудрого хакима?.. Не видел ли кто, куда направил стопы этот властелин здоровья и лекарьств, а? Спрашиваю же я вас потому и умоляю, чтобы вы поспешили с ответом... Человек умирает.

— Кто умирает?.. Что вы голову морочите, Алаярбек Даниарбек? — не выдержал Иван Петрович. Он отставил пиалу, бросив на палас теньгу и приказав: «Пошли!», сбегал по ступенькам на пыльную дорогу, направился к своему коню.

Рысцей за ним поспевал, покачивая своим брюшком, бормоча и кряхтя, Алаярбек Даниарбек:

— Иван-ага, не надо так открыто, потихоньку следу-

ет. Они же все там сидят «кзылаяки-разбойники», басмачи настоящие.

Но его перебил чайханщик. Он тоже бежал за доктором, чтобы почтительно отвязать его лошадь и, взнуздав, подтянуть подпруги:

— Почтение! Уважение! Что это ты, Алаярбек Даниарбек, ослеп, что ли? Или от всех страхов диваной стал. Своего хозяина не признаешь. А работаешь у него десять лет.

— Молчи ты, самоварный погонщик!.. — запротестовал Алаярбек Даниарбек. — Не могу же я выдавать басмачам...

— Заставили дурака свечку зажечь, он всю юрту спалил. Вот, господин доктор, конь в порядке. Можете благополучно ехать. Здесь близко. Девушка-красноармеец, раненая... находится в доме скотовода Сатывалды. Плохое дело...

— Что же вы мне раньше не сказали? Эх вы!.. Это же наша Наргис...

— Девушка-то красноармеец... А тут басмачи были.

— Вот я тоже не хотел, — виновато бормотал Алаярбек Даниарбек. Он пытался вывернуться.

— Давайте быстрее! Вы говорите, она в тяжелом состоянии. Показывайте дорогу.

Чайханщик уже рысил рядом на коне, подаренном доктору Абдукагаром, и быстро рассказывал. Но многословие затопило смысл, и, если бы Иван Петрович не слышал истории с Наргис, он ничего не понял бы.

Впрочем, если бы речь шла даже не о Наргис, он все равно поехал бы оказать помощь раненой или раненому. В таких случаях, Иван Петрович никому не отказывал. Он просто спешил на помощь. Он только сурово, не оглядываясь, спросил Алаярбека Даниарбека:

— Санитарная сумка с вами?

— Да. Мы ездили по кишлакам, оспу прививали.

А чайханщик все говорил и говорил:

— Мы, карнапчульцы, — не воры. Мы тоже понимаем... Мы не кровники, не совратители девушек... Не развратники какие-то вроде абдукагаровцев...

— Почему же Наргис оказалась в доме Сатывалды-бая? — резко перебил доктор. — Что же для раненой девушки не нашлось другого прибежища?..

— Бай сбежал с эмиром... А в байском доме разве стал бы искать Кагарбек красноармейца-девушку? Мы честные мусульмане, мы знали, где ее спрятать, бедную,

побитую камнями. Мы нашли ее в степи, тайком довели... живую. Там женщины бая за ней ухаживают. Мы честные земледельцы, погоняем по полю кош быков: «Пошт! Пошт!» Ни о каком разбое, воровстве и не думаем... взрыхляем землю, семена бросаем. Мы и трудо-гу-муравья не обидим. Не убийцы мы, как тот бек Абдукагар — тьфу на его имя! Зарезал он уже двух жен. И девушку, которую вы, доктор, едете лечить, негодяй Абдукагар захватил...

Чайханщик и оправдывался, и хотел задобрить доктора и уважение высказать, и себя и своих односельчан выгородить. Но Иван Петрович был крайне возмущен, что несчастную Наргис оставили без всякой помощи, может быть, тяжелораненую. Почему ни чайханщик, ни его односельчане не сумели хотя бы намекнуть ему, что несчастная Наргис находится рядом? Что люди забиты, запуганы, что боятся пикнуть, хотя эмира прогнали из Бухары?!

И доктор не мог удержаться от горьких слов:

— Эх вы, суслики в норах! Разума ни вор не унесет, ни сель не смое, ни огонь не спалит. Так у вас в народе говорят... А где же у вас этот настоящий разум? Разве вы не видите, что такое Абдукагар? И шею перед ним гнете. Шепотом разговариваете...

Доктор рисовал самые мрачные картины, но то, что он увидел в байской мехмонхане при свете чирага, наполнило его душу ужасом и горем. Бедная Наргис!

Он нашел в лице женщин гарема Сатывалды-бая доброхотных помощниц. Много часов он при их содействии возвращал несчастную к жизни. И когда он убедился, что Наргис будет жить, решил немедленно увести девушку в военно-полевой госпиталь.

• Печальный караван провожал весь степной кишлак. Нашли крытую арбу, положили в нее все приличные одеяла, какие оказались в нищенских закопченных хижинах. Впрягли и байского, спрятанного здоровенного арбяного коня. И арбакешем поехал умелый йигит из бывших байских кучеров, чтобы арбу не трясло на колесах и колдобоинах. А до соседнего кишлака поехали две жены Сатывалды-бая и буквально держали на руках изнемогающую от боли и страданий девушку...

Алаярбек Даниарбек нагрубил чайханщику, узнав, что он председатель кишлачного Совета:

— Ты, братец, так оттачивал свой ум, что затупил его окончательно... Не знаю, станет ли он у тебя острее.

Сотни две кишлачников стояли вдоль пыльной дороги, по которой проскрипела скорбная арба. Они натянули на головы кто чапан, кто черную драную кошму, что означало: мы раскаиваемся и обращаемся к Советской власти с покорностью. Мы не виноваты... Не бросайте нас в зиндан за подлый поступок Абдукагара и его шакалов!

Чайханщик вышел вперед, попытался пасть в ноги Ивану Петровичу:

— Пусть тело мое в обджувозе-мельнице разотрется вместе с костями в порошок, если я своей рукой не заставлю его расплатиться за все его милости.

Но даже и теперь председатель не набрался храбрости назвать курбаши Абдукагара по имени, хотя твердо решил больше не сгибать шею, и доказал это вскоре на деле.

Скрипела арба. Понутив головы, кони стригли ушами. Из арбы временами доносился жалобный стон, болью отзываясь в сердцах всех.

По ночной степи посвистывал гармсилъ. Изнуряющая духота валила с седел. Но никто не думал об отдыхе. «Спешим! Спешим! Найти госпиталь», — твердил доктор. Он меньше всего думал об Абдукагаре, твердо зная одно: Наргис надо поскорее доставить в полевой госпиталь.

Очень хотелось спать. Сон разгоняло оглушительное стрекотание саранчуков. Кошмарные чудовища ползали темными дисками по белой дороге. Черепахи кишели под ногами, пугая коней. По небу клочьями мчались рваные облака без капли влаги, сухие, как степь.

Доктор в полной мере не представлял до сих пор, что у Алаярбека Даниарбека поэтически-философская душа. Он едет впереди, покачиваясь тучной фигурой на белом своем Белке. Белая чалма самаркандца то попадает в луч луны и серебрится, то прячется в тень и походит на перевернутую белесую личину джинна.

Алаярбек Даниарбек декламирует вслух:

Венера шатается во тьме,
Подобно захмелевшей красотке,
Прикрыв наготу белым облачком.
Она то смело манит, то стыдливо
прячется.

— Иван-ага, вы, наверное, помните эти не совсем подбавляющие строки арабского поэта Аль Хамди. Но, кля-

нусь, среди убийств и крови, зноя и жажды, злодеяний и преступлений хочется полюбоваться природой. Она вечна и прекрасна. В ней отдохновение сердца.

Маленький самаркандец добавляет:

— Степь жесткая, жизнь тяжелая, жара убивает ум, даль пути невыносима, страдания девушки в арбе разрывают сердце и так хочется окрасить трудности жизни мечтой о красоте!.. О неумирающей красоте.

И в тон доморощенному философу доктор сказал:

— Она не умрет, Никогда. Красоту нельзя растоптать.

ХИ

От колдовращения судеб
я сделался большим странником,
чем звезды.
Увы, ни счастье, ни судьба
мне не помогут.
Мавляна Нахви Герати

Прискакал вестовой. От усталости он свалился на землю с покрытой пеной лошаденки и пополз, что-то бормоча, к ногам Сахиба Джелила. С трудом можно было разобрать:

— Мечтал ишак о хвосте, да уши потерял. Убежал эмир, проклятый!

— Что ты сказал? — спросил, не переставая шагать взад и вперед, вождь арабов. — Повтори, что ты сказал!

— На юг! На юг ускакал, проклятый!

Он отполз к стенке и прижался к ней спиной, расправляя свои затекшие от долгой тряски в седле ноги и тяжело со свистом дыша.

А Сахиб Джелил все такой же высокий, прямой шагал по сложенному из огромных камней айвану над Черной рекой, гремящей, белой от пены. Он говорил сам с собой, почти кричал, то ли стараясь перекричать горный поток, то ли от мучительной, дергающей боли в руке, обмотанной окровавленными бинтами. И даже не от боли, а от того, что сказал доктор Иван Петрович. А он, осмотрев руку, предупредил, что рана тяжелая, что если не принять меры, если не взяться немедленно за лечение, то ни за что нельзя поручиться. Что единственное спасение: надо слезть с коня и лечь. Лечь надолго.

— Велик бог, немислимо это. А эмир?

— Их светлость будут ловить здоровые. Вам надо лечь.

Да, рана тяжелая. Сахиб Джелял это знал. Воспаленный лоб его ничуть не освежает знобящий ветер с вершин Гиссара, белеющих над головой в бархате неб. Но тверды еще шаги, жестки мускулы, крепка еще другая, здоровая, твердая как железо, рука. Она еще способна держать рукоять сабли. Грудь еще широка, и команда звучит, перебивая шум Каратага.

Но доктор ничего не желал слушать. Он предостерегал.

Доктор должен лечить. А в походе как лечиться? На свой страх и риск многоопытный араб, сподвижник по аравийским и африканским походам, дал Сахибу Джелялу целебный напиток из бронзового таинственного кувшинчика, который возил с собой в медицинской переметной суме.

Целебный!

Нет, его, Сахиба, не проведешь. Он сразу же по вкусу определил: это из винограда «хамю».

Хамю — мерзость в высочайшей степени,
Базин — прокипяченный виноградный сок,
Сикер — настойка из винограда,
Нуку-зибаб — тоже настойка из винограда.

Это законные напитки при болезни — но они не помогают. Расслабляют, хоть и разрешены пророком.

Он шагает в сторону возвышения, где полулежит доктор и внимательно разглядывает могучую фигуру Сахиба.

— Да, — говорит он усталым прерывающимся голосом, — трехдневная скачка по степям и холмам сказывается. Ноги у вас несокрушимые, еще несут вас легко. Но завтра...

— Что «завтра»? — опять восклицает Сахиб Джелял. — Круговращение небес! Что я должен, по словам доктора, отворотить лицо от вероломного мира? Дайте мне лекарство! Дайте водки, спирту!

— Спирт не поможет. Только нарушите законы и... медицины, и ислама.

— Господи! Философия войны ломает законы. Еще год назад я был правоверным мусульманином. Все мы были мусульманами. А теперь я — узбек, все мы узбеки... А ты, эмир, проваливай. — Он воздел руки и угрозил куда-то во тьму ущелья. — Проваливай, собака шелудивая, убирайся в Мекку лизать свой Черный камень!..

Он повернулся, зашагал к парапету айвана и здоровой рукой показал на двор, где расположились бойцы дивизиона.

— Смотрите на них. Вот мои воины. Они рвутся в бой.

— Дружище, вы возбуждены... Волнение вам вредно. Вам надо полежать.

— А народ! Мой народ... Народу не нужен твой Черный камень, господин эмир! Никто не хочет воевать из-за Черного камня религии! Черного ли! Зеленого ли! Из-за камня, который лежит в Мекке в Каабе за десять тысяч верст отсюда. И из-за тебя, эмир, никто не хочет воевать, сколько бы ни кричал, ни вопил, что ты мусульманин.

Он быстро, твердым шагом вернулся к доктору:

— Извините, доктор, а что с дочерью? Она будет жить?

«Вот ирония судьбы. Этот философ, деятель Востока стесняется своих чувств. Боится показать, что его волнует здоровье дочери, хоть ничто человеческое ему не чуждо».

Так подумал Иван Петрович. И вдруг в голове его блеснула мысль, как спасти не только дочь, но и отца ее.

— Слушайте, Сахиб, и мотайте на ус. Наргис, ваша дочь, не перенесет дальнейшего похода. Она больна, тяжело больна. — Голос у него прервался, и Сахиб Джеллял растерянно начал озираться, словно ища во тьме ангела спасения... — Она очень слабая, и я боюсь за нее, а здесь, в Каратаге, я почти ничем не могу помочь ей.

— Но мы поможем. Все, что есть у нас лучшего, мы дадим... Позвольте нам помочь нашей дочери...

Старцы, мусафиды, вскочившие с места, выдвинувшиеся из тени и упавшие на колени перед доктором, говорили в один голос:

— Наши женщины постлали для больной лучшие мягкие одеяла, положили под голову бархатную подушку, мы окуриваем хижину исырком, даем питье из живительных трав, залечим ее раны лучшими тибетскими мазями.

Мусафиды буквально расстилались перед доктором.

— Эх, одного вы не сделали, не нашли хурджуна с эмирской аптекой. А у него наверняка были прихвачены с собой хорошие лекарства из Арка.

Муисафиды-арыкаксакалы были в отчаянии. Они так хотели сделать доброе дело для доктора и для всех, кто был другом и близким ему, а тем более дочери. Аксакалы его сразу же узнали, несмотря на то, что он постарел и бороду у него пробила седина, да и прошло больше десяти лет — со времени, когда он помогал доктору лечить каратагцев, уцелевших после землетрясения. Да разве забыть дни катастрофы, разрушившей город, и тех людей, которые явились тогда спасителями несчастных.

Ведь и сами муисафиды-аксакалы живы все тоже благодаря доктору, прискакавшему вчера со своим неизменным спутником Алаярбеком Даниарбеком в кишевший эмирскими людьми Каратаг, в надежде найти лекарство для Наргис в городской аптеке. Наивный доктор: он думал, что за последнее десятилетие в восстановленном после землетрясения Каратаге появилась хоть какая-нибудь аптека. Увы, доктор скакал в стан врагов напрасно. Никакой аптеки в этом горном городе не было.

И напрасно они с Алаярбеком Даниарбеком рыскали по улочкам, погруженным в тоскливое молчание полуразвалившихся домишек. Каратаг предстал перед ними в пучине несчастий.

Нагие люди,

Чья пища из кислых плодов,

из семян трав, что растут на скалах.

Одежда — воздух.

Одеяла — звериные шкуры.

И на какие лекарства мог рассчитывать Иван Петрович? В ушах его звучали беспомощные, жалобные, раздирающие душу стоны его дочери Наргис...

Доктор скакал в Каратаг необдуманно, рискованно. Он должен был знать, что дивизион еще ведет бой на подступах к городу, что эмирские аскеры еще отстреливаются из-за каменных оград. Он должен был слышать, как пули с треском и звоном разбивают камни под копытами его коня. Но мозг сверлила одна мысль:

«В колонне беглого эмира должен же быть врач, походная аптечка. В самом Каратаге, наконец... Из-за отсутствия простейшего медикамента она погибает... У нее от боли, от шока может остановиться сердце... Есть же доктор при эмире! Скорее!»

И одного только добился доктор: с последнего при-

станица эмир бежал, узнав, что приближается русский доктор с отрядом.

На площади Иван Петрович не застал ни эмирского доктора, ни кого-либо из эмирских аскеров.

В горестном молчании по земле, запятнанной кровью, шатаясь, едва держась на ногах, бродили жалкие, раздавленные страхом и горем люди.

Не слезая со своего фыркающего, дрожащего белого конька, проводник путешественников Алаярбек Даниарбек восклицал:

— Клянусь девяносто девятью именами божьими, нет в мире справедливости! Горе нам! — Добрейший человек, неспособный на насилие и ненавидевший насилие, Алаярбек Даниарбек выходил из себя. Он заикался и лепетал что-то неразумное. На улочках Каратага всюду лежали мертвецы. — За что? — всхлипывая, он утирал рукавом слезы, катившиеся по его шершавым щекам в черную с проседью бородку. — За что Сеид Алимхан приказал их казнить? В чем несчастные провинились? О, несчастный Каратаг! Город мертвецов.

Никто не ответил маленькому самаркандцу. Мрачно смотрели все, как, медленно шагая, бойцы дивизиона переносят трупы поближе к мечети, а из надвинувшейся темноты выскальзывают укутанные женские фигуры и бросаются осматривать тела погибших, издавая тонкий жалобный плач.

...Оказывается, прискакавший утром беглый эмир расположился у соборной мечети, он там завтракал и обедал. Тут же, в огромном чугунном котле, ему и его свите готовили плов и тут же, по его знаку, рубили шашками выловленных каратагцев, отказавшихся воевать против Красной Армии.

«Не оказывающие почтения властям предержавшим э... не оказывающие уважения своему эмиру — не мусульмане. Проклятые каратагцы!.. Они еще во время землетрясения выказывали недовольство... Пусть несут кару!»

И вдруг разнесся слух, что к Каратагу приближается тот самый доктор, с которым у эмира ассоциировалась пренеприятнейшая давнишняя история, когда этот русский врач в Бухаре, отказавшись от награды, унизил его, могущественного азиатского владыку, перед всем дворцом. Такое не забывается!

И тогда ведь каратагцы причинили ему столько неприятностей! А вчера ночью, когда он, согбенный столь-

кими несчастьями, потерявший трон, свой эмират — беглец и изгнанник, постучался в ворота первого жилища, кто-то ему крикнул:

— Поезжай своей дорогой, о, халиф шакалов и воров!..

И эмир, бессильно сникший, сидел на дрожавшем от утомительной скачки коне, и озноб страха сотрясал его обрюзгшее, рыхлое тело. Чуть слышным голосом он промолвил:

— Бей черноногих!

И началось кровавое избиение. Людей убивали за то, что они долго не отворяли двери своего дома, что пытались защитить честь жены или дочери, просто за то, что человек пробежал по улице после захода солнца. Озверевшие эмирские аскеры, вельможи, даже придворный хлебопек обнажили сабли и рубили мужчин, женщин, стариков, детей...

Рубили наотмашь, с воплями «ух!» только потому, что их высочество вымолвил: «Бей!». Волокли привязанных за косы к седлу, еще дергающихся в агонии женщин, и бросали перед возвышением, где изволил кушать господин эмир. Он поднимал тяжелые синие веки и с полным ртом бормотал:

— А эту напрасно... Красивая...

Отупевший эмир впал в тихую ярость, которую он пытался утолить каратагской резней.

Месть за восстание народа обрушилась на самых несчастных подданных эмира — на жителей Черной горы.

Рубили и волочили трупы на площадь у мечети на потеху эмиру. И мало бы осталось живых в городе, если бы не въехал в город доктор. Он второй раз оказался спасителем жизней каратагцев.

Иван Петрович, конечно, меньше всего думал об этом. Только ночью он устроил Наргис на ночлег в маленьком придорожном кишлаке, оставив ее в семье ткача на попечении женщин.

Удивительное совпадение. Мимо этого домика пробирался, дрожа от ужаса, Мирза, лошадь его вел на поводу один из всадников Кагарбека.

Меньше всего Мирза знал о докторе. Он остановился у покосившейся калитки и ждал, пока абдукагаровец расспрашивал об арбе с девушкой...

И, конечно, тот, кто скрывался за ночной калиткой, отнекивался и клялся и ангелом и сатаной, что не ви-

дел никакой арбы, никакого эмира, никакой девушки... Но за оградой высились огромные колеса, и Мирза, вытащив за воротник халата какого-то старца на дорогу, разузнал все, что нужно. Но Мирза поспешил скрыться, потому что из ворот как раз выехал доктор.

И надо же случиться такому. Ничего не знающий старец вдруг ухватился за стремя и возопил:

— Святой! Я вижу святого, спустившегося к нам по лестнице пророка Мухаммеда!.. Мир тебе, святой доктор!..

Оказалось, что этот старец, Мурад Шо, один из тех самых каратагских мусавидов, которых чуть не казнил Сахиб Джелял во дворе гиссарского бека Абдукагара и которые прославляли добрые дела русского доктора, спасавшего от гибели жителей разрушенного землетрясением города Каратага.

Не нашел бы Иван Петрович лекарства, если бы не поразительный случай.

Горцы, говорят, видят и в темноте.

Оказав первую помощь девушке, оставив ее на руках горянок, доктор поскакал с Алаярбеком Даниарбеком в Каратаг. А через три-четыре дома в том же кишлаке нашел приют Мирза.

Доктор погонял своего изнемогающего коня, не думая о том, что ждет его в Каратаге.

Губы его повторяли безмолвно:

— Надо найти! Найти во что бы то ни стало!

* * *

Костры дымили и стреляли горящими сучьями, плакальщицы оглашали горы воплями, а Алаярбек Даниарбек уже протягивал доктору какой-то сверток.

— Нашел? — воскликнул доктор.

— Хозяин доруханы спрятался под горой навоза, где он отстаивает мусаллас, и его не нашли... Хозяин доруханы из христиан, немцев... принявший веру истинную.

— Поехали, — сказал доктор.

— Куда? — запротестовал Сахиб Джелял.

— Лечить Наргис, нашу Наргис, — ответил доктор, уже сидя на лошади.

Осторожно поднявшись, чтобы стоном не выдать своего состояния, Сахиб Джелял вглядывался в непроницаемую темноту и слушал удаляющийся топот лошадей доктора и его верного спутника. Затем приказал:

— Эй, кто там?.. Возьмите еще двух-трех... И прово-

дите доктора. Возвращайтесь с ним к восходу солнца.

Сахиб прилег и не мог удержаться от стога. Вглядываясь в небо, он искал свою звезду — вспомнил прекрасную Юлдуз. А Наргис, дочь его, так похожа на свою мать. О судьбы мира!.. И надо же случиться такому!

Мысли бежали в беспорядке. Малейшая попытка шевельнуться вызывала в груди дикую боль.

И еще теперь Сахиб Джелял понял, что эмир Сеид Алимхан ушел. И что он, Сахиб Джелял, настолько обессилел, что, очевидно, не сможет утром встать, сесть на коня и скакать за ним.

Единственное, что я прощаю аллаху,
Это то, что его нет.
Если бы ты был, о, справедливейший,

Ты бы отдал это чудовище мне на расправу!
Кто не знает из мудрых,
Что эмиры и ханы — мертвецы среди живых.

Мышь приняла ислам, но мусульманкой не стала... Ты мусульманская мышь, Сеид Алимхан! О, господин вождь, у нас, кажется, начинается бред... О, аллах, на кого же ты возложишь бремя мести! Кто же на волосяном аркане приведет за шею в Бухарский Арк эту запаршившую гиену?..

XIII

Но она от мира, где наиболее прекрасным созданиям — уготована грустная участь.

И она, роза, обречена на жизнь роз — время одного утра.

Мелерб

Никогда не умрет тот, в чьем сердце жизнь.

Хафиз

Сахиб Джелял все-таки, несмотря на ранение, гнался за эмиром. Эмир бежал на Восток, в Кухистан. Сахиб Джелял хотел свести с ним старые счеты. Малочисленный отряд, вступивший в долину Гиссара, выгнал эмира из Каратага, помешал довести до конца чудовищное злодеяние. Но сам Сахиб Джелял оказался в ловушке. Эмирские аскеры опомнились и к утру попытались вернуть Каратаг.

Уличный бой шел уже у самой мечети. Сахиб отдавал команды и сам отстреливался из-за груд одеял и

подушек. В затуманенном сознании внезапное появление Дервиша Света — Георгия Ивановича со своим дивизионом среди дыма, столбов пыли и взвизгивающих пуль показалось чудом, хотя в чудеса он мало верил.

— Ассалом алейкум, Дервиш Света, — сказал он, не оборачиваясь и продолжая нажимать спусковой крючок винтовки. — Или сам ангел смерти Азраил послал вас за мной, чтобы отвести меня в рай.

— Нет, в рай я еще не бывал, — усмехнулся командир, в котором лишь старый друг, такой, как Сахиб, мог узнать Георгия Ивановича, так он изменился за последние дни, так был обсыпан пылью и почернел от порохового дыма и прямых лучей гиссарского солнца. — Что с вами, вы ранены?.. — Мертвенно-бледный под черным загаром, Сахиб Джелял откинулся на подушку, и все поплыло вокруг.

Бой завершился уже Георгий Иванович со своими бойцами. Кроме того, все оставшееся в живых население Каратага поднялось по призыву Дервиша Света. Его вспомнили, и за ним пошли и стар и млад.

Неистовый в бою, он повел красноармейцев и весь народ за собой. И ни один бухарский нукер не ушел из Черного ущелья.

— Эмир удрал, — жаловался Георгий Иванович, заботливо помогая Сахибу Джелялу усаживаться в седле. — Все-таки надеюсь с помощью народа взять тирана за шкуру.

Народ ненавидел эмира, его беков, его чиновников и... боялся. Уже пала твердыня Бухарского эмирата — эмирский Арк. Бухарский эмир явился в горную страну потрепанный, с остатками разгромленных войск. Он метался по кишлакам, ища убежища, а чиновники его хлестали нагайками горцев, отбирали последние деньги — налог за десять лет вперед, забирали сыновей в аскеры, а юных дочерей в гаремы эмира и вельмож.

Беглый правитель Бухары заставлял устраивать пышные тои в свою честь, пытаясь изобразить свое трусливое бегство как торжественный проезд могущественным государем горных бекств. Он даже успел отпраздновать три свадьбы. Весь народ в Денау, Регаре, Кабадиане в ярости. Имя эмира произносили с омерзением, на коране клялись убить его.

И все же, как и в прошлом, гордые горцы гнули спины и отдавали ему непосильный зякет. Все так же содержали бесплатно самого эмира и армию его прожор-

ливых чиновников. Как и прежде, с каждого двора платили натуральный налог: по три барана с трех дворов, кусок домотканого сукна, две пиалы масла, четыре штуки бязевой маты... и мыло, и свечи, и вьючный скот, и все, что представляло хоть какую-то ценность.

Дехкане голодали, месяцами на дастархане и кусочка мяса не видели. И только смотрели, как со двора у них угоняли последнего барана, козу... Бедствовали, роптали, но не решались идти против эмира... Ведь он — халиф всех мусульман.

Отряд Георгия Ивановича шел по горной стране чуть ли не по пятам эмира.

За каких-нибудь пять-шесть дней о походе красноармейского дивизиона во главе с Дервишем Света, Георгием Ивановичем, стало известно всем на Памире и в Каратегине. Дервиш Света знал горы, знал горный народ, не забыл его языка, его нравов. Он со своим отрядом шел по самым головоломным тропам и оврингам, ужасался при виде этих бедняцких домишек, сложенных из обломков скал, этих клочков Земли, возделанной на склонах гор, этих просвечивающих лохмотьев на полуголых детишках — и призывал горный народ подниматься на последнего мангыта. В каждом селении, пока красноармейцы рыскали по горам под выстрелами сарбазов, он часами беседовал с добродушными черными, ослепительно улыбающимися ему, Дервишу Света, горцами, прячущими под гостеприимной улыбкой вечные свои тревоги, недоверчивость, насреддиновскую хитринку. Он отлично видел страх в их глазах и отчаянно пытался развеять недоверие простых темных людей. Он поднимал старинный бронзовый, еще от согдийских времен, подсвечник, в котором чуть теплилась свеча из горного растения, обмазанного тестом на масле из льняного семени, и вглядывался в глаза собеседников.

Георгий Иванович ответил злом за все то зло, которое эмиры причиняли народу Бухары много веков и, кстати, за зло, которое причинил эмир ему лично и его близким.

В открытом бою, с выхваченной из ножен саблей, на которой было выгравировано: «За храбрость!» — он во главе славных бойцов интернационального дивизиона и батраков-ополченцев разгромил и уничтожил гвардию эмирских сарбазов. И тем самым выполнил то, о чем мечтал его старый друг и товарищ по сибирской каторге — Сахиб Джелил.

Правда, не до конца. И ему пришлось проглотить упрек, сорвавшийся с нежных уст его любимицы Наргис, которую он тоже называл «дочкой-йигитом».

А она еще совсем слабая, болезненно бледная, исхудавшая, похожая на едва оправившегося от смертельного недуга ребенка, резко бросила:

«Упустили зверя... Ужасно жаль! Но не я буду, если не приведу его на веревке в клетку. Или лучше я его убую».

У такого дитя и такая ненависть в глазах!

XIV

Кому судьба соткала
 черный ковер,
Его уже невозможно
 сделать белым.
 Гиасэддин Али

Ты можешь ноги в кровь стереть,
Ты можешь лоб о пол разбить,
Но предначертанной судьбы
Не умолить, не обойти.

Мир, Амман

«...Величайшее бедствие для народа и общества людей, отсутствие мудрости и мудреца в правителях. Если не найдется какого-либо мудреца, и город и государство немедленно гибнут».

Так писал известный всему восточному миру историк Ал-Фараби.

Мудреца в Бухарском ханстве не нашлось. На троне в бухарском Арке сидели глупцы. Да и сама структура общества, феодальная, с остатками рабства, средневековая косность порождали подобных корыстолюбивых и глупых эмиров и шахов.

Факт, будто эмира выменяли на девушку, — как рассказывает предание, — сам эмир полностью отрицал.

Дело хорошего — благовоние.

Дело дурного — смрад.

В народе и до сих пор говорят: «Там, где орел рассыпал бы в битве перья, что может сделать муха?» Муха улетела — эмир подобрал полы золоченого своего халата и умчался в Душанбе, а затем на юг, за рубеж, за Гиндукуш в Кабул. Здесь он нашел прибежище в бывшем здании Российского Императорского посольства в местности Кала-и-Фату в тени садов и в прохладе струй фонтанов. Здесь муха будет еще долго жужжать.

Поэт Бобо-и-Тахир сказал:

Трусу не быть храбрецом,
Он сродни шакалу.
Не даст тепла очаг, где нет огня.

Но, увы, даже потухший очаг часто чадит. Смрадный дым еще долго, многие годы будет виться над Кала-и-Фату. Возмездие пришло к эмиру: нет ничего мучительнее переживаний повелителя мира, низринутого с золотого трона в грязь. Трусливо отказавшись от борьбы, Сеид Алимхан отдал себя, свою душу, свое сердце мучительным многолетним терзаниям.

В холодном, липком поту просыпался он по ночам. Ему во сне мерещилась смерть. Нет! Никакие силы не принудят его вернуться в Бухару в Арк. Нет, нет и нет! Впрочем, о каком возвращении речь, когда Бухара во власти босоногих и большевых.

Но особенно его мучило то, что его, властелина из воинственного рода мангытов, выменяли на девчонку. Нет, примириться с этим он не мог. И его обуревали мучительные чувства. Он корчился в ярости.

Сеид Алимхан пытался утешиться мудрыми мыслями Кабуса:

Конечная цель движения — покой.
Предел существующего — перестать быть.

Перестав быть повелителем, он оставался фанфароном, задиристым петухом. И он приказал, сварливо крича, плюясь и бранясь, своему летописцу Али вычеркнуть, вырвать из летописи его жизни даже упоминание о том, что его выменяли на девушку-красноармейца, его бывшую невесту.

Под страхом смерти он запретил и в разговорах упоминать об этом случае. Ни слова! Ни звука!

О, у него еще достаточно во дворце Кала-и-Фату и власти, и стражников, чтобы покарать за болтовню. И даже палача — болуша — эмир привез с собой из Бухары. Черного палача! Кровавого палача!

Во дворце, заикаясь от ужаса, шептались:

— Глупец сболтнул... Осмелился намекнуть... о каком-то обмене. И глупца уже нет... Пропал...

Летописец Али совсем не хотел пропадать. Он предпочел исчезнуть сам.

«Чтобы я переступил порог дворца его высочества еще хоть раз? Ну, нет».

Верный пес лижет руку хозяину,
пока в ней нет палки.

Али уехал на север, и, когда между ним и эмиром поднялись снеговые хребты Гиндукуша, написал ему верноподданнейшее письмо, полное цветов красноречия и змеиных жал. Он избрал наиболее хитроумный способ уязвить эмира.

«Клянусь, мое перо ничего больше не начертает о том позоре, который пал на вас, когда вам, могущественному эмиру, халифу правоверных, предложили сохранить жизнь ценою спасения жизни девушки Наргис, несравненной розы, но не царственного же рода. О святотатство! Пусть и совершено оно во имя блага и во спасение, но лучше об этом, ваша милость, и не заикаться. Говорится же в книгах:

Он несет свою жизнь в руках
и в надлежащий час
швырнет ее в лицо смерти.

Зачем? Нет такого безумца в подлунном мире, который добровольно подставил бы шею под меч гибели.

Нет, нет и нет! Я не хочу оказаться в положении самонадеянного поэта из притчи царя поэтов Джами. Позвольте, ваше высочество, напомнить о том случае:

«— Что ты делаешь со своими стихами? — спросил почтенный Джами у молодого надоедливого поэта.

— Вывешиваю у городских ворот, — ответил поэт. — Пусть все въезжающие и выезжающие читают и прославляют меня.

— А не повесят ли тебя рядом с твоими стихами? — спросил мудрый Джами».

О, господин мой, ваш покорный раб Али не начинающий поэт и — позвольте вас заверить — мы поднаторели в сфере высокой поэзии и нам незачем вывешивать сладкоречивые плоды нашего пера на какие-нибудь ворота. Пусть этим занимаются рифмоплеты-невежды».

И все же обстоятельства сложились так, что поэт и летописец Али в погоне за своей мечтой оказался у порога эмирской резиденции Кала-и-Фату и предстал пред лицом самого эмира.

Но произошло это много-много позже.



Часть четвертая

ДЕРЗАНИЕ

I

Жизнь вождя — это жизнь, полная самоотверженности.

Его природе чужды эгоизм, тщеславие, страх так же, как жизнь чужда смерти.

Дхан Мукерджи

— У коней из России легкие гнущиеся копыта. На здешней сплошной гальке кони начинают хромать. На подъемах тяжело дышат. На спусках дрожат всем телом.

Пардабай мог бы чем угодно поклясться, что голос знакомый. Тилляуский сучи — переправщик: арб через Чирчик, Ангрэн, батрак, впоследствии народный мститель Намаз Пардабай ринулся было к этому стоявшему к нему спиной командиру в офицерской шинели до пят и в островерхой буденовке, но спохватился и заколебался. И был ошеломлен, когда вдруг в круто повернувшемся, чем-то возмущенном комкоре, судя по ромбам в петлицах, узнал старого друга Георгия Ивановича, Дервиша Света.

Пардабай все еще удивлялся, а комкор Георгий Иванович в полный голос поучал военных, сидевших на грубо сколоченных скамьях, за деревянным столом.

— Не учитель! Я полководец-самоучка. Военных академий не кончал, хоть военной теорией и занимался. От профессорских речей слишком пахнет словесами, а в кавалерии надо... чтобы порохом и конским навозом. Э, да вот комэск узбек, здешний степняк скажет... Коней для горных операций надо полностью менять на местных карабаиров и текинцев... Что скажете, товарищ комэск?

— Ваша правда! Копыта в коне главное, товарищ Георгий!

— Ба! Кого я вижу?.. Да это вы, Пардабай-Назмаз!

Старые друзья крепко обнялись, на глазах их выступили слезы.

Тогда Георгий Иванович повернулся к сидевшим вокруг стола:

— Извините... старого товарища встретил. Садитесь, Пардабай-друг. А вам, товарищ, скажу: много здесь, в Туркестане, надо передумать, пересмотреть. Всем, прибывшим из России, начать с проверки и ремонта конского состава. Театр военных действий у нас — горы, нужны горные кони. Условия! Вот наш штаб. Не смотрите, что жалка халупа. Видать, хозяин лепил себе жилище из глины потеснее, чтобы в нем поменьше было сырости, мух, клещей, комаров... Привычка... И мы терпим, привыкаем к жизни горцев.

Пардабай вспомнил, каким больным был беглый политкаторжанин революционер Георгий Иванович. Как он изменился за годы гражданской войны, стал настоящим командиром-кавалеристом и внешне стал иным; раздался в плечах, стал подтянутым, стройным. Чахоточная бледность сменилась густым, здоровым румянцем, а лихие казачьи усы дополняли впечатление о воинской выправке и здоровье, о самоотверженности и решительности. В бою он был смел, пренебрегая пулями и клинками врага. Не иначе ему везло. За годы походов и сражений у него не было даже легкой царапины. Возможно, так везло ему потому, что он вошел во вкус военной жизни. Порой, полагаясь на свою силу и отвагу, подвергал себя неоправданной опасности.

Его уважали за революционный опыт, за все то, что он перенес, будучи профессиональным революционером и политкаторжанином, и не обижались на его резкость. В походе, в боевой обстановке он был жесток и непреклонен.

«Гнев — плохой советчик красного командира. От одного гнева любой вояка — головой в колодец, а и семь гневов не помогут потом из того колодца выбраться».

А такое сравнение было близко и понятно, потому что в пустыне все знают, что такое колодец. Почти все операции Георгию Ивановичу приходилось проводить в пустыне и в горах.

Жесткая требовательность к себе заставляла его мучительно и постоянно анализировать свои промахи и недостатки, но нетерпимо относиться и к недочетам подчиненных и начальств. Не переносил он подхалимов и интриганов. «Ружье, — говаривал он, — подстрелит одного, а язык — тысячу».

Презирал курбашей, так называемых «дипломатов», которые «разводили антимонии», и заводили переговоры о сдаче, о переходе на сторону Советов, а сами продолжали совершать бандитские налеты. И поэтому он не верил льстивым уверениям курбашей, что они уже «почти советские». «Не бывает у одного барана и шерсть длинная, и курдюк большой, и спина со слоем сала», — говорил Георгий Иванович, а заключал неизменно одним: «прежде чем идти на переговоры с курбаши, надо все проверить обстоятельно и скрупулезно».

И сегодня, посылая эскадрон особого назначения в горную страну, находившуюся в руках бандитов, ставленников Селима-паши, Георгий Иванович потребовал от командира, многоопытного Пардабая:

— Разведка — в тылу врага. Бой есть бой. Умение владеть клинком, чтобы защитить Советы и свободу, необходимо. А владеть языком все эти матчинские беки и всякие там халбуты умеют преотлично. Уже пять лет бек морочит нам голову. Едва на него поднажмем, он тут же с милой улыбкой: «Я совсем советский, я хочу сдаться!» А чуть перевалы запорошит снегом, он тут же выскакивает из-за своего природного укрытия и давай убивать, грабить!

Вот почему Георгий Иванович не верил беку и теперь требовал от Пардабая Намазова самых точных сведений: действительно ли Матчинское бекство всерьез готово пойти на сдачу.

С Мергеном Георгий Иванович говорил долго и по душам. И здесь он взвешивал все «за» и «против». Но больше всего он уделял внимания тем сведениям, которые шли от «нашей разведчицы, которая там». Имя ее

Георгий Иванович не назвал вслух, хотя они были только вдвоем.

— Мы с вами, Мерген, должны быть философами. Мы должны думать, а наступит время — и воевать. И за что! За свободу, за счастье народа. Поэтому я, профессиональный революционер, стал также профессиональным военным, в совершенстве владеющим клинком.

И он, машинально выхватив казацкую шашку, рубанул ею так, что она со свистом рассекла тяжелый, сырой воздух халупы. Мерген даже не вздрогнул. Он только сказал:

— Враг лучше без головы.

— Наверное, так думали философы в прошлом. Великий философ древности Платон, а по-вашему Афлотун, сражался простым воином в битвах под Танагрой и Коринфом. А полководец Ксенофонт, он же писатель и философ, был прекрасным стратегом и военачальником, когда Греция отстаивала свободу от персидских полчищ. Да что там!.. Когда нежная девушка сражается с оружием в руках... и ходит своими ножками по лезвию басмаческого ножа, нам, мужчинам, и сам бог велел...

— Аллах акбар! Так предначертано... — и этот жесткий с лицом, будто вырезанным из красного дерева, батыр вдруг заморгал, побагровел и вроде слеза покати-лась по его щеке. Он, конечно, больше ничего не сказал. Но перед глазами возник образ далекий, недостижимый, образ той, которая носила прекрасное имя — Юлдуз, являясь женой Георгия Ивановича, была для Мергена звездой его жизни. И так получилось в его воображении, наверное, потому, что та, о ком они говорили, сейчас была так похожа на безнадежную любовь горного батыра Мергена.

Георгий Иванович, быть может, и догадывался об этом по тяжелым вздохам горца. Сам он по-прежнему очень любил Юлдуз и мечтал о встрече с ней и сыном.

Поспешив перевести разговор на другое, он хотел, чтобы Мерген понял его намерения и планы:

— Мы на днях в Гиссарской долине разгоним, разнесем всю... эту банду турка-авантюриста Селима-паши. А потом примемся за Матчинское «государство»: мы бросим кость меж двух собак, и они перегрызутся. Вот наш Пардабай и кинет им там, в горах, такую мозговую косточку. А ваше дело пойти туда и сделать так, чтобы собаки разорвали друг друга.

Они распрощались.

— Берегите девочку. При первой возможности она должна оттуда уехать, — сказал Георгий Иванович.

— Будет сделано. Постараюсь спасти свою внучку, — ответил Пардабай.

II

Обман и ложь — отец и мать
Порока, зла и преступления.

Зелили

По оврянгу бредет осел.
На теле погонщика ветхое рубище.
Матчинскому беку везут уголь.
Разорены неурожаем люди гор.
Горечь раздирает грудь.
Скачет бек на коне.
В доме ишана готовят плов.
Застыл угольщик от холода.
Подкосились ноги от голода.
А в кишлаке Анзоб съели человека.
Так говорят, великий бек!

Из песни угольщика Матчи

Наргис потопила бы их в слезах своей ненависти...

С каким наслаждением она так бы и сделала. В море ненависти! Наргис ненавидела, но не пассивно, не беспомощно склонив голову перед злым роком. Свою ненависть она адресовала вполне определенным лицам. Прежде всего она ненавидела Мирзу. Он был рядом, и его ненавидеть было проще всего, потому что, едва он появлялся на глазах, Наргис откровенно высказывала ему все, что накопилось у нее на душе. Она ненавидела все: и его лицо, постное, бледное, невыразительное, с синеватыми губами, сжавшимися в ниточку, его вкрадчивый, проникающий куда-то внутрь, до самого желудка, голос.

— Не подходи ко мне!.. Глаза выцарапаю, кухонным ножом зарежу! — говорила она ему.

И Мирза боялся этой непосредственной ярости. Он осознавал, что у нее достаточно причин ненавидеть его. Вот и сейчас — почему она должна испытывать к нему какие-то там приятельские или родственные чувства, если он опять обманным путем увез ее, Наргис, из Самарканда, и в Пянджикенте объявил сквозь решетку боковины арбы (ближе он побоялся подойти), что они вынуждены ехать дальше.

— Что тебе надо в зимних горах?! — крикнула ему Наргис. — И запомни, если ты меня не выпустишь сейчас же, я умру.. Умру!

— Успокойтесь!.. Потерпите. Мы выезжаем!

— Куда? Когда? Зачем? Что ты хочешь делать здесь, в горах... Зимой. Здесь только камни, лед и снег.

— Придется потерпеть: другие дороги закрыты.

— Почему надо ехать через хребет? Опять какие-то тайны?

— Я должен навестить в Обурдоне господина бека. И пусть тебе будет известно, что я еду с большими полномочиями иностранных государств.

— Боже мой! Какие могут быть полномочия к тощим козам? Здесь в горах ничего нет, кроме коз.

Так Наргис впервые услышала про Матчинское бекство. Как ни пытался скрыть подлость своих намерений Мирза, Наргис не составляло труда выяснить, очень быстро, что Мирза привез ее в логово басмаческих банд, спрятанное среди горных вершин поднебесных хребтов Страны гор. Еще в ноябре восемнадцатого года матчинские баи в сговоре с ишанами, воспользовавшись оторванностью от мира, устроили заговор и убили местного председателя ревкома и пятерых красногвардейцев.

Местный ишан из селения Матча объявил: «Отныне Матчинское бекство — исламское государство, не признающее Советской власти в Ташкенте». Он был ученым, этот ишан, кое-что понимающим в политике. Он немедленно послал двух юношей в Швейцарию, в Лигу Наций с просьбой признать новое государство на карте Азиатского континента. В Великобритании узнали о новом государстве и немедленно «признали» его, послав туда представителя.

— Представитель — это я, — заявил Мирза, приложив руку к сердцу. — Прошу разговаривать со мной уважительно.

— Тоже мне государство! Какое государство — такие в нем и представители! — фыркнула Наргис, точно разговор шел о каком-нибудь захолустном кишлаке. — Это твое государство может растоптать самая обыкновенная муха. Велика честь быть представителем здесь, среди этих мазанок и сугробов.

Конечно, Матча была самым что ни на есть захолустьем. О том, что существует Матчинское бекство, можно было судить по редким дымкам, поднимавшимся к небесам над бесконечными волнообразными снежными пространствами, да строчкам следов на белоснежном снегу, протоптанным редкими горцами, выбиравшимися из-под снежного холма, где прятались их заледеневшие хижины. Ни звука, ни карканья вороны, ни детского сме-

ха. Несколько затерянных в Туркестанском и Зерафском хребтах кишлачков, глубоко зарывшихся в снежных сугробах, несколькими десятками тысяч полунищих горцев-«камнеедов», как их высокомерно нарекали надменные курбаши, проникшие сюда, в недоступные горные убежища, и приведшие своих аскеров. Здесь они образовали довольно многочисленное воинство, хорошо вооруженное, жаждущее грабить и убивать.

И сюда через перевалы, высотой почти с Монблан, пробирались с юга вереницы вьючных животных, везших в новоявленное государство оружие, золото, продукты.

Мирза не счел нужным скрывать, что он причастен к этой грозной контрабанде.

— Ты смеешься, несчастная, глупая! А мы, то есть я, прибыли в Матчинское бекство для проверки и инспектирования поставки оружия и материальных средств. На этих днях прибудет большой караван прямо из англо-индийских владений с пулеметами. Их сопровождает очень важный человек, англичанин... настоящий английский джентльмен и притом мусульманин. Мы с ним обсудим важные вопросы.

Да, действительно вопрос был важный. Оказывается, готовился поход никуда иначе, как на Ташкент.

Сердце защемило у Наргис. Да, она явно недооценивала опасности. Никакая муха не затопчет «матчинского государства». Более того, Мирза показал ей номера газеты «Таймс».

— Прочитай и переведи! Ты же изучала языки.

Она читала длинные статьи и глазам своим не верила. Такая всемирно известная газета, такая деловая и солидная — и вдруг на страницах ее что-то похожее на бред: исторические угрозы большевикам и стране Советов, предупреждения, злобные выкрики...

Не больше не меньше как Матча, то есть «Матчинское мусульманское государство» объявило себя «острием кинжала», направленным в сердце большевизма и в столицу его Москву.

В мехмонхане сыро, холодно. Посреди, в глиняном полу, — очаг. Дрова сырые, трещат, дымят. Писать приходится на низеньком, кое-как сколоченном из арчовых досок столике. Ноги даже в шерстяных особо плотных чулках мерзнут и так хочется засунуть их под одеяло. Но очаг разгорается медленно, а для сандала требуются совсем прогоревшие угли, иначе пойдет такой угар,

что голова разболится. Пальцы стынут и деревенеют от холода. Холодом дышат и маленькое залепленное восковой бумагой окно, к тому же присыпанное снегом, и щелястая дверь, и все углы комнаты. Промозглый холод такой, что изо рта вместе с дыханием вырывается облачко пара. Коптит и чадит чираг. Его принес в мехмонхану сам Мирза, чтобы Наргис «не портила себе зрение».

Вообще, надо сказать, что Мирза заботился о Наргис. Он приказал собрать в кишлаке лучшие паласы и сюзаны. Нашли даже приличный афганский мохнатый ковер, несколько довольно чистых и не очень заплата-ных одеял и подушек. Сделать это было трудно, потому что горцы Матчи совсем обездолены. Уже несколько лет в кишлаках хозяйничают басмачи, и все, что можно было, они отняли у мирных горцев. Ватные одеяла — редкость и в обычное время. Горцы всей семьей спят на грубых кошмах, постланных прямо на земляном полу, и укрываются грубо тканым паласом. Так что Наргис, по выражению хозяйки дома, живет как кашмирская принцесса-малика в роскоши и довольстве. Хозяйка, сморщенная старушка, очень довольна, что в дом принесли столько одеял и подушек. Быть может, в тайниках своей души она питает надежду: не останутся ли сии предметы роскоши в ее доме, когда уберутся отсюда эти воинственные пришельцы. Правда, с тех пор, как этот вельможа — а он не иначе как визирь какого-нибудь шаха — вторгся в ее нищенское каменное жилище, старушка да и ее внуки забыли, что такое голод, потому что Мирзу опекал сам господин Матчинский бек и слал ему каждодневно и плов, и шашлык, и шурпу да мало ли что — и в таком изобилии, что всегда оставалось и для хозяев.

Старушке также нравилось, что она отныне должна была безотлучно состоять при Наргис-бегим, присматривать за ней, выполнять всякое ее желание. Старушка не вникала в отношения Мирзы и Наргис. Запомнила только слова Мирзы: «Она — жена халифа». Какого халифа? Старушка, да и все обитатели Матчи, на сей счет имели самые туманные представления.

Но в глазах старушки Наргис превращалась теперь в некое божество, тем более, что даже своими старческими глазами она успела разглядеть красоту лица Наргис, ее величественную осанку, ее дорогие одежды.

И сейчас старушка сидела, скромно скорчившись, у

закопченной, отполированной до блеска черной стены мехмонханы, набожно перебирая четки и, шевеля губами, следила за ногами в дорогих махсы этого важного визиря. А ноги, пестря зелеными задниками ичигов, быстро и неслышно скользили по коврам и паласам. Мирза непрерывно был в движении, хотя бы для того, чтобы хоть немного согреться. От пронизывающей сырости даже не помогал халат, подбитый куньим мехом.

«Хорошо! Благопристойно! — шептала старушка. — Хорошо, достойно. Визирь никогда не должен посещать супругу халифа наедине... Ох, какой был бы срам!.. Но могу поклясться, на коране и воде перед кем угодно, этот молодой визирь за все время, пока они живут у меня, и одного мгновения не оставался наедине с супругой халифа. Очень благопристойно».

Старушка умилялась вполне уместно. Мирза отлично понимал, что проезд его в Матчу с одинокой молодой женщиной мог вызвать нежелательные сплетни: А ему как полномочному эмиссару британского правительства это никак не пристало.

Однако одинокой жизнь Наргис в мехмонхане старушки нельзя было назвать. Именно то, что никто не приходил к ней, кроме Мирзы, позволяло ей общаться с женщинами кишлака, а кто, как не женщины, знали все и обо всем. Сейчас при жалком свете коптящего и распространяющего запаха горелого кунжутного масла чирага молодая женщина писала и старалась не встречаться с живым, нетерпеливым взглядом хозяйки. А та бесцеремонно и губами, и глазами, и пальцами предлагала: «Да выкинь же этого своего надоедливого визиря! Ходит тут, мельтешит. Да убери его. У меня язык чешется. Столько новостей!»

Но Мирза не уходил: перевод статей ему «вот как нужен». Он хочет показать эти статьи их светлости беку Матчинскому и прибавить ему гордости и уверенности в себе.

Приезд Мирзы в этот дикий край верховьев Зарафшана и, конечно, привезенные обещания, не говоря уж о материальном вспомоществовании, вскружили головы главарям басмачей.

Английское правительство вступило в переговоры с Мирзой. Собственно говоря, даже «не вступило», а продолжило их.

Ведь уже в девятнадцатом году тот же Мирза с це-

лой делегацией басмачей, мулл и ишанов ездили за тридевять земель, а летом вернулись в Матчу.

Было тогда семь раз на семь
Сундуков обещаний и клятв.
От одних сладких посулов
На языке был мед и в глазах — золото.

Нельзя сказать, что позже англичане не помогали. Несмотря на расстояния, несмотря на горные хребты и безводные пустыни в Матчу попадало кое-что. И не в малом количестве: и деньги, и винтовки, и патроны, и даже ручные пулеметы. Но «помощь» шла через руки их высочества господина эмира Бухарского, к тому времени уже сидевшего в Кала-и-Фату близ Кабула, и больше всего заботившегося о том, чтобы набить свою кошелю.

Матчинский бек, самонадеянно объявивший себя правителем независимого государства, обрадовался приезду Мирзы из вторичной поездки к «инглизам» и тем более — результатам переговоров. Теперь уж можно было не ограничиваться отдельными вылазками в Туркестанскую республику, грабежом Уратюбинского и Ходжентского уездов или рискованными набегами на Фальгарскую полунищую волость. Теперь он начнет поход на Урсатьевскую и на Ташкент. А там — и Москве придется потерпеть. Вот что пишут друзья «инглизы». «Кинжал прямо в сердце столицы большевиков». Берегитесь!

Бек совсем раздался от спеси. Здесь он чувствовал себя могущественным шахом. И у него были на то основания. Трижды Советы начинали поход против Матчинского бекства, и трижды эти походы оканчивались ничем. На неприступных оврингах и перевалах операции Красной Армии неизменно кончались неудачей.

— Сегодня день больших решений! — сказал Мирза, забирая у Наргис листки с переводами. — Наконец мы вырвемся из этих нор и поедем в теплые страны.

— Что же, братец, случилось? У меня давно терпение лопнуло.

— А то, что сегодня согнали сюда людей со всей Матчи и сам бек объявит поход на Туркестан. Горцы упрямы, поднять их на такое дело, конечно, трудно. И на маслахат — собрание — их подняли прикладами. Ну да ничего. Бек на маслахате призовет в свидетели

аллаха и раз-другой выстрелит из маузера. Ну тогда все, как бараны, и проголосуют за поход. А потом кому же охота поживиться? От мысли, что можно будет пограбить, никто не откажется... Скоро поход. Собирайся, сестрица.

— Ну и говорун твой визирь, — зашептала старушка, когда Мирза ушел, — а я уж думала он не уйдет до Страшного суда. Говорит и говорит. Тр-тр-тр! И как у него, у твоего болтливового визиря, его змеинный язык не отвалится. Разве можно столько говорить?

— Бабушка, вы знаете что-то новое?

— Пришел тот.

— Что вы говорите? — вспыхнула Наргис. — Где он?

— Где может быть охотник? У Карима Шо.

— Что он сказал?

— Он идет в Шахристан через перевал. По перевалу сейчас никто не ходит. Снег и лед. Да и охрана там спит. Вот охотник и говорит — самое время сейчас идти.

— Господи, да разве через перевал сейчас можно пройти?.. Он пожилой человек...

— Пройдет. Старые кости не боятся дороги, а дорогу он знает. Он спрашивает: «А дочка передаст что-нибудь?»

— Да, да... У меня есть для него, но... пусть придет сюда. Я сама ему передам.

— Нет, он сказал, в кишлак не пойду.

Засуетившись, Наргис быстро надела на себя паранджу.

— Куда собралась? Нельзя, — ворчала старушка.

— Вот тебе... Идем.

— Золотая монетка?.. Смотри, какая ты богатая!

— Идем!

— А если твой визирь вернется, что мы ему скажем?

— Скажем, что ходили в бекский эндарун.

— А если проверит?

— Не посмеет... Разве бек разрешит сунуть нос в свой гарем постороннему мужчине, если это будет даже сам английский король?..

Кряхтя, старушка спрятала монету и, накинув на голову старенький потрепанный камзол, поплелась на двор.

На тропинке, утоптанной прохожими в сугробах снега, нет-нет да и попадались закутанные в тулупы фигуры не то дехкан, не то басмаческих йигитов, но Наргис,

скрыв лицо под чимматом — черной волосяной сеткой — шла, не обращая ни на кого внимания. Так и подобает вести себя на улице истой мусульманке. А встречные и не смели задержать свой взгляд на проходящих женщинах.

Матчинский бек Саид Ахмад-ходжа издал строжайший приказ — тяжелой каре подвергался каждый, кто осмелится причинить обиду женщине или девушке кишлака Матча. Приказ был очень своевременен. Советские власти вели переговоры о сдаче басмачей, и население горной страны в отчаянии от насилий и поборов глухо роптало, а кое-где оказывало открытое сопротивление бандитам. Своим приказом бек пытался утишить недовольство и возмущение.

Старушка бодро семенила по скрипучему снегу. Она вела Наргис через кишлак к большим источникам. Шум воды слышался все громче. Вода в них была теплая, и они никогда не замерзали.

III

Не поддавайся на лесть:
Славословие — сеть хитрости.
Славословие — глотка жадности.

Саади

Засунет кошка голову
И думает — во всем мире
в горшок со сметаной
наступила ночь.

Ахикар

Страницы из памятной тетради поэта-летописца Али об излечении Наргис и ее действиях в Матчинском бекстве.

«Уподобляемся мы тем, кто посыпает прахом голову и пускается в странствования по миру с нищенской сумой и дервишеским посохом, чтобы хотя бы издалека уголком тоскующего глаза наблюдать за малейшим шевелением чадры любимой. И да останется на память тем, кто заглянет в нашу скорбную летопись, что мы, Али, сын муфтия, пустились в странствование, когда убедились, что несравненная после побиения камнями — ташбурана — стала поправляться и пребывала под наблюдением врачей в Самарканде в доме своих приемных родителей. Как часто мы имели счастье лицезреть ее волшебное, побледневшее от страданий лицо и даже беседовать с ней, когда несравненная сизволяла прийти

в комнату, где собирались члены семейства доктора для чаепития и музыкальных занятий. И мы, то есть Али, были участниками этих родственных собраний, потому что несравненная испытывала к нам благодарность за наше скромное служение ей в дни смятения и смуты, в Карнапчуле, в дни битвы у стен Бухары.

О, есть еще на свете то, что носит название благодарности и расположение!

Увы, те дни возвышенного служения прекраснейшей Наргис отважившимся назвать ее имя — были прерваны злосчастливым господином Мирзой. Обманном путем, введя и нас в ужасное заблуждение, с нашей, увы, помощью и содействием несравненная была увезена в Пянджикент, что в восьми ташах от Самарканда, и далее в горы, что расположены в верховьях реки Зарафшан. Нужно ли описывать отчаяние прекраснейшей и наше горе и стыд от этого обмана? Но кто же утруждает свой поэтический калям описанием подлых интриг? Кто пишет о неподобающих делах, о пятнах и заплатах на платье, о бородавках на руке? Нет. Как часто мы тратим белила, румяна и миндальную пасту, замазывая изъяны лица, а свои грехи и подлости изображаем добродетелями.

То, что сделано, увы, сделано. А сделано не по нашей воле, а по велению владычицы.

В один из дней пришла к нам старушка и спросила: «Вы и есть Али?» Узнав, что мы и есть Али, старушка сказала: «Идите! Вас ждут».

Мы помчались на крыльях ветра, потому что знали, что эта старая женщина прислуживает нашей несравненной Наргис.

И что же?

Госпожа нашего разума и сердца приказала, а мы, раб ее, повиновались и исполняли. О, аллах!

Суть дела была в следующем. Через снежные перевалы из Ура-Тепе приехали по льду и снегу вооруженные люди, числом двадцать с начальником Намазом, которого мы знаем под настоящим именем Пардабая, батрака из Тилляу, деда нашей владычицы. А проводил их по горам и ущельям Алаярбек Даниарбек

Никто не знал, как смогли проехать по горам в зимнее время эти люди, ибо даже местные «гальча» и «матчой», многоопытные и знающие горы, в такое холодное время за свои горные хребты не ездят и не ходят. Но несравненная сказала: «Вам, Али, нечего и интересо-

ваться, чего хочет Пардабай. Вы знаете, что мой дед, отец матери моей Юлдуз. Вы никому ничего не скажете, а поедете с ними в кишлак Фальгар. Там проживает один ференг, приехавший недавно. Вы покажете его Намазу — и это все. Вы приедете обратно ко мне и скажете: «Исполнено!» Мы удивились и спросили Наргис: «А как мы сможем проводить Намаза и его людей в кишлак Фальгар, когда всюду вооруженные люди бека?» На то несравненная ответила: «Это меня не касается. Вы тысячу раз восклицали: «Позвольте за один ваш взгляд совершить для вас подвиг!» Вот и совершайте. Да, там на окраине Фальгара живет человек, которого вы прекрасно знаете. Это мой отец Мерген. Спросите его, и он вам, Али, объяснит, что и как». Мы спросили: «Госпожа! И Намаз, и Мерген, и тот Алаярбек, все они и их люди поступают несогласно с верой. Подобаает ли нам, родителям веры истинной, помогать им?» На это несравненная Наргис только засмеялась, и смех ее вошел в наше сердце, и мы ослепли и оглохли. О, что делает с нами улыбка женщины!

В ужасном смятении мы отправились в Фальгар. О, пророк! Ты сказал, что в коране женщина названа низшим существом. Но кто посмеет называть несравненную красоту низкой? Женщина у нас собственность мужчины, но если кто-то скажет, что несравненная чья-то собственность, у того сразу отсохнет язык.

Несравненная приказала, и мы исполнили.

Из-за этой улыбки мы забыли, кто мы и что мы. Приказав оседлать коня, в ужасный холод и вьюгу мы поднимались на горы и спускались в пропасти, трепетали на оврингах от малейшего треска хвороста, а внизу, на расстоянии версты, шумела злобная Фан-Дарья. Мы согревали заледеневшие руки у костра вместе с седоусым батраком и сучи Пардабаем, который теперь командир Красной Армии Намазов. Мы хлебали на привале рисовую молочную горячую кашу — «шир гринч» из одной миски с людьми, у которых из глаз сыпались искры ненависти, а за плечами висели красноармейские винтовки. Мы дружески беседовали и выполняли указания этого охотника из кишлака Тилляу Мергена, про которого отец мой муфтий говорил: «Сатана неверия и враг святынь, проклятый Мерген». Прибыв в Фальгар, мы сказали тамошнему курбаши: «Вот мои люди, проводите нас к ференгу, инглизскому уполномоченному». И курбаши посмотрел на меня — а он знал нас — да и

кто нас не знал в Матчинском бекстве? Мы же самый главный из шавандагонов, то есть могущественных, и с нами могли равняться только господин бек да господин Мирза. Курбаши спросил меня: «Делать?» И мы — велик аллах! — сказали: «Делать», — повернули коня и поехали обратно, заткнув уши и усмиряя биение сердца.

Велик аллах, о наша Лейли! У ног твоих ползает твой безумный Меджнун. Как могла ты, несравненная, слабая, нежная, могущественная лишь своей красотой, все вершить в стане твоих врагов, под мертвым взглядом этого аждаха — дракона — господина Мирзы, хитроумного и дьявольски жестокого. О, Наргис показала, что она умна. Найдя путь в души горянок, она ничего не боялась и, будучи беспомощной пленницей, осмелилась разрушить здание хитрости и коварства, возведенное деятелями Востока против Советов. Как все тонко было задумано! И люди собраны, и пути подготовлены через горы, и кони покормлены, и ференг, приехавший из самого Лондона, договорился, что, как только откроются перевалы, привезут пушки, пулеметы, винтовки и патроны. А зеленое знамя пророка вышили шелками женщины бекского гарема. Только осталось кликнуть клич. — и огненосная туча пролилась бы на большевистский Ташкент. И, боже мой, несравненная Наргис в своей холодной хижине под неусыпным надзором того дракона Мирзы засмеялась ему в лицо, приложив свой прелестный пальчик к розовым губкам, и... ни ференга-инглиза, ни пушек, ни оружия... Все исчезло. А в гареме бека Матчинского жены-горянки порвали зеленое знамя, понакроили из него лент для невест и устроили бунт. Они хотели утопить развратников из бекской стражи в Зарафшане, и стражники бежали по сугробам, залезая погреться в волчьи норы, и не смели показаться на глаза беку, потому что Наргис-бегим подняла всех женщин горной страны против исламского воинства Матчинского бека.

Так было.

Все удивления достойно. Бек объявил, что поход в Ташкент откладывается на осень.

Не говорите правды,
Не обременяйте себя,
не отягощайте ею
Сердца людей.

Так сказал Обейд Закуни. Да будет над нами благословение божие! Мы — человек, который сделал целью своей жизни писание книг и который стал поэтом, осененным славой. Но как трудно писать о таких просвещенных, одаренных талантом, благородных, как наша несравненная! И сколько сил надо найти в своем камле, чтобы стоять не во лжи, а в правде.

И еще одно четверостишие:

О, виночерпий! Дай мне кубок
того вина, что давят дехкане,
вина, что гонит уныние и печаль
и дает веселье и возвышает душу.»

IV

Сама ты ткешь белый шелк,
но на тебе — грубые лохмотья.
Нет углей в очаге,
не согрета земля, на которой
ты спишь.
Стрелы стужи разят твою нежную
грудь.
Боль и муки! Некуда бежать.
А в доме бека бьют барабаны,
Несутся запахи жареного шашлыка.
Стать бы мотыльком, полететь бы туда,
Где есть шелка, где тепло одеял...
Не лети туда, красавица! Обожжешь
крылышки.
Растопчут тебя, девушка,
Из песни матчинской девушки

Маленькая хижина, закопавшаяся в снег, которую нашел в Матче для Наргис Мирза, была совсем близко от бекской усадьбы. Крутая тропинка от хижины к усадьбе вилась над пропастью узкой ленточкой. Хождение по ней вызывало сосание под ложечкой и головокружение. А тут еще подмерзший за ночь снег превратил ее в каток, по которому с радостным визгом катались неустрашимые, пунцовощекие мальчишки. Им все было нипочем: ни зияющее под ногами ущелье, ни злобные вопли пробиравшихся по тропинке вооруженных до зубов всадников, ни ледяной ветер вершин, ни то, что в маленьких их желудках было пусто.

Мирза не раз споткнулся и поскользнулся на этой тропинке, хотя его сопровождал и поддерживал под локоть дюжий горец. Мирза наконец добрался до калитки и приказал провожатому побренчать дверным кольцом.

Снежная долина отозвалась мелодичным эхом на

этот звон, но в домике никто не подавал и признаков жизни.

— Войдем, — предложил горец. — Их, то есть, госпожи бегим, нет дома.

Толкнув калитку, он помог Мирзе пройти во дворик и подняться на айван, повисший над пропастью. С замиранием сердца Мирза сел на холодный палас, отвернувшись от разверзшейся под айваном бездны ущелья.

Горец поискал под паласом ключ и со вздохом сказал:

— Сейчас откроем мехмонхану... Это ничего, что айван высоко над долиной. Дышится легко. Или вам, городским, неприятно смотреть сверху. А вон там внизу... Зарафшан, там бежит вода по камням.

— Почему ты знаешь, что бегим Наргис нет... Куда она ушла? И где эта проклятая ясуман — старуха?

— А мы сейчас спросим... Эй-эй, матушка, эй-эй, отзовитесь! Сейчас отзовется. Тут, если пойти узнавать, надо спуститься на дно ущелья, да в обход на мост, да опять по берегу... Полчаса и уйдет. Эй-эй, матушка!.. Куда пошла бегим? Скажите, пожалуйста.

Далеко внизу, во дворике, появилась женщина. На таком расстоянии трудно было разглядеть ее лицо, но голос донесся звонко и четко.

— Госпожа-а-а... беги-и-и-м пошли... вместе с ясуман... к Бобо Са-а-адыку... Там собрание... е-е-е-е...

— Какое собрание?.. Это еще что такое?.. — Мирза беспомощно прилег на одеяло. Он совсем обессилел: высокогорный климат никак не подходил ему. Он дышал, широко раскрывая рот и стараясь не глядеть на горца, который с сочувствием и откровенным снисхождением смотрел на этого влиятельного человека, такого слабого, ничтожного — раз дунешь и нет ничего. А ведь этот бледнолицый, как все говорили в Кухистане, сейчас держит в своих руках бразды правления всего Матчинского бекства.

О, аллах, всякое бывает по твоей воле!

Горец был молод, темен, неграмотен. Все, что он знал, это то, что вот уж пять лет в Матче хозяйничают люди, пришедшие из долин Ходжента, Самарканда и Гиссара. Они вооружены и жестоки. Они позабрали все сколько-нибудь подходящие жилища, повыгоняли из них хозяев, жрут хлеб горцев, прирезают баранов и коз,

заставляют молодых йигитов служить конюхами и подручными, обижают горянок-девушек. Вон и в его доме совсем непорядок. Залез, давно уж, какой-то бородатый мужлан гиссарец, выгнал всех в сарайчик, сам валяется на паласе и на козьих шкурах, приказывает кормить его молочной рисовой кашей.

Братишки и сестренки вечно голодные. Мало того, сестра, что постарше, все плачет и жалуется матери, что гиссарец пристаёт к ней и требует, чтобы она приносила ему в мехмонхану чай и еду... Вот уж этого он не потерпит.

Он сам еще очень молод, и басмачи не доверили ему винтовки. Горец от негодования сжимал кулаки. Он даже не слышал, о чем спрашивал его Мирза:

— Какое собрание? Кто разрешил собрание?

— Наши горцы, мужчины и женщины, хотят написать письмо. Вот узнали, что наша бегим грамотная, собрались. И бегим напишет письмо...

Мирза буквально взорвался, что было отнюдь не в его привычках. Но он ничего не знал ни о Бобо Садыке, местном старейшине, ибо ниже его достоинства иметь дело со всяким невежественным горцем, ни о том, что Наргис собиралась идти на какое-то там сборище тупых козлятников и ишакчей, какими он высокомерно считал матчинских горцев.

— Послушай!

— Ляббай? Что такое?

— Возьми обджуш и вскипяти чай.

— Ба джону-дил! С удовольствием!

Горец выскочил во двор. Мирза бессильно опустил голову на подушку.

Своевольна Наргис. Жизненные испытания ничему ее не научили. Разрешения она не спрашивала. Не впервые Мирза, придя в хижину, где она жила «под домашним арестом», узнавал, что бегим нет.

Бегим Наргис изволила уйти или уехать. Куда? На свадьбу или на поминки, или еще на какой-нибудь «той». Все горцы очень уважали бегим и наперебой приглашали ее в гости. И не случалось в горах ни одного праздника, куда бы ни пригласили в качестве почетной гостьи супругу халифа. А ведь Мирза здесь, в Кухистане, сам так назвал свою сестру, опасаясь, что иначе молодой красивой женщине грозили бы немалые опасности в этом логовище произвола и бесправия.

«Она не желает скучать!»

Так Наргис заявила Мирзе, когда он вкрадчиво, но категорически запретил ей уходить из дома под предлогом, что погода ужасная, улицы и дороги покрыты льдом, а соседние горы кишмя кишат ворами и бандитами.

— Сейчас сюда через горы переправились сотни головорезов из банд Селима-паши, потерпевших поражение в Восточной Бухаре. Это отъявленные бандиты. Они схватят тебя прямо на улице при свете дня и уволочут к себе. Я с ужасом думаю об этом.

Но Наргис ничуть не испугалась. Она только усиленно расспрашивала, что это за Селим-паша и что произошло с ним.

Хоть Мирза и старался держать Наргис в неведении, на этот раз ему не удалось уклониться от ответа. Наргис задала тысячу вопросов, и Мирза не мог не рассказать обо всем. Тем более, что он гордился своей ролью уполномоченного Британии и Лиги Наций и ему, попросту говоря, хотелось порисоваться перед молодой женщиной.

По его словам, наступают решающие дни. Назревают большие события, в которых Матчинскому бекству отводится главная роль.

— Теперь большевикам конец. Случай благоприятствует нам. Теперь Селим-паша, захвативший командование после смерти Энвера-паши, потерпел поражение и должен будет уйти. Селим-паша, хоть и генерал, но воевать не умеет. То есть дело даже не в умении. Селим-паша не знает бухарского народа, не знает, как руководить им.

— Ничего не понимаю. При чем тут Селим-паша? Он же командовал басмачами после Энвера и собирался идти походом на Бухару и Самарканд. И хвастался своими победами. Впрочем, целых два месяца я ничего не слышала о нем.

— Очень хорошо. Селим-паша не заслуживает твоего внимания. Послушай меня. Красному командующему фронтом Корку надоело смотреть на мелкую басмаческую возню Селима-паши. Корк взял и бросил отборную кавалерийскую 3-ю бригаду и приказал ударить по этому сапожнику, вообразившему себя полководцем. Ведь говорил я Селиму-паше: «Чем так воевать — лучше вам варить чучвару». А по совету англичан надо собрать силы в Матче и весной ударить прямо на Ташкент. Он не послушал совета и возился с мелкими де-

лами в Гиссарской долине. Вот и дождался. 11 марта красные заманили его в ущелье и разгромили. Он бежал на юг, а оставшиеся аскеры волей-неволей были вынуждены, спасаясь от гибели, подняться на перевалы Гиссарских гор и явиться к нам. Так несчастье способствовало нашему успеху. Наши ряды пополнились.

— Так вот откуда взялись эти вояки! Да на что они годны, напуганные, обмороженные, голодные как волки? Они способны только на грабеж и насилие. Проклятия на их голову! Они будут слушаться своего Селима-пашу?

— Нет. Селиму-паше я уже написал, что всех его воинов-беглецов я отдал Матчинскому беку и чтобы он все подкрепления, которые ему присылают из Афганистана, переправлял немедленно сюда, в Матчу. Вооружение и боеприпасы, которые были обещаны англичанами Селиму-паше, теперь будут посылать не Селиму-паше, а нам. О, здесь у нас собрались и еще соберутся большие силы! Берегись, Ташкент! Жаль только, что перевалы на север еще не открылись.

Наргис задумчиво посмотрела на Мирзу. Если бы он был внимательнее, он прочитал бы в ее глазах не восторг и преклонение, которые хотел вызвать в ней, а презрение. Она спросила:

— А это оружие, патроны и пополнения... Через какой перевал привезут? Ты же сам говорил, что перевалы еще закрыты. А вьюки с оружием ведь тяжелые.

— Южные перевалы в Гиссарскую долину открываются раньше. Они уже открыты. Через Фальгар уже все везут. О, у меня в руках огромная сила...

«Фальгар! Фальгар!»

Мысль, сначала неясная, обожгла Мирзу. Он даже вскочил.

Последний раз Наргис отсутствовала несколько дней. Она ездила на свадьбу в Фальгар.

«Пустяки... Я езжу туда, где веселятся. В Фальгаре очень веселые девушки...»

Какое упущение! Разве можно было допустить, чтобы Наргис ездила в Фальгар? И надо было хотя бы разузнать у этой старухи ясуман, что было в Фальгаре. А он, Мирза, политик и деятель, несмотря на свою змеиную натуру, пассивничал, потакая ее капризам.

Он вспомнил ее, и тысяча стрел во-
звись ему в сердце.

Ибн Хазм

Муфтий дает уроки самому дьяволу.

Алишер Навои

За годы после бухарских событий и скитаний по Восточной Бухаре и за границей Али, сын муфтия, потерял юношескую подвижность и поумерил восторженность, хотя стихи, которые он по-прежнему сочинял, все также витали где-то в небесах. Это не мешало ему быть преданным сыном и держать отца в курсе происходящих событий. Он жалел отца, безуспешно претендовавшего на духовное руководство всей Туркестанской контрреволюцией.

Сам никогда не принимавший непосредственного участия в политических интригах и чуждавшийся грязных дел басмаческих руководителей, Али крайне скептически и даже враждебно относился к связям Мирзы с британским империализмом. Он даже откровенно осуждал Мирзу за то, что он в Матче подготавливает базу для нападения на Туркестан. Али ему говорил:

«Вам, младобухарцам, подобные младотурки Энвер, Талаат-бей и прочие уже давно привели турецких крестьян и рабочих на кровавую бойню ради империалистов, отдав трудящихся Турции в кабалу англичанам. Счастливы турки, что у них оказался Кемаль-паша и спас их. А вы тут подобрали авантюриста Энвера, а затем Селима-пашу и тянете в пропасть народы Бухары и Туркестана...»

Спорил Али вяло и ни во что не вмешивался. Но присутствовал на всех пиршествах, которые любил устраивать бек Матчинский. Али терпели, да и не только терпели, но заискивали перед ним. Он ведь сын самого муфтия и к тому же богат. За годы гражданской войны население бывшего бухарского ханства обнищало и никакие полуразбойничьи экспедиции по сбору налогов с дехкан не помогали. Во многих вилайетах налоги были собраны за десять лет вперед и дехкане перестали сеять хлеб, зная, что все равно разбойники отберут все до последнего чойрака. Курбашам приходилось заискивать перед теми баями, что жили в эмиграции и успели приумножить свои богатства.

После Пянджикента, куда он увез Наргис, из дома приемных родителей в Самарканде и по ее приказу вернулся обратно, Али приехал в Матчинское бекство и здесь обнаружил ту, которой поклонялся всю жизнь. Наргис не сомневалась в его преданности, да и в его чувствах.

Он приковал себя
к порогу своего светила.

И поскольку светило озаряло своим сиянием вершины и долины Матчи, влюбленный Али считал теперь эту каменную ледяную долину раем на земле.

Конечно, нет основания думать, что Али стал другим. В его превращение поверить было трудно. Но он беззаветно служил своему идеалу и безотчетно оказывал огромную помощь Наргис, потому что она с отчаянием обреченной бросилась в самую гущу борьбы. А Али?

Рядом с золотом
и медь блестит,
Возле доброго
и злой добреет.

И только... Он по-прежнему преданный ее поклонник. Но, увы, он слишком слаб духом, чтобы отдаться ее делу. Более того, Али мог бы помочь вырваться ей из плена Мирзы, из лап этих животных-басмачей, но... если открыть клетку, птичка упорхнет. А что останется тебе, безумный?

Нет, до такой степени благородства и великодушия Али не поднялся. Он оставался самовлюбленным поэтом, витающим среди роз и соловьев, глубоко несчастным, мягким. Лишь в мечтах он видел себя рядом... с Наргис, лишь в газелях он смел любить ее.

Но все же в Матче без помощи Али Наргис вряд ли смогла бы избавиться от смертельных опасностей, подстерегавших ее на каждом шагу.

Не мог оградить ее и Мирза. Он знал Наргис, знал ее взгляды и мог при желании разоблачить ее. Но Али был слеп, как крот. И не сумел, как принято говорить на Востоке, раскрыть «путь злонамеренности», тем более, что на этом пути — Али знал — была его любимая Наргис.

А Наргис во всех своих поступках теперь действовала злонамеренно против Мирзы и тех, кому он служил.

За пределы горной Матчи Наргис не выезжала, хотя бы потому, что Туркестанский хребет практически в зимние месяцы непроходим. Все перевалы закрыты. Но если она чудом оказалась на северном склоне в районе Шахристан—Уратюбе, то что побудило ее вернуться в первозданный хаос из снега, льда и басмачей, в Кухистан? Если она имела возможность перевалить через горы и вернуться обратно, значит, она обрела свободу.

Знал ли об этой рискованной поездке верхом через перевал тот же Мирза? Должно быть, знал. Или он впал в отчаяние при вести об отъезде Наргис, а позже, когда она возвратилась, так обрадовался, что не посмел ее ни в чем упрекнуть.

Мирза давно утратил власть над ней. Наргис не забыла ничего: ни похищения ее «братцем» Мирзой для Сеида Алимхана, ни судилища в Карнапе, когда Мирза хотел предать ее казни, ни свершившегося «ташбурана», когда она случайно осталась жива. Поэтому теперь взгляд ненависти и рядом пропасть, на дне которой буйствовал Зарафшан, повергали его в дрожь.

Взгляд Наргис вонзался в душу...

До него доходили неясные слухи, что она мутит женскую половину населения, что она причастна к мятежам горцев на Фан-Дарье в Обурдоне. Сам бек Матчинский осторожно намекал Мирзе:

«Они супруга халифа. Они могут говорить то, что им заблагорассудится, но попросите их соблаговолить воздержаться...»

Беку Матчинскому весьма импонировало, что здесь проживает столь высокопоставленное лицо, как супруга эмира Бухарского, и он не решался по отношению к ней на резкие слова, тем более — поступки.

Мирза кривил душой, не признавая за Наргис никакой вины. Он промолчал, когда ему шепнули: «Она не жена эмира, она комиссар. У нее есть бумага».

Действительно, теперь Наргис, приехав в любой кишлак, не считала нужным прятаться на женской половине домов горцев. Она приказывала собрать старейшин мусавидов и первым делом показывала им свой мандат, а так как они все были неграмотны, она, выступая как представитель Советской власти, читала им вслух свой документ:

«Предъявитель сего товарищ Джалалова Наргис — военком экспедиционного отряда. Облреэком Самаркандской области поручает ей пересмотреть состав гражданской власти в кишлаках и селах долины реки Зарафшан и всего Кухистана, отстраняя от занимаемых должностей несоответствующих работников, а в случае злоупотреблений предавать революционному суду. Безусловно, все должностные лица должны оказывать тов. Джалаловой полное содействие для успешного проведения в жизнь возложенных на нее обязанностей».

То, что было сказано в мандате, Наргис тут же приводила в исполнение. На собраниях кишлачной бедноты она вела себя открыто и бесстрашно, и ее речь всегда встречалась бурными проявлениями восторга, так как говорила она страстно и призывно. А на случай появления басмачей или людей Селима-паши она клала на стол свой изящный «дамский» маузер с золотой пластинкой на рукоятке, где было выгравировано ее имя и слова: «За храбрость!»

Теперь никто не может сказать, видел ли это именно оружие у нее Мирза, но он не посмел обыскивать ее, и маузер постоянно был при ней, спрятанный в складках ее одежды. Маузер не был игрушкой, и Наргис вполне полагалась на него.

А в последнее время на кишлачных сходках за столом президиума всегда сидел комэск Пардабай Намазов, который ничуть не маскировался какими-то там малахаями или меховыми тельпеками. Он медленно снимал с гладко бритой головы буденновский шлем, устанавливал его перед собой так, чтобы все видели нашивную боевую кавалерийскую звезду с металлической звездочкой посередине, разглаживал седоватые лихие усы и несколько сконфуженно расстегивал шинель, чтобы, распахнув ее, показать всем два ордена Красного Знамени на груди. Недавний батрак не лишен был честолюбивых мыслей и гордился своими боевыми регалиями.

Проверив по шелесту удивленных возгласов, что все узрели ордена, он улыбался себе в усы и горделиво поглядывал на Наргис, поощряя ее: «Все в порядке. Можешь начинать, внучка!»

И это была не беспечность: за его спиной находилась надежная защита. По заснеженным улочкам кишлака

грозными тенями маячили проводник Мерген с бойцами экспедиционного отряда.

Обычно собрания проходили весьма пристойно, тихо, мирно. Старейшины-мусафиды клялись в верности Советской власти и проклинали бухарского эмира. Если в селении обнаруживались посторонние люди, к тому же вооруженные, их немедленно сдавали бойцам эскадрона и разоружали. Сами горцы правили суд и расправу; ибо «нож дошел до кости», и на басмачей в Кухистане давно уже смотрели как на кровавых захватчиков и разбойников. В горах существовал первобытный закон: «око за око, зуб за зуб», а басмачи успели за три года нагромоздить гору горя и несчастий, и теперь горцы поняли, что пришел час расплаты за все: за умирающих с голоду детей, за слезы женщин, за оскорбленных, за убитых.

Смелость и стремительность экспедиционного отряда обеспечивали ему полный успех. Многие селения долины были очищены от людей Селима-паши.

Наргис действовала очень решительно. Все басмачи из местного населения были обезоружены и разосланы по домам с предупреждением больше не попадаться. Некоторые попросились в эскадрон Пардабая Намазова. Но Пардабай мог брать только человека с конем, а коней у населения Матчи оставалось очень мало.

Мерген неохотно объяснял: «У здешних камнеедов и ишака порядочного не найдешь. Всех воры позабировали, а воровской, басмаческий конь, нам не подходит. У всех селимпашинских разбойников кони ворованные, а мы не привыкли на краденых конях ездить. Честному человеку такое не подобает».

А проводник Красной Армии Мерген вроде и не нуждался в коне. Дни и ночи он шагал по оврингам, перебирался через ледяные потоки, взбирался на вершины и даже проникал в расположение басмачей, смотрел и запоминал. И из каждого кишлака отсылал на ту сторону Туркестанского хребта в Уратюбе, или вниз по течению Зарафшана, в Пянджикент, людей с новостями. Каждый шаг басмаческих банд в Кухистане был известен командованию Красной Армии.

В кабинете комкора Георгия Ивановича часто можно было видеть скромно сидевшего какого-нибудь горца с темно-ореховым лицом, с тронутой сединой бородой, с живыми черными глазами, попивавшего чай и что-то рассказывавшего.

А нередко на этом месте оказывался и сам Мерген. Он, прежде чем усесться на стул, обнимал Георгия Ивановича и передавал «салом» от дочки нашей Наргис. Георгий Иванович выслушивал все, с уважением смотрел на кряжистую фигуру Мергена и говорил:

«Я всегда, даже в далекие дни Тилляу, был уверен, что у вас под халатом есть крылья. Где вы их оставляете, на каком привале?»

И было чему удивляться. Мерген мог прошагать за сутки своими саженными шагами по горам шестьдесят верст и в тот же день уйти обратно. Часто, провожая Мергена до окраины селения, Георгий Иванович оставался стоять на возвышенном месте, откуда далеко видна была горная дорога. Долго, долго он следил за могучим странником, пока его силуэт не сливался с черными скалами и не пропадал в густом тумане горных ущелий. Мысленно Георгий Иванович слал поклон нежной, слабой девушке туда, в страну льда и битв, дочери своей любимой жены Юлдуз, которая по-прежнему ждала вместе с сыном его в кишлаке Тилляу.

Нельзя сказать, что матчинский бек равнодушно взирал на дерзкие дела женщины-комиссара. Помимо постоянно находившегося при нем британского эмиссара Мирзы он сам принимал меры, хотя точно не знал, где может появиться Наргис. Посылал группы басмачей на перевалы на перехват, приказывал искать в селениях.

Но зима еще никак не сдавалась. Держались суровые морозы, свирепствовали вьюги, сообщение между кишлаками становилось мукой-мученической. На бекских людей напала зимняя спячка. Они прятались под теплыми сандалами, зарывались с головой в одеяла и кошмы и совсем деревенели. Все они были южане, и холод действовал на них парализующе. Они не соглашались замерзнуть в сугробах или получать пулю в лоб из-за какого-либо утеса. Действовали нерешительно и беспомощно. А поход эскадрона Пардабая Намазова продолжался до весны.

Матчинский бек свирепел:

«С дьявольской хитростью, с сатанинской злобой эта женщина-комиссар наводит ужас на Фан-Дарью, Фальгар, Магиан, Фараб. Женщина-комиссар — мусульманка. Она проклята богом как отступница. Убейте ее!»

Приказ шел за приказом, а Наргис принимала участие в рейдах.

Местные жители, озлобленные зверствами басмачей, радушно встречали бойцов Красной Армии, расстилали на снежных сугробах кошмы и последние одеяла, не боясь, что их порвут тяжелые подковы с шипами, чтобы эскадрон мог пройти через непроходимые перевалы. В продовольствии для красноармейцев и фураже для коней не было отказа. Красный отряд проходил там, где замерзали во льдах басмачи, а басмачи бежали, объятые ужасом при виде островерхих шлемов бойцов Пардабая. Банды басмачей не выходили из состояния панического страха. А продвижение караванов с военным снаряжением для басмачей из Гиссарской долины по фальгарским тропам с приближением весны приостановилось.

Британские уполномоченные потребовали обеспечить безопасность для караванов с оружием, а сделать это Селим-паша был не в состоянии. На всех путях маячила вместе с краснозвездными силами смелая джинья гор или, как тепло ее называли таджики-горцы, — наша Биби-гуль или Цветок-Комиссар.

Всякий раз, когда Наргис возвращалась в свою хижину над зарафшанским ущельем, ее ждал «скудный сухой разговор».

Мирза расхаживал по мехмонхане неслышно, вкрадчиво ступая в своем неизменно белом одеянии, — он считал, что белый цвет одежды и чалмы свидетельствует о чистоте и возвышенности его побуждений — и медленно тихим голосом читал нотации, от которых так и несло кораном и шариатом. Мирза отчитывал Наргис за то, что она своими разъездами по гостям роняет себя — жену халифа — в глазах грубых, невежественных жителей гор. Причем он совершенно не касался выступлений девушки перед населением. Тем более он не упоминал о странных совпадениях действий экспедиционного отряда эскадрона красных кавалеристов и посещений молодой женщиной тех самых пунктов, где подвергались разгрому селимпашинские караваны. Он говорил исключительно о неподобающем поведении столь высокой особы, как эмирша, титулом которой он непременно даже в беседах с глазу на глаз именовал молодую женщину.

А она, скромная, нежная, слабая, сидела в уголке мехмонханы, зябко кутаясь в ватный кашгарский халат, присланный ей в подарок самим Матчинским беком. Щеки нежного лица разгорались пунцовым огнем, гла-

за горели огнем презрения, таинственно гипнотизируя разглагольствовавшего собеседника. Своим нежным горьким голосом Наргис произносила какую-то фразу отнюдь не в оправдание себя.

«Я свободная женщина. Я не арестантка, а ты, Мирза, не надсмотрщик из эмирской ямы-зиндана, и передай, пожалуйста, благодарность беку. Какой роскошный фиолетового шелка халат он прислал. На меху из куницы. Только жаль, что я не смогу надеть его, когда поеду в гости по кишлакам, ибо погода его попортит».

Но думала Наргис иное. К чему ей красоваться в таком богатом одеянии перед бедняками. Нет уж, в стареньком полушубке да еще под паранджой куда как спокойнее. Ну а то, что «братец» Мирза зудит и зудит, ее не беспокоило: «Собака не может не лаять».

Как далека была Наргис от мысли, что смертельная опасность крадучись бродит за ее спиной и что только защита Мирзой ограждает ее от падения в бездну. Она презирала Мирзу, но совсем не боялась.

Наргис сообщили, что она представлена командованием за Матчинскую операцию к высокой награде. Многоопытный и мудрый дед Пардабай не раз, покачивая головой, предупреждал ее. Он любил свою внучку и боялся за нее.

Мирза был рядом. Опасность прежде всего исходила от него. С лицом, побледневшим до синевы, он ходил по мехмонхане. Огоньки коптящих чирагов то разгорались, то почти потухали от развевающихся пол его халата. Чирагов в мехмонхане горело несколько, что должно было показывать, как внимательно относятся к супруге халифа в Матчинском бекстве.

С потерянными видом Мирза нудно бормотал о том, что «отлучки Наргис неподобающи, неприличны, недопустимы, что бек изволил выразить недовольство, что бек не допустит поношения своей персоны даже со стороны супруги халифа, что...»

Распахнув свои густые ресницы, Наргис с яростью взглядывала на Мирзу:

— Братец, ты несносен. От усталости я еле сижу. Я хочу спать. Уйди, пожалуйста. Тебе и так в темноте нетрудно будет сломать ногу на улице в колдобинах... А твой бек, его правительство, воровское правительство, которое стыдится своей власти, но держится за нее без всякого стыда... Мне нет дела до Матчинского бека!.. Иди же!

Поддерживаемый под локти горцами, спотыкаясь о ледяные кочки, Мирза брел по тропинке и шептал проклятия.

Он понимал, что Наргис ненавидит и его, и его дела. И в то же время он ничего не предпринимал, чтобы остановить Наргис, разоблачить, наказать. Он главный эмиссар британской империи, самый необходимый человек в Матче, собирающий силы для похода против большевиков. Мирза возглавлял поход против большевиков. Отсюда; даже в самые глухие уголки Бухары, Ферганы, Сырдарьи, всего Туркестана проникали его шпионы.

И в Матче у него вроде было все в порядке; именно к Мирзе стекались доносы из Гиссара, Каратегина, Гузара, Карши, Старой Бухары, Самарканда. Он знал о всех передвижениях дивизионов Красной Армии, готовивших под руководством комкора Георгия Ивановича штурм бекства. Мирза все знал о людях, близких к матчинскому беку, — курбаши начальников. Мирза был вполне достоин своего места главного эмиссара: энергичный, образованный, насквозь пронизанный не-незуитской дипломатией, алчный, властолюбивый.

Он еще только перешагнул порог власти, некоторые ненавистники говорили, — «только занес ногу», как начал убивать малейшее стремление к свободе в народе. Убивать, не убивая. Потому что сам не убил своей рукой никого.

Своей рукой он не ударил ни кошку, ни собаку, ни птичку.

Не смел поднять он руку и на самого опасного своего врага, на вражеского комиссара, на прекрасную Наргис.

Это не значило, что он отступился от Наргис и бездействовал. Мирза держался восточным мудрецом:

Признаю зло необходимым,
если не неизбежным.

Ненавидя Наргис, но, привыкнув держать ее в подчинении и распоряжаться ее судьбой, Мирза не хотел терять это сокровище.

Мирза с нетерпением ждал весну: солнце все сильнее грело скалы. Все больше снега таяло в ущельях и на вершинах.

Вот откроются большие перевалы, и Наргис отправится в далекое путешествие на юг.

И все, такие сложные, вопросы найдут свое решение. Наргис ничего не подозревала. Она недооценивала способностей своего «брatца».

VI

Ослепла молнией своего
взгляда.
Глядя на нее, лишаются рассудка
от ее красоты.
Из «Кырккыз»

Коль волей напрягается тетива, и муравей одолет льва.

Бедиль

Наргис послала из Матчи вестников, которые, перейдя хребет, пробрались в Уратюбе, на станцию Урсатьевскую, в Ходжент...

И вскоре не кто иной, как командир узбекского эскадрона Пардабай Намазов оказался с наиболее лихими кавалеристами в долине Зарафшана, в окрестностях Обурдона. Как раз в тот день из Фальгара по оврингам и тропам следовала цепочка вьючных лошадей под охраной двух десятков вооруженных. Но они не доехали до Обурдона ни в тот день, ни в другой.

На их пути в маленьком селении, носившем жесткое название Санг-Камень, шел веселый той. Караванщиков пригласили на плов из козленка, сдобренный настойкой из тутовых ягод. Чай заедали лепешками из тутовой муки. Приезжих жители разобрали по домам, потому что в дорожной чайхане стоял мороз тридцать градусов.

А когда утром все протерли глаза, то ни одной вьючной лошади, ни одного вьюка нигде не нашли.

Чтобы на жителей не пал гнев Матчинского бека, чтобы предотвратить кровавую расправу, комэск Пардабай собрал всех участников каравана у мечети и сказал:

— Своих лошадей получите в Уратюбе, когда откроются перевалы. А сейчас, владельцы лошадей, уберите их домой и не смейте помогать басмачам, а то останетесь без голов.

А басмачи Селима-паши, охранявшие вьючный караван из Фальгара, были уничтожены красногвардейцами Пардабая.

— Селим-паша шлет оружие и боеприпасы, а Пардабай отдает их тем, кто хочет воевать против Селима-паши, — говорили горцы.

Жители селения Азноб писали:

«Во имя бога и его пророка, помогите! Выражаем желание и полную готовность содействовать Советской власти — покарать кровожадных тиранов — курбашей — и помогать красным воинам пищей и кормом для их коней, везде и сколько потребуется. А также обещаем везде и всегда бить всяких проходимцев и насильников. Но мы, жители гор, не имеем ружей, патронов и пороха, а потому просим госпожу Биби-гуль походатайствовать перед Советской властью выдать нашим доверенным посланцам оружие. А если Советская власть не сможет выдать ружья и пули с порохом, мы в доказательство нашей доброй воли и чистоты намерений возьмем в руки камни и пойдем бить воров, чтобы хоть чем-нибудь разбить воровские банды и расколоть чашу тирании на мелкие черепки и осколки».

Это письмо горцев, как и все другие, отличалось некоторой живописностью слога. Секрет объяснялся просто: эти письма сочинял по поручению безграмотных горцев постоянный спутник Наргис в таких поездках — поэт и летописец Али.

Совершенно неожиданно он появился в домике ясу-ман и склонился в поклоне перед изумленной Наргис. Она не сочла нужным расспрашивать его о том, как он оставил лагерь Селима-паши, где он, по слухам, состоял в советниках командующего исламской армией, и как он попал в Матчу. Наргис позволила мечтателю и воздыхателю мечтать и воздыхать и... сопровождать ее в тайных поездках.

Поразительно (и, может быть, для него самого), что здесь, в Матче, Али вышел полностью из повиновения Мирзы и истолковал его приказ «охранять жизнь и честь супруги священного халифа» весьма своеобразно. Он бдительно следил, чтобы на Наргис не пал взгляд басмачей, «чтобы и волосок на голове Прекрасной не шевельнулся от «зловонного дуновения» слова какого-либо изверга и мерзавца». Выполняя все прихоти Наргис, Али выполнял и такую прихоть Наргис, как поездки ее по горной стране.

Но Али имел чистую совесть — он не знал и якобы не подозревал, чем занимается Наргис в селениях Ку-

хистана на всех праздничных тоях. Боже мой, его бы хватил удар, если бы он знал про мандат, который имела Наргис. Нет, он не поверил бы своим глазам, если даже прочитал бы текст этого документа.

Комиссар? Наргис — комиссар Советской власти?

Али ничего не знал. А если Несравненная и просила, чтобы он писал этим козлоногим матчинцам письма в Ташкент, чтобы им продали оружие, так это же им было нужно, чтобы охранять свои дома и семьи от воров и разбойников, которых развелось очень много в Кухистане из-за постоянных войн и смятения в соседнем Бухарском ханстве. Да что там рассуждать? Ведь так хочет она, а воля ее для него священна.

О, мюриду остается слушаться

Слепо, образцово, безропотно.

Он же раб, повинующийся ишану!

Своим святым ишаном Али навечно определил для себя Наргис.

Али страшно уставал, разъезжая с Наргис по заснеженным горам. Добравшись до окраины селения в горную мехмонхану, Али вешал на колышек свой маузер, очищал кукурузный вареный початок, выбивал из тыквянки немного зеленого наса и звучно «сербая», пуская слюну, заправлял его в рот.

Жевательным табаком Али отгонял мрачные мысли: что там делает в селении его повелительница? Не наткнется ли она там на людей матчинского бека? Он прислушивался к звукам, доносившимся сюда, в чайхану, состоявшую из шаткого камышового навеса, продуваемого всеми ветрами вершин Зарафшанского и Гиссарского хребтов.

Но нет — все тихо. Пряча замерзший нос в отворот шубы, Али попивал обжигающий губы чай и бормотал:

У каждой должности человек;

У каждого человека — дело.

Он доволен своим делом. Хоть он и сознает: «Слова твои горьки. Их проглотить». А эти горькие слова он слышит от Наргис очень часто:

«Али, вам нечего ездить за мной! Знайте, что жизнь — забава и игра».

«Забава? Игра?» Нет. Для Али жизнь — его мечта. Он верит: наступит час — и он вырвет ее из этого страшного Матчинского бекства. А пока что:

Выслушиваем мы ее приказания
и повеления

Ухом разума
и слухом души!

VII

О, зло вселенной вечное —
война!
Земля слезами от тебя полна.

Фирдоуси

Георгий Иванович, Пардабай Намазов и Баба-Калан высадились из теплушек с бойцами на станции Урсатьевская. Вдали, на юге, синели горы, новобранцам предстоял путь туда, за эти горы, в Матчинское бекство. Красноармейцы, прибывшие из России, да и командиры-туркестанцы смотрели с перрона на юг, на синие горы. Впрочем, горы не просто синие: тона красок, фиолетово-голубые, ярко подчеркивались белыми снеговыми вершинами, врезавшимися в черные далекие тучи.

— Горы-то синие, — скептически протянул командир эскадрона Пардабай Намазов, — да за синими далями черным-черно.

— В каком отношении, товарищ Намазов? — спросил командир корпуса Георгий Иванович.

— Во всех. Первое — за этими сине-голубыми хребтами Черная Матча. Та самая, которая полюбилась господам чемберленам да черчиллям. Та самая Матча, о которой эта газета «Тимес» (он так и произнес) писала, что Матча, то есть Матчинское бекство — острие кинжала в грудь большевистской России.

— Во-первых, не «Тимес», а «Таймс»... Во-вторых, пусть тучи — трижды черные, они нам не страшны. Мы знаем и прибыли сюда, чтобы их развеять.

Георгий Иванович, Пардабай и Баба-Калан прогуливались по перрону станции Урсатьевской. Кроме красноармейцев, тут же, на перроне, толпились пассажиры.

Они заботливо и в то же время немного скептически поглядывали на бойцов с красными потными лицами, сметившихся у вагонов. Все на бойцах было по форме; за исключением... Да, на ногах красноармейцев, прибывших эшелон из центральной России, были не сапоги, а плетенные из лыка лапти.

Как бы оправдываясь, командир, сопровождавший эшелон из России, сказал:

— Чтоб этих интендантов разорвало, чтоб их...—и выругался и покраснел под взглядом Георгия Ивановича: «не буду, не буду!»—В приказе сказано не выражаться, значит, не буду, хотя послать кое-кого... и подальше не мешало бы. Как мы полезем на эти синие со снегом горы, когда все без сапог? Сказали в Самаре — кожи в Туркестане—завались! Сапоги даже на верблюдов шьют. А новобранцев в эшелоны погрузили вот так... вот в этих самых... Вы говорите — утром выступать. Что, так в лаптях и пойдем штурмовать перевал Шахристан? Говорят, он высотой с этот... как его... еще в географии... Монблан. Здорово! Британскую цитадель будет крушить воинство в лаптях.

— И сокрушит... Ребята один к одному, боевые. Не знаю, как стреляют, а вот драться мастаки. — Георгий Иванович посмотрел на горы. — Придется туго. Перевалы закрыты. Видишь, все бело, все в снегу... Сейчас и ишак там не пройдет. Мы ударим внезапно. Пока нас не ждут. В прошлые разы... промедлили. Так ни с чем из-под Обурдона и возвратились... Если теперь неудача — Халбута окончательно задерет нос.

— И без носа останется,— мрачно сказал командир. Кому, как не ему, было знать о трудностях операции. Он разглядывал бойцов. В их глазах, в их бойких, размашистых движениях было столько оптимизма и энергии! Все это были восемнадцати-девятнадцатилетние юноши, почти мальчики, — батраки, бедняцкие сыны, рабочие-подмастерья: по сути дела первый призыв в Красную Армию. Мобилизованные почитали за честь идти сражаться под Красным знаменем за свободу народов Востока.

Кого ни спроси из этих безусых пареньков, что он думает сейчас здесь, на перроне степной станции Урсатьевская, находясь в трех тысячах пятистах верстах от своего родного Тамбова или Харькова, и каждый, даже не слишком грамотный, а то и вовсе неграмотный, сразу же бойко отрапортует:

— Сражаюсь за Октябрьскую революцию! Долой белогвардейскую сволочь! Долой буржуев и капиталистов!

Когда разгрузка эшелона закончилась, паровоз еще долго свистел, прежде чем угнать состав. Машинист салютовал бойцам-«лапотникам», готовящимся к походу в горные дебри.

— Ну, господин бек, почтеннейший Саид Ахмад-ход-

жа, ну, господин Халбута, на сей раз вам — каюк. Накормим вас по самое горло, — заметил Георгий Иванович. Он смотрел на синие пирамиды гор, на снежные вершины, которые особенно четко вырисовывались на фоне свинцово-черных туч. — Быть непогоде. Даже ураганам. Но на этот раз вы, господа, не высидите. Никакие английские империалисты вам не помогут. Никакая погодка вас не оградит от красноармейского штыка.

На сей раз их старый знакомец ханжа и хитрец матчинский бек Саид Ахмад-ходжа и Халбута, безусловно, попались. Стало известно, что окруженные конниками 32-й бригады одиннадцатой кавдивизии и прижатые со своими пятьюстами аскерами в районе кишлака Аучи, они бежали через перевал Обурдон в верховьях Зарафшана в страну горных вершин Матчу. Здесь, среди гор, ледников и скал, басмачи делили в захваченных мирных уратюбинских кишлаках награбленное имущество, девушек и женщин. Забравшись под ватные одеяла и кошмы, обогреваясь огнем очагов, питаясь очень плотно пловом и шурпой из мяса захваченных в Хаватской степи баранов, наслаждаясь прелестями полонянок, курбаши со своими бандитами спокойно зимовали в расчете на будущие походы. Комкор Георгий Иванович знал от беглых чернобородых, огненноглазых матчинцев даже о том, что господин превосходительный бек Саид Ахмад-ходжа и его главнокомандующий Халбута на большом плове совещались о будущем походе и похвалялись: «Что из того, что народ в Матче бедный. Мы опять в Хаваст пойдем, в Бегават, Заамин. Земля там богатая: закопай узбек рваный сапог — десять пар лаковых вырастет.

— Что из того, что мы ушли из Хаваста, — сказал Саид Ахмад-ходжа, хотя он едва унес ноги под ударами клинков красных кавалеристов. — Мы люди, угодные богу, удачливые. Мы такую добычу привезем! Мы здесь, в Матче, в безопасности — никто сюда не пройдет зимой. Разве мужик полезет на горы? Мужик привык к равнине. Мы — горные люди, мы где угодно пройдем».

По самым скромным планам Саида Ахмада-ходжи летом будущего года он во главе непобедимой исламской армии победоносно вступит в Ташкент и покончит с большевиками в Туркестане.

— Сколько у меня воинов! — ударяя себя в грудь кулаком, восклицал Саид Ахмад-ходжа, красный от возбуждения и мусалласа. — Сколько у нас патронов

и новых винтовок! Друзья англичане не забывают нас. Красные кавалеристы смотрят только вперед меж ушей своих лошадей и не видят, что через горные перевалы, по тайным тропам, нам везут оружие. Да у меня столько винтовок, что можно вооружить сотню тюменей. Со священным возгласом «бисмилло!» пойдем против ташкентских большевиков и победим. А до весны отдохнем. Будем на соколиную охоту ездить, перепелиное пенге слушать, жен ласкать...

Командующий Халбута и молчаливый, весьма мрачный эмиссар британцев Мирза всегда были вместе. Неудомимо, вдвоем с небольшой охраной они рыскали по заснеженным перевалам и обледенелым оврингам, неудомимо карабкаясь из одной горной «дехи» в другую, пробирались в занесенные по крышу каменные хижины, расталкивая пребывающих в зимней спячке заросших, почерневших лицами матчинцев, толковали с ними, иногда выгоняя их из жизни и заставляя чистить и смазывать оружие, повторять воинские приемы. Но где уж там было думать о воинской дисциплине, когда снег завалил улочки и каменные хижины так, что кишлак можно было найти среди сугробов лишь по синим дымкам да по замерзшим экскрементам и пятнам желтой мочи, когда мороз убивал на лету птиц, когда на овринге деревянные бревна превратились в сосульки, когда в стоящей колом тишине вдруг вздрогнешь до замирания сердца от грохота лавины, обрушивающей в ущелье миллионы и миллионы пудов снега и камня.

Молчаливо ездил Мирза вместе с Халбутой по таким горам, тщательно кутаясь в лисью шубу и глубоко насунув на уши и лоб свою лисью шапку. Но как мерзли ноги! Холод проникал до мозга костей, и Мирза был готов выть от боли, так пронизывал его мороз. Иногда, не выдерживая молчания, преодолевая свое презрение к дикарю, каким он считал командующего исламским воинством Халбуту, он снисходил до разговора с ним. Мирза, воспитанный в лучших медресе Стамбула, почитал и уважал в себе аристократизм и имел самые изысканные привычки. Он любил утонченное обращение и восточный комфорт. И ему претили грубые слова из пасти курбаши Халбуты, неотесанного горца, его грубое рыканье и густые кислые запахи, исходившие от его шубы. Но жизнь есть жизнь. Судьба заставила интеллигента Мирзу жить рядом с «дикарем» и даже жаловаться ему на судьбу и превозносить себя.

— Судьба! Мы, наверное, с вами герои, героизм которых превышает героизм великих батыров прошлого! Почему? — простодушно бросил Халбута.

Говорили и он и Мирза с трудом. Ветер с Зарафшанского ледника дул прямо в лицо, швырял острые, колючие снежинки, слепил, леденил губы и пробирал до костей даже через лисью шубу Мирзы.

Но Мирза не удостоил Халбута ответом, а сам думал, что он, сколачивая воинство по указанию и инструкциям своих хозяев британцев и проповедуя высокие взгляды и идеи о великом исламе и создании тюркской империи, получает за это настоящими фунтами стерлингов и золотыми гинейми. Такие мысли согревали ему душу: ведь у него на лицевом счету в одном банке, в некоем государстве лежит сумма... Боже, но как страшно на овринге, по которому он плетется, ведя под уздцы облепленного мокрым снегом коня. Халбута только что смахнул с глаз коня снежные пробки и сам плетется, едва переставляя одеревеневшие от мороза ноги, стараясь осторожно, с ужасом в душе, ставить подошвы на скользкие жерди, в прорехи меж которыми, далеко-далеко в пропасти, бешено крутятся какие-то белые звери, лохматые, бешеные. И даже не слышен рев воды, так далеко внизу мчится Фан-Дарья. И может в одно мгновение умчать Мирзу, и его идеалы, и его банковский продажный счет.

Воистину, стремясь к славе,
мужчина сам убивает себя.

Достаточно одного неверного движения, достаточно обледеневшему сучку подломиться, достаточно неловко непослушным телом зацепиться за заледеневшую каменную стену и.. Все может рухнуть в бездну, в мрак... И ради чего! Ради высоких целей! Ради идеалов! Какие там цели и идеалы? Не пора ли перед лицом смерти отдать себе отчет в том, что ты никакой не великий герой, не спаситель ислама и страны тюрков, а просто продажный наемник, пошедший на все эти мучения, страдания, бесконечные лишения за пригоршню золота. И в тот момент, когда жерди зловеще трещали под ногами, а буран слепил глаза так, что не видно было, куда поставить ногу, Мирза, забыв, что он герой и борец за великие идеалы, что ему хорошо платят, ругал себя за то, что полез в эту авантюру.

Он готов был все отдать, лишь бы избавиться от гнусного, липкого страха на этом ужасном овринге.

...О том, что Мирза в Матче, что он состоит эмиссаром англичан при беке Саиде Ахмаде-ходже, что он является главным идейным вдохновителем независимости Матчинского бекства, Георгий Иванович знал из писем и устных «депеш» Наргис, принесенных ему матчинцами.

Георгий Иванович знал, что Мирза — опасный враг. Именно потому Георгий Иванович и получил назначение сюда, в Матчинскую экспедицию. Наряду с лозунгом: «Даешь Матчу!» — у комкора в душе был свой лозунг: «Даешь Мирзу!»

Нет, решил комкор: на этот раз Мирза не уйдет. С юга, со стороны Душанбе, дороги закрыты. Через ледники на западе, через Каратегин в Фергану не пробраться. Да, «мрачный гений интриг» наконец попался.

Но чтобы добраться до Мирзы, предстояла сложная военная операция в неприступных горах.

— Никто не ходит в это время в Матчу, никто не выходит из Матчи, — сказал Баба-Калан. — В год черепахи, когда от землетрясения упал купол малого мазара, мой отец Мерген прошел через Обурдон, и то не ехал, а держал коня на поводу. Шел неделю пешком, когда летом там можно пройти за день.

Сам Баба-Калан всего месяц назад, когда в горах и на перевалах еще настоящая зима, ходил в Матчу по заданию командования. Он носил письмо беку Матчинскому Саиду Ахмаду-ходже, — ультиматум, в котором беку предлагалось выдать курбаши Халбуту (Халбуту должны были судить за зверства во время его разбойничьих набегов) и английского лазутчика и эмиссара Мирзу.

Баба-Калан один пешком перебрался через горные хребты, блуждал по горам в тумане. Выдержал снежный буран. Чуть не замерз, но отсиделся под снегом, питаясь сухой ячменной лепешкой, ссохшейся в камень, пробрался в кишлак, к Саиду Ахмаду-ходже и смело встретился с ним, хотя, по словам Баба-Калана, — воскуривать благовония для кучи дерьма бесполезно и безумно смело, потому что матчинский бек, чувствуя полную безнаказанность, попросту приказывал перерезать глотку всем парламентарам. Но молодой командир Баба-Калан был очень уважаемым человеком в селениях на северных склонах Туркестанского хребта,

его знали и в Ташкенте, и в Фергане, и в Самарканде. И поэтому ни Саид Ахмад-ходжа, ни владетельный бек, ни Халбута, командующий исламской армией не посме-ди пальцем тронуть Баба-Калана. Они понимали: «старый вол топора не боится». Саид Ахмад-ходжа и Халбута, усадив этого могучего батыра, с тревогой и даже со страхом смотрели на него. Они написали ответ, гру-бый, наглый, и отпустили Баба-Калана, надеясь на то, что он погибнет в какой-нибудь пропасти или расщели-не ледника. Но Баба-Калан вернулся гордый, окрылен-ный тем, что выполнил задание командования Красной Армии. Баба-Калану повезло: Мирзы в кишлаке не было.

Мирза не посчитался бы с такими пустяками, как законы гостеприимства. Он не дал бы Баба-Калану уй-ти целым и невредимым, хотя бы потому, что поход его через снега и ледники Туркестанского хребта показывал командованию Красной Армии, что такой человек, как Баба-Калан, пройти может. А там, где пройдет один, — пройдут и тысячи.

С Мирзой Баба-Калан не встретился, а вот с сестри-цей, как это ни невероятно, — повидался.

...Из Ташкента, с высокого места, в хорошую пого-ду, виден перевал Обурдон. Синие Туркестанские горы стоят стеной. За стеной Матча, а к югу от нее за непри-ступными горами столица Таджикистана Душанбе. Мат-чинское «независимое» бекство по территории с неболь-шой старый уезд с малочисленным населением. У бека Саида Ахмада-ходжи вдруг оказались не только золотые червонцы, а целый арсенал отличного, новейших систем оружия, и «армия» отборных воинов, и главнокомандую-щий, бойкий пронырливый Халбута, отъявленный бандит.

На счету Халбуты и его аскеров — налет на окрест-ности Уратюбе, где они растерзали бригадира Хават-ского сельского кооператива за то, что он осмелился се-ять хлопок, увод в плен двух несовершеннолетних де-вушек и разграбленный кооператив.

Шайка поплатилась за свои преступления. В бою Халбута был разбит и бежал в Заамин. Там он устро-ил поджог хлопкозаготовительного пункта, убил стари-ка, работавшего тридцать лет приемщиком хлопка и приказал воткнуть его голову на шест у ворот сельсо-вета. Подоспевший из Джизака эскадрон Пардабая вступил в бой с шайкой.

Бросив пятнадцать убитых, четыре лошади, шесть винтовок, Халбута бежал со своими басмачами в Мат-

чу. Этот набег в своих возваниях и листовках Мирза изобразил как торжество исламского оружия.

Не будем забывать, что в 1922 году вся Восточная Бухара оказалась в руках басмачей, что в январе командование Красной Армии вынуждено было вывести гарнизон из Душанбе и что пришлось отводить с боями воинские части до Байсуна. Упорные бои велись всю дорогу. Обстановка осложнилась тем, что в районе Бухары появился курбаши Абдукагар с большой шайкой. Вот почему, несмотря на серьезные неудачи, Халбута задирает нос, а Мирза сочинял победные репортажи.

Но тяжелый 1922 год прошел. Красная Армия ликвидировала Энвера. Душанбе был вновь в руках Красной Армии. И Матчинское бекство оказалось в окружении.

Солнце в тот день сделалось шафрановым, а небо яхонтового цвета, и Баба-Калан счел это хорошей приметой для начавшегося похода.

Выступили в поход. Проводником был крепкий старик уратюбинский, у которого Халбута украл и опозорил дочь.

— Убью Халбуту! Убью опозоренную дочь! — время от времени, сжимая винтовку, восклицал старик.

— Кончать надо с басмачами! Поможем Красной Армии, чтобы ни один негодяй не ушел из ловушки! — заключил Баба-Калан.

— Но там целое бекство! Там войско ислама! — заговорил шагавший рядом с Баба-Каланом приземистый чернобородый крестьянин, тоже доброволец. Мирный из мирных дехкан Заамина, он еще никогда не испытывал свою храбрость. И потому Баба-Калан старался его поддержать:

— Подумаешь, бек Саид Ахмад-ходжа! Он блоха на теле слона. Красная Армия свергла такого могущественного бека, как эмир Бухары, и ни одна собака не тявкнула, а тут!..

Баба-Калан поддерживал в бойцах бодрость на трудных горных тропах. Поход затягивался: враг прятался. Не произошло ни одной стычки, не прогремело ни одного выстрела среди чудесных весенних сине-зеленых долин. А командир жаждал боя.

В бою один шаг равен ста годам пути.

Российские новобранцы шли по крутым каменистым тропам все выше в горы.

VIII

— 115 —

Твоя пасть пахнет кровью
твоих жертв,
О кровопийца!

Феридун

Не утесняй ни в чем
народ простой.
Народ обидев, вырвешь
корень свой.

Саади

На опасной тропе в горах были двое — Баба-Калан, проводник, комиссар, сын Ивана Петровича Алексей-ага, как уважительно звали его бойцы мусульманского красногвардейского отряда. Знали они друг друга с детства, с кишлака Тилляу.

Сейчас, когда конь делал рискованные пируэты на тропинке, скользкой от нарастающего льда, Алексей-ага думал совсем не о том, о чем надлежит думать в таких рискованных ситуациях. Шагавший впереди, тяжело и твердо, Баба-Калан ворчал:

— Туча бросает дождь и снег. Тропа кидает в пропасть камни. Слышишь, командир, пока камень долетит до дна ущелья, можно сосчитать до одиннадцати... Большая высота! Кто упал туда, вниз, — мертвец. Надо молиться богу, а не предаваться суете. Клянусь быком, на рогах которого держится земля, не разговаривай. Вот приедем на перевал, тогда спрашивай.

Суеверия и легенды горцев будто полностью завладела Баба-Каланом, который и к грамоте приобщился в Самарканде, пожив в семье доктора Ивана Петровича.

С таким собеседником разговаривать все равно что гвозди в камень забивать. Трудно!

И все же Алексей-ага задавал вопросы Баба-Калану. А тот шел по самой кромке тропы над бездной с таким спокойствием, ставил свои ступни в разбитых временах и дорогами порыжевших мягких сапогах-чарыках — с такой уверенностью, будто находился на ровной степной дороге. Он прямо держал свою широкую спину, поддерживая ее посохом, продетым под локтями. Его синяя с блестками чалма была аккуратно повязана на голове поверх буденовки. Его отличные густые усы выглядели очень воинственно.

Баба-Калан говорил Алексею-ага:

— Смотри не на небо, а на гору: на небо нечего смотреть! Смотри, комиссар, под ноги. Не зазевайся.

Зазеваешься — твой час пробил. Твой конь, командир, — я уже посмотрел, — хороший, легконогий, вырос на горных перевалах. Твой конь знает, куда ставить на тропе копыто. Не дергай только узду. Не мешай коню. Конь тоже знает: зазевается — и пойдет тогда на казы, у нас так называется конская колбаса.

Все это Баба-Калан говорил, не оборачиваясь. Голос его гудел карнаем, но временами штормовые порывы относили гудение в сторону пропасти. А ущелье рядом. Алексей-ага уже заглянул в ущелье. Оно было таким глубоким, что стоявшие на дне его две юрты, посреди снеговой площадки, казались двумя маленькими караваемися хлеба, а женщина, видимо, пекшая лепешки в тандыре, — маленьким красным маковым цветком. Синий дымок, поднимаясь маленьким прозрачным столбиком, оставался где-то внизу.

— Да... свалиться вместе с конем на голову прекрасной даме. Вот переполоху наделаешь, — сказал Алексей-ага.

— Переполоха не будет. Только прошу, не мешай коню идти по тропе.

И хотя конь его Васька, казалось, был привыкшим к горным тропам, на сей раз он не был спокойным. По дрожи в боках, в угловатом шаге, в недовольном громком фырканье, в передергивании густой холкой чувствовалось, что конь недоволен дорогой, что он трепещет перед бездной и предельно напряжен и осторожен.

И всаднику надлежало испытывать то же на опасной дорожке, круто ведущей к перевалу. Но Алексей-ага не мог сдержать любопытства. Он понимал, что Баба-Калан много знает о Матчинском бекстве и потому хотел выспросить его обо всем.

Разговор шел о главарях басмаческой банды, засевшей в верховьях Зарафшана и вот уже шесть лет не дававшим покоя многим уездам Туркестанской республики. Расспрашивал Алексей-ага Баба-Калана и о беке Саиде Ахмаде-ходже, провозгласившем себя, по совету британцев, даже царем Кухистана, то есть всей горной страны, и об отчаянном вояке и разбойнике Халбуте, возомнившем себя командующим исламским воинством. И Саид Ахмад-ходжа и Халбута были хорошо известны Баба-Калану. Он не раз ходил через Шахристан и Обурдон в Матчу, видел и слышал и того и другого. И был о них самого что ни на есть невысокого мнения:

— Забрались за поднебесные горы. Сидят за стеной из камня и льда и воображают, что они недостижимы. Людей убивают. Камешек из пращи Халбута в лоб попал. Трех матчинцев казнили.

Живут горцы очень стесненно. Хижина у матчинца маленькая, в одну комнату, как нора, и с семьей в ней не повернуться. А тут еще по одному аскеру, а то и по два зимовать в такую хижину Халбута затолкнул. Зверем взвоешь, когда разбойник привязывает у тебя во дворе к коновязи лошадь, а седло тащит к тебе в комнату, где негде и подушку положить.

Наши горцы терпят пока. Но знай: достаточно одному зюлькарнайну со звездой на шлеме показаться из-за перевала, и весь народ скопом навалится на Санда Ахмада-ходжу и на Халбуту. Голыми руками их задушат, лозой из тальника засекут, камешками, во что детишки играют, головы пробьют. Не побоятся халбутинских пулеметов. Не обратят внимания на их двенадцатипульные винтовки. Не посмотрят...

Тут произошла пауза в разговоре. Пришлось пробираться по оврингу-карнизу, сложенному из нескольких длинных жердей, воткнутых в расщелины скал. Хворостяной настил прыгал, дышал под ногами, и сначала с весьма неприятным замирием в желудке Алексей Иванович даже подумал, что конь дальше не пойдет. Но Баба-Калан предложил комиссару спешиться и пройти по хворосту овринга пешим порядком, а коня позвать: конь сам придет.

С замирием сердца, осторожно передвигая ноги, пронизанные отвратительной слабостью, Алексей Иванович пробрался по двадцатиметровой «дьявольской» тропе, вспоминая тех путешественников прошлого, которые не стеснялись молиться, перебираясь через пропасть. Когда он наконец сделал, казалось, последний шаг и умудрился поскользнуться на заледеневшем камне, его, словно ребенка, подхватил Баба-Калан, стоявший наготове, и поставил на безопасное место:

— Не надо, комиссар, — сказал Баба-Калан. — Не надо падать, когда уже путь пройден. А теперь позовем коня. Посмотрим, чего он стоит. А ну, позови его сам.

Пожав руку Баба-Калану с большим пылом, Алексей-ага повернулся к оврингу и снова почувствовал, как комок подступает к горлу при виде этих ледяных жердей, окутанных пеленой снежинок, этого мрачного, лишь временами открывающегося бездонного провала с кро-

шечными юртами, вдруг освещенными неизвестно откуда полившимися лучами весеннего солнышка. Но это освещенное кочевье нисколько не бодрило, а вселяло ужас: сколько лететь до этого тандыра, до этой веселой травы!..

Алексей-ага громко позвал: «Васька» — и по особому зачмокал губами. Конь призывно заржал, стрянул снег с гривы и, рубанув лед несколькими ударами копыт, так что льдинки посыпались стеклянными верером, вдруг почти рысью побежал по оврингу. Только успел Алексей-ага застонать, охнуть, а конь уже терся теплой мордой о его щеку, сопя ему в лицо и фыркая.

— Вот это да! Это настоящий конь «шабру» — «лицо ночи», он пройдет по любой дороге и во тьме, и в тумане. С таким конем ты, Алеша, не пропадешь даже в Матче.

— Заслужил! Заслужил, Васек! — сказал растроганно Алексей-ага. А конь Васька, получивший кусочек рафинада, — сам комиссар пил чай без сахара — стоял спокойно, с достоинством беря мягкими губами очередной кусочек.

IX

Вора три дня долина прятала, триста дней горы скрывали, а все равно попался.

Таджикская пословица

Тебе не суждено удержаться на троне. Сначала должны лечь десятки тысяч трупов: я сам завалю ими мое ханство.

Шакир Ургуту

Величие гор подавляет. Горы, устремленные в высь небосвода, делают мудрыми даже тех, кто не умеет в обычной жизни развязать узы своих страстей.

«Развязать узы страстей». Кто из философов так сказал? Баба-Калан! Баба-Калан — настоящий философ!

Только здесь, среди горных вершин, крутых склонов, пропастей, долин комиссар Алексей Иванович постиг смысл этого философского утверждения. Как человек разумный, он отлично понимал, что поддаваться чувству мести нельзя. Мечь ослепляет, а слепому трудно управлять собой, своими поступками. Ему, на ком лежит ответственность в походе за жизнь полутора тысяч бойцов и за исход операции, следует ли подчинять

свои поступки желанию отомстить предателю? Не слишком ли дорого стоит эта личность — господин Мирза.

Но Алексей Иванович не мог полностью справиться с собой, «не мог развязать узы страстей».

Глухая злоба не проходила. Даже лежа на ледяном склоне, кутаясь в грубо-суконную шинель, он не мог прогнать зеленоликий образ, который преследовал его во сне.

Но тяжелую дремоту вообще трудно назвать сном. Хочется спать, но от усталости не спится. А тут еще вдруг золотой луч прижег щеку.

Оказывается, наступило утро — самое неподходящее время для зловещих снов. Солнце ослепительным светом внезапно озарило склоны и снеговые великаны.

Воздух согрелся. Пухлые кучевые облака встали над перевалом золотисто-розовой горой. У всех повеселело на душе. От мрака, снежных вихрей, бурана, тяжелых предчувствий не осталось и следа. Комиссар Алексея-ага ощутил самый настоящий голод. Чаю не кипятили. Где тут разводить огонь? Поели вареной баранины, погрызли сухарей.

— Подъем!

Впереди идут проводники. От лошадей они отказались. Баба-Калан подобран и энергичен, полы его шелкового халата, вытканного и сшитого еще дома, заткнуты за бельбаг — поясной платок, чтобы дать свободу ногам. Грудь открыта, плечи развернуты, из могучей глотки несется песня... В чалме — багрово-желтый тюльпан. Баба-Калан успел пробежать вверх по склону и сорвать мимоходом несколько дивных цветов. Преподнес своему брату комиссару Алеше-ага, а один оставил себе.

Идти стало легче. Вроде и тропа стала не такой крутой.

Прошли по улочкам какой-то заброшенной летовки, сложенной из дикого камня. Никто не показался в проломах, никто не выглянул из-за трухлявых калиток.

Протянулся блестящей змеей горный поток: значит, в горах не так холодно.

Цепочка бойцов, бодро, с шуточками запрыгала по камням на другой берег. Никто не поглядывал на горы. Все уже привыкли к мысли, что басмачи, если они и есть в горах, не решатся мешать продвижению колонны.

Расправив грудь, вдыхая горный, свежий воздух, бойцы то поднимались вверх, то сбегали вниз. Подъёмы, спуски. Но никто и не жаловался, хоть им внове

горы. Все они со Средне-Русской равнины или Татарии.

Немного страшноваты ущелья. Стены прямо упираются в небо. Если басмачи заберутся на верхушку стены и начнут бросать камни, всех перебьют и поувечат... Но тихо. Лишь плещутся воды потока в камнях.

На коротком совещании принимают решение о дальнейшем пути и боевой готовности. Слово берет Баба-Калан. Его не видели среди добровольцев-матчинцев все утро.

— Мы прошли вперед, за Басманды, — говорит Баба-Калан, — в темноте. Я ходил посмотреть, не побежал ли кто из Басманды на Шахристан, на перевал. На перевале есть снеговая хижина и пещера. Там обязательно сидят проклятые халбутинские караульные. Мы подумали — кто-нибудь тут, в кишлаке, сидит, смотрит в сторону Уратюба, не идут ли оттуда красные...

— Откуда вы знаете про караул... на перевале, — спросил Алексей Иванович.

— А Халбута хитрый. Он всегда караул там держит. Сколько раз я ходил через перевал, там всегда меня хватили за шиворот: «Куда идешь?», «С чем идешь?», «К кому идешь?» Шесть лет там караул сидит. Никого не пропускает, никого не выпускает. Стражники сидят, мерзнут, но смотрят зорко.

— Кого-нибудь из кишлачников ночью видели на дороге?

— Один прятался в камнях, полз туда, но... далеко не уполз.

— Где этот... как его, лазутчик? — спросил комиссар.

Лицо Баба-Калана как-то странно покривилось, усы зашевелились, но слов разобрать было нельзя, то ли от резкого ветра, задувшего к вечеру, то ли потому, что Баба-Калан сильно разволновался. Чернородый зааминец, переступая с ноги на ногу, в своих мукках, мялся и робко поглядывал на Баба-Калана. Он слишком уважал его, чтобы заговорить первым.

— Хм, — откашлялся Баба-Калан, — этого человека никак вам, командир, не сможем доставить. Хм! Его нет.

— Где он?

— Его... совсем нет.

— Напрасно. Мы с ним поговорили бы, допросили... Он много рассказал бы. А теперь?.. За самоуправство вас по головке не погладят, — сухо заметил комиссар.

— Он дрался, кричал. Потом он хотел стрелять... Ес-

ли здесь, на дороге, выстрелить — эхо очень сильное. На перевале, в снежной хижине слышно.

— Сколько людей в карауле? — спросил Алексей-ага.

— Три-четыре человека.

— Пулемет у них есть?

— Осенью не было. Двенадцать басмачей с пулеметом «Максим» живут на той стороне ниже, под перевалом в Варзиминоре. Если услышат что-то про перевал, сразу сядут на лошадей и за час поднимутся наверх к Матче.

— Откуда у вас такие сведения? — с недоверием протянул Алексей Иванович. — Больно много вы знаете.

— Э, зачем так говоришь? Мы — Баба-Калан. Все нас знают. На этом базаре, что называется жизнью, поступай честно. Сам видел. Если эти двенадцать успеют на перевал да там три-четыре человека — все отличные мергены, стреляют метко — тогда нам с этой стороны не забраться на Шахристан... Много народу они, подлецы, перестреляют...

— Постараемся, чтобы не перестреляли.

— А пока будет стрельба на перевале Шахристан, за самим Халбутой йигита пошлют. У Халбуты семьсот аскеров да пулеметы. В прошлом году Халбута нас на перевал и не пустил до снега... Там такие места. Засядут в ущелье два-три стрелка — никого не пустят. Тогда наши даже из пушки стреляли, ничего не вышло.

— Баба-Калан — молодец. Не дал поднять тревогу. Вот только... А если из кишлака еще кто-нибудь пробрался или поберется?

— Нет. Теперь мы дорогу проверили до самого Шахристанского перевала. Наши люди там в укромных местах сидят, смотрят... И даже если Халбута пообещал кому сто рублей, никто не пойдет. Золото у него, как у того, в горле застрянет.

— Сколько вы говорите, он обещал соглядатаю? — спросил комиссар.

— Десять импералов, настоящих золотых импералов. За один имперал на Матче можно корову купить, вот с таким выменем! — Баба-Калан развел руки, чтобы показать недоверчивому комиссару, какую можно сделать приятную покупку на золото, обещанное Халбутой.

— Халбута, — заметил комиссар, — знает толк в

горных операциях. На храбрость своего сброда он не слишком надеется. Станут ли его йигиты конечности обмораживать просто так, по приказу бека или курбаши. Вот золото — это да. Ну, наше счастье, что воевать в горах умеет не только Халбута, но и Баба-Калан.

Уже в сумерках отряд оставил развалюхи бывшего кишлака, выставил охрану в тылу и углубился в горы. Темнота густой, холодной, сырой лавой выползла из всех щелей в долины. Еще в синем небе розовели снеговые шапки гор, а бойцы ползли, карабкались по зигзагообразной ледяной тропе вверх.

Ничего не видно. Под ногами то твердая скала, то зыбкий щебень и песок.

Тихая команда по цепи:

— Стой! Не курить!

Начался дождь со снегом. Руки зябнут. В темноте чуть слышны окрики. Ничего не понять. Но надо сидеть смирно, не шевелиться. Откуда-то сверху зашуршали камешки. Залаяла не то собака, не то лисица. Небо чуть светится. Дождь холодный, нудный. Вода струйками течет за воротник.

Тихие, чуть слышные шаги. Голосом, явно знакомым голосом Баба-Калана тьма зашептала:

— Видишь, комиссар, впереди черная стена? Видишь? Это тот самый Шахристан. Седловина перевала. Видишь огонек?

Алексей Иванович напрягает глаза. Но капли дождя попадают на пенсне, и все затуманивается. Комиссар не видит никакого огонька. Может быть, это обман, самовнушение, но какое-то красноватое пятнышко вроде теплится на черном верхнем краю стены.

— Не вижу ни черта! Вам мерещится, Баба-Калан, — возражает Алексей Иванович.

Интересно, Баба-Калан обращается к нему, комиссару, на «ты», комиссар всегда говорит Баба-Калану «вы». Баба-Калан вовсе не такой мужлан, чтобы говорить грубо. Он никогда не скажет «ты» человеку, который старше его. Не скажет «ты» соседу, базарному собеседнику. Он говорит «ты» брату, другу, уважаемому человеку. Для Баба-Калана Алексей Иванович, которого знает с детства, как родной брат.

— Посмотри еще, Алексей-ага. Не спешి говорить «нет». Там, на перевале, огонь. Там в караулке у халбутинцев горит светильник. Халбутинцы беспечны, как

воробушки. Смотри, командир, хорошенько. Сейчас пойдет снег, все затянет. Огня больше не увидим.

Скрипучий, простуженный бас произнес во тьме:

— Товарищ командир, посмотрите еще раз. Огонь действительно горит!

— Кто это говорит? — спросил Алексей Иванович.

— Мы боец второго батальона, связист Матраков. Из Сорочинской, что под Бузулуком, мы. А огонь там жгут. Только высоко. Да ползти еще вон сколько! Будь неладны эти горы! Таких гор у нас нет. А тут склизко. Справа пропасть — пропади она пропадом; слева стена каменная — коза не залезет, а посередине... Вон-вон опять замигал огонек-то...

С помощью Матракова и Баба-Калана Алексей Иванович, наконец, и взаправду различил чуть тлеющий во тьме угольком свет, очевидно, в окошечке караулки, различил и тут же потерял его. Глаза вдруг залепило горсткой колючих снежинок. Так в горах мгновенно легкий мартовский дождик сменяется бураном.

— Тяжело будет теперича,— проворчал Матраков,— хотя в лаптях-то на штурм удобнее идти. В сапогах неспособно. Склизко очень.

Все новобранцы, как прибыли из России, так и шли в лаптях. Пополнение прислали в Ташкент в таком виде, потому что в Ташкенте и Самарканде, где были кожевенные заводы, предполагалась пошивка сапог на все два батальона новобранцев. Но бойцы, как говорится, не успели позавтракать, как раздалась команда «по вагонам», и эшелоны покатили на станцию Урсатьевскую, а оттуда бойцы пешим походным строем отправились прямо через Уратюба на Шахристан.

В Ташкенте, оказывается, уже знали, что идет непогода и надо успеть рвануть за перевал до метели.

Но буран начался. И теперь Матраков и все бойцы уже не ругали начальство за отсутствие сапог, а были даже довольны. В липовых лаптях ноги не скользят, в снег не проваливаются. Идти в них споро и легко. Вот командирам туго придется. Как бы на ручки к бойцам не запросились: «Перенесите!.. Лед... Скользко!»

Но скучно лежать, стыть на холодной скале, когда тебя к тому же засыпает снегом. Все стынет — руки, лицо, холод пробирает до пустых желудков. Ни пообедать, ни поужинать толком не довелось.

Но бойцы об обеде-ужине не заикались. Наступил самый ответственный момент — штурм перевала. Вон

он во тьме так высоко, что голову задерешь до боли в затылке. И... ничего не увидишь. Снег валил. Так и хотелось чиркнуть спичкой — посмотреть... Но приказ: «Огня не зажигать». Нельзя.

— Ожидание горше смерти.

Это тоже, наверное, связист Матраков философствует.

Баба-Калан сменил свой шелковый, подбитый ватой, халат на полушубок. И в темноте слышно, как поскрипывает кожа полушубка.

— Наши поползли на перевал. Шодибай — это такой молодой, немного хромой, с детства он такой. Ползал уже днем к караулке. Вернулся — говорит, у них там две собаки на привязи.

— Черт! — не удержался Алексей Иванович. — В наших обстоятельствах собаки хуже пулеметов.

— Надо подумать, — бурчит под нос невидимый Баба-Калан. — Мясо бы! Нет, мясо не годится. Разве овчарка на чужое мясо соблазнится?.. Собаки — плохо. Залают, поднимут караулку.

Шелестят снежинки в темноте. Уже не светится небо над перевалом. Давно потух раскаленный уголек. Тишина.

Что-то бормочет Баба-Калан. Алексей Иванович вслушивается и начинает разбирать слова. Оказывается, Баба-Калан с кем-то разговаривает. Наверное, это тот самый чернобородый, лохматый «снежный человек». Судя по разговору, именно так. Говорит по-таджикски. Не все понятно, но смысл доходит.

— Помещик у нас один был, богатый. Деда еще его бросили свою тень благорасположения на Матчинскую землю. Каждую неделю дома готовил плов с мясом. Яйца ел. Белые лепешки ему в тандыре жены пекли. В мехмонхане даже стены были покрашены белой краской. Паласов много, ковры. Даже лампа была... с керосином. Светло горела. С дедовских времен помнили бая. Еще деда, склонивши головы перед ним, у него кош — пару быков — брали, землю пахать... Землю байскими быками пахали, половину урожая ячменя осенью баю отдавали, да еще по два мешка сушеной тутовой ягоды, ну еще яиц куриных там, сливочного масла из козьего молока... Так и жили. Хлеб есть, шелковица есть, козье молоко есть... Чего еще надо?

Мир — в его владении,
Небо — его раб,
Счастье — его друг,
Время покорно ему,
Сфера небес повинуется ему,
Круговращение мира служит ему.

Беда пришла с Халбутой, да еще бек Саид Ахмад-ходжа навалился... Гостей непрошенных явилось больше, чем на сто свадеб!.. Шутка сказать — семь сотен аскеров... Аскер жрет за двоих. Последнее зерно отдавай, масло, яички. Раньше у нас в Матче и Фальгаре говорили: чем пустой, как кладбище дом, лучше пусть будет полон недругов. А вот с Матчой и Фальгаром все обернулось во зло... Дом и двор полны людей, а жить невозможно. Люди стали пищей людоедов. А наши жены и дочери целомудренные попали в силки плена и обрели позор. Раньше осенью пойдешь в Беговат, в Иски Ташкент, в Заамин собирать хлопок, на заготовительном пункте грузить хлопок. Денег заработаешь, большой кап ваты принесешь на горбу, чтобы жена и дочка летней мягкой маты наткали, ватные одеяла сшили... Тепло под хорошим одеялом. А теперь... Хлопка никто не сеет, боятся дехкане басмачей: «Не смейте хлопок сеять. Аллах и Англия запрещают!» Ну, конечно, еще есть где-нибудь хлопок. Но идти нельзя. На перевалах вот такие, как в караулке, сидят, псов на матчинцев напускают. А попробуй пойти — стреляют... Сидите, говорит главный нам имам-домулла, не суетитесь. К большевикам не смейте ходить.

— Эх вы, разбился кувшин, пролилось кислое молоко — катык, а мир служит блюдолизам. Да какой это имам-домулла у вас еще завелся? Что это за грязь с подошв моих кавушей? Раньше у вас такого в Матче я не знал, — сказал Баба-Калан. Но Алексей Иванович заинтересованно спросил:

— А как его зовут? Имя его знаете?

— Вроде он турок или перс, — проговорил матчинец. — И имя его неизвестно, а прозывают его Мирзамулла... Очень ласково говорит, просто мед льет. Прочитает суру из корана три раза — и все дурное в душе растворится, душа успокоится.

— А если его не слушать...

— Ой-ой-ой!

— Что? Долго вы будете обедать его молитвами?

— Набегут халбутинские аскеры по приказанию домоллы.

Тут из темноты заговорил ещё кто-то из матчинцев.

— Раньше тоже тяжело было. Особенно в холодный год. Но придешь к арбабу, «наурузона» принесешь — подарок к Новому году, поздравить и... пошел себе. Ну дров привезешь на ишаке, ну там еще в мешке чего... Но все по одному: один «наурузона» — один мешок, одну-две вязанки арчовых дров... А теперь три «наурузона» — ишану, беку Саид Ахмад-ходже, Халбуте-курбаши, турку Мирзе... Да еще аскерам.. Вай-дод!..

Другой голос подхватил:

— Кто из матчинцев силу в руках имел, камни на поле раньше переворачивал, большую часть из урожая отдавал, чтобы арбаб на семи одеялах бека лелеял да баранину жрал. Но все же и самому матчинцу немного оставалось, с голоду не помирали. А теперь у жены в грудях молока нет младенцу дать, а дети-галчата кричат: «Хлеба-хлеба!..» А наш бек-ишан со своим Халбутой, взяв соколов, взгромоздившись на скакунов, гоняют по горам за горными козлами.

Бородач добавил:

— Что арбабы, что бек Саид Ахмад-ходжа — все они «та же похлебка». Все нам шею попрали каблукком. Разница у них, у зверей, лишь в том, что один волк даст овце подышать перед смертью, а другой сразу глотку рвет. Поживут матчинцы так еще год-два, да все и кончатся.

— Да, вы матчинцы слабые люди — не мужчины, — снова заговорил Баба-Калан... — Истинно говорят: «Возвышая презренных, низвергая благородных, не заблуждается ли, одряхлев, этот несчастный мир».

Заговорил Матраков. Он, правда, не знал языка, но смысл разговора ему успел перевести Баба-Калан.

— Почему вы, матчинцы, не взяли дубины, не поколотили — проклятие на ней! — всю шайку? Не оставили синяков на широкой спине вашего бека.

— Разве они уйдут?.. Разве с ними совладаешь? У них винтовки, пулеметы. Если бы плешивый был врачом, он сам вылечил бы себе голову. Что мы можем? Мы готовы ослепнуть, мы пойдем на все — лишь бы наши дети могли вздохнуть свободно.

— Вот мы надеялись на большевиков...

— Ждали, Ленин придет. Заставит Саида Ахмада-

ходжу расплатиться за угощение. Баям, саидахмадам, халбутам головы отрубят... Турка этого, Мирзу, прогонит.

— Ждем! Давно ждем. Всюду уже Советская власть, всюду люди плечи расправили, живут... Только у нас, в Матче.. Пусть только красные со звездами переступят горы, мы сшибем Халбуту с проклятого коня, разрубим на куски.

— В прошлом году совсем уж было обрадовались. Красную Армию с перевалов видели... Да, оказывается, Халбута вон какой!.. Победу одержал. Не пустил большевиков в горы?

— Эх вы! — сказал Баба-Калан. — Когда Красная Армия наступала, надо было собрать народ, ударить Халбуте в спину. Был бы я тогда в Матче, разве пропустил бы такой момент! А вы? Кто насытился целым хлебом, тот насытится и половинкой, а если у вас отберут половину от половинки, вы, как бараны, кивнете головой и скажете «хоп»?.. А если и от той половинки отрежут еще половину?..

Комиссар пожалел, что в буране не видно ни зги. Он представил себе Баба-Калана сейчас во всем его могучем облике батыра. Он мог бы повести матчинцев на басмачей.

С юных лет знал Алексей Иванович своего дорогого, преданного друга и брата великана Баба-Калана, но он чувствовал, что многое еще скрывается под внешностью этого горца, батыра горных легенд. Он был добродушный философ горных просторных долин, величественных горных вершин, малиновых закатов горного холодного солнца, сурового молчания геологических эпох, обнаживших свое нутро среди гигантских хребтов вечного Памиро-Алая...

Долго ли мог продолжаться подобный разговор в буран, в тьму, в мороз, но наконец прозвучала долгожданная команда: «Вперед!»

В тумане трудно и страшно сделать шаг, когда не знаешь, куда ступит нога. А надо идти быстро, и тут каждый раскрывает предельно широко глаза, боясь потерять маячащую в ночи призрачную тень идущего впереди.

А первым идет проводник Баба-Калан, зрению которого в темноте позавидует и кошка, а твердости шага горный круторогий баран-архар. Если бы не Баба-Калан, то и с места бивуака нечего было бы тро-

гаться. За Баба-Каланом по тропе вереницей взбираются в горы красноармейцы.

Х

Слова — «мечь», «кара»!
У слов этих свой цвет — багровый,
цвет жала ядовитой змеи.

Джебран

Попытаться остановить его — все равно, что остановить вихрь или восход солнца.

Шами

Цепочка бойцов двигалась по тропе в сторону перевала.

Никто не смотрел уже под ноги в пропасть. Все взгляды устремились на хижину из груды плоских камней, над которой очень мирно вился синий дымок, и на снежные сугробы, заалевшие в лучах солнца. Утро столь внезапно засияло, так неожиданно темная бурная ночь сменилась ярким светом, так внезапно отряд оказался в двадцати шагах от караулки, что командиры в первый момент даже растерялись.

Шахристан! Перевал Шахристан!

И отряд уже был на перевале.

Стояла утренняя тишина. Молчала караулка. Молчали бойцы.

И вдруг заржал конь. То ли он почуял жильё, то ли приветствовал утро. И этот звук проник внутрь караулки, и из нее, покачиваясь на лапах, вылез огромный волкодав. И как ни напряжен был момент, как ни натянуты были у бойцов нервы, все пришли в восторг от этого огромного пса.

— Экий пес! Вот это пес!

Голоса бойцов резко прозвучали в снежной тишине. И несколько встревожившись, волкодав твякнул раз, другой.

Тут же скрипнула дверь караулки и оттуда вышел в снег человек с винтовкой в руках.

Какое-то мгновение он стоял с широко раскрытым ртом. Затем выстрелил и закричал. При виде буденовских шлемов он так испугался, что не кинулся в караулку, а метнулся по снегу в сторону и мгновенно исчез. Лишь облачко морозной пыли взметнулось над краем ледяной глыбы. А караулка, как потом выяс-

нилось, была настоящей крепостцей с бойницами, раз-
разилась россыпью винтовочных выстрелов.

Ничего не скажешь, халбутинские басмачи были
начеку. С момента, когда залаял пес, до открытия огня
прошло не больше десяти секунд.

Но дальше караульные допустили промах. Вместо
того, чтобы вести прицельный огонь и закрыть дорогу
на перевал, йигиты выскакивали один за другим из
низенькой дверки и, с нечеловеческим воплем, беспор-
ядочно стреляя, бежали по снегу вслед за первым
басмачом, поднявшим панику, и исчезали в облаках
сухого, искрящегося снега за гребнем перевала.

— Ж-жик! Ж-жик! — просвистели пули.

— Вперед! — Увязая в снегу, к перевалу бежал
комиссар, за ним — Баба-Калан. И вот на гору и ска-
лы над караулкой по снеговому склону поднимались
цепи бойцов. Никто не стрелял. Горы вздрогнули от
единодушного возгласа: «Урра!»

Первым на гребень перевала поднялся комиссар. Он
глянул вниз и увидел катящихся под откос басмачей.
Кувыряясь, они скользили по снежному насту. Вдале-
ке чернели глинобитные постройки кишлака.

— Перевал Шахристан взят! — торжественно крик-
нул комиссар. — За мной, молодцы! — И он скатился
вниз за спасающими свою шкуру басмачами. Он знал,
что бойцы следуют за ним по этому гигантскому снего-
вому спуску и понимал, что сейчас от быстроты пресле-
дования зависит все.

Ни минуты передышки. И, мчась вниз по снегу, он
командовал:

— Даешь Матчу! Вперед!

Краешком глаза Алексей-ага видел, как далеко,
слева на снегу, возникли фигуры всадников в буденов-
ках. «Второй эскадрон», — подумал он.

Наконец он смог, прокалившись на своих двоих
с версту вниз, остановиться и крикнуть: «Ездо-
вой!» — как уже конь, весь в снежных лепешках, —
он тоже, видимо, катился вниз на спине — ткнулся
теплыми губами прямо в лицо.

Вскочив в седло, комиссар Алексей-ага снова крик-
нул: «Вперед!» — и погнал коня по тропинке.

На плечах караульных халбутинцев они ворва-
лись в улочку горного кишлака. И хоть у всех в ру-
ках были клинки, они не понадобились.

Когда ликующие, кричащие в один голос красные

бойцы нагнали улицы кишлака, на площадку перед мечетью вышли люди в меховых одеждах.

И тогда Басм-Калан, преисполненный важности, сказал:

— Товарищ комиссар, в кишлаке не осталось ни одного басмача. Вот старейшина докладывает: кто убежал, а кто лежит вон там.

Староста, кланяясь, сказал:

— Их было двенадцать — злодеев. Восемь побежали сразу, а троих, пока вы спускались с перевала, горцы на дереве за шею повесили.

— Быстры вы на расправу, — сказал комиссар. — Мы только что были на перевале. А вы уже учинили суд и казнь.

— Нам приказала Гуль-биби-комиссар.

— А где она? Позовите ее.

— Уехала... с важным господином.

У комиссара Алексея Ивановича было странное состояние: от мгновенной перемены высоты, от неожиданно легкой победы, от этой толпы горцев, от новости об отъезде Наргис. И комиссар, еле ворочая языком, спросил:

— Ладно, восемь убежали, троих вы казнили, а еще один...

— Это сам сотский Халбуты... Он самый вредный. Курбаши не досмотрел... подпустил наших женщин... и они его малость порезали...

Комиссар вдруг увидел в толпе лица женщин, искаженные яростью, глаза, горящие гневом.

Вперед выбежала с ножом в руке косматая старуха:

— За что?! Ты спрашиваешь, за что курбаши лишился жизни? А как он посмел насильничать наших малолетних дочерей? За что он убил другую дочь и задушил ее в постели?.. Мы, матери, казнили его... И каждая мать схватила столовый нож и отрезала кусок его поганого тела... А как он кричал, когда ему отрезали кончик его блюда!.. Ха-ха! И всех их, халбутинских пакостников, так надо! Эй, командир, иди посмотри на курбаши. От него мало что осталось...

— По коням!

Прозвучала команда:

— В погоню! И чтобы ни один не ушел!

Комиссар Алексей-ага задержался на несколько минут:

— Эй вы, мужчины! Или вы будете смотреть и раскочиваться? Берите пример с ваших жен. Вооружайтесь палками, дубинами, ножами. Идите по тропам, тропинкам, оврингам! Закройте перевалы! Ни одного мерзавца не выпустите из Матчи.

Он отдал команду:

— Немедленно выступать.

Бойцы успели подзаправиться хлебом с кипятком и двинулись на восток, по пятам бегущих халбутинцев. Часть отряда пошла на юг к озеру Искандер-Куль.

И как часто бывает в горах — небо затянуло, пошел снег с дождем. Тропы опять покрылись льдом.

— Легко досталась нам победа на перевале Шахристан, а? — спросил Алексей Иванович у Баба-Калана.

— Они вообразили невесть что. Разве кто-нибудь в том месяце может, думали проклятые, подняться на перевал со стороны Уратюба?

Преследование в горах — дело трудное. И даже не потому, что на каждом шагу вас поджидают неожиданности. Одного овринга достаточно, чтобы задержать целую армию на многие часы, пока обходным маневром бойцы поднимутся на скалы, пока создадут угрозу в тылу. Тут нужна выдержка и умение альпиниста. И, конечно, Халбута все это знал. Понимал он, что в Матче можно отлично обороняться и не один день. Несколько сотен отлично вооруженных аскеров, с большими запасами всякой иностранной амуниции могут выдержать длительную осаду.

Но Халбута бежал, создав эскорт для своего бека ишана Матчинского Саида Ахмада-ходжи и кое-как прикрывая это отступление.

Баба-Калан, комиссар Алексей Иванович, командиры и красноармейцы преследовали Халбуту с остатками его басмаческих шаек.

Бек Матчинский Саид Ахмад-ходжа покинул свой дворец, довольно-таки жалкую хижину, последнее прибежище. Замерзающие аскеры не снимали с плеч свои спрингфильдовские винтовки. Их мысли были там, впереди, за перевалами, в теплых долинах Гиссара, Кара-тегина.

По пятам шли «однорогие» неземные существа с красной звездой во лбу, для которых ни горные поднебесные хребты, ни морозы, ни лед были ничем. Спасали свою шкуру «великий» правитель независимого бекства ишан Саид Ахмад и его присные. Еле уно-

силы ноги. Едущий впереди кавалерист сделал предупредительный выстрел. Не слезая с коня — некуда было слезть, — справа от края заледенелой тропы гора обрывалась в пропасть ущелья Зарафшана, слева — плечо и колено ноги терлись о покрытую инеем каменную стену утеса. Впереди, в синем тумане, что-то шевелилось.

— Сто-о-ой!

«Ой-ой» — отдалось в горах.

Колонна преследователей встала.

Баба-Калан — это был он — вглядывался в стоящую стеной снежную хмарь.

Из снега, из тумана, из черных скал и льда возникли тени людей. Шесть теней, шесть призраков горцев, пеших, в меховых шапках, в теплых чапанах, вооруженных.

— Э, хей! Это ты, сынок! Ты уже привел наших?!

— Отец, мир с вами! Где враг?

И, рискуя свалиться в пропасть, Баба-Калан невероятным способом — через голову коня — сполз на тропинку и, скользя и чертыхаясь, бросился по головоломным нагромождениям камней к «призракам».

Пока он сжимал в объятиях своего отца Мергена, а именно он был в облаках тумана первой тенью-призраком, остальные «тени», тяжело опустившись на камни и поставив ружья меж колен, все как один сказали «бисмилло!» и, вытащив табакерки-тыквянки, положили по шепотке табака-наса под язык. Облегченно вздыхая, они оперлись локтями о дула стоящих винтовок, склонив головы в своих огромных меховых шапках, то ли смотрели сквозь меховую оторочку на приветствовавших друг друга отца и сына, то ли задремали.

Все они были, если не считать Мергена, мастчои — жители Матчи, коренные горцы. А они в своих легких чориках без каблуков на тонкой подошве в состоянии шагать десятки верст по самым колдобистым тропам. Засунут за спину палку — и ловкие, неутомимые, шагают без отдыха чуть не круглые сутки по льду, снегу, камням. Им не надо бороться, как жителям равнин, с головокружением, с опасностью поскользнуться, споткнуться на каком-нибудь головоломном карнизе или обвале щебенки. Шаг их и цепок и тверд. А если горец верхом, то его маленький конек, цепкий, неподкованный, соперничает с горным архаром.

И горцы сидели на камнях вовсе не от слабости, а потому, что они закончили, по их мнению, огромное,

как гора Хазрет Султан, дело, представлявшееся им счастливым событием для всей их горной родины.

И все они, быть может, впервые за пять-шесть лет войны могли спокойно полюбоваться раскинувшейся перед ними долиной, на дне которой виднелись такие мирные, тихие загончики для скота, окруженные плетнями из прутьев и кое-где окаймленные плакучими ивами и талом, единственными деревьями, растущими высоко в горах.

— Ну так что же? — спросил соскочивший на плоский камень комиссар. — Роздых, что ли?

С камня поднялся в почтительном приветствии Мерген.

— Здоровья вам, Алексей-ага. Рад свидеться.

— О, дядя Мерген, здравствуйте! Как дела? Где этот бек Матчинский?

— Не ходите дальше, Алеша!

— Что, дядя Мерген, стреляют? Засада?

— Не идите... из ущелья несет запахом могилы. Золоторассыпающий Зарафшан провалился в пропасть. Через нее хода нет. Нет даже вот хоть такого мостика «сирьот», чтобы перешагнуть через бездну ада. Не спрашивай о беке, не спрашивай о Халбуте. Они создавали сами себе собственных дьяволов, и вот они теперь в лапах сатаны.

— Но что все-таки с беком... с Халбутой?

— Смотрите сами, Алексей-ага, — Мерген потянул комиссара к самому краю головокружительного обрыва, в глубине которого клубились голубые туманы. — Глядите! Глядите! Глаза мои видят черноту утесов и белизну сугробов. Уши мои слышат шум реки. Я вижу над ущельем воронье, слетающееся со всех сторон. А вон вон уже машут крыльями стервятники, грифы... Что им туман и вьюга, когда пахнет мертвечиной!.. Но ошибаетесь, стервятники, добыча эта, мертвечина, под пластами снега, не достанете, не раскопаете. Ждите весны...

— О чем вы, дядя Мерген?

— О, аллах акбар! Где же слава беков и шахов? Где священные тюрбаны, горой высящиеся на их головах? Где мечи, блистающие в руках могущества? А вот эта слабая рука дехканина подтолкнула... — Мерген вытянул свою темную заскорузлую руку, сжал и разжал пальцы, растрескавшиеся от мороза, — и подтолкнула камень... один камень. Это он виноват, что потом случилось. Сдвинулся камень и — все величие Матчин-

ского царства ухнуло в небытие. Были беки, курбаши, аскеры — и нет их!

— Может ли это быть? Говорили, что их больше двух тысяч, — не верил своим ушам комиссар.

Он растерянно вглядывался в туман и мглу, уже совсем затянувшие долину. И ему казалось, что вот-вот оттуда возникнут черные силуэты аскеров Селимпаша и барашковые шапки йигитов Халбуты. Возникнут, откроют бешеную пальбу по их малочисленной группе передовых разведчиков, огромной толпой полезут врукопашную. Разве можно представить, что за какие-нибудь минуты оказалась стерта с лица земли целая армия?

Вытирая носовым платком лицо, мокрое от прилипающих снежинок, комиссар Алексей-ага колебался. Он уважал Мергена — с детства тот был для него родным дядей и первым учителем, — чтобы заподозрить его в пустом бахвальстве. Дядя Мерген никогда не лгал. Но как могло уложиться в мозгу такое? Каких размеров должна была быть лавина, чтобы похоронить под снегом и камнями тысячи людей, коней, караван вьючных животных? Комиссар еще утром наблюдал за движением по склонам гор черной змеей остатков воинства Халбуты в направлении к верховьям Зарафшана на перевал, ведущий в Каратегин, и страстно жалел, что нет такой силы, нет таких могучих крыльев, которые перенесли бы его бойцов на перевал, чтобы закрыть путь отступающей банде. И он сожалел, что бек и его приближенные избежали суда и должного возмездия за все зверства, учиненные ими за эти годы в горной стране.

Сердце до боли сжалось, когда он подумал, что ведь, по всей вероятности, и Наргис может быть где-то в караване отступавшей банды. Комиссар точно не знал. Но какие-то неясные намеки на то, что ее схватили, проскальзывали в разговорах горцев. Алексей Иванович отогнал горькие мысли. Он рвался вперед, к месту катастрофы, и мысленно метался, продолжать ли рекогносцировку или ждать подхода растянувшихся по заснеженным горам эскадронов. Они — он знал — двигались медленно, задерживаясь на оврингах из-за того, что кони были не горные, а равнинные, подкованные, а подковы так опасно скользят на наледях обрывов.

Раздумья, раздумья, а надо что-то решать...

И тут из клубов ватного тумана неожиданно вы-

нырнули черными силуэтами, вооруженные люди; пещи, ведущие на поводу вьючных ослов.

«Что это?»

— Стой! Кто идет?

Еще минута — и мергеновские охотники лязгнули затворами. Но никто, к счастью, не успел выстрелить.

— Опустите винтовки! Стойте! Свои. Разрешите, товарищ комиссар, доложить: связь установлена.

— Да это Матраков! Вы что же подставляете себя под пули?.. Вас и не узнать — Дед Мороз какой-то...

И вправду... Матраков весь был покрыт белым инеем, а усы и бородака представляли собой комки снега, из середины которых вырывались струйки пара и дыма.

Выхватив изо рта окурки и бросив его, Матраков доложил:

— Так точно! Комвзвода связист Матраков. Тянем связь. На перевале установлен пост. Связь работает, — он вытащил из-за пазухи тулупчика трубку и, приложив к уху, закричал:

— Аллье! Я квадрат... я квадрат... Слышу, докладывай. Что? Что? Тихо? Метет?.. Руки зябнут?.. И у нас стынет. Ничего. Валяйте в оба. В случае чего звони, я с аппаратом... Да здесь басмачей нет. Всех придавило. Что? Лавиной придавило. Амба! Ну хватит. Клади. С тылу у тебя теперь Красная Армия... Аллье! Красная Армия со спины, а смотри в оба вперед... Бывай!

— Как вам, Матраков, удалось пройти на перевал и успешно выполнить задание?

— Да мы через гору, в обход. С вечера пошли. А на рассвете уже были там. Установили линию связи через самое вершину. Вот они помогли, — он посмотрел на Мергена. — Остались на гребне нас поддерживать, а мы бегом — до перевала. Там заняли позицию. Только суньтесь...

— А обратно? Вы же обратно шли по тропе. А там — басмачи...

— Тропки нет. Армии злыдней нет. Сугроб в миллион пудов... Обвал свел всех в реку. Теперь все под снегом и льдом — и люди, и оружие... Сколько винтовок!

— И ничего живого не видели?

— Нет, не видно ни живых, ни мертвых. Да ежели бы сами вы, товарищ комиссар, видели... Туча черная с горы свалилась. Снегу дольна, метели до небес... А когда шум, грохот стихли — под перевалом равни-

на снежная... и ни души, ни стопа, ни звука. Страшно, но хорошо: войне—конец. Вот и все. Разрешите курить?

Он, Матраков, был преисполнен важности. Он выполнял задания командования дотошно и исполнительно. Деловитый, смелый, осторожный, рассчитывающий каждый свой шаг, он был прекрасным связистом и мог под носом у басмачей протянуть связь, передать по проводам важные, необходимые сведения. И ни разу он не попался. Выходил сухим из воды, и, по его любимому выражению, «с цветочком в улыбающихся губах».

Вот и сейчас, измученный, с подвязанной раненой рукой, смотрел молодцом и рассказывал о своих делах.

Молчавший до сих пор Мерген заговорил:

— Молодец, Вася, хорошо по горам ходит... А я скажу, Алеша-сын, что правильно все говорит. Врага было как саранчи... Тучу саранчи туча снега задавила.

— Ужасно, — думал вслух комиссар, — столько народу погибло! Пойдем посмотрим: может, кто жив.

— Никого там не осталось. Над ними снег сто сажен толщиной, камни, лед.

— Мы уже поверху тропку протоптали, — проговорил тихо Матраков. — Снег утопали.

— Никто не кричал, не звал на помощь?

— Нет, ни звука.

— Горы не выпускают из своих объятий... Бек оскорбил горы злодейством — и горы не простили. Нет бека, нет Халбуты, нет кровососов-басмачей... Вот что сделали эти руки... наши руки — руки судьбы.

Собственно говоря, из рассказов связиста Матракова и Мергена удалось восстановить картину происшедшего.

Гей, деспот,
ты суетишься, напрягаешься,
строишь дворец власти,
А мир — текучая вода.

К моменту, когда передовые части пехоты в лаптях спускались неудержимым потоком к Обурдону, что стоит в глубокой долине Зарафшана, ненависть матчинцев к захватчикам-басмачам перехлестывала через край. Все горцы поднялись как один: и батраки, и охотники на кииков, и безусые юноши, и старухи, и молодые горянки, возненавидевшие навязанный завоевателями чачван и гаремные порядки. Все схватились за ножи и дреколье. Бек матчинский, «фазаний петух»,

вообразивший себя соколом, и его надменные присные немедленно взобрались на лошадей и погнали вовсю, насколько позволяли лед и снег на тропах и оврингах. За ними устремилась вся разнородная рать, вся «армия ислама» в верховья Зарафшана к спасительным перевалам.

Все медленнее двигалась вереница басмачей, все гуще становились тучи, ползшие над тропой.

Казалось бы, бойцы Красной Армии были не в лучшем положении. И туман, и бездорожье, и лед, и шаткие овринги — все было у них такое же, как и у преследуемых.

Но у бойцов была высокая цель. На «чертовом мосту», разрушенном, разломанном — к счастью, не до конца — бежавшим арьергардом басмачей, ворочал огромными заледеневшими слягами богатырски сложенный комвзвода Матраков.

— А ну, навались, держись друг за друга! Шагай. Не свалишься... Не барышня. Ах-ох!

Под ногами, в бездне, ревел Зарафшан, а над ним по жердочкам перебирались бойцы да еще умудрялись переводить под уздцы коней, храпящих, содрогающихся от страха.

Ночью, не отдохнув, Матраков со своими связистами по указанию Мергена отправился через утесы, скалы, горы наперерез «армии ислама», ползшей к перевалам.

И вот теперь он рассказывал о том, что произошло с армией матчинского бека.

— Этот матчинский царек вздумал воевать. Окопался тут, устроив кровавый балаган. И чуть не ушел через горы безнаказанным. Но не на таких напал! Вот они, — он показал на Мергена и его товарищей, — подали здравую мысль и помогли — без них ничего не вышло бы — свалить гору на басмачей!

Они сделали — пусть и расскажут.

Конечно, как вожак, рассказывал Мерген. Но он был немногословен, часто делая паузы и впадая в раздумье.

В то время, как матчинский ишан бек Сайд Ахмад со своей армией медленно двигался по высокогорной долине Зарафшана на восток, проводник Красной Армии Мерген с шестью охотниками-матчинцами пошли тайными тропами в обход главного хребта. К ним присоединился Матраков со своими связистами. Вся группа смельчаков прошла за ночь около пятидесяти

верет. Впрочем, для горцев — они ходоки необыкновенные — это неудивительно. Но эти версты одолели также Матраков и его парни-связисты, никогда до того не ходившие в горах. Они ушли даже дальше, как мы знаем, к перевалам, а Мерген и местные охотники перебрались через гребень хребта и оказались над самой головой колонны матчинского бека...

Они сразу же смекнули, что на вершинах и на склонах гор накопилось полным-полным снегом и фирного, рыхлого льда. Целые горы повисли над тропой, по которой двигались вооруженные аскеры.

Тут же, без долгих разговоров, Мерген принял решение преградить путь беглому шаху Матчи и всей его разбойничьей банде. Местные охотники возликовали, поняв замысел Мергена, и принялись тут же, действуя прикладами своих тяжелых дедовских мультаков, разворачивать огромные камни и глыбы льда, нависшие над видневшимися далеко внизу всадниками.

Матчинцы потом рассказывали, что бек заставил матчинцев год назад приволочь с окрестных вершин камни и лед на санях, на которых обычно свозили с гор летом сено и снопы ячменя. Оказывается, этот приказ отдал сардар Халбута. Якобы красноармейские отряды из Ферганы по Исфаринской дороге проникли на Зарафшанский ледник и вот-вот спустятся вниз по течению реки к резиденции бека.

И Халбута хотел завалить дорогу. Теперь то, что он заготовливал для других, получил сам.

Едва передние всадники, точно букашки, выползли из-за склона горы, как Мерген столкнул первую глыбу синего многолетнего льда. Глыба скользнула неслышно вниз, за ней другая. И уже через секунду раздался свист, перешедший в стон. Глыбы льда, камни захватывали на своем пути пласты снега, и лавина с ревом, похожим на вопли горных джиннов и гром грозовых туч, в гигантском облаке снежной пыли обрушилась вниз, на тропу и беглецов.

— Мы не хотели им смерти, — кривя губы, шептал Мерген. — Хотели закрыть им дорогу на перевал. Увы, аллах акбар, — мы хотели только маленькую лавину, чтоб засыпала, завалила овринг, закрыла бы проклятым путь к перевалу. Тауба! Бог соизволил поступить иначе.

— Бог мести! Возмездие! — вскричали в один голос мергены-матчинцы.

И если Мерген пожалел, что столько людей погибло, то они радовались, потому что все люди Халбуты были, по их мнению, звери и насильники, терзавшие вот уже пять лет горный народ. У всех мергенов были кровавые счета с людьми матчинского бека.

Камни повлекли за собой еще камни, массы снега и льда. Грохот стоял такой, что, казалось, горные вершины шатаются.

Мерген лег на снег и подполз к краю бездны. Внизу ничего не было видно, кроме белой пелены. Наступила тишина.

Спустимся вниз. Может, осталась хоть одна живая душа.

Но ни одной живой души не осталось. Войско зла и насилия погибло полностью.

Род приходит —
 род проходит,
А земля
 пребывает вечно.

XI

Тот узнает цену благополучию,
Кто был захвачен бедствием.

Саади

Матчинцы появились, когда стихли выстрелы — вылезли из каких-то щелей и нор, из-под льда и снежных сугробов. В каменных хижинах оставались в основном только женщины и дети. В темных дымных развалах до разгрома бека Саида Ахмада-ходжи жили его мюриды-воины. Когда страну в верховьях Зарафшана захватили исламские войска Халбуты, по приказу Мирзы всех местных таджиков — гальяча, или, как их зовут на равнине, «мастчой» выгнали из домов горных «дех», а туда вселили аскеров-пришельцев на постой. За аскерами должны были ухаживать матчинские женщины, а если кто-либо из мужей пытался протестовать, с таким не церемонились.

Гнев, ярость отгородили каменной стеной воинство Саида Ахмада-ходжи-бека от местных горцев. И едва раздался радостный крик: «Краснозвездные!» — матчинцы поднялись и кинулись к перевалу красноармейцев, чтобы вместе громить басмачей.

Малиновое солнце пряталось за малиновеющий

пик высокой горы. Ночной ветер леденил щеки, нос никак не хотел оттаивать, несмотря на ожесточенное растирание суконной рукавицей, а Алексей Иванович до хрипоты объяснял матчинцу, что бить жену за то, что в его хижине на постое стоял халбутинский курбаши, нельзя и нечего.

— Она... осквернила мужнино... то есть мое ложе! Супружеское ложе! — вопил, потрясая дубиной, горец.

— Не смей ее трогать, — успокаивал командир горца, поглядывая на «снежную королеву», — чернолицое первобытное создание, увешанное серебряными монетами и висюльками. Создание отнюдь не покорно взирало на мир огненными дерзкими глазами, и дубинка в ее ручках была ничуть не меньше, чем у ее разъяренного супруга.

Тупо помотав головой, на которой было надето нечто похожее на чалму из почерневшей от копоти и грязи дерюги, грозный супруг пробурчал:

— Святой имам, настоятель мечети, приказал побить ее камнями!

Алексей-ага и Баба-Калан переглянулись:

— А где этот ваш такой строгий в нравах настоятель-имам?

— Великий наставник приехал к нам из самого Истамбула. Поистине знаток в делах веры. Мирза-ишан как утка: поест — и все сгорает внутри. Худой, бледный. Басмач Халбута пожрет — и у него жирок отложится на животе.

Весь напрягшись, как охотник, почуявший дичь, но боясь неосторожным словом спугнуть молнией вспыхнувшую мысль, комиссар спросил:

— И где же теперь этот домулла? Где вершина мудрости, дающий людям такие советы? А ты подумал о том, что если ты убьешь эту женщину, с кем будешь спать сегодня ночью?

— А-а-а!.. — протянул горец: такая мысль не приходила ему в голову.

Схватив «снежного человека» за отвороты мохнатого полушубка, Алексей Иванович толкнул его прямо в объятия жены и воскликнул:

— Где же твой советчик, мулла Мирза? Говори же!

— Он там! — Взмахом руки горец показал на некое, сложенное кое-как из камней сооружение на

заметенной снегом горке и исчез в проеме низкой, со свисающими ледяными сосульками двери.

Что это? Старинная мечеть? Может быть, храм огнепоклонников-мугов времен Согда, превращенный в мечеть. Сооружение столь непривлекательное, что ни Алексей-ага, ни Баба-Қалан не обратили на него внимания.

— За мной! — прозвучала команда.

Если эмиссар скрывается в мечети, надо быть готовыми ко всему. Наверное, Мирза не бросился вместе с беком в верховья Зарафшана: он знал другой, более верный, путь к бегству. Мирза — не такая птица, которая сама полезет в клетку.

Еще пять минут назад Алексей Иванович был уверен в том, что Мирза вместе с другими басмачами завален лавиной. Матчинское воинство все до весны осталось в снежной могиле.

Но вот, чтобы Мирза всех обманул, чтобы он мог оставить Саида Ахмада-ходжу и Халбуту, чтобы он мог улизнуть?! Для этого надо было быть Мирзой. Нет, он не просто советник какого-то бандитского курбаши или нищего бека. Мирза — главная и, может быть, не менее важная фигура, чем Селим-паша.

— Окружить мечеть! Занять все ходы, выходы! Стрелять только в воздух! Брать живьем!

Отдавая короткие команды, комиссар Алексей Иванович бежал, скользя и спотыкаясь, по крутой каменной обледеневшей лестнице. Он горел пылом охотника и мстителя. Комиссар заметил, что снег на лестнице спрессован многими ногами в лед.

Достопримечательностью этой первобытной мечети были деревянные колонны тончайшей резьбы.

Он поднялся на каменную, покрытую огромными плитами сланца площадку и остановился, как громом пораженный. У колонны, слегка прислонившись к ней плечом, стоял, улыбающийся в буденовские усы комкор Георгий Иванович.

— Это вы? — задохнувшись от изумления и быстрого подъема по лестнице комиссар Алексей Иванович машинально застегнул кобуру.

— А я смотрю, куда это, Алеша, рвутся твои бойцы? Атака по всем правилам. А тут наши отдыхают, отсыпаются.

Они пожали друг другу руки, обнялись.

— А настоятель мечети вас пустил?.. Не счел святотатством?

— Что ты! Сам пригласил, сам достал кошмы, одеяла. Вчера вечером такой плов закатил в котле из семи ушек. Жуткий подхалимаж...

— А где он?

— С вечера был здесь. А утром еще не видел.

Алексей Иванович горестно воскликнул:

— Упустили!

— Не может быть!

— Главного упустили... Этот мулла не кто иной, как Мирза,—главный советник бека Саида Ахмада-ходжи. Упустили, прозевали самого господина Мирзу, того самого, который сидел здесь, в горах, и нажимал на все пружины от имени господ Чемберлена, Керзона, Черчилля и прочих... Упустили!

Георгий Иванович смущенно притрагивался к своим пышным усам и, видимо, не знал, что сказать.

— А откуда ты взял, Алеша, что имам этой мечети был тот самый... эмиссар?

Георгию Ивановичу не хотелось признать своего промаха, он не мог представить себе, что настоятель горной мечети мог быть британским резидентом.

«Такой уж лояльный мулла! Совсем не похож на фанатиков священной войны с неверными. Примелькались они, а этот другой,—добродушно оправдывался Георгий Иванович,—этот мулла все нас угощал, даже извлек из своих запасов настоящий чай... И высказывался вполне по-советски... Про банду Халбуты очень неодобрительно. Банда, говорит, сброд... Завыли, де, волками, едва выстрелы услышали и «разрывая свои ворота», кинулись с перепугу, не разбирая дороги, прямо под лавину. А над беком Саид Ахмадом он-таки просто издевался: бек тут, в снегах, именовал себя шахом государства Матча, царем... Трус, каких мало! Это, когда мы за плов сели, мулла давай вспоминать. Бек, оказывается, выписал из Индии с нарочным рог носорога и, когда беку подавали к обеду суп-шурпу, он этот рог в суп совал. «Если,—говорил,—суп от рога закипит, вспенится, значит, в нем яд». Боялся, что его отравят.

Георгий Иванович вспоминал, что кто-то вчера сказал ему: «Случился в Матчинском бекстве голод—страшный голод. Ослиный выюк ячменя стоит тысячу... Дети, старики мерли, как мухи. А все потому, что вот мулла-имам этой мечети запретил матчинцам под угрозой проклятия ходить на север за перевал че-

рез Туркестанский хребет...» И комкор только теперь признался:

— Не пришло в голову, что мулла-то не просто мулла, что в его руках была власть, большая сила.

— Упустить упустили... Я за ним, за этим сладеньким «алим бэ амаль», по всему Туркестану мечусь. Гояньюсь... Какой промах! — посетовал Алексей Иванович.

Георгий Иванович все не мог успокоиться.

В хижину пришел командир особого дивизиона Пардабай.

— Мирза далеко не ушел, — говорил старик, грея руки и сплевывая зеленую жвачку прямо на пылавшие в огне ветви арчи. — Что же ты, комиссар, не сказал мне раньше, кто тебе нужен. Этот «муфтахур» — дармоед — Саид Ахмад-ходжа и Халбута ведь тебе про муллу Мирзу не говорили...

— Вы тоже его видели? Всех обвел! — не удержался комиссар от возгласа.

— Да мы его встретили на мосту через Зарафшан.

— Он был один?

— Нет. С ним были наши местные гальяча, человек десять.

— О аллах? А женщины с ними не было?

— Как же, тетушка-старушка. Она вела ишака, а на ишаке ехала ее дочка.

— Дочка?

— Она все говорила «дочка». О, мулла еще молитву прочел. Благодарение богу возгласил, что басмачи не успели сжечь мост. Аллах за то наградит голодранцев-басмачей. А мне и моим людям раздал тумары с молитвой о здоровье. У нас от умиления даже сердце схватило.

— И вы его пропустили? Был же приказ всех подозрительных, переодетых басмачей задерживать, не выпускать из долины.

— То подозрительных, а какой же мулла басмач?.. Наделенный милостями божий человек... Благословил нас и пошел себе.

— Когда? И куда?

— Чуть светало. У муллы еще был посох с набалдашником в виде женщины-рыбы. А куда пошел? На озеро Искандер-Куль пошел...

— Ну теперь ему не уйти. Конечно, куда ему, этому чахлому интеллигентшишке, по скалам да по снегу!—

воскликнул Георгий Иванович. — Давай команду «по коням!».

Далеко по засугробленному селению разнеслось:

— По коням!

Зазвучала труба горниста. Полк поднялся по тревоге.

Как всегда, в самый нужный момент появился Баба-Калан. Он приехал со своими «чекистами» из Варзиминора.

Выслушав всех, он только качал головой. Баба-Калан упорно не верил, что в горах, где снега по стремя всаднику, конники смогут догнать и найти человека, пробирающегося пешком на запад по оврингам и козым тропам.

Баба-Калан не грел руки у очага. Огромный, в мохнатом полушубке, он стоял в толпе матчинцев-добровольцев и объяснял им, что делать. Он отбирал ходоков, людей крепких, ловких, не боящихся ни ледяных карнизов, ни лавин, ни крутых подъемов.

Баба-Калан пытался узнать, не было ли с Мирзой женщины? Он был почти уверен, что Наргис увезена с гаремом бека. Ведь все говорили, что и эмиссар Мирза уехал с ними. И с ужасом он предполагал, что Наргис погибла под лавиной. Но если в свите бека не было Мирзы, значит, он предупредил их. Баба-Калан сказал:

— Он выбрал наиболее трудную тропу. Не стрелять. Надо взять его живым. И потом среди них — женщина. Мы, большевики, с женщинами не воюем.

— Пусть гора Хазрет-Султан упадет мне на голову, но мы его поймаем. Мы и на воде след лисы найдем.

А теперь стало очевидно, что Наргис жива, что ее увел с собой Мирза, что надо торопиться.

Баба-Калан был весьма высокого мнения о себе. Георгия Ивановича он с собой не взял, считая, что тот не сможет пройти по оврингам Фан-Дарьи и Шинка. А именно туда мог податься, по его расчетам, хитрейший из «муфтахуров» — дармод и преступник, тихий мулла из каменной мечети.

Встречу с комиссаром Алексеем Ивановичем Баба-Калан назначил в Пянджикенте.



Часть пятая В ВОДОВОРОТЕ

I

Бесстрашие — порождение духа.

Джами

Дым выстрела обратно в дуло не
засунешь.

Мерген

Чуть брезжит рассвет. Бледнеет восток. И неподвижные силуэты коней, будто вырезанные из черной бумаги, резко выделяются на фоне горизонта. Делегаты Курултая, что состоится в Душанбе, делегаты со всех селений Памира, спят, прикорнув, кто где смог.

Спят еще и бойцы эскадрона. Путь до столицы горной страны неблизок и небезопасен. А караван верблюдов медленно движется, кажется, уже на краю пустыни; далеко за силуэтами коней, — подвижные двухгорбые силуэты верблюдов. Лишь часа через два, когда солнце уже обожжет песок пустыни, эскадрон Баба-Калана с делегатами-горцами догонит свой караван, случится, что басмачи нападут (а ночью они не воюют).

События тех дней еще живут в памяти, хоть прошло немало времени и свежие впечатления, казалось бы, могли захлестнуть все, что было.

Когда матчинский бек в панике бегства через снежные перевалы верховьев Зарафшана все-таки вспомнил о супруге халифа и возымел намерение увести ее с собой, и Мирза по его поручению поспешил за ней в хижину над пропастью, то Наргис там не оказалось. Старуха ясуман только испуганно хихикала: «Птичка упорхнула. За ней пришел твой друг и увез ее на лошади. Тю-тю...»

Да, поэт и летописец Али опередил всех на какое-то полчаса и повез Наргис через вечные снега в долину, ведущую к озеру Искандер-Куль.

Так Наргис не попала в роковой караван матчинского бека, погибший под лавиной.

Пять дней тяжелейшего пути привели Наргис и ее верного «рыцаря» к селению Магиан, где уже стоял красноармейский гарнизон.

У первой же полузанесенной снегом каменной хижины Али соскочил с коня, подошел, проваливаясь по колена в сугроб, к всаднице.

Из-за низких каменных оград уже спешили конники в буденовках. Тогда Али вскочил на своего коня и погнался к оврингу. Подъехавшему командиру Наргис сказала:

— Прошу, не стреляйте в того... Он спас мне жизнь.

Вот черные горбатые тени верблюдов прошли и растаяли: золото залило край небосвода. Как красива пустыня! В сиянии наступающего дня зашевелились сухие стебельки редкой травки и сочные кустики верблюжьей колючки... Вспорхнула с тоненьким свистом птичка. И легонький утренний ветерок вдруг заставил зашевелиться песок на склоне бархана, и взметнул его вверх. И зашевелилась пробуждающаяся пустыня, и заметались гривы коней под сухим ветром, и вскочил поодаль боец-трубач и разнеслись над бивуаком звонкие, бодрые ноты сигнала побудки.

Среди бойцов красной конницы — Наргис. Матча с ее лишениями и смертельными опасностями в прошлом.

Едва загудел горн, она вскочила, отряхнула песок с одежды, и вот она уже верхом на коне, рядом с командиром эскадрона. Наргис — разведчик эскадро-

на особого назначения. Ее начальник Баба-Калан, Он с нежностью поглядывает на сестру. На лице ее ни следа усталости, хотя удушливая пыль окутала всех всадников. Воздух такой густой, что и кони и люди плывут безмолвно. Стука копыт, опускающихся в лесовую пыль, не слышно. Пылевое облако легло на плечи и спины и провожает кавалькаду. Дышать нечем, потому что ветерок бьет в спину и скорость пылевого облака не превышает скорости лошади, идущей шагом. Разные люди попали в колонну делегатов Курултая. Поэтому комендант колонны, он же Баба-Калан, командир, на всякий случай отобрал еще в Кулябе у всех оружие. И в Конгурт никому не разрешил заехать: даже бывшему конгуртскому беку с его конгуртцами. Кто их знает, вчера они еще в басмачах ходили во главе со своим беком, именовавшимся тогда додхо, а теперь едут на курултай в Душанбе провозглашать Социалистическую Республику.

Баба-Калан скакал то впереди колонны делегатов, то в самой гуще колонны, то отставал, поглядывая за порядком. Пот лился по его до малиновости загорелому лицу, гимнастерка до черноты намокла на спине. Кашель от пыли раздирает грудь. Едущий впереди проводник Насратулла Максум несколько раз высказывал Баба-Калану свое опасение. Особенно предупреждал насчет Конгурта.

Но конгуртцы не роптали. Они вертели своими чалмами и все оглядывались на высившийся на склонах горы прекрасный Конгурт, похожий в свете утреннего солнца на сказочный город принцессы Хуснобод. Золотились плоские крыши, серебрились пирамидальные тополя, голубели маковками ажурные минареты. Там позади осталась зелень, прохлада, прозрачные струи родниковых вод, ледниковые потоки беспокойной Кызыл-су. И в такой рай комендант Баба-Калан с Максумом не пустили конгуртцев. Им оставалось трястись в седле и вздыхать о Конгурте:

Не зноси там зной.

Не холоден там холод!

По левую руку стеной высились черные отвесные скалы. Справа узкое в сто-двести шагов ущелье. Даже сюда доносился шум воды—гремел на огромной глубине в каньоне сумасшедший Вахш. Вахш, Вахшиона—

Дикий, Свирепый. И не пытайтесь перебраться здесь через него. Сжатый узкой горловиной, он ревет и свирепствует водяной массой, которая ниже, у Термеза, разливается на километр-два. А тут нет и полтора метра в ширину и вся эта огромная масса воды кидается в еще более узкую расщелину, среди черных утесов. А там деревянный мост шагов в пятьдесят перекинут через черную «трубу». Это единственный мост на всем тысячеверстном протяжении Дракона-Реки. Сожгут мост басмачи — и половина Восточной Бухары окажется отрезанной от Душанбе. Потому в Пуль-и-Сангин — крепкий гарнизон. И ниже по реке, в Нуреке, и выше, в Турткуле, — тоже сильные гарнизоны. Дорога, по которой колонна всадников-делегатов упиралась в Туткаул, мазанки которого были уже видны. Обратно не повернешь. Слева — стена, справа — пропасть. Красноармейцы с тревогой вглядывались сквозь пыль в кишлак и спрашивали себя: «Кто?» Достаточно шального выстрела со скалистой стены, вопля, перекрывающего рев реки, мчавшегося в карьер по опасной тропинке всадника и... несчастье.

— Держитесь вместе, вплотную. Не напирайте, — оглушительно кричит, делая из ладоней рупор, Баба-Калан. Он на коне рыжей масти. Буденновский шлем ему явно мал и держится на макушке круглой головы, а гимнастерка с синими «разговорами» вот-вот лопнет на могучей груди, из которой слова команды вырываются очень гулко.

Но никто не слушает командира. Все напирают, хлеща по мокрым крупам коней плетками, выгоняя их из тропок, пробитых среди колючек и травы, злобно пяля из-под лохм бровей азартные глаза, щеря каменно-белые зубы, лоснясь медными скулами. Им все нипочем. Кони ржут и лягаются. Мирное деловое путешествие в столицу вдруг превратилось в стихийное соревнование силы и спеси, азарта. Ибо все каратегинцы, бальджуанцы, тавильдеринцы, конгуртцы — природные кавалеристы.

«А мне от этого не легче! Начнут тут устраивать панику. Да всем табуном подадутся в сторону, в ущелье. Ни один не уцелеет!»

Славный боевой командир Красной Армии Баба-Калан вдруг думает об опасности, о смерти: ведь его ждет в Тилляу нежная Савринисо.

Храпят в пене кони. Рычит и звереет где-то внизу

Вахш. Душно и жарко от прямых стрел-лучей солнца, пробивающих пелену пыли. Пот струйками стекает под гимнастерку, разъедает кожу. Холодные воздушные струи от стремнины Вахша прохватывают, вызывают озноб. Кавалькада рвется к белым зубчатым стенам Туткаула. Кони чуют отдых. Людей тянет вперед жажда, голод, усталость. Как хочется поесть плова, попить чая и растянуться на одеялах после бессонной ночи в седле.

Стремится вперед Баба-Калан. Он командир-комендант группы делегатов курултая.

А тут деловой разговор с председателем Максумом: «Надо рысаков в узде держать».

Так Максум говорит о своих горцах. Среди них нет почти ни одного грамотного. Ни «алифа», ни «бе» не различают. Живут в каменных хижинах. Пасут овец, охотятся. Кони — главная их любовь и страсть.

Максум камчой с серебряным узором на рукоятке ткнул в пылевое облако с шевелящимися тенями, — все они — лошади. В группе делегатов старейшины, чайрикеры, мергены, есть и бекские подхалимы, один-два бека, и даже курбаши из раскаявшихся.

Хорошо говорить председателю. А попробуй Баба-Калан приструнить толпу!

Все ошалели от пыли, кашля, духоты. Все устали, все злы. Не слушают ни просьб, ни уговоров. Косятся на винтовки красных бойцов. Делегатов сотни — красноармейцев-кавалеристов семеро, с ними командир Баба-Калан и комиссар Алексей Иванович. Хоть бы ветер переменялся, подул бы в лицо!

А тут еще назойливый громкий треск. Не сразу сообразишь, трещит ли в ушах или... пулемет?.. Да, стреляет пулемет. И сразу обжигает мысль: «Началось!» То, чего боялись, началось.

Колонна двигалась в облаке пыли. Пепельные морды, пепельные бороды, лица, чалмы. Все сгрудилось в кучу. Живая, шевелящаяся, судорожно дышащая толпа, храпящие кони. Все бороды задраны вверх, все смотрят на лазурное небо. Все ищут.

В небе тихо. Небо безмятежно. И вдруг снова — та-та-та. Пулеметная очередь. И когда она стихает, слышен работающий мотор.

Аэроплан!

Из-за черной стены хребта выползает в небосвод аэроплан. Старенький, видавший виды, — отсюда, с

земли, можно разглядеть — «Хевиленд». Из тех самых, английских, трофейных.

И сразу же легче на душе. Значит, не басмаческая засада. Можно радостно закричать:

— Спокойно! Это наши! У басмачей самолетов нет!

Но... снова треск пулемета. Аэроплан пролетает низко и, пересекши туткаульскую долину, улетает за хребет, что за каньоном Вахша. Когда аэроплан скрылся, в уши опять ворвался грохот теснины.

О-о-о!..

Это, несомненно, голос председателя Максума. Комиссар видит его скуластое смуглое лицо, черную густейшую бороду, бегающие зрачки глаз, ищущих в небе улетевший «Хевиленд».

— Дураки! В нас стреляли! Еще немного — и попали бы! Они могли перестрелять нас, как горных куropаток, они дьявольские охотники с небес!

Председатель Максум облегченно проводит ладонями по бороде и черному суконному камзолу. Он еще не верит, что он цел.

— Они в нас не стреляли, — неуверенно высказывает предположение комиссар. — Они дали знак, что нас заметили и требуют, чтобы мы подтянулись.

— Алексей-ага, — говорит подъехавший Баба-Калан, — надо построить их в ряды.

— А они могут еще раз прилететь? — неуверенно спросил председатель Максум.

— Конечно! — в один голос воскликнули и Баба-Калан и Алексей-ага.

Обнажив клинки, красные бойцы ринулись на толпу всадников наводить порядок.

На узкой полосе, между хребтом и Вахшским каньоном, толпа строилась в колонну. Колоннами басмачи не передвигались. По древнему тюркскому обыкновению, они двигались волчьей стаей и тем отличались от красной кавалерии. Для летчиков это был главный опознавательный признак.

Но кое-кто не желал подчиниться. Кое-кто попытался повернуть обратно, ко все еще видневшемуся вдаль зеленому Конгурту. Кто-то махнул рукой на свое делегатство, на всю эту затею с поездкой в Душанбе и решил вернуться. Вот тут-то и пригодилась командирская твердость Баба-Калана и резвость его коня. С гиканьем, сотрясая землю на своем огромном

рыжем коне, он поскакал вдоль колонны, загоняя в нее недисциплинированных. Сорвав с плеча свой кавалерийский карабин, нагоняя повернувших назад самовольных конгуртцев, Баба-Калан выстрелил два-три раза в воздух.

— Назад! Или вы, братья, шуток не понимаете?! Вы что, не знаете, что летчики попадают в бегущих волков словно в яблочко. Давай назад!

Едва он повернул конгуртцев в колонну, снова в небе застучало.

— Вернулись, нахалы! — прокричал комиссар. — Председатель Максум, вперед в голову!

— Проклятие их отцу! — бормотал он, но выехал вперед. За ним Баба-Калан и еще два-три всадника. Комиссар не мог не отдать дани уважения их мужеству. Он понимал, что летчики приняли их колонну за банду. Пришпорив коня, он вырвался вперед и, сорвав с головы командирскую свою фуражку, размахивал ею, крича в небо:

— Да остановитесь, черти!

Сердце захолонуло. Шагах в двадцати от него вдруг прошли полоской белые фонтанчики песка и пыли. Пули от стрелявшего пулемета ложились очень близко и неуклонно двигались к колонне всадников. Еще! Еще ближе!

Достаточно было пулеметчику на «Хевиленде» взять точнее прицел — и очередь попала бы в колонну.

— Знак! Оознавательный знак! — догадывается комиссар Алексей Иванович. — Они приняли нас за шайку Берды-датхо. Надо выкладывать знак. Чем? Скорее думайте!

Председатель срывает с головы чалму! И вдруг кричит — какой у него оказывается поистине громopodobный голос:

— Эй, мусульмане, спасение в священных чалмах!

Остальные горцы тоже снимают чалмы. На блеклую, сухую траву, на зеленый янтас летят белыми птицами чалмы. Люди соображают быстро: страх смерти сильнее предрассудков.

Алексей-ага, Максум и командир Баба-Калан, спешившись, заняты делом. Они разматывают чалмы и выкладывают прямо на пыльной дороге и колючках огромный знак «Т». Чалм хватает, даже на два слоя.

Чалмы берут только белые: знак должен быть хорошо виден с высоты.

— Успели! — восклицает бородач Максум. С его коричневого лица струями льется пот. Но он доволен.

— Теперь они не посмеют! — говорит он.

Баба-Калан все же с тревогой поглядывает на лазурное небо.

— Ох! — восклицает он. — Летят! Летят, черт побери! Стоять! Не шевелиться, — оглушительно командует он колонне.

И опять с неба: «Та-та-та!» Вот-вот полоснут по всадникам. Вся гряда всадников сотрясается в какой-то судороге. Из-под копыт коней, вонзенных в землю, вырывается пыль.

— Тихо, — надрывается комиссар, хотя какой толк от тишины сейчас.

И вдруг воцаряется абсолютная тишина. Шумит в теснине Вахш. Чирикают воробьи, звякают удила, сопят кони.

Но... тишина — стихает гул мотора. Глаза провожают аэроплан, скрывающийся за северным хребтом.

Никто ничего не говорит. Никто не выражает радости. Все оцепенели. Затем кони, встряхивая головой, высвобождают из ослабевших рук удила и начинают ловить губами сухие былинки.

У всадников тоже расслабленный вид, бороды встрепаны, все судорожно сглатывают, шевеля кадыками. После мгновений страха всем ужасно хочется пить.

— Как бы сейчас пригодилась пиала ледяной ключевой воды! — говорит председатель Максум.

— ...Для восстановления морального равновесия, — громко шутит комиссар. — Э, да они опять!..

И снова все взгляды — в небо. Вроде избавились от опасности и нате!..

Очень медленно аэроплан вылезает из-за горы и медленной черепахой ползет он по небосводу, правда, на этот раз совсем низко, так, что видны даже проводочные распорки и растяжки фюзеляжа, видна голова в марсианских очках-консервах.

Медленно, с ревом летит аэроплан над долиной, в которой застыли в колонне онемевшие всадники.

«Кто его знает? Может быть, лента в пулемете кончилась или бомбы начнет бросать?»

Четко видна рука летчика — рука приветственно машет. Потом показывает на знак «Т», снова машет.

«Хевиленд» улетает, чтобы уже не вернуться.

Все повеселели, заулыбались. Руки упираются в бока. Люди смотрят в небо без опаски, смеются: «Что нам какой-то там аэроплан-мароплан!»

И едва командир прокричал: «Собирайте свои чалмы! И в путь!» — как вдруг все захохотали. Раздался не добродушный чайханский хохот от шутки аскиячи — острослова, а ревуший, нервный, от которого, казалось, сотрясается горный хребет. Всадники кричали: «Ай, молодец!»

Долго не могли расслышать команды:

— Убрать знак! Собрать чалмы! Вперед марш по двое!

Все так же припекало летнее таджикское солнце, и из-под копыт коней поднималась душная, терпкая, как наждак, пыль. Но никто не обращал на нее внимания. Скомандовав: «Ехать по двое», Баба-Калан сам выехал вперед и вглядывался в белые домишки Туткаула. Он ехал один впереди, чтобы бойцы туткаульского гарнизона могли хорошенько разглядеть его командирскую фуражку с красной звездой, его гимнастерку с голубыми кавалерийскими «разговорами» и петлицами и не принялись палить из всех винтовок и пулеметов по приближающейся делегатской колонне. Кто его знает, как расценил комендант Туткаула всю эту заваруху с пулеметными очередями и не принял ли он делегатов за басмачей?

В Туткауле весь гарнизон из двенадцати бойцов, да половина из них лежит в малярии.

Вскоре навстречу колонне прискакал комендант Туткаула. Он не извинялся, хоть и чувствовал себя неловко. Он даже покрикивал:

— Вы раззявы!.. Под пулемет лезете!

— Сами вы ахмаки! Дураки! — возразил Баба-Калан. — Что, не можете охранение выставить, разобратся что к чему? Наши люди с коней валяются — сутки в седле.

— Что вы перли такой бандой? Мы думали — сам Ибрагимбек! У меня хоть все бойцы желты от малярии, но в боевой готовности номер один. Все за укрытиями, за пулеметами. А тут еще слышим пулемет с неба. Окончательно решили — басмачи.

Председатель Максум поджимал губы, хмурил свои густые брови, но внимательно, даже сочувствующе поглядывал на качавшегося от слабости в седле тут-

каульского коменданта. И подлинно он заслуживал жалости. Такой худой, костлявый, видимо, от частых приступов лихорадки.

Комендант был преисполнен ответственности за порученный ему Туткаульский гарнизон. Он знал, что достаточно чуть ослабить бдительность — и случится непоправимое. А то, что и сейчас его бил приступ малярии, подумаешь! Пустяки!

— Инцидент исчерпан, — остановил комиссар спор и переброску упреками. — Поехали в Туткаул, хватит тут топтаться на солнцепеке. Отдохнем у вас в тени. Да и время обедать.

II

Делать хорошее дурным людям, это то же самое, что поступать дурно с хорошими людьми.

Захириддин Бабур

Слышен скрежет подков о каменистую невидимую тропинку, постоянная команда: «Слезай, хватай коня за хвост!» — подъем, мучительное восхождение на невидимый в темноте крутой перевал, скользящая вниз шебенка и галька...

И вдруг до Наргис, которая присоединилась к колонне в Туткауле, доносятся слова:

«Он бежал во тьме ночи, хоть никакая гончая не гналась за ним. Конь сбросил его на твердую землю, плоть его оторвалась от костей, и душа его со стоном просится из тела...»

Наргис узнает голос Абдукагара-курбаши, которого уже издали видела среди делегатов курултая.

До обстрела делегации с аэроплана он, видимо, держался в стороне, да и теперь не рвался вперед. Попытка его оставаться на левом берегу Вахша или подняться на обрыв по козьей тропе сразу привлекла бы внимание к нему, и он предпочел ждать захода солнца. Ночью он ускакал.

Йигит, сопровождавший его — а это был Али — вернулся и сообщил о гибели курбаши Абдукагара.

Наргис никакой симпатии к Абдукагару не испытывала, и все-таки ее ужаснула гибель человека, которого она знала лично. Но... погиб ли он?

Наргис удивляло, что в колонну делегатов затесались самые неподходящие люди. Помимо Абдукагара-

басмача, здесь же шел в Душанбе ее верный поклонник, сын муфтия, Али, связанный с опасным врагом Советской власти Мирзой.

Наргис не знала, порвал ли Мирза с басмаческими главарями. Где они? Что они? Прошло несколько лет со времени падения Матчинского бекства. Много изменилось. Явные враги Советской власти стали тайными. Неизвестно, что теперь представляет из себя и сам Али. Ужасно жаль, что так темно — не видно даже ушей коня — и нельзя взглянуть в глаза Али. Он не сумел бы скрыть своих мыслей от Наргис.

Наргис старалась унять дрожь в голосе.

— И этот, ваш хозяин, тоже здесь?

В ответ прозвучало откровенное и наивное:

— Вы спрашиваете про брата нашего Мирзу?.. Конечно, здесь.

— Что же он здесь делает?

И в ответ:

— Он тоже делегат. Едет на курултай.

— От кого же?

— Его избрали в Вальджуане...

— Почему же я не видела Мирзу вчера в Туткауле?

— А я увидел вас, о совершенство совершенств! И душу мою наполнил восторг. И я сочинил вот это мекневи:

Этот старый-престарый караван-сарай,
наш запыленный мир. Как расцвел бы он,
если Наргис соблаговолила бы
сделаться его привратником! Но разве
мы осмелимся просить ее
коснуться розовым пальчиком
засова ворот этого вертепа?..

Я любовался вами в одеянии всадницы!

«Какое неожиданное стечение обстоятельств! Мирза: среди делегатов курултая!» — думала Наргис.

Она присоединилась к колонне делегатов в Туткауле вместе с десятью делегатками, которых она сопровождала теперь до Душанбе. Перед Наргис возникло много проблем. Делегатки, которых она «везла» в Душанбе, прятали лица под чачванами или под полами накинутых на голову камзолов, сбивались в

кучу, чем создавали в колонне смятение и беспорядок. Они были перепуганы пулеметной стрельбой с аэроплана и легко поддавались панике при малейшем возгласе или шуме камня, катящегося с высоты.

Их ни на минуту нельзя было оставить, и, вполне естественно, Наргис, оберегая свое «стадо козочек», не могла разглядеть делегатов основной колонны до случая с аэропланом.

Наргис не очень доверяла своим подругам. Они хоть и были выбраны на курултай на кишлачных женских собраниях, хоть и считались передовыми активистками, но больше походили на покорных пленниц, смирившихся со своей участью.

Они даже на Наргис смотрели с испугом и робели при каждом ее слове и прятали свои глаза.

Колонна продвинулась к мосту. Наконец Наргис сумела рассказать Алексею Ивановичу об Абдукагаре.

— Осторожно, — решил он. — Здесь, среди этих всадников, подобных башибузуков, наверное, не считать. А Абдукагара мы на первом же привале прищучим.

Видел ли издали Абдукагар, что Наргис разговаривает с комиссаром, или вообще решил, что дальше в делегатах оставаться слишком опасно, но не доезжая моста, как мы знаем, предпочел свернуть в сторону.

Абдукагар исчез. И, казалось бы, инцидент был исчерпан.

Но тут в кромешной темноте на чуть белевшей тропе появился всадник и заговорил таким знакомым вежливым голосом:

«Мирза бежал во тьму ночи...»

Боже милостивый! И поэт Али, преданнейший дыхатель здесь, и зловещий братец бледноликий Мирза тоже здесь! Или бежал?.. Что же делать?

Почему он оказался в составе делегации Первого Всетаджикского курултая? Покаялся, признал Советскую власть.

Надо будет в Душанбе, возможно, перед заседанием курултая, за столом, где регистрируют мандаты, сказать о нем? Там уж разберутся.

В душе возникли сомнения. А может быть, сейчас сказать о Мирзе комиссару?

Так и ехала Наргис всю ночь. И сколько ни муча-

ли ее тягостные мысли, она так ничего и не решила.

А там началась сутолока на речной переправе у Янгибазара, устройство на отдых, тяжелый, тревожный сон.

Когда же вечером колонна делегатов подготовилась для торжественного вступления в столицу и выступила на последний этап пути, Наргис, сколько ни искала среди всадников Мирзу и Али, не сумела их найти. Оба они исчезли.

На курултае она тоже не обнаружила их.

...Оказывается, в караван-сараяе, где делегаты остановились на отдых, Али сказал Мирзе словами знаменитого поэта:

Налей веселящей влаги
в золотую чашу, подыми ее, прежде чем
наши черепа превратятся в совки для сора.

— Наргис, думаю, никому о нас не скажет: она возвышенна душой и прекрасна. А на курултае могут оказаться личности, знающие вас, дорогой Мирза, не как делегата от советских трудящихся и пролетариев. И тогда... вместо кресла в зале совета, мы с вами окажемся за надежной решеткой.

После недолгого раздумья Мирза приказал:

— Мы не пойдем на курултай. Нечего лезть в нору змеи! Я уезжаю!

— А я? Куда песок в вихре, туда и песчинка?

— Помолчи... Ты пойдешь... Найди способ поговорить с этой несчастной. Это легко. Никто не обратит на тебя внимания. Все женщины придут на заседание с открытыми лицами, и никто не увидит ничего позорного в том, что мужчина разговаривает с женщиной. Ты подойдешь и прямо скажешь Наргис...

— Что я могу сказать?! О, Омар Хайям, как ты был прав, говоря:

Процветает кабак, благодаря нашему пьянству,
и кровь за две тысячи сожалений
на нашей шее.

Почему я, несчастный поэт Али, должен идти и угрожать первой красавице мира, возвышенной душе?!

— Ты пойдешь, потому что я приказываю тебе именем братьев-мусульман.

Как всегда, в разговоре со своим господином Али растерялся. Руки у него дрожали, на лице выступил обильный пот. При Мирзе Али терял дар речи. Безвольный, подавленный, он слушал его, глупо приоткрыв рот и тихо сглатывая слюну. Всей душой он протестовал, но не мог возразить.

— Тенью ты скользнешь за Наргис, — продолжал Мирза. — Незаметно покажешь вот этот нож и скажешь: «Не смей выдавать Мирзу!» А когда убедишься, по ее глазам или словам, что она ничего не сказала и не скажет про нас, добавишь: «Наргис, ты жена эмира. Ты не получила развода. Поэтому ты должна поехать с Мирзой за рубеж в Кала-и-Фату, пред светлые очи халифа и дожидаться его решения. Ежели халиф даст тебе развод и отпустит тебя, ты останешься в Кабуле, и тебя, разводку, возьмет в жены господин Мирза, дабы покрыть твой стыд...»

— Нет. Никогда!

На лице Мирзы появилась гримаса нетерпения. Он не привык, чтобы его тень Али подавала голос:

— Тебя не спрашивают.

Как всегда, Али открешивался от всех замыслов Мирзы, вздымая руки, униженно кланяясь, стонал, плакал, цитировал горестно самых знаменитых поэтов прошлого:

Желающий со стороны мог наблюдать эту странную сцену.

Мирза с непроницаемым выражением своего бледно-мучнистого лица, с которым гармонировала строгая домуллинская чалма и белый халат ангорской шерсти, стоял столбом у коновязи и взирал, как йигиты-конюхи седлают коней. Бровь у него не дрогнула, когда Али в отчаянии позволил призвать на его голову проклятия.

Он, легко вскочив на лошадь, протянул в сторону Али руку с черными пальмовыми четками.

— Я сказал!

Бессильно склонив голову, Али дрожащей рукой схватил руку хозяина и сухими губами приложился к ней.

Уже уехали со двора Мирза и его йигиты, уже разошлись люди, наблюдавшие эту сцену, а Али все еще

стоял, упершись взглядом в землю, усыпанную соломой и сухим навозом.

...На пути к Душанбе еще были тяжелые ночные переходы через перевал, была долина Локай Таджики, где во тьме ночи горели в горах красные тревожные глаза костров. Но вот, наконец, колонна делегатов вступила в столицу. Делегатов празднично встречали жители. Среди встречающих Баба-Калан увидел сияющее прелестное лицо своей Савринисо, которую он письмом вызвал из Тилляу в Душанбе. И она, остановившись в воинской части, где ей выделили комнату, ждала мужа.

Баба-Калан пригласил своих друзей и пилота аэроплана к себе в гости.

Савринисо принимала гостей в восточном наряде и всех покорила.

Пилот, который расстрелял было из пулемета делегатскую колонну, был большой любитель восточной поэзии и сам писал стихи о Памире и горных красавицах, осмелился выступить со стихотворным тостом, завершив его словами:

— Мы уезжаем из Душанбе. Счастливо. Надеюсь, вы напишете нам. И я надеюсь, в одном из писем будет: «Поздравьте с сыном!»

— Я слышал, вас переводят в Москву? — спросил Баба-Калан пилота. — Война кончилась. И уже ничего не останется, как палить из пулемета по мирным колоннам путешественников.

— Я отвечу вам словами арабского поэта Ибн Ямина:

Не жди добра от того,
кому ты нанес удар.
Раз ты отрубил змее хвост,
размозжи ей голову.

Тут еще таких змей сколько угодно. Работы нашему авиаобъединению хватает,

III

Когда очутишься в трудном положении, не отдавай тело недугу трусости. С врагов сдирают шкуру — с друзей снимают шубу.

Саади

В тяжелую пору не теряй надежды: ведь и черная струя проливает светлую воду.

Хафиз Шамсэддин Мохамед Ширази

Матраков, отступив малость, прищурился, посмотрел и остался недоволен. На бумаге, прищипленной к глиняной стенке, буквы прыгали, кособочились.

«Отделение связи Нурек» — гласили буквы на бумаге.

— Ничего... Понятно. Как, ребята, можно прочесть? — спросил Матраков ребят, которые почти всегда, чтобы взглянуть на любопытные машинки, были рядом с волшебником-телеграфистом.

Первое отделение связи на берегу Вахша — Сурхоба. Внизу шумела река. Вверху уперлись в синеву неба вершины гор с белыми шапками. На склоне горы расположилось селение Нурек, продуваемое всеми ветрами.

Рядом — единственный мост Пуль-и-Сангин на Вахше. Нурек на перекрестке древних торговых путей — из Афганистана; Памира, Туркестана, Самарканда, Бухары. Словом, отделение связи крайне необходимо в Нуреке. И почта, и телеграф. Теперь отсюда телеграфист Матраков будет связан с Душанбе, Ташкентом, даже Москвой.

— Так-то, ребята, — сказал Матраков. — Так-то, сорванцы!

Сорванцы с кофейными от горного загара физиономиями, с изъеденными паршой головами, в лохмотьях смотрели на бумажку, тараща глаза.

— Читайте за мной, — важно сказал Матраков. — О-т-де-ле-ние связи. Связь — это жизнь! Отделение связи — это почта, телеграф. Раз отделение связи в Нуреке, — значит, начинается мирная жизнь.

Нурекские мальчишки смеялись. Им нравился этот добродушный Матраков в полинялой гимнастерке, в брюках галифе, демобилизованный красноармеец. Он пользовался известностью и в Нуреке, и в Конгурте,

и в Кулябе, и даже в Душанбе — всюду на тракте, от Сарай-Камара до столицы Таджикистана.

Матраков был хозяином и властелином удивительной машинки, телеграфного аппарата, который отстукивал: «та-тт-та, тата». При помощи этой чудо-машинки Матраков мог разговаривать с людьми, живущими за тридевять земель.

Матраков — сродни волшебникам, таинственный и загадочный!

И он обещал ребятам научить их стучать на аппарате:

«Из вас, шустриков, я сделаю связистов». Он даже, по его выражению, открыл «школу» и каждый день занимался с ребятами русским языком, обучал воинским приемам... После занятий он проводил отличников в маленькую полутемную хибару и позволял им смотреть на телеграфный аппарат, восхищаться блестящими деталями и восторгаться тем, как из аппарата медленно, с шипением выползает лента с «точками-тире».

Выпроводив малышей за порог, телеграфист растягивался на ватном одеяле, постеленном на топчане, и предавался ленивым мечтам: «Вот и отвоевался. Теперь и отдохнуть можно!»

Взгляд его останавливался на винтовке-трехлинейке, висевшей вместе с пантронташами, за которыми под штукатуркой облюбовали себе местечко скорпионы, и лениво думал: «Винтовку надо бы почистить... Да опять там какой-либо гад притаился. Гады, они обязательно притаиваются».

Он перевел глаза со стены на потолок. «Вот откуда они ползут!» Потолка в комнатке, по сути, не имелось. Камыш, настеленный прямо на трухлявые балки, расстрепался и вечно сеял на пол мусор. «Надо бы фанерку... Вот и дверь. Не дверь, а горе!»

Он перевел взгляд на дверь и сразу вскочил и сел на топчане. Моржовые усы его встопорщились. На пороге стоял человек, ничем не примечательный. Но Матраков встревожился. Такого человека в Нуреке он не встречал, а нурекцев он всех знал.

В белом, тонкого сукна халате, в белой бенаресской чалме, в мягких ичигах стоял в дверях человек, очень бледный, с черной, окаймляющей желтоватые щеки бородкой. Медлительно он поднял руку и столь же медлительно заговорил:

— Здесь что? Телеграф?

Не понравился бледноликий Матракову, даже не-пременного «салам алейкум» не сказал.

Матраков встал с топчана так, чтобы и телеграф-ный аппарат и винтовка на стене были под рукой, и только тогда спросил:

— Что угодно? Телеграммку подать? Вот бланк, пожалуйста.

— Неужели телеграф? — удивился бледноликий посетитель. — И с кем ты тут держишь связь? А телеграф работает?

— Работает, работает, — завопили вторгшиеся в комнатку ребята. Они заполнили все пространство между посетителем и столиком, на котором стоял телеграфный аппарат.

— Ушш, саранча! — шуганул детишек Матраков, но почему-то машинально снял со стены винтовку.

От связиста не укрылось, что глаза на бледном лице бегают. Посетитель стоял, окруженный детьми, в некоторой растерянности.

Матраков весь сжался и напрягся: в открытой двери, за спиной бледноликого, у домика, стояли вооруженные горцы в красных чалмах, держа на поводу коней. Гривы и хвосты их трепал ветер. Тот же ветер распахивал неповязанные бельбагами халаты горцев.

Естественно, таким людям, как бледноликий и его спутники горцы, появляться в отделении связи в горах вроде бы ни к чему. Зачем иметь мирным людям оружие, когда в горах тихо? Даже все гарнизоны из кишлаков убраны и его, Матракова, бойца и отличника строевой службы, уволили в запас.

Матраков с винтовкой в руке напряженно разглядывал непрошеного гостя. А мальчишки просто в восторг пришли:

— Аппарат охранять надо! — кричали они. — Он посторонний! Посторонним вход воспрещается!

— «Посторонним вход воспрещается!» — прочитал Матраков вслух типографский плакат на стене. — Понимаете?

— Что вы? Что вы? Разве мы?.. — мялся бледноликий. — Тут не проезжали люди... всадники. Один очень важный. Он сюда не заезжал к вам? Впрочем, конечно, не заезжал. А мы мимо... Мы — базарчи, торговые люди. Товар по базарам возим, продаем.

Он пятился к двери, не спуская глаз с рук Матракова, крепко державших винтовку.

Нет, Матракову все больше не нравился бледноликий. Во всяком случае, он мог сюда, на гору, и не подниматься, чтобы спрашивать о «почетных всадниках». Он мог отлично узнать про них, если они проезжали через Нурек там, внизу, около мечети. Зачем понадобилось подниматься сюда? Убедиться, что действительно есть телеграф? Из любопытства? Наверное, бледноликий хотел убедиться, что аппарат есть. И он даже не словчил, не дал телеграммы.

Детишки, галдя, выкатились из комнаты за бледноликим. А Матраков все еще стоял с винтовкой в руках, смотрел через открытую дверь, как тот садится на коня, как ребяташки толпятся, любуясь конями и сбруей. А Матраков уже и до этого заметил, что кони-то не базарные, что ни хурджунов, ни тюков с товарами на седлах нет, что сбруя на конях дорогая, что к седлам приторочены винчестеры.

Матраков, слегка пригнувшись, чтобы не задеть головой притолоку, шагнул наружу и огляделся.

Казалось, ничего не сулило беды. Солнце аппетитным желтком плавало в синем небе, в свою очередь опиравшемся на белоголовые горные пики. По склонам гор паслись коровы кишлака Нурек, казавшиеся издали низкими. Внизу белой полосой — белой от пены — мчался Вахш, вырвавшийся из Сангипульской теснины. Нурекское отделение связи помещалось высоко на обрыве, и шум яростных стремнин был там слышен только в тишине ночи. А сейчас далекий рев стремнин заглушался чириканьем всяких многочисленных пичужек, наполнявших кроны урюковых деревьев, под которыми расположились спешившиеся всадники, приехавшие вместе с этим бледноликим человеком с вкрадчивыми глазами.

Он назвался Мирзой, путешественником, и все его мягкое обращение, казалось, не сулило никаких опасностей. Да и о каких опасностях мог думать отставной боец, ныне советский служащий отделения связи селения Нурек? Селения, занимающегося мирными делами — посевами богарной пшеницы на склонах гор, разведением гиссарских мясо-сальных баранов и виноградарством.

Связист Матраков поглядывал на бледноликого Мирзу, нервно сжимавшего рукоятку изящной плети, на горные вершины.

«Чего он, этот гражданин Мирза, нервничает. Как они через реку перебрались? Вроде на мосту застава».

И вдруг сердце защемило. И так стало тоскливо, хоть бы и не глядеть на небо, на полюбившиеся горы.

Тут Матраков посмотрел на винтовку, сжатую пальцами его рук, на камчу бледноликого Мирзы, на людей под урюковыми деревьями и осторожно подвинулся вбок так, чтобы между всадниками и им оказался Мирза.

Глаза Мирзы следили за взглядом буденовца, окинули горы, долину с белым Вахшем, урюковые со свежей листвой деревья, сгрудившихся вокруг него людей и сказал:

— Урус, зачем оружие? Не угрожай!

— Никто вам не грозит. Порядок нужен. Аппаратура, то да се. Насчет Ибрагимбека слышали?

— А что вам до Ибрагимбека?

— Опять, говорят, через границу поперся.

Естественно, что с этими людьми вообще нечего было вести разговоры, да еще о басмачах, об Ибрагимбеке. Матраков с тоской подумал, что вот стоит один перед дверью своей «конторы», что актив Нурека с утра в горах на севе яровых, что в кишлаке остались старики, старухи да ребяташки.

Вытянув ниточкой синие, бескровные губы, Мирза изобразил на лице презрение. Он снова глянул на винтовку и повернулся было уже, чтобы уезжать, но вдруг через плечо посмотрел на этого столь невоинственного, несмотря на винтовку, человека в вылинявшем военном обмундировании и сказал:

— Мне не до вас. И не время с вами, урус, беседовать, а вот что я вам скажу. — Он старался заглушить нотки презрения и говорил вкрадчиво, почти ласково. — Что Ибрагимбек? Большой, великий воин. Правильно! Он пришел в Таджикистан. Не волнуйтесь! — Он почти выкрикнул последние слова, потому что заметил, как судорожно сжал Матраков винтовку. — Разве теперь он убивает русских? Времена другие. Раньше убивал!

— Как так! — не удержался Матраков.

Поразительное направление принял разговор с этим бледноликим. Недаром тоска прилиwała к сердцу. Ах, черт побрал бы нурекцев! Где они?

А бледноликий еще ласковее говорил:

— Ибрагимбеку нельзя убивать русских. Русские тоже против колхозов. Русские тоже против большевиков. Убивать русских не надо. Ибрагимбеку нужны аскеры, храбрые, смелые. Он призывает в свои ряды всех — и узбеков, и таджиков, и русских, и кавказцев, чтобы добровольно шли. Ему такие специалисты нужны. Радисты, оружейники, пулеметчики. Ибрагимбек сейчас не против русских — против колхозов идет.

— Ого! Против чего же еще!

— Иди, урус, к нам. У Ибрагимбека непобедимая армия! У всех английские одиннадцатизарядки!

Он почему-то скосил глаза на своих спутников. Они все так же стояли, понурившись, под деревьями возле своих коней. Только теперь Матраков понял, что они еле держатся на ногах от усталости, что они остановились на привал около отделения связи вынужденно, что они спешат выбраться поскорее из Нурека и уйти в горы. И они вовсе не с той стороны Вахша, а наоборот. Жаждут перебраться на ту сторону и боятся ехать через мост Пуль-и-Сангин, потому что там их могут задержать на заставе.

— Вот что. Убирайтесь отсюда, пока целы, гады! Напугали одиннадцатизарядными. Я так шарахну из своей любезной пятизарядной, мокрого места не останется.

Мирза презрительно протянул:

— Слушай, урус. Я тебя знаю. Ты в Матче был. Потому только с тобой канитель тяну, разговариваю. Давно бы следовало тебя...

— То-то смотрю на тебя, гада!.. Вроде знакомое лицо. Это ты к басмачам подался. Жалко, раньше тебя не придушили.

— Зачем же так, грубо? Час большевиков пробил. Вон курбаши Шах Асан уже доложил заместителю командующего Али Мардану, что большевистский самолет захватил. Два пулемета.

— Враки все.

— Летчиков уговорили. Теперь в армии ислама своя авиация.

— Врешь, гад!

— Зачем же так?

Матраков вспыхнул. Матраков поднял винтовку.

Бледнолицый Мирза, бормоча: «Не играй! — попятился.

— Ты умеешь польстить, но я тебя...

Он так и стоял, держа у плеча винтовку. И, все еще не вполне соображая, что же произошло, не выстрелил. Но почему они не стреляли? Матраков неосторожно оставался на виду, на открытом месте. Его могли подстрелить как зайца. Им ничего не стоило.

Но Мирза и его спутники убралась. Ну и хорошо. А то тут такое было бы! А ему, Матракову, надо аппаратуру сохранять. А он тут ввязывается в разные склоки. Вот тебе и мирное время с синим небом, с желтым, весенним солнышком, с пением птичек.

Он только теперь увидел, что солнце подкатилось к самому зениту и совсем уже не желтое, а белое, жаркое. И Матраков бросился к мазанке, с треском распахнув тощую, дощатую дверь, кинулся к аппарату. На секунду он задержался, чтобы чертыхнуться.

Из-за стола на него глядели с полдюжины перепуганных краснощеких ребячьих мордашек. Черные глазенки-вишенки тарасились на него с благоговением и ужасом.

— Брысь отсюда! Работать надо! — прикрикнул на них Матраков.

Он оглядел свое отделение связи. Жалкие, грубо побеленные кочковатые стены. Камышовый потолок с торчащими камышинками, окошко заклеено промасленной бумагой. Сколоченный из неструганных досок топчан с ситцевым одеялом и подушкой валиком. Столь же грубо сколоченный стол и на нем аппаратура. Казенное имущество.

В окно ничего не видно. Открыл дверь. Посмотрел на мирную долину. Прислушался.

Тишина. Под урюковыми деревьями — дети. Обижены.

— Ничего. Мир кончился, — громко сказал Матраков. — Понятно? Телефонист седьмой кавалерийской бригады приступил к прохождению службы.

Один в Нуреке. Нет, не один.

Матраков приступил к прохождению службы. И все завертелось в Нуреке. Он не один. С ним песня его красной конницы:

Вот мчится красный эскадрон,
И я среди его знамен.
Кто лучше и ловчей меня,
Когда гоню я в бой коня.

И уже через полтора часа телефонист докладывал по телефону:

«В Нуреке появилась разведка. Чья разведка? Конечно, противника. Принял меры. Организован отряд самообороны. Из колхозников, из местных жителей. Одиннадцать человек. Два с мультуками, три — с охотничьими. Остальные с кетменями. Да, еще. Послал йигита в Конгурт предупредить насчет разведки начдива. Кого? Да что ты, не знаешь Георгия Ивановича? Все. Прием».

Через четверть часа загудел зуммер полевого телефона.

— Принять телефонограмму.

— Есть, принимаю!

«Банда намерена переправиться на правый берег Вахша. Идут вброд. На мост Пуль-и-Сангин не пойдут. Там охрана, пулеметы. Закройте с отрядом самообороны переправу Гирдоб. Огнем из всех имеющихся видов оружия предотвратить переход банды в Нурек.

— Есть! Помешать переправе.

— Правильно поняли. Действуйте!

— Есть, товарищ командующий! Разрешите рапортовать. Мною меры приняты. Комроты предупрежден. Жду подмогу. Отряд самообороны наготове. Рекогносцировка произведена. Сам врага встречу. Комроты таджбата. Объясню обстановку.

— Кто вы такой?

— Начгар кишлака Нурек. Телефонист 7-й бригады Матраков.

Там, на конце провода, возникла пауза... Наконец кто-то кашлянул.

— Действуйте, начгарнизона Матраков! Обо всем немедленно докладывайте.

Мог ли даже думать телеграфист Матраков, что, выгнав Мирзу из Нурека, сорвал грандиозный план самого Ибрагимбека — прорваться в Локай и начать операции против столицы Таджикистана... Телеграфист, рядовой боец 7-й бригады с боем встал на пути интервентов, возглавив десяток почти безоружных нурекцев-колхозников.

IV

Не пугай! Захотел мою душу сожрать,
эй ты, сын разводки!

Алярбек Даниарбек

Страх не спасет от смерти.

Нафиси

Топот копыт разорвал тишину ночи. Матраков спал по-военному, не разуваясь. Сон соскочил мгновенно.

Матраков стоял уже в открытой двери на пороге, сжимая взведенную трехлинейку и вглядываясь во тьму. Звезды плохо светили, и что делалось в кишлаке разглядеть было невозможно.

Топот приближался. Все собаки селения надрывались в лае. Неизвестные всадники переполошили Нурек.

Перед отделением связи они возникли мгновенно, как духи гор. Они были стремительны и напористы. И только какое-то внутреннее чутье помешало Матракову разрядить в них всю обойму.

— Что же вы, ребята, голос не подали, что свои? Чуть не отправил вас в Могилевскую губернию.

— А кто знал, что здесь открыли почту? — сказал командир эскадрона, высокий, с резкими монгольскими скулами, с жестким разрезом рта и с веселыми карими глазами, с бравой бывалой выправкой кавалериста.

— И был бы ты, связист, прав.

Разжигая лампу, Матраков разглядывал комэска.

— Баба-Калан? — сказал с некоторым сомнением Матраков. — Обнял бы тебя, да вроде после Матчи важный стал. Вон шпалу в петлицу нацепил!

— Да ты же, Петр, связист. Ийо худо! — комэск тискал Матракова в объятиях. — Как дела, друг?

— Вот радость! Встретились!

— Ну, докладывай, Матраков! Обстановочка тут серьезная.

— Сейчас свяжу вас, комэск, с заставой. Как у них? У нас в Нуреке все в порядке. Дали мы на переправе Гирдоб бандюгам по морде. Целый день рвались к броду, да не прорвались. У меня в гарнизоне — молодец к молодцу. Да такую пальбу устроили из «тулок»-двустволок и из своих фузей-мультиков, что Ибрагимбек перепугался и ушел восвояси. Сколько их там от нашей картечи повредилось, сколько стремнине потопло... аллах ведает!

Матраков выглянул в дверь. В темноте под деревьями, там, где днем отдыхали всадники Мирзы, шевелились тени. Слышались отрывистые тихие слова. Это собирался добровольческий отряд Нурека. Под урюковыми деревьями располагалась общественная мехмонхана Нурека, где, как и во всех горных кишлаках Таджикистана, путники находили уют и ласку. Появление красного эскадрона было для нурекцев особенно радостным, ибо они избавились от угрозы.

Пока готовили чай, комэск успел поговорить и с Пуль-и-Сангином, и Конгуртом, и столицей республики. Связь по проводам была нарушена, но радио у Матракова работало отлично.

— Не иначе столбы повыворотили, — сказал Матраков, — значит, готовили удар. Но теперь ничего у них не выйдет.

— Не выйдет. Ибрагим хотел мост захватить — ничего не получилось. Докладывайте, Матраков!

Баба-Калан ничуть не удивился, что Матраков начгарнизона Нурека. Матраков был опытным военным, и ему вполне пристало командовать «гарнизоном».

Проверив наличные силы и дав задания, Баба-Калан принялся за запоздавший ужин. Они проговорили до утра. Им с Матраковым было о чем вспомнить. Сколько они воевали в Матче и Гиссарской долине! Тогда Матраков был связистом и тянул провода от Байсуна до Душанбе. Тогда Баба-Калан возглавлял боевой добровольческий отряд, славившийся неустрашимостью и стремительностью действий. Но Матраков так и остался рядовым бойцом, а Баба-Калан уже имел звание командира эскадрона.

— Учение свет — неученье тьма. Вот ты какой стал, брат Баба-Калан. Герой.

— Никогда не поздно, брат! А помнишь мы с тобой побратались, — вспоминал Баба-Калан. — Ты русский и я узбек — братья. И теперь я буду не я, если из тебя командира не сделаю.

— Не поздно ли? Время-то ушло. Семейный я теперь.

И Матраков рассказал про жену и детей, о том, как он в Сары-Асие женился на хорошей девушке из местных. Как за него там беспокоятся.

Баба-Калан настаивал на том, чтобы командировать Матракова как «обладающего всеми задатками

волевого решительного командира на учебу в Азербайджанское военное училище».

Затем Матраков рассказал о Мирзе, и комэск загорелся:

— Ну, такого мы не выпустим!

В беседе были подключены подошедшие старейшины Нурека, Баба-Калан дотошно расспрашивал каждого. В горы на рассвете были посланы разведчики — пастухи и охотники. Полетели телефонограммы во все концы. Связист Матраков охрип и чуть ли не потерял голос.

Он все еще кричал в рупор приемника, хоть эскадрон Баба-Калана давно уже скрылся в горном ущелье.

Покончив с передачами, Матраков закурил. Потом встал, посмотрел на белый от пены Вахш, снял с колышка винтовку и положил ее на шаткие доски стола.

— А Баба-Калан-то! Какой комэск! Орел! Придется тебе, мамаша, одной малость повековать. Жалко, а придется.

Матраков твердо решил поехать учиться в Баку в Азербайджанское военное училище, когда на Памире покончат с басмачами... и принял участие в боях с ними.

V

Когда черного осла черной, как смоль, ночи увели с пастбища неба, на тот луг выпустили на прогулку белого коня утренней зари.

Сахибдара

Внезапно на горы опустилась тьма. Именно внезапно. Так всегда бывает в южных широтах. Красные конники потеряли четкую ориентировку.

— Где верх, где низ? — пробормотал командир Баба-Калан.

А житель российских равнин Матраков так и не привык к горам, особенно к спускам с перевалов, да еще к таким крутым. Перевал Хинган на хребте Петра Первого вызывал проклятья даже у памирцев. Километра полтора тропка падала почти по вертикали среди камней, валунов, острых скал.

«Смотри, чтоб голова не закружилась, а потому вниз не смотри! Смотри на небо!»

А сейчас и неба нет. Чернота. Хоть бы звездочка. Будто обмакнули в чернила с головой.

Но все это про себя. Вслух же твердо:

— Смотри в оба. Копыто у коня круглое... Чать за- всегда ямку найдет, в ямку ступит. И даешь! — взбадривал себя телеграфист Матраков. После нурекского боя, после персональной награды — красных кожаных чакчар, он стал считать себя прирожденным конником.

— Сдержи свое внешнее и внутреннее в покое.

Отвлекись от надменности.

Помни — спесь от скарденности души.

Дунет ветерок с вершины перевала и пушинкой полетишь прямо в Ховалинг.

Только пушинка летает, а... Матраков-ака падает... — острит, конечно, Баба-Калан. Но ему что? Он уже, слышно по шороху, сполз с седла и топает себе пешком. Привык ходить по горам и во тьме, и в туман, и в снежную бурю. Он даже впадает в лирику, то ли произносит строфу из стихов, то ли сочиняет:

— Серебристый сокол дня
спрятался в гнезде ночи,
и черный ворон
подложил под свое крыло
золотое яйцо неба.

Поэтично! Красиво, но головоломный спуск не делается менее головоломным. Всаднику даже и в темноте понятно, что конь нервничает. Каждый раз, переставляя ногу, конь сопит, и мелкая дрожь прокатывается по бокам и передается вам через одежду, и вы сами начинаете вздрагивать.

Остановиться нельзя. Надо выполнять задание командования — разгромить банду Датхо. Да и расположиться на отдых негде. Обрыв, пропасть. Надо довериться инстинкту лошадей. Когда они спускаются по тропе, они особенно осторожны.

.. Каждое словечко, сказанное кем-то из бойцов, в разряженном воздухе долетает, усиленное эхом.

— Жиром заросли у тебя мозги...

Ого, кто-то ругается. Впрочем, нет — добродушно отчитывает:

— Жир в голове от мусалласа. От плова за ужином. От спанья на толстой курпаче!

— Какой здесь мусаллас, ийо худо! Мой язык и забыл уже вкус мусалласа. Походы!

— Кто говорит про походы. Говорят тебе про твой Багизаман. Ты ведь из Багизамана. Сам говорил. Да тише ты! Камни у тебя из-под ног летят. Внизу же люди... убьешь!

— Не я это... Конь у меня. Не привык к оврингам да камням...

— Плохой ты, значит, кавалерист. Не учишь коня. Не заставляешь коня работать слишком. Видал, вчера на подъеме Казакбай тащил на себе пулемет. Балькевич, на что уж слабак, пер на плечах три «магазина» и коробки с патронами... Понимают ребята — конь еще пригодится. В атаке конь свежий должен быть.

— Мы — сами понимаем. Мы сами крестьяне.

Помолчали. Изредка срывался где-то голыш и с угрожающим свистом летел над головами спускающихся с перевала в бездну ущелья.

Совсем напротив — рукой подать — внезапно, словно из пещеры, вырвался огонь... По-видимому, кто-то зажег костер. Хорошо, если пастух. И совсем близко. Показалось даже, что дымком сквозь тьму потянуло.

— Осторожно! — тихо прозвучал голос Баба-Калана.— Кто их там знает?

— Басмачи? — спросил Матраков так же тихо.

— Кто знает. Был бы мед, а муха и из Багдада прилетит...

— Тихо! Передать по цепи: прекратить курение! Голову сверну! И молчать!

Тишина была густой и вязкой, такой же, как и тьма.

Костер пылал все сильнее, все ярче. Будто кто-то на противоположной стороне ущелья хотел развести такой огонь, чтобы осветить спуск с перевала и тех, кто по нему двигался со всеми предосторожностями.

— О!

Это чуть слышно воскликнул Баба-Калан.

— Ну что!

— Вон еще костер... и еще.

Красивое зрелище, когда стена тьмы вдруг расцветает красными розами огней — прямо перед тобой, выше в небе, внизу. Красиво, но жутко. Мороз по коже.

Тут порадуешься темноте, хоть и проклинаешь ее.

А если костры развели не пастухи, а басмачи?! Сидят, притаившись, и ждут, что у бойцов не выдержат нервы, и те откроют пальбу. Тогда басмачи поведут почти прицельный огонь. Наверняка они еще днем пристреляли вертикальную тропу Хингака.

Конники притихли. Один лишь Казакбай, да и то потому, что идет рядом, позволяет себе ворчать:

— Береги коня! Береги коня! Тут голову надо сберечь.

— Коня не будет — головы не будет,— громко шипит Баба-Калан.

Нудно тянется время. Тысячу шагов вниз делает конь — тысячу раз произвольно сжимается сердце, а затем подскакивает к горлу.

И в такой тьме и беспомощной тоске человеку ничего не остается делать, как сосредоточиться на мысли: «Конь поднимает ногу, начинает дрожать. Нога опускается. На что? На щебенку? Выдержит ли щебенка? Ох, кажется, скользит! Сердце проваливается... Нет, копыто встало твердо, прочно. Дрожь в боках исчезает. Ага, и конь перестал дрожать. Значит, почувствовал себя увереннее... Эх ты, конь-альпинист! Молодец, конь! Но вот он поднимает другую ногу!.. Отрывает ее от тропинки. Снова опускает... Опять дрожь, опять сердце ухает...»

И так без конца.

А внизу — пропасть.

От усталости в голове гудит. А конь ведь тоже устал. И нельзя остановиться.

Огни в темноте на противоположном склоне ущелья то разгораются, то притухают... И ни звука. И эта темнота, вязкая, сырая, липкая от паров, тумана, запахов полыни, дикой розы и мятных трав.

Сон морит. Но не засыпаешь из чувства страха, чтоб не сорваться вместе с конем и не полететь кувырком в бездну... Шагай, конь, шагай.

Конца и края нет этим скребушим, судорожным шагам. Без конца шуршат над головой, с боков, снизу летящие камешки. Или там у костров не слышат шума? Молчат. Не стреляют.

И вдруг одно пламя потухло, словно заслонили его. Значит, командир внимательно следит за огнями. Иначе бы он не обратил внимания на исчезновение этого костра.

С большущим облегчением Баба-Калан понял —

спуск кончился... Они на дне ущелья. И скала заслонила склон горы, на которой те, неизвестные, жгли костры.

Странные звуки неслись из тьмы. Коня со свистящим шипением втягивали в себя воду...

Пить хотелось и людям. Но ждали команды.

— Привал! — тихо скомандовал Баба-Калан. — Передать по цепочке.

Вода в ручье холодная, до ломоты в челюстях, но безумно вкусная. Пили вдоволь...

— Водичка что надо, — сказал боец, — вроде нашей... Возле станицы речка течет. Прохладной станица называется. Водичку в крынке поставим на стол... Денек жаркий да тихий... Небо без дна. Синяя пропасть. Жизнь тоже ничего, тихая. Хорошая штука — жизнь. Мать на глиняной приступке сидит, чулок вяжет... Для меня, сына. Братишкам-пацанам обо мне рассказывает. Какой есть у них братан со звездой на шлеме, да с клинком за храбрость. Анночка над плетнем стоит, смотрит, слушает. Про письмо спрашивает. Не шлю ли поклон... А когда оно, то есть письмо, из этих гор дойдет до станции... ей и невдомек.

— У нас, в Тилляу, в горах вода тоже хорошая, — проговорил мечтательно Баба-Калан. — Даже зубы ломит... Холодна. От нашей воды весной лоза так устремляется вверх, что прямо за небо цепляется, — небо у нас тоже синее. Так вверх идет, что не боится меча осеннего ветра. Холодный ветер по земле ползет, а виноград зрелый на высоте...

— Все у вас лучшее, — сказал Казакбай. — Послушать вас — и вода лучше, и виноград лучше, и девушка Аннушка... А у меня, в Джизакской степи, разве вода хуже? Разве девушки плохие? И виноград в Фарише такой, что одна ягода в арбуз. Когда тихо, мирно, когда басмачей нет, все хорошо. А нам что... Не болтать надо. Воевать надо, баям и их отродью и прихвостням глотки прерывать надо. Потом о тишине думать.

— Ты что взъелся, — сказал боец-станичник. — Война одно, а сидеть на завалинке другое. Я тоже здесь воюю. Народ освобождаю, как Ленин наказал...

Конечно, последнее слово должно было остаться за Баба-Каланом:

— Если грязь в болоте по колено, надо не лезть в нее по горло, а надо взять кетмень и грязь ту выбросить... Трудно, конечно, по горам да перевалам. Жилу можно порвать себе... Но сколько жил мы порвали,

VI

Храни достоинство свое всегда,
Не будь глупцом и хвастуном, о человек!
Самовлюбленности беги, достоинство губя.
Лишь правду и добро от чванства отрекись!
душою возлюбя!
Бухари

Он еще гот мясник!
На крюке баранья голова,
а на прилавке
собачье мясо.

Кабадиани

— А это что за физиономия?

Комиссар Алексей Иванович поправил пенсне и легко спрыгнул с коня на землю: из-под ладони он разглядывал вышедшего из-за камней желтолицего человека, в поднятой руке которого был посох, с намотанной на рукоятку белой чалмой. Тот нудно тянул:

— Аман! Аман! Милости!

— Парламентер?

Из-под чалмы глядели бесцветные глаза. Лицо желтое, носатое. И мертвый тон: «Аман! Милости!»

— А,— тихо проговорил Сахиб Джелял, тоже спешиваясь, — да это Мирза, мой бухарский писарь!

Алексей Иванович тоже почти сразу узнал в парламенте Мирзу. «Плохой парламентер»,— подумал Сахиб Джелял.

Только что в ущелье стоял грохот. Басмачи катили с крутых склонов прямо на красных бойцов огромные угловатые глыбы. Одна, рядом с комиссаром, пробила каменную ограду и с почти животным воем рухнула в пропасть. Только что из-за роя пуль голову нельзя было высунуть из-за укрытий.

Несмотря на страшную усталость, бойцы шли в атаку. Шли! Ползли по каменистым склонам. Все и забыли о том, что двое суток без еды, без сна.

— Злее будем! Подумаешь, рузу держим! Покончим с Датхо, плов устроим.

Бойцы держались крепко. Группа ибрагимбековцев под командованием Датхо была загнана в ущелье, и красные кавалеристы рвались вперед. Видя, что цель

близка, они испытывали подъем всех душевных и физических сил.

— Вперед! Только вперед! — командует комиссар Алексей Иванович. Басмачи не переносят боя ночью. А ночной бой дает много преимуществ — скрытность, внезапность, решительность. Другое дело, что из-за плохой видимости двигаться среди отвесных скал и разверзающейся под ногами бездны огромный риск. Но опытные бойцы обретают в условиях ночного боя некое второе зрение.

— В темноте видим. Кошачье зрение! — шутят бойцы.

Всю вторую половину ночи и все утро успешно шла операция по уничтожению банды. Банда не выдержала преследования под Пуль-и-Сангином, и едва солнце выкатилось из-за синего хребта, побежала, уходя в глубь теснины. Бандиты отстреливались. Стрельба не прекращалась ни на минуту. На склонах за скалами и отвалами из камней прятались басмачи.

— На целый день дел хватит, — рассматривал горы в бинокль комиссар. — Дали же они нам жару! Датхо — опасный враг. Недаром господа британцы считают его настоящим противоядием от революции. Ну на этот раз господа британцы останутся без противоядия. Кровь из носу, а на аркане его приволоку в штаб.

Бой не утихал. Под лучами южного солнца раскалялись камни и горы. Бойцы и кони изнемогали.

И вдруг с белым флагом вышел этот парламентар с желтым мертвым лицом.

— Прекратить огонь! — скомандовал комиссар. — Отбой! Всем оставаться на местах! Смотреть в оба. Передать по цепи.

Стены ущелья перекликались и вблизи и вдалеке:

— Огонь прекратить... Смотреть в оба!

Горы стихли.

«Нет, ему нельзя отказать в смелости, или скорее в наглости, господину Датхо, — подумал Сахиб, с любопытством рассматривая парламентаря. — Он действительно убежден в рыцарстве наших советских людей. Сами они, басмачи, и ни в каких парламентарев не верят. Сколько наших они уже подло погубили. Ни с какими белыми флагами не считаются».

Вслух он сказал.

— Значит, господин парламентар, — господин Мирза.

— Господин Сахиб, вы теперь не арабский вождь,

не глава разбойников бедуинов, а вижу по вашим лицам, что вы большевистский командир.

Он нарочно говорил по-русски. В голосе его звучали злорадные нотки.

— Давно ли вы сделались кяфиром, господин Сахиб? Мы — мусульманин. Мы были и остались верным рабом пророка. И сам командующий исламской армией вручил нам собственноручно фирман их высочества эмира Сеида Алимхана Бухарского на чин датхо. А теперь вы знаете, кто я, какие у меня полномочия, а потому приступим к переговорам.

— Прекрасно,— невозмутимо проговорил Сахиб Джелял.— Переговоры будет вести товарищ комиссар.

— Очень хорошо, а мы, кроме чина датхо, имеем полномочия эмиссара при особе великого сардара Ибрагимбека,— говорил Мирза, произнося слово «эмиссар» не как загнанный в тупик разбойник, а по меньшей мере как представитель могущественного государства.

«Неужели он настолько глуп и недальновиден?» — подумал комиссар и вспомнил пословицу: «Черноту розовой краской не замажешь».

А Мирза все наглед. Он вдруг заговорил по-арабски, обращаясь к Сахибу Джелялу:

— Вы, Сахиб, — узбек. Я вижу: кругом все аскеры мусульмане — узбеки и таджики. Фуражки-то красноармейские, а лица мусульманские. Прикажите связать этого комиссара и переходите на сторону воинства ислама!

— Говорите, господин датхо, по-узбекски, так не пачкайте свой язык грязью коварства. Так что же вам надо с вашим белым флагом? Или вы пришли с подлым предательством? — невозмутимо возразил Сахиб Джелял.

Он объяснил комиссару, что предложил «этот парламентар с предательством в душе».

Датхо Мирза предлагал: командующий исламской армией держит свое знамя в неприступных местах. Командующий копит силы. К нему стекаются со всех гор и долин от Бухары до Памира и из-за рубежа воины под его исламское знамя. Английские пушки уже переправляют через Пяндж. Силы командующего неисчислимы. Но Ибрагимбек не желает огнем и мечом идти на столицу Таджикистана. Ибрагимбек идет с миром народу и хочет договориться добром с советским правительством.

— Значит, Ибрагимбек готов пойти на сдачу? — спросил комиссар Алексей Иванович. — Значит, он приперт к стенке.

— Зачем так грубо? И по существу это не так.

— За чем же дело стало? Складывайте оружие.

— Нет, не так просто. Ибрагимбек горд и благороден. Для того, чтобы все было по форме, надо вам поехать к нему в лагерь и договориться с ним об условиях.

— Никаких условий! Все понятно. Вы в безвыходном положении. Кур-Артык со своей бандой не придет вам на помощь. Третий эскадрон узбекского дивизиона третьего дня разнес банду Кур-Артыка в пух и прах. На поле боя подобрано сто двадцать три убитых бандита. Много аскеров попало в плен. Басмачи сдают оружие. Просят прощения. «Мы неграмотны, — говорят. — Мы судили о Советской власти по тому, что говорили курбаши и имамы. А теперь, приехав в Таджикистан, мы увидели наших родичей, как они живут. Большевики дают людям землю и уважают обычаи. Мы хотим Советскую власть». От тысячной армии Кур-Артыка остался он сам и его бача-писарь. Теперь вы со своим Ибрагимбеком остались одни.

— Позвольте мне сказать, — проговорил Сахиб Джелял. — А как мог оказаться здесь Ибрагимбек? Он был совсем в другом месте.

Мирза потерял свой невозмутимый вид и засуетился:

— Нет, здесь он. Ждет... гм-гм... то есть ждал Кур-Артыка и других.

Известие о разгроме банды Кур-Артыка расстроило парламентаря, но он не сдавался и продолжал твердить свое: надо, чтобы к Ибрагимбеку поехал сам большой начальник — комиссар для переговоров.

— Прекратим войну, — сказал Мирза примирительно. — Довольно мусульманам убивать мусульман. Господин комиссар поедет со мной и все будет как полагается.

— Нет, — возразил Сахиб Джелял, — отправляйтесь и предупредите своего командующего, а товарищ комиссар поедет завтра.

Желтая физиономия датхо Мирзы стала еще желтее. Он пытался убеждать, возражать, но Сахиб Джелял стоял на своем. Нехотя согласился с его доводами и Алексей Иванович. Он рвался сегодня же покончить с бандой — оружием ли, переговорами ли, все равно.

Взяв свой посох с белым флагом, Мирза прошел в тень от утеса для ведения переговоров. Едва он исчез из поля зрения, как басмачи из укрытий возобновили стрельбу.

Пришлось перейти в укрытия, потому что пули начали с визгом пролетать над самым ухом. «Вжик-вжик» — ударялись они о камни, и каменные осколки летели во все стороны.

— Парламентер по-ибрагимбековски! — рассердился комиссар Алексей Иванович.

— Что ж, будем лечить гнилью гниль, порок пороком. Этого Мирзу мы достаточно знаем.

Сказать, что он волк — охаять племя волков.

Сказать, что он змея — обидеть змею.

Философско-поэтическое рассуждение Сахиба Джеляла не успокоило Алексея Ивановича.

— Ну, гадина, доберусь я до тебя! — негодовал комиссар. — Когда они сдадутся, мы не посмотрим ни на что. Мирзу — в трибунал! Придется господину парламентеру оторвать все то, что проглотил! Будешь ты у меня блевать кровью!

После этого бледно-зеленое лицо Мирзы приобрело выражение испуганного мертвеца. Алаярбек Даниарбек сказал о Мирзе: «кислое молоко». Эмиссар или заграничный деятель, как он всюду представлялся, совсем сник. Грохот в ущелье нарастал. На склонах возникли столбы пыли, даже видно было отсюда, что катится лавина камней.

— Выходите же! — сурово потребовал Сахиб Джелял. — Остановите их!

Мирза вскочил, замахал посохом с флагом, залепетал.

Но комиссар Алексей Иванович даже не шевельнулся. Казалось, смертельная опасность рядом, но командир ею пренебрегает. Он только морщился от грохота в горах, а когда шум стих и пыль улеглась, сказал:

— Про вас мне сказали: без воды умоет — без ветра просушит. Как же так — вы парламентер, переговоры не окончены, а военные действия возобновили. Теперь я вправе вас расстрелять.

— Недоразумение, — шевельнул губами Мирза чуть слышно. — Они подумали, что мы... что я...

— ...закончили переговоры? Что ж, мы в самом деле их закончили.

— Мы можем ехать? — Мирза привык говорить о себе уважительно, на «вы».

Комиссар поглядел внимательно на высящуюся прямо над их головами громаду утеса, на дувал шагах в ста от них. В дувале зиял внушительный пролом от скатившегося только что огромного валуна.

— Счастье, что мы переменили место. Ужасно неприятно, если тебя придавят как крысу кочергой. Благодарите меня теперь до могилы. Я вас спас.

Алексей Иванович снова осмотрелся. Кто-то скакал по дну сая, а за ним группа всадников. Сахиб Джелял перевел бинокль на всадника.

Тревога на лице Сахиба Джеляла сменилась удовлетворенностью, и он заговорил:

— Вот, если те всадники благополучно доедут до нас, если ваши бандиты не откроют стрельбу... тогда видно будет.

Дрожащей рукой Мирза поднял чалму и взмахнул ею пять раз.

Сахиб Джелял молча наблюдал. Взгляд его проследил взгляд Мирзы. Но по ту сторону ущелья замелькало светлое пятнышко, одно, другое, много пятнышек. Они увеличивались, стали видны всадники.

— Вот так-то лучше,— заметил Сахиб Джелял.— Живой крысе лучше, чем дохлому льву, а?

Не отвечая, Мирза бессильно опустил на камень, чувствовал он себя дурно. Он так и сидел, опустив голову и не вымолвив больше ни слова. Солнышко припекало. Воспрянувшие после лавины жаворонки и синички запрыгали, засвистели. Ветерок клонил головки горных пахучих цветов к земле. Видно, давно ее не пахали. Старые борозды совсем заросли сорняками.

— Пахарь спину гнул, потел,— говорил комиссар,— от камней расчищал, а вы тут каменными лавинами поля засыпаете. Разбой! Настоящий разбой!

Удивительный склад ума. Бой идет, вот-вот пули защелкают, а комиссар вон о чем думает. Мирза даже желто-зеленое лицо свое поднял, свинцовыми глазами поглядел. Ненавидящим был тот взгляд.

Треща по камням подковами, галопом подскочил всадник.

— Здравия желаю, товарищи!

— Здравия желаем, товарищ начдив!

Спешившись, комдив Георгий Иванович и комиссар Алексей Иванович обнялись.

— Вижу обстановочка у вас...— проговорил Георгий Иванович.— Вздумай чуть раньше через сай поехать, крышка, а? А это что за физиономия? Желтый, носатый, белоглазый! Ба, да это знакомый! Неужто Мирза? Ловко! Куда ни поедешь, с ним встретишься.

— Он оттуда.— Комиссар глазами показал на черневший вход ущелья.

Снова Мирза шевельнул губами:

— Парламентар мы.

Видимо, появление командира, да еще с ромбом на петлице, его напугало.

— Э, да я его видел, знаю, вспомнил. Да это же не просто басмач. Это же у них министр или как его?.. От самого эмира... уполномоченный.

— Мы духовный наставник.

— При Ибрагиме? — быстро спросил Георгий Иванович и тут же, не дожидаясь ответа, словно утверждая себя в какой-то мысли, продолжал:

— Ясно... Затягивают петлю. Белые флаги выкидывают. Западно готовят. Сорвалось у Нурека: переправу же наши отбили. Молодец Матраков — с горсткой бойцов отстоял. Вот теперь и рвутся к другой переправе.

— А как вы проскочили? — спросил Сахиб Джелял.— Мы же окружены.

— Ударили в клинки. Бой живо закончили. Я с бойцами саперного батальона прорывался. Седьмой кавполк. Мост наводили. Страшно все устали. Сутки в разъездах. Не спали. Геройски ведут себя узбеки, таджики. Да иначе и не могут — батраки, бедняки.

— Теперь положение изменилось,—сказал комиссар.— А что нам с ним, этим парламентаром-предателем, делать?

Они отошли в сторону. По знаку Алексея Ивановича из-за камня вышел с винтовкой Алаярбек Даниарбек и весьма недвусмысленно шелкнул затвором. Важно он сказал:

— Господин парламентар, помолись богу всепроницательному: сейчас либо запрут дом твоей судьбы, либо отомкнут замок.

Но Мирзу все-таки отпустили.

VII

Всякий сосуд изливает себя
что содержит в себе.

Ибн Хазм

Волк раскается,
когда подохнет.

Таджикская поговорка

Не приходилось сомневаться, что положение красноармейского отряда было тяжелым. Конечно, Мирза подставил их под удар. У этой с виду «бледной немочи», — так его обзывал в душе комиссар Алексей Иванович, — на самом деле был еще «тот характерец» — чуть что и «в расход». Просачивались слухи, что вопросы политики у Ибрагимбека решает не он сам, а некий эмиссар, приехавший из-за рубежа.

Алексей Иванович еще точно не знал, является ли Мирза этим самым эмиссаром, но предполагал, что это все-таки он.

Теперь Алексею Ивановичу оставалось сетовать на свою неосмотрительность. Разве можно было отпускать Мирзу? Он заявил, что ему необходимо ехать и самому разговаривать с главнокомандующим, договориться, чтобы Ибрагимбек разрешил комиссару лично явиться «пред лицом могущества». Другого выхода, считал Алексей Иванович, у них не оставалось.

Красноармейцы и их командиры оказались буквально заперты в ущелье вместе с седьмым кавполком. Со всех сторон высились высоченные скалы, заросшие арчой. Оставалось или решительно двигаться вперед, или предоставить Мирзе добиться согласия Ибрагимбека.

Но внутренним чувством все понимали, что допустили серьезный промах. Приходилось принимать меры предосторожности и ждать. И тут же, расположившись на огромных мшистых валунах, у самого берега потока, устроили военный совет. Прежде всего усилили разведку, прикрывали шаткий «чертов» мостик через горный поток, заняли отделением пулеметчиков ближайший перевал, начали готовить на скорую руку обед. И ждали нападения басмачей.

Одно утешало — басмачам, в случае, если они захотят напасть, сражаться было еще неудобнее, чем красным конникам.

Комиссару вспомнились местные жители, и он делал

выводы, что не могут они быть басмачами. Жаль, не удалось прощупать истинные настроения.

И тут он увидел двух аксакалов, которые спустились медлительно, важно по очень крутой тропинке, вившейся по обрыву. Шли они не торопясь, важно выставив свои бороды, ритмично покачиваясь, полы халатов закинув за спину. Посохи их смешно торчали в стороны.

Старцы даже не запыхались, когда подошли к валунам. Но и оба вытирали бельбагами обильно струившийся с лиц пот.

— Садитесь, садитесь, — приглашал комиссар Алексей Иванович. — Отдыхайте.

— Не подобает! Нельзя сидеть в присутствии больших людей.

Но все же он их усадил и предложил чаю. У Алексея Ивановича всегда в походе был с собой кумган обджуш и пиалы.

Аксакалы (звали их Муэддин и Фазли) степенно заговорили, отпив по несколько глотков чая.

— Начальник-комиссар, когда у человека полон котел живота, он спокоен, — сказал Муэддин.

— Когда у людей все есть — жизнь их без забот, любовь и стыд есть, — вторил ему Фазли.

— Сладкая речь и веселый нрав у нурекцев.

— В селении разумность, чистота нравов.

— С той поры, как прогнали баев, землю отдали рабочим людям, в Нуреке — ученость и добродетель.

«Теперь ясно, — подумал комиссар. — Старички разговаривались. Они по крайней мере «за»! То есть, за Советскую власть. Но к чему они клонят?»

Долго аксакалы кашляли, сопели, подталкивали друг друга. Наконец, преодолевая нерешительность, Муэддин сказал то, чего так долго ждал комиссар.

— Господин главнокомандующий ждет вас к себе!

— Господин назир приказал передать: «Пусть комиссар приезжает, его превосходительство Ибрагимбек согласен выслушать комиссара», — добавил Фазли.

— Ну вот и хорошо! Едем. Вас, друзья, посадим на коней — и в путь.

Но тут же Алексей Иванович подумал: «А чего ради старички распинаясь в чувствах к колхозу? Тут что-то не то».

— Нам лошадь не нужна. Мы привыкли ходить

пешком,— сказал Фазли.— На коне человека далеко видно.

— Стрела всадника найдет, пеший стрелу найдет,— подхватил Муэддин.

— В чем дело? — перебил стариков комиссар.— Говорите, что у вас на душе?

Но старики явно темнили. Они склонились в пояском поклоне и прятали лица. Они не хотели смотреть в лицо комиссару.

— Мы только колхозники,— проговорил, наконец, Муэддин.— А колхозники басмачам — не помощники.

— Раз вы колхозники, помогите мне, комиссару... Помогите разобраться, говорите яснее.

— Мы и так сказали,— еще тише проговорил Муэддин.

— Меч приложен к нашей шее,— добавил Фазли.

— Разрешите! — воскликнули оба, вскочили, отвесили поклоны и быстро-быстро почти побежали по каменистой тропинке вниз к шумящему, белому от пены потоку. Всем своим видом, так поняли все, старики хотели сказать своими вздернутыми плечами, какими-то «испуганными» спинами, что они и не ждут, что комиссар поспешит отправиться вслед за ними. Спины старичков-горцев будто предупреждали: «Не ходи, не верь нам, не верь словам Ибрагимбека».

То, что хотели сказать своими спинами аксакалы, выразил в двух словах присутствующий при разговоре командир отделения Мухамеджан Карабаев:

— Ходить к Ибрагимбеку,— верная гибель.

— Я вас не спрашиваю, товарищ отделком.

— Самый хитрый, самый подлый этот Мирза, который был у нас. Мирзу надо бы к стенке.

— В Красной Армии парламентары неприкосновенны, товарищ Карабаев. Поняли? А сейчас: «По коням!»

По ту сторону «чертового мостика» комиссара поджидали старцы Муэддин и Фазли и, что в немалой степени озадачивало, тут же под скалой на огромном плоском валуне расположился с удобством на расстеленном паласе за чайником чая сам Мирза. Поодаль со скупающим видом сидели на корточках два вооруженных до зубов йигита, держа на поводках коней.

Ласково потерев руки, Мирза медленно цедил слова. Они звучали настолько нелепо, что воспринимались как детские угрозы. Но самое страшное, пожалуй, было то, что сам парламентар или посол его высокопревос-

ходительства командующего исламской армией господина Ибрагимбека говорил на полном серьезе. Он не на шутку воображал, что может запугать.

— Его высокопревосходительству, — говорил он, — кровь на поле битвы доставляет удовольствие. Так восхищает луноликих красавиц зеленый луг, усеянный алыми тюльпанами.

— Неприятно. Гнусно. Кровь ведь людей! — не выдержал дипломатического тона Алексей Иванович, нервно поправив на переносице пенсне. А затем продолжал: — А мы живем и сражаемся за завтрашний день человека. — Он посмотрел на добродушные лица прибывших из кишлака Санг-Туда горцев, прятавшие в бороды растерянность и неловкие улыбки. — Мы живем в такое время, — и закончил мысль словами Рудаки, — «...в мягкий шелк превращаются окаменевшие сердца, даже медные, полные зла». Хватит зла. Хватит войны.

— Не наденет их высокопревосходительство господин Ибрагимбек на свободных горцев воловье ярмо повиновения и унижения, хотя его рука крепко держит рукоять меча мести!

— Зачем вы так говорите, господин Мирза? То, что вы говорите, нелепость. Ваше дело обречено. Вы сами видите: народ отвернулся от вас. Посмотрите на ваших спутников — вы хотите превратить кровь их сердец в яд, а они не хотят войны и разорения. Спросите их!

Робко, заплетаящимся языком один из бородачей — Фазли-бобо — пробормотал:

— Таксыр командир, мы просим, наше общество просит — не надо войны. Огонь войны разметаёт пепел наших очагов. Не надо.

Видно, он хотел еще что-то сказать, но, встретившись с вытаращенными в ярости белесыми глазами Мирзы, сразу же онемел. Он надвинул на брови свою горскую, синюю в блестках чалму, плотно зажмурился и уткнулся головой в грудь. Согнувшись, он выбежал мелкими шажками вперед и подал комиссару Алексею Ивановичу листок бумаги.

Мирза сделал резкое движение, весь дернулся. Видимо, он хотел попытаться перехватить письмо. Но тут же сник и опустил глаза, вспомнив, что сказал ему Ибрагимбек только сегодня утром:

— Сжечь кишлак Санг-Туда. Они все «большевые». Захотелось им для большевиков хлопок сеять, на хлоп-

ке разбогатеть. А что наш друг Англия сказала: «Не позволяйте сеять хлопок в Туркестане.

Тогда Мирза поддакивал:

— Чтобы следа не нашли от кишлака... как его, Санг-Туда, чтобы весь Кухистан помнил, как сеять хлопок.

И вот теперь эти наглые кишлачники осмелели до того, что подают открыто жалобу и кому?.. Комиссару! Видно, плохи дела Ибрагимбека, если дехкане осмелились так поступать.

Первым прочитал жалобу комиссар. Он думал:

«Вот сущность политики цивилизованных британцев — Чемберлена с Черчиллем. Руками мусульман хотят сделать мусульман нищими. Мечом мусульманина убивать мусульманина из-за... хлопка, а зеленым знаменем пророка прикрывать свою колонизаторскую шакалю морду».

И комиссар внимательно принялся изучать письмо сангтудинцев.

— Письмо я сохранию,— сказал комиссар,— для истории.

«Командиру 79-го кавполка

от дехкан кишлака Санг-Туда.

З а я в л е н и е

В связи с появлением басмаческих шаяк, мы, дехкане кишлака Санг-Туда, не знаем покоя ни днем ни ночью. На день хотя и возвращаемся в кишлак, ночью приходится искать прибежища где-либо в пещере под берегом реки Вахш.

Самоохрана наша в количестве 11 человек не может отбить нападения басмачей, но басмачи, если придут в Санг-Туда, пошады не будет ни старым, ни малолетним, потому что уже несколько лет Санг-Туда имеет почетное оружие за поимку басмачей, так что басмачи сердятся на жителей кишлака Санг-Туда. Есть даже шайка — местные бывшие жители, пришедшие теперь с Ибрагимбеком. При том Санг-Туда имеет семена для посева пахты, но земля не подготовлена к посеву, а потому и просим вашего разрешения оставить у нас в Санг-Туде хоть 30 или 40 человек красноармейцев».

Товарищ подателя письма, похожий на него бородач Муэддин, испуганно вращал глазами. Он не ждал

ничего хорошего ни для своего друга, ни для себя самого.

— Э,— тихо зашипел Мирза,— скажи теперь ты, Муэддин. Если язык Фазли-бобо мелет не знаю что, скажи ты этому большевику, что народ проклинает тот день, тот час, когда звездные шапки пришли в твой кишлак. Скажи — сдавайтесь его высокопревосходительству господину всемогущему Ибрагимбеку (да хранит десница божия его!) или... или уходите отсюда. Уходите! Народ не желает вас, дьяволы в звездных шапках, не желает сеять хлопок, не желает Советской власти, не желает, чтобы вы, большевики, загоняли детей в проклятые безбожные школы, не желает, чтобы женщины открыли лица и ступили через порог разврата, не желает!.. Да не молчи ты, Фазли!.. Говори от имени общины... Говори!

Бородач Фазли, не подняв глаза, не посмотрел даже на окончательно сникшего Муэддина, похожего сейчас на куль с саманом, расплзшийся по кошме, глухо забубнил:

— Конечно... надо... пламя сжигающего... мир гнева... опять же языки огня... э... э... взвиваются к небесам... Народ трепещет... опять же...

— Да говори же! Язык у тебя отсох, что ли?

— О, господин бек! — чуть слышно проговорил Муэддин.— У Фазли восемь детей... прокормить надо. Мошки его залягали...

— Эй, вы,— тут господин Мирза нарушил свое ледяное величие. Он, видимо, убедился, что от его спутников нет никакого толка.— Что вы за духи камней — арвохи пещер! Кто вам дал право взвешивать слово главнокомандующего?! Как смеете идти поперек его приказа? Повинуйтесь аллаху, повинуйтесь посланнику его, повинуйтесь тем, кто имеет власть!

«Видно, не очень-то по своему желанию кишлачки идут за Ибрагимом,— думал комиссар.— Видать, этих бородатых обработали по всем правилам, прежде чем... пустили сюда разговаривать. Обработать-то обработали, а вот говорят они совсем другое, или во всяком случае думают по-иному. Хорошо бы поговорить с народом, поехать прямо в кишлак».

Алексей Иванович почти не слушал, что говорит господин Мирза и вдруг прервал его:

— Так что же, господин парламентар, принимает Ибрагим наше предложение?..

— Какое предложение? — словно бы удивился Мирза, будто он и не вел до этого переговоры вот уже по меньшей мере часа два.

— Вы забыли? Предложение безоговорочно сложить оружие, собрать всю шайку, так называемую исламскую армию и прибыть в полном составе верхом на лошадях, с казной и знаменами в Нурек и сдаться. При этих условиях Советская власть гарантирует всем басмачам жизнь и безопасность и позволит разойтись по домам.

— Как можете вы, комиссар, говорить так? Вы, Красная Армия, под ударом меча! Вы под угрозой гибели и истребления. Вас ничтожная горстка, а нас много: мы, как тучи саранчи. Вам грозит гибель, а не нам. Даже и слушать вас не можем. Ваши речи — дуновение ветра.

— Что ж, у вас принято говорить: «Слабый, но смелый сильного одолеет. Некрасивый да речистый перекажет красивого да косноязычного».

— Что вы говорите?

— А я вам говорю, что только косноязычный в вашем положении может говорить такие нелепости. Или вы там с Ибрагимбеком окончательно потеряли всякое благоразумие? Ваше дело пропало. Вам остается сдаться. Иначе ни один не уйдет целым.

— Нет. — Твердо сказал Мирза, но губы его побелели и явно дрожали.

«Нет, надо ковать железо, пока горячо. Надо ехать», — думал комиссар.

— Так вот что. Я поеду к вам, к Ибрагимбеку, вести переговоры.

— Поедете? Сами? — Чего больше — удивления или растерянности было в Мирзе? По морщинам на гладком обычно лбу было видно, что он лихорадочно думает. Комиссар своим предложением застал его врасплох. Мирза недоверчиво посмотрел на него. Обвел взглядом горы, скалы, ущелье, на дне которого мчался серебряный поток, увидел лабиринт горных вершин и долин, в которых таились опасность и гибель. Быть может, Мирза на минуту почувствовал уважение к своему противнику, уважение к его храбрости и бесстрашию.

— Вы, господин парламентар, сами приглашали... только вы должны поручиться за мою безопасность. Даете слово и... я еду с вами. Буду говорить сам.

— Э... надо подумать... поговорить... Очень смело... Быстро.

— А вы быстро думайте. Время не терпит. Через два часа самое большее мы переходим в наступление. Мы вас выкурим из ущелья в два счета, вместе с вашим главнокомандующим.

Комиссар понимал, что ехать опасно, что поручительство Мирзы ничего не стоит.

Но тут же он подумал про письмо жителей кишлака Санг-Туда, подлинный вопль о помощи. И он решил:

— Итак, господин парламентар, мы выезжаем с вами, едем до реки, а там вы сообщите обо мне вашему начальнику. На Черном мосту я оставляю своих бойцов и поеду дальше с вами. Ну как, гарантируете мне жизнь?

— Я ничтожная пылинка в песчаном море пустыни, я капля в туче. Я ничего не значу. И я боюсь, опасаясь... — Он посмотрел на бородачей. — Что скажет народ, мусульмане? Даете вы слово... от имени общества?

— Велик аллах, — с трудом заговорил Муэддин. И Фазли сразу же, еще не зная, что будет говорить его товарищ, согласно закивал своей огромной чалмой.

— Аллах поистине все может. Может разрешить войну и мир. И мы... э... — он опять с испугом посмотрел на Мирзу. — Если для дела мира надо, чтобы комиссар поехал к нам для разговора о мире, мы... мы... приглашаем комиссара на той, чтобы угостить для мехмончилика, чтобы проявить свое гостеприимство.

— Гм, — многозначительно проговорил Мирза, — вот вы слышите ответ... Мехмончилик — это хорошо, не правда ли? Той — это праздник, это тоже хорошо. — А какой будет той, каков будет мехмончилик, зависит от вас, Муэддин-ака, от вас, Фазли-ака. От вашего ума. — И он усмехнулся.

— Итак, вы гарантируете мне безопасность... совсем как в переговорах на самом высоком уровне. Едем!

Алексей Иванович быстро пошел по тропинке, скомандовал:

— Комвзвода Минбаева ко мне!

Он не заметил, что Муэддин-ака делает за спиной Мирзы ему какие-то знаки, а Фазли покачивает головой и тяжело вздыхает.

Тут же по долине разнеслась команда:

— По коням!

Поднялся и Мирза. С презрением посмотрев на бородачей, он быстро пошел к стоявшим в лощине йиги-там, державшим на поводу лошадей.

Медленно, нехотя за ним последовали Муэддин-ака и Фазли-ака. Муэддин вздохнул.

— Пестрота зверя на шкуре — коварство людей на языке.

— Аллах акбар, Муэддин-ака, осторожность. Домулла Мирза — святой человек, но в нем нет жалости.

Как жаль, что комиссар в это время отдавал распоряжения командирам и не слышал разговора дехкан. А задержаться хоть на минуту и отстать от Мирзы они не смели.

VIII

Я боюсь его, стою ли я, сижу ли,
или лежу на одре сна.

Джаф'ар

Когда мудрецы учат болвана,
Семена бросаются в пустыню.
И как ни штопают дыры глупости,
они назавтра еще шире...

Руми

Оранжевые пушинки тихо ложились на черную землю чистенькими звездочками. «Словно девичьи мечты», — думал комиссар.

На оранжево-черно-белый палас тоже падали пушинки, и ему доставляло удовольствие следить за тем, как они мгновенно взлетают при малейшем дуновении горного ветерка и исчезают.

«Оранжевая краска — радость жизни. Белая — радость сердца. Черная — ужас смерти».

Но Алексея Ивановича не ужасала смерть. Он боялся только мучений, которые предшествуют смерти. А его, прежде чем убить, будут мучить.

Ибрагимбек не таков, чтобы лишиться себя удовольствия пролить кровь. Не знали ни одного человека, которому Ибрагимбек позволил бы ускользнуть из жизни легко и быстро. У Ибрагимбека умирали медленно, долго.

А ведь он, комиссар, доставил Ибрагимбеку слишком много неприятностей. И у него имелись все основания думать, что амирлашкар — командующий — дело отправки на тот свет ненавистного комиссара, попавшего к нему в руки, возьмет на себя.

Садист и по призванию палач, Ибрагимбек любил любоваться, как душа из человека рвется наружу и мучительно не может выскочить.

«Гунохкор», то есть нагрешивший, должен, прежде чем покинуть земную юдоль, прочувствовать свои грехи до печенки, до селезенки, а уж когда мы, оплот правоверия и шариата, доберемся до печенок, до селезенок грешника, мы уж сами разрежем их и посмотрим, что заставило греховодника грешить. Казнь — вырезание у живых печени и прочих внутренностей — Ибрагимбек заимствовал из каких-то древних преданий. Упоминание печени, как первопричины всякого смертного греха, заставило его прибегать к мучительнейшей казни, едва к нему в руки попадался кто-либо из сильных, мужественных врагов.

Наслаждался он зрелищем и сдирания с живых кожи, но... довольно. Ибрагимбек был «зверь жестокости». И когда его так называли его приближенные, он жмурился, словно кот, которого почесывают за ушком.

Но раздумывать нет смысла. Пусть будет, что будет. Надо заниматься делом, надо вести переговоры.

А как их вести? Ляшкарбоши Ибрагимбек все больше молчит. Смотрит он зорко, исподлобья и сильно посапывает носом.

Припомнилось: кто-то рассказывал, когда Ибрагим громко сопит, ждать беды.

Чеканный орнамент на блестящей меди дастшуй привлекает внимание своей тонкостью, вычурностью. Так запутанно вычурны мысли их превосходительства господина Ибрагимбека-галлю. Командующий и вор... Ведь слово «галлю», — значит, вор.

Командующий и вор — в одном лице! Впрочем, что удивительного в этом, ведь исламская армия Ибрагимбека наполовину состоит из разбойников и бандитов. А всем известно, что будучи молодым, — без приставки титула «бек», а с прозвищем «вор» — слонялся по дорогам Гиссара и Локая и грабил проезжих купцов. Отбирал у них коней и продавал на базарах, не особенно даже скрываясь. Да и что ему было бояться, когда его отец ходил в немалых эмирских чинах.

Но теперь Ибрагимбек за напоминание о своих конокрадных подвигах просто снимал головы болтунам. Всем, ясно, рты не заткнешь, но рот отрубленной головы зажат крепко и навсегда.

Круглощекий, нежнолицый «бесакал»-безбородый, адъютант и личный секретарь Ибрагимбека, бережно держал дастшуй — медный, богато орнаментированный кувшин. Бесакал-безбородый бережно и поч-

тительно поливал тоненькой струйкой теплую воду на руки комиссару, а с толстого слонового плеча секретаря свисало полотенце в мелкую шашечку.

Дастшуй был роскошный, отсвечивающий золотом солнца, а вот полотенце совсем посерело от грязи, и им противно было вытирать руки.

Вода в дастшуре подогретая. О! Значит, почет, уважение, гостеприимство. А вот рожа бесакала вся в хитрых подергиваниях и гримасах.

Да и сам Ибрагимбек весь дерганый. Сколько ни старается он придать себе величия и царственной благосклонности, выражение его физиономии, бородатой, багровоносой, с выпученными, налитыми кровью глазами, было самым разбойничьим.

Раскрывает он рот для приветственных слов: «Каанэ, мархамат!», — а вырывается из него зловещий хрип.

Поднять глаза, проверить выражение физиономии командующего, поймать его взгляд... Нет, нельзя.

«Подождем, когда Безбородый возьмет полотенце. А так надо три раза — именно три — потереть до скрипа ладонь о ладонь. Ни в коем случае не стряхнуть капли на землю, не промахнуться... Не торопясь сосредоточиться на медных — тончайшая же работа — арабесках... кумгана-дастшуй.

Отвлекают, успокаивают и...

Омовение рук. Как много в этом смысле на Востоке в прошлом и настоящем. Вспомните «Евангелие» Понтия Пилата! Омовение рук может быть и смертным приговором. Несколько капель воды могут отправить бога на крест. На Востоке омовению придается ритуальный смысл.

Внимание, осторожность! Как хорошо, что ты с детства впитал в себя все местные обычаи. Да тебя не проведешь и на омовении.

Но Безбородый, издавая хлюпающие звуки, подает уже вафельное полотенце. Сохрани бог поморщиться. Грязи так много, что в нос ударяет запах горелого сала, но побрезговать нельзя. Полотенцем вытирали руки почтенные мусульмане. Все они смотрят пристально, испытующе.

Руки вытерты. Полотенце забрал Безбородый. Теперь можно и поднять голову.

Да, острые глаза Ибрагимбека, глаза вора, запутавшиеся в черных с проседью клочьях насупленных бровей, зыркают, колют шильцами, следят за малейшим

движением рук. Для таких глаз нет ничего проще разобрать, проверить, кто ты есть?

При дворе разбойника бека соблюдался весь придворный эмирский этикет до мельчайших деталей.

Все сидят вроде и непринужденно, а на самом деле так напряженно, что перешеголяли даже Бамианских истуканов.

Значит, Ибрагимбек все же в сомнениях. А потому испытывает. Что возобладает?! Ну а если перетянут сомнения?

Значит, может сорваться в любой момент.

Ну, а тогда... Нет уж лучше не думать. На душе становится муторно.

Надо не торопясь, с удобством усесться на ватничек, разостланный на кошме. Да, да, не торопясь, солидно, даже величественно. Не торопятся важные персоны, не торопятся достойные люди.

Снова звучат приглашения: «Канэ, мархамат! Добро пожаловать!»

С парламентарями Ибрагимбек говорил по-таджикски. Но тут же обращался к своим локайцам-вельможам на узбекском степном, на «джокчи».

Он со звонким, шелкающим звуком произносил свое классическое «джок» — «нет», когда взмахом руки отодвинул боевого, подвижного усача в малиновой, щеголеватой чалме. Тот недовольно что-то буркнул, вскочил вихрем в седло и взял в карьер мокрого от пота коня. От копыт полетели прямо на сидевших уже за дастарханом старцев комья глины, камешки.

«Обозлен... Непочтителен больно,— думал комиссар.— Видно, из немалых чинов. Обозлен тем, что Ибрагимбек с нами цацкается? Кто такой? Судя по разговору, что-то по поводу нас спорил».

Здесь нить раздумий прервалась. И не потому, что не о чем было думать, не в чем было сомневаться. Комиссар почувствовал на лице чей-то взгляд. Он вздрогнул и посмотрел на человека, сидевшего напротив, несколько наискось.

Это был Мирза. Чего только не применил в разговоре с комиссаром — он и мягко упрасивал, он и напускал на себя нечто вроде истерического припадка, то умасливал, то шутил с видом проказника, то пытался пугнуть.

И с этого «пугнуть» все и началось. Он никак не

ожидал, что вызовет в комиссаре такой отпор. Он увлекся было своей своеобразной дипломатией, своими ораторскими упражнениями и не сразу понял, что все это для комиссара пустые разглагольствования. Сейчас здесь, в тени карагача, на глиняном возвышении, покрытом стареньким паласом, за дастарханом, со стоявшим на нем фарфоровым чайником с придавленным жестяным носиком и двумя пиалушками «джидогуль», сидел, поджав ноги по-турецки, комиссар, владеющий тонкой азиатской дипломатией, которого не только на пустыках не проведешь, но и на породистом коне не объедешь. Он, этот советский комиссар, не только может командовать «по коням» и «в клинки», но и вести государственные переговоры; он полностью отстранился от всех мелочей, от всяких неудобств, вроде того, что дует с высокой вершины ледяной ветер, что ветер бросает в лицо холодные брызги, что водопад буквально грохочет и приходится перекрикивать его шум, чтобы собеседники могли разобрать слова.

Нет, комиссар несколько не подавлен обстановкой, столь не подходящей для ведения переговоров, от которых зависят вопросы мира и войны во всем Кухистане и судьбы целого народа. Он, командир, попивает чай, словно в руке у него не выщербленная пиалушка, а по меньшей мере бокал с шампанским на каком-нибудь дипломатическом банкете. И слова он употребляет самые изысканные. Каждую свою реплику этот непреклонный большевик начинает с почтительных извинений и просьб: «Не найдете ли вы, уважаемый, возможным», «Не сочтете ли вы, господин уполномоченный их высокопревосходительства, наш вопрос слишком резким».

Но он весь то, о чем русские говорят: «мягко стелет, да жестко спат», впрочем такой же смысл имеет и фарсидское выражение: «Мягко одеяло, да под ним жесткая циновка» или арабская поговорка «Под золотым песочком острые камни...»

Да, пришлось господину Мирзе столкнуться лицом к лицу с человеком молниеносным в понимании мысли и принятии решений. А уж Мирза на то и состоял в советниках у самых хитроумных деятелей, завоевателей таких, как Энвер-паша — зять халифа, а до него у шаха Каракумов и Хивы Джунанда, у эмира Бухарского Сеида Алимхана, у самого трудного и свирепого Ибрагимбека, не говоря уж о такой «мелочи», как беспутный тупица Абдукагар или мужлан мясоторговец Бахрам-

бек, что умел, казалось, победить любого в словесном поединке.

А теперь у Мирзы поднималось откуда-то из желудка неприятное ощущение: то ли тошнота, то ли боль растущей опасности. Он украдкой поглядел на сгрудившихся под другим раскидистым карагачем ибрагимовских «гвардейцев» возле своих коней. Их не расседлали, не разнуздали, и кони все пытались дотянуться до живого, мчащегося прозрачной струей потока, вылетающего из-под водопада, шум которого заглушал все звуки.

Мирза недаром посоветовал Ибрагимбеку выбрать это место. Переговоры, которые он вел о сдаче армии ислама, должны были умереть здесь. Никто, ни один человек, ни одна птичка, ни даже вот этот ярко-зеленый жук, ползущий по карагачевой веточке, не должны были услышать ни одного словечка из их сверхважных переговоров. Тайна, тайна и еще раз тайна! Не дай бог дойдет до ушей рядовых басмачей хоть одно слово о сдаче, и вся эта толпа «воинов ислама» разбежится, точно отара баранов при появлении в небе орла.

Не одни только кони изнурены ожиданием, не одни только «ибрагимовские гвардейцы» дергаются от надыса и нетерпения, расположившиеся вдалеке по другую сторону, близ самого водопада, красные конники, сопровождавшие комиссара, тоже устали стоять в ожидании и предпочли бы схватиться за свои карабины... Но карабинов-то и нет. Их пришлось по договоренности оставить верстах в трех. Дисциплина дисциплиной, приказ комиссара приказом, но... ожидание смерти.

И потом! Каждый боец в душе не уверен, что басмачи будут соблюдать перемирие. Не прячутся ли уже их вооруженные с головы до пят люди на противоположном склоне ущелья. Там и скал предостаточно, и заросли горного шиповника в розовых, желтых, голубых цветах слишком густы. Кто его знает, не просунуты ли сквозь колючки дула английских восьмизарядок, не наведены ли мушки винтовок прямо тебе, в твой лоб. Времени для прицеливания «у них» было предостаточно, пока бледнолицый парламентар и Ибрагимбек тары-бары растабаривают с нашим комиссаром. И уж наверняка, как махнет рукой курбаши, да пойдет в сторону к своим лошадиникам, тут уж и жди потехи.

Надо бы предупредить комиссара. Но тут же приходит на ум: «товарищ комиссар не лыком шит. На авось не пойдет».

Что-то начинает душить Мирзу. Но надо кончать переговоры, кончать так, чтобы разрыв шел от большевика. Надо вызвать его на грубость, чтобы было потом на что сослаться: комиссар вел себя нагло, оскорбительно, нанес смертельные оскорбления их высокопревосходительству Ибрагимбеку, религии.

А комиссар на скандал не идет. И хоть больше двух часов тянется тянучка-беседа, комиссар не теряет выдержки и спокойствия. Вон даже показывает свое превосходство: спокойно потягивает из пиалушки чай. Саркастическая улыбка чуть кривит его губы.

Мирза терпеть не мог таких улыбок. Сарказм — оружие сильных и бесстрашных. Этот большевик его понял, разгадал, посмеялся над его хитроумными доводами и доказательствами. Мирза поднял с дастархана лежавший там пергаментный лист бумаги, испещренный арабскими письменами, и воскликнул, стараясь перекричать рев водопада:

— Все здесь написано! Все благородные и почтенные условия. И то, что оружие и кони сохраняются за воинами. И что басмаческие отряды отныне делаются регулярными отрядами Армии... И города перечислены, откуда уходят части Красной Армии и куда вступят наши исламские соединения... И все, написанное золотым калямом, сулящее мир и конец войне и кровопролитию. Все предусмотрено мудрым их превосходительством Ибрагимбеком, львом пророка и великим газием. Все! А вы берете смелость... отрицать... отказываться... Вам, господин комиссар, не скажут «хорошо!» в Ташкенте и Москве. Вас привлекут...

— Простите и извините, господин Мирза... Оценку моей миссии дадут без посторонних рекомендаций... Но все, что написано в этом документе, ни к чему... Наточены были калямы остро, острее языков змей. Гибкость писаний превзошла равновесие тверди. Но... я вам уже сказал наши условия: сдача оружия! Сдача всех частей исламского воинства, роспуск по домам. Все они остаются в тех, кто на них ездил. Единственно приемлемое условие... Это в интересах народа. Так решил народ: «Конец басмачеству!»

Взорвался молчавший до сих пор Ибрагимбек:

— Пусть подохнет народ, думающий купить мир ценой отказа от священной войны. Проклятие!

Комиссар невозмутимо продолжал:

— Народ... Представители народа... Руководители

республик, полномочные его представители в Совнаркоме Таджикистана сказали: «Ибрагимбек должен сложить оружие и немедленно. Иначе он и все враги понесут кару».

Ибрагимбек пришел в неистовство:

— Все! Хватит! Да сгорят они в могиле, эти представители народа! Придет час и сам народ поведет их на аркане к кровавой яме на площади казней... на Джанггохе! Как во времена хана Кокандского Худоярхана.

Мирза подхватил:

— А если народ не поддержит нас, пусть захлебнется в своей крови!

— Господин Мирза, вы из этого народа. Народ — ваш отец. А еще великий Низами говорил:

Сын, сказавший плохо об отце,
Хуже грабителя могил!

— Кто вы такой, что поучаете меня! И что мне до вашего Низами. Что мне до народа, забывшего религию пророка Мухаммеда...

— Да, и узбекский народ отречется от вас, и жители кишлака Тилляу отвернутся от вас, и ваш отец, старый Мерген, своими руками вышвырнет вас, бай Мирза, из своей каменной хижины на горе.

Мирза оглянулся, зябко пожимая плечами. Но холодно ему было не от дышавших снегом горных вершин и струй громового водопада, не от острых брызг, впившихся в бледную кожу щек. Холодно было у него на душе, до того холодно, что дрожь пробегала от кончиков пальцев на ногах до макушки головы, на которой плотно сидела лисья шапка с фиолетовым бархатным верхом. Фиолетовый — цвет «мелли иттихад», партии буржуазных националистов, которую возглавлял Мирза.

И вот он, видный деятель Востока и Туркестана, сидит здесь, на мокрых камнях, едва прикрытых отсыревшим грубым, «кусающимся» даже сквозь одежду пальто, поглядывает на суровых красных кавалеристов, на непреклонное лицо большевика-комиссара.

«А зачем все это?.. Не лучше ли сидеть у себя на вилле на берегу Босфора, любоваться прозрачными водами залива, скользящими по ним белыми пароходами, вдыхать запах казанлыкских роз, дремать в мечтах...

А сейчас всего можно лишиться от одного не так произнесенного слова...

Мирза посмотрел испуганно на комиссара. Он знает, что народ не желает идти в петлю баев и банкиров, народ не верит ни в турок, ни в мусульманские догмы. Народ верит в землю, в ту землю, которую ему дали большевики. Народу нужно ощущение натруженной ладонью кома сырой глины, он готов лизать эту глину, и от вкуса ее ему станет горячо в груди и слезы выступят на глазах. Слезы благодарности к земле!

Мирза прибег к последней уловке. Невнятно, ватным языком он стал говорить комиссару:

— Кто вы? Кто вы, смеющийся говорить от имени мусульман — узбеков, таджиков? Кто вы такой? Мы отказываемся вести переговоры с немусульманином. Пусть пришлют для переговоров нашего человека, человека нашей веры и крови.

Он еще надеялся, что эти слова вызовут вспышку.

Но он ошибся. Комиссар, если и рассердился, то решил сдержаться. Слишком важны были эти переговоры. От них зависела и судьба народа и жизнь сотен, а может быть, и тысяч людей. Пусть мелет язык этого бледноликого господина. И все же комиссар решил дать сдачи», а уж потом перейти к делу. Сдерживаясь, насколько мог, он сказал:

— Я такой же, если на то пошло, узбек, а может, и больше, чем иные, давно находящиеся в бегах. Я — сын узбекского народа, ибо я родился в мехмонхане узбекского дома, стоящего на узбекской земле. И я разговариваю на том же языке, на котором говорите вы, господин Мирза. И я всю жизнь прожил с узбекским народом. И узбекский народ послал меня вести переговоры потому, что мы с вами земляки, мы с вами из одного кишлака, с одной земли, и наши отцы многие годы за одним дастарханом преломляли хлеб и были друзьями и братьями... И, посылая меня к вам, господин Бай Мирза, те узбеки и таджики подумали: «Быть может, при виде земляка, побратима, в душе Мирзы-отщепенца проснется чувство родного кишлака, чувство родной Ангренской долины, чувство родного народа, родины... И я вам советую — подумайте, кто вы? Вы узбек? Или вы действительно отщепенец. Человек без родины?»

Мирза закричал от обиды. Он готов был проклясть тот час, когда поддался настроению и решил уехать из Стамбула в этот страшный Туркестан.

IX

Полководец разбитой армии смеет ли
рассуждать о храбрости?

Сыма Цзянь

Дракон войны заглатывает море, пых-
тит, охватывает вселенную черной туч-
ей, напихивает свою глотку горными
скалами.

Низами

После хорошего плова настроение улучшается. Улучшилось оно и у Ибрагимбека. Он попивал кок-чай и посмеивался над Мирзой: «Гости скучные... и тебя не слушают...»

После очередной пиалы распаренный, багровый, он вдруг приказал:

— Несите канцелярию!

«Канцелярией» оказался небольшой, кожаный, в шелковом цветном шитье яхтан — походный кожаный сундучок. Ибрагимбек собственноручно достал из него свиток пергамента, с висевшей на витом шнурке восковой печатью, и протянул комиссару:

— Читай!

— Что это?

— Умеешь читать по-арабски? Читай! Увидишь!

Развернув хрустящий пергамент, комиссар прочитал выведенную каллиграфически золотом вступительную формулу: «Во имя бога единого и пророка его Мухаммеда!»

— Ого, — возликовал Ибрагимбек, — большевой, большевой, а грамотный и символ веры нашей провозглашаешь. Да ты знаешь, раз прочитал «бисмилля!», значит, ты признал себя мусульманином, а? Не отрекаешься теперь, а?

Весьма довольный собой, он покатывался от хохота и все больше багровел. Возликовал он оттого, что, как ему казалось, он сыграл с большевиком-комиссаром злую шутку и сделал его посмешищем перед всеми. Закон ислама утвердил еще со времен пророка как неизблемое положение — достаточно произнести эту формулу «Бисмиллеи рахмон и рахим» и любой язычник или христианин тем самым принимается в лоно исламской религии. Хочет этого человек или не хочет, но мусульманская вера торжествует.

А тут еще неверующий кяфир так ловко обведен вокруг пальца.

— Хо-хо! — рычал Ибрагимбек. — Велик аллах! Комиссар — мусульманин! Охо-хо!

Несколько утихомирившись, Ибрагимбек резко помрачнел, глянул исподлобья на комиссара и прохрипел почти угрожающе:

— Мусульманин? Правоверный, да и впрямь ли? Взаправду? Арабскую грамоту знаешь? А мне подумалось, не урус ли ты? М-да. Урусы, неверные собаки, не могут одолеть правоверную грамоту. Где им? Ну, ладно, читай дальше! Посмотрим!

От этих слов холодок прошел по спине. Видимо, Ибрагимбек все еще не оставил темных замыслов в отношении парламентаря. Но что поделаться? Самая мрачная жестокость, приправленная настоящим балаганным шутовством, умещалась под толстыми костями черепа этого страшного человека-зверя. Знал комиссар, на что шел, когда вызвался ехать на переговоры, понимал всю меру риска. Но ничего не поделаешь. Надо доводить дело до конца.

Алексей Иванович разгладил свиток пружинившего пергамента — «Какой он гладкий и приятный», — мелькнуло в мозгу, и, набрав побольше воздуха в легкие, чтобы утишить волнение, начал читать как можно громче, еще не совсем хорошо понимая, что затеял Ибрагимбек с громкой читкой этого документа.

Документ гласил:

«Бисмилля! Подтверждаю назначение, верный мой раб и добросовестный слуга Ибрагимбек-галлю, как доблестного и храброго воина главнокомандующим над всеми мусульманами-газиями, то есть борцами за веру единственную и истинную, дабы все беки и курбаши исламского воинства подчинились и слушались тебя беспрекословно. А если они не подчинятся, повелеваю всех ослушников предать казни, как если бы они ослушались меня — священного повелителя и верховного эмира Бухарского благословенного ханства. А для начала всем бекам Гиссара, Локая, Бальджуана, Кабадиана и Памира прикажи собрать по десять тысяч тенег налогов с черного люда и в знак повиновения прислать мне с подателем сего письма в нашу резиденцию в Кала-и-Фату, что близ Кабула, то есть в место нашего пребывания и отдохновения. Деньги нам очень нужны и непотребно, когда эмир могущественного государства нуждается в самом необ-

ходимом и ему приходится сквалыжничать как последнему скряге с Вабкентского базара. А засим— да будет тебе, мой верный Ибрагимбек, известно!— что назначаю тебя своим постоянным заместителем и военным назиром и повелеваю, собрав всех борцов за веру, вооружить их и идти безотлагательно на города Самарканд и Бухару, не медля и единого часа. Жду донесения твоего не позже следующей пятницы о начале победоносного похода. Мы, их величество эмир, при содействии английского уполномоченного в Кабуле пошлем из Мазар-и-Шерифа тебе двенадцать пушек с артиллерийской опытной прислужгой, доблестными артиллеристами из мусульман, готовыми сражаться за исламскую веру, ибо эти артиллеристы из сипаев, исповедующих веру истинную нашего пророка Мухаммеда. И с теми газиями мы пришлем ящики со снарядами. ...И еще довожу до твоего сведения, мой верный слуга Ибрагимбек, что до сих пор мы не получили от тебя плату за посланные тебе одну тысячу сто двадцать два верблюжьих вьюка с винтовками и патронами в сумме шестнадцать тысяч пятьсот сорок рупий золотых. Присылай деньги немедля, дабы долг был покрыт в установленные шариатские сроки и дабы не вызвать неудовольствия наших добрых англизов — союзников. Да будет известно всем борцам за веру, что все государства, а именно: Англия, Япония, Италия, Турция, Америка, объявили священную войну Советам и на днях пошлют войска, подобные несметным тучам муравьев с железными жвалами, на трусливых и неразумных большевиков, осмелившихся безрассудно посягнуть на наш трон мангытов, что в Арке, находящемся под гнетом неверных собак. Вставайте же, мусульмане! Время пришло!»

— Хорошо читаешь, — ворчливо заметил Ибрагимбек.— Вот только в конце голос у тебя что-то потерялся? А?

Комиссар молчал. Не станешь же разъяснять этому кровожадному беку, что ему, комиссару, совершенно ни к чему трезвонить перед подошедшими к ним басмачами о таких вещах, как союзники эмира, хотя всем было отлично известно, что ни одно из перечисленных в эмир-

ском письме государств и не начинало на данном этапе войны с Советским Союзом.

Мирза не поднимал глаз.

— Почему молчишь? — заговорил снова Ибрагимбек.

— Господин Ибрагимбек, мы прибыли сюда, чтобы услышать ваш ответ на предложение командования Красной Армии. Я уже не раз, пока я здесь, излагал условия командования, на которых вам предлагается сдаться...

В ответ Ибрагимбек буквально зарычал:

— Эй, урус, обернись!

Не спеша комиссар повернул голову — именно не спеша, хоть всем своим существом он вдруг почувствовал страх... страх смерти.

Но нечего торопиться, делать резкие движения и тем самым выдавать свое далеко незавидное состояние. Он, комиссар Красной Армии, и должен держаться с достоинством... Но до достоинства ли тут? То, что он увидел, для непосвященного в нравы Азии не представляло ничего необыкновенного.

Представьте себе на миг — зеленую лужайку, начинающуюся прямо от паласа, на котором сидели комиссар и Ибрагимбек с Мирзой. Посреди лужайки мирно посапывали два огромных вола под деревянным ярмом. Деревянный же громоздкий омач склонился набок, приминая траву. Опершись на него, стоял пахарь в лохмотьях, с равнодушным лицом. В руке пахаря был обыкновенный полосатый грубый аркан, свитый из черных и серых волокон, и потому вызывавший ассоциации с пестрой змеей. До безумия отчетливо запомнился этот аркан-змея и внушительная петля, небрежно лежавшая на зеленой траве с голубыми маленькими, такими нежными цветочками и пчелками, копошившимися в них, так мирно и нежно жужжавшими.

И ужас, настоящий ужас сдавил горло... И мелькнула одна мысль:

«Взять себя в руки... Взять... Не показать, что ты испугался... Но, бог мой, как сделать, чтобы не побледнеть, чтобы не показать этой сволочи, что ты, большевистский комиссар, боишься? Боишься страшной, мучительной, медленной смерти».

Да, он думал только об этом и боялся, как бы эти ублюдки не поняли, что его охватил ужас.

Волы... мирные, добродушные, посапывающие, мед-

лительно пережевывающие жвачку. Лишь непосвященный, не знающий жизни и местных обычаев мог отнестись безразлично к их появлению во время переговоров комиссара с Ибрагимбеком.

Но комиссар отлично все понял. Бросилось также в глаза, что невидимые до сих пор басмаческие йигиты сейчас повывезали из-за валунов и скал. Они сходились к поляне вооруженные, хмурые, не любопытствующие, рассаживались на траве полукругом около кошмы, где сидели комиссар с Ибрагимбеком и Мирзой. Приход йигитов означал — переговоры закончены.

Да, пока комиссар читал вслух послание эмира, оказывается, был дан знак Ибрагимбеком все подготовить к казни «кушт-и-гоу» — «воловье убийство». Великолепное зрелище собирался предложить своей шайке господин верховный командующий.

«Сейчас всему конец. Сейчас мне накинут петлю на шею... Этот глуповатый парень взмахнет хворостиной и прикажет своим волам: «Чух-чух!» — и волы тупо замотают рогатыми башками и поплетутся... неуклонно, безостановочно и даже не почувствуют, что натянется грубошерстный, точно проволочный, аркан... Петля врежется в шею жесткими проволочными шерстинками, раздерет кожу, стиснет... И потащат меня за шею волы по этой зеленой с цветочками мураве, меня, барахтающегося, точно щенка, хрипящего, задыхающегося. И ничего не поделаешь: оружия при мне нет. Конец.

Казнь «кушт-и-гоу» подлинно эмирская. Говорили же про казнь джадидов волами в конюшне эмирского Арка... Именно так казнил младобухарцев Сеид Алимхан в своем присутствии...

Медленно отвернулся от волов комиссар, посмотрел с отвращением на гнусно игривую физиономию Ибрагимбека, у которого каждый топорщившийся волосок бороды торжествовал и ликовал.

— Каков же ответ ваш, господин Ибрагимбек? — нашел в себе силы твердо проговорить комиссар.

— Ты что, не видел?.. Ты не соображаешь, — кивнул, давясь от смеха, Ибрагимбек в сторону упряжки волов... — Сейчас...

И он, картинно дергаясь, словно в судорогах, ухватил себя за горло.

Тогда комиссар задал вопрос Мирзе.

— Что скажет господин командующий? Какой ответ я должен передать в Душанбе?

Тот не ответил. Бледное его лицо еще больше побледнело.

Сколько тянулось молчание, трудно сказать. Ибрагимбек напыжился, побурел лицом, схватил чайник, поболтал им в воздухе и вдруг присосался к его носику и начал с громким бульканьем жадно пить.

Резко отставив чайник, он махнул рукой, и комиссар, не поворачивая головы, расслышал «Чух!» Волы закричали, пошли... Они даже по мягкому ковру дерна топали и топали... Мягко, гулко...

Спине стало совсем зябко.

Но... топот удалялся.

И тут Ибрагимбек выпрямился и через голову комиссара неистово заорал:

— Эй, бездельники! Убирайтесь! Все убирайтесь.— И уже спокойнее. — Не мешайте... Решать надо. Свя-зывать и развязывать. Свя-зывать и решать. Вон отсюда!

Он схватил другой чайник, поболтал его, но пить не стал.

— И вот ты, урус комиссар... ты читал? Все читал. Поезжай... Скажи своему начальнику — начдиву Георгию, что ты читал. Скажи: «Эй, начдив, сдавайся командующему исламской армией Ибрагимбеку, пока не поздно». Пусть выведет свою конницу из крепости Душанбе. Пусть бросят винтовки и проклятые свои клинки на землю на берегу Кафирнигана. И пусть знают: Ибрагимбек-командующий дарует сдавшим жизнь и коня. А кто не сдастся, тому вот такая петля... «кушт-и-гоу». Всех передешу! Иди скажи. Ты, комиссар, ученый человек, домулла, мусульманский закон знаешь, объясни начдиву Георгию — воевать бесполезно, когда Англия, Франция, Америка со мной, Ибрагимбеком... Иди...

Когда комиссар встал и со спутниками пошел к конюязи, Ибрагимбек вдруг нагнал его и схватил своими железными пальцами за плечо.

— Скажи, комиссар, испугался? А? Объясни начдиву Георгию — у него голова есть на плечах — послезавтра Ибрагимбек прибудет на площадь перед крепостью Душанбе. К нашему прибытию построить все войско гарнизона на площади. Пусть нас ждт...

Он снял руку с плеча комиссара жестом, будто погладил его, заскочил спереди и, кривя оттопыренные губы, доверительно зашептал:

— А в Душанбе много женчин урус, а? А у урус женчин очень белая кожа, а? Урус женчин очень гладки?

Отстранив командующего армией ислама, комиссар не торопясь сам взнуздal коня и поднялся одним рывком в седло.

«Балаган... животное, шут гороховый!.. Вот где ужас и комедия!..»

Но он это подумал, а не сказал вслух.

Он бросил последний взгляд на изумрудную лужайку, на полосатый палас с дастарханом, на разбросанные в беспорядке пиалы, тарелочки с кишмишем, на лежавший на боку чайник, с отлетевшей в сторонку крышечкой на ниточке. А еще запомнилась широкоскулая, мясистоносая, вся в бороде личина командующего исламской армией и застывшее в мертвенной улыбке белое лицо его советника Мирзы.

И снова холодок пробежал по спине, и ужасно потянуло обернуться... Хоть разок глянуть, а что басмачи там делают за его спиной.

* * *

У подножия скалы сгрудились пешие, кони, всадники. Один всадник поскакал навстречу прямо по речной гальке.

Это был Баба-Калан.

— Живой, Алексей-ага! — завопил он, обняв комиссара, не слезая с коня. — А я уже собрался с этим кишлачником ехать выручать вас... Больно долго вы не ехали.

— И что ж, они поехали бы на выручку? Что-то сомневаюсь... Ну давай, забирай оружие и... рысью марш!..

— Клянусь, они совсем особенные басмачи. Они боятся Ибрагима-дракона, а то бы давно пошли по домам. Позволил бы им своих лошадей забрать — и только бы их и видели.

Ощущение холода, липкого, жуткого еще долго не проходило в спине, когда комиссар ехал по узкому ущелью, и только звон подков коней Баба-Калана и бойцов позади за спиной успокаивал.

А белая галька сая с треском рассыпалась искрами под железными подковами коней, и этот радостный треск не заглушал шума горного, кристально чистого ледяного потока, мчавшегося по дну ущелья.

Х

О ночь! Окутан я тьмою,
Волк успокоился и задремал,
а я бреду с глазами сына ночи,
который не доверяет сну.

Ал Бухтури

Опасно и трудно воевать в стране, когда тебя ждут на каждом шагу засады, ловушки, предательство. Но не забывай правила: «Не полагайся на друзей врага и на врагов друзей». Очень хорошее правило.

По дороге двигалась колонна демобилизованных красноармейцев.

Они были при оружии, но без коней.

Баба-Калан возглавлял ее. Разговором он обычно прикрывал волнение и беспокойство. Сейчас же наш великан от всей души радовался, что поездка комиссара в стан Ибрагимбека закончилась благополучно.

Но смотреть надо в оба. Вдруг Ибрагимбек вздумает послать наперерез своих бандитов.

В душной темноте стучит, звенит неплотно пригнанная подкова. Звенят, резко пиликают цикады. Шаркают подошвы по щебенке дороги. Она белеет широкой полосой, эта древняя Дорога Царей с утоптанной за тысячелетия белой глиной с песком и мелкими галечками. Она белеет, и идущие по ней воины кажутся воинами древних времен.

То ли это какие-то массагеты, то ли гоплиты из фаланг Македонского завоевателя, то ли кушаны, то ли монголы Чингиза, то ли индусы из тех, кто уцелел от гибельного похода, когда воины великого могола жгли стрелы и копыя в кострах, чтобы согреться на перевалах хребта, который получил меткое название Гиндукуш — Убийца Индусов...

Все тут были. Все шагали по Гиссарской Дороге Царей.

— Шагаешь, браток?

— Топаю... Все ноги оттоптал. Подметки протер...

— А сколько мы оттопали! Верст сорок с утра...

— А кто скажет... Мы демобилизованные. Теперь кому до нас дело?

Голоса в темноте умолкают.

На последнем участке дороги группа Баба-Калана нагнала колонну демобилизованных красноармейцев. Значит, можно ехать спокойно...

Да и мы знаем — басмачи ночью не воюют. Да и ко-

му какое дело из басмачей, что из Душанбе идет в Гузар колонна в двести демобилизованных. Они вооружены. У каждого по сто патронов. Каждый рвется домой, к теплой русской печке, под горячий бок жены, которую не видел лет пять-шесть, находясь на фронтах империалистической.

Они идут в темноте по Дороге Царей домой, пока им надо добраться до Байсуна.

В темноте к комиссару приближается красноармеец. — Товарищ, а товарищ, — обращается он к комиссару. — Стараешься разглядеть подошедшего. Ничего не разобрать. Только торчит за плечами винтовка со штыком. На голове буденовка. Свой. Из демобилизованных. — До гарнизона еще много идти? Пить хочется.

— До Байсуна еще верст тридцать. А воды кругом нет. Тут в ущелье целая река воды, да она горько-соленая. Даже кони морду воротят. А до Байсуна далеко...

— Далеко, — вздыхает красноармеец. — Вот уж чертовы дороги!

— Далеко. А вы что-то поотстали. Брички на версту вперед уехали.

— Я до своей рязанской могу дотопать, лишь бы домой...

— А я в Уфу...

— Вы что же, татарин?

— Мы башкир. Мы из мусульманского полка.

— И давно в Красной Армии?

— Да мы еще и в царской: «За веру, царя и отечество». А потом офицеры-шкур... того... и подались в большевики. В Красную Гвардию.

— А к нам сюда давно?

— Да с восемнадцатого. Товарищ Ленин в Туркестан послал против буржуев да белогвардейцев... С той поры...

— Он товарищ мой... Все вместе, — сказал вынырнувший из темноты третий с винтовкой, — мы тоже с восемнадцатого.

— А закурить, комиссар, у тебя не найдется?.. — спросил один из них.

— Найдется...

— Перекур, — обрадовался тот, который назвал себя башкиром.

При слове «перекур» конь остановился как вкопанный. Он ученый, этот конь. И ему, наверное, надоело уже верст пятьдесят двигать ногами и утаптывать и без то-

го утоптанную белешую в темноте белесую ленту Дороги Царей.

Закурили. При почти мгновенной вспышке искр кремня (ни у кого не оказалось ни зажигалки, ни спичек. Огонь высекли добрым древним способом — кремнем и кресалом) удалось разглядеть темные дубленные загаром лица. Светлый вихор, лихо по-казацки вившийся из-под буденовки, да синие кавалерийские «разговоры» на выцветшего цвета хаки гимнастерке рязанца. Широковатые скулы и черные с гранатовыми брызгами глаза башкира. Острые черты и серые глаза третьего привлекли особое внимание.

— А вы? Вы не русский? — спросил комиссар.

— А мы — Лацис из Юрмалы, это на Рижском взморье.

— Полный интернационал, значит. А вы как к нам, в Восточную Бухару?

— А я с латышскими стрелками Петерса. Поход из Пишпека в Андижан... Слышали про славного Петерса, товарищ комиссар? Я по ранению остался в Андижане, а потом уже не хотелось возвращаться в Лифляндию. Там буржуи и немецкие бароны. А тут вот ребята в госпитале лежали. Ну решили, не все ль равно где международных капиталистов на штык брать... Да и Азия хороша: солнце, фрукты... Санаторий. Вот и пошел. Да и Памир захотелось посмотреть.

— Лацис у нас мечтатель. Подавай ему горные вершины, ледники, всякую красоту...

Долго бы, наверное, продолжался перекур, но разговоры прервал властный голос, явно командирский:

— Курение отставить! Забыли приказ...

Подъехал Баба-Калан, явно рассерженный, но, разглядев Алексея Ивановича, только заметил:

— А вдруг сторожат ибрагимовцы. Думали выбраться к рассвету из ущелья Смерти, да не получается. Колонна растянулась.

Цигарки потушили. Двинулись в темноте дальше. Примолкли.

Воздух неподвижно висел, давил. Сон никак не хотел отвязаться, напоминая, что длинная ночь подходит к концу, что усталость валит с коня, и лишь неволью бодрило шарканье ног во тьме. Неудобно-таки. Люди идут уже шестьдесят верст пешком... И идут. А ты еще едешь на коне... тебя конь на спине несет. А каково им?

Пешим? Плохо, наверно. А вот идут и не ропщут. Надо идти и идут.

Даже угрызение совести испытывал тот, которого бойцы уважительно называли в разговоре комиссаром. Вот он едет с комфортом на отличном, лично выхоженном коне, едет тихонько, убаюкивающе укачиваемый «юргой» (иноходью), к которой привык в долгих странствованиях по Каратегину и Бадахшану. И то жалуется внутренне самому себе на усталость. А что же тогда сказать про бойцов, отшагавших уже четыреста верст за пять дней? Вот это люди, вот это бойцы! И этот рязанец, и этот башкир, и этот латыш.

Вот они шагают впереди черными силуэтами на белесой полосе Царской дороги, ведущей от границ Китая до Бухары. Они не утратили бодрости. Они даже разговаривают. Нет, это они поют. Что они поют?

Комиссар встрепенулся и прислушался. И с удивлением увидел перед собой что-то белое и неправдоподобно странное. Он даже слушать перестал и, не сводя глаз с этого странного, старался понять, почему вдруг на небе над головой висит белый конус, даже не белый, а какой-то неправдоподобный желто-розовый.. Да, да, приторно-розовый. И тут только он обрадовался: значит, колонна, наконец, выбралась из соленого, безжизненного ущелья Смерти, из этой проклятой щели Танг-и-Муш. Алексей Иванович, дав шенкеля, погнал коня вслед шагавшим впереди бойцам, вслушиваясь в слова песни.

Она, видимо, сочинялась в походах и на марше отнюдь не композиторами и не поэтами-песенниками и не обладала художественным совершенством.

И тем не менее песня эта комиссару понравилась: она вселяла бодрость, отгоняла безумную, ломящую сердце и суставы усталость, звала вперед, к розовому конусу, висевшему во тьме над долиной, она звала к вершине горы Байсун, освещенной первыми отблесками утренней зари, она, эта песня, звала в горное селение Байсун, до которого оставалось теперь каких-нибудь верст пятнадцать.

Песня бодрила:

Товарищи, от Кушки до Хорога

Скачет крылатое слово:

«Тревога!»

Снова басмачья шакалья стая,

Хищным оскалом зубов сверкая,
Хочет нам стройку сорвать...

«Эй, бек Ибрагим, припасай голов,
А одной уж тебе никак не сносить.
Шакалью свору мы косим и будем косить!

Конь комиссара поравнялся с бойцами.

И тут вдруг оказалось, что пешеходов не трое, а шестеро. К тому же — а это можно было теперь разглядеть в рассветных лучах, потому что величавый конус горы Байсун сейчас уже был позлащен солнцем, проклюнувшимся своими лучами над ломаной стеной Гиссарского хребта. Солнце уже бросало отсветы и на плоские адыры, и на долину, по которой вилась белая полоса дороги, и на фигурки людей, бредших по ней, и на тархтевшие военные брички, и на шестерку пешеходов.

Среди красноармейцев, одетых в гимнастерки с синими «разговорами», выделялись горцы в светло-серых, почти белых верблюжьего сукна добротных халатах и ослепительно белых чалмах.

Люди в чалмах шагали рядом с демобилизованными бойцами, тяжело передвигая ноги и по-старчески опираясь на точеные, полированные дервишеские посохи.

«Откуда они взялись?»

Они шли молча. И ни один из них не повернул головы на конский топот, когда комиссар подъехал сзади к ним. Кто такие? Почему какие-то муллы или дервиши в воинской части?

Разглядеть их лица в предрассветном сумраке Алексей Иванович не мог. И все же сейчас он задал себе вопрос: «Чего это они сорвались с брички и пошли пешком среди ночи?»

Он залюбовался величественной вершиной Байсуна. Она стояла гигантским утесом среди беспорядочно торчавших, еще темных, неосвещенных вершин и пиков, по которым кроваво-красными космами ползли туманы...

«И все же надо спросить Баба-Калана».

Что-то заставило его обернуться еще раз. Может быть, то, что сделалось совсем светло и ему захотелось поглядеть на лица прохожих в чалмах. Особенно на лицо того, который шел твердой походкой и не так гнул под накинутым на плечо красно-оранжевым хурджуном. Два других муллы комиссара не интересовали. Они шли, согбенные старостью и тяжестью хурджунов, тяжело опираясь на свои посохи. А вот один...

Сразу что-то обожгло... Комиссар вспомнил лицо... Это же он...

Круто повернув коня, комиссар старался разглядеть лицо молодого муллы. Но, черт возьми, пока комиссар собрался оглянуться, расстояние увеличилось. И к тому же молодой мулла, очевидно, заметив, что комиссар осадил коня, низко-низко опустил голову, выставив вперед свою аккуратно повязанную, круглую чалму. Теперь была видна лишь нижняя часть лица. Бледный, ужасно бледный тон кожи, узкие, в ниточку, синеватые губы, поджатые зло и решительно...

Мирза! Он... несомненно, он! И все же комиссар медлил в нерешительности. И нерешительность могла обойтись дорого.

Комиссар медлил, ожидая пока муллы в белых одеяниях и чалмах приблизятся к нему. И похлопывая себя хлыстом по крагам, поджидал. Но вдруг зажмурился. Из-за края вершины ударил поток света, совершенно ослепивший его.

И сразу послышались крики:

— Комиссар! Комиссар!

Топот сапог по твердому грунту тракта...

С трудом комиссар поднял веки. И еще минуты потребовалось, чтобы он смог разглядеть бегущие от далеке остановившейся длинной колонны бричек черные силуэты в буденовках и с винтовками с примкнутыми штыками.

Над степью рвали утренний свежий воздух голоса тревоги. Сухо клацали затворы винтовок. Со стороны долины, по краю которой вилась Дорога Царей, поднимался рысью всадник. Он крутил над головой винтовку и кричал:

— Засада! Засада!

А мимо него вниз, в долину, бежали три чалмоносца. Хурджуны грузно подпрыгивали на их плечах. Полы длинных халатов плескались между ног, мешая бегу.

«И как они быстро удирают, — спохватился комиссар. Мгновенно стянул свой карабин, клацнул затвором, но не выстрелил. — Какое имею право? Что я, могу поручиться, что это он?»

А муллы убежали. И походили уже на три ватных комочка, гонимых ветром. То, что он не выстрелил, не попытался остановить убежавших мулл, комиссар еще раз припомнит потом, а сейчас он уже думал совсем о другом.

Вся колонна бричек, вытянувшаяся черной гусеницей на белой дороге шевелилась, ошетичилась. Люди бежали. Слышалась команда:

— В цепи! Ложись! К бою готовься!

Рядом с конем возник Баба-Калан тоже с винтовкой. Он показывал куда-то рукой и говорил что-то странное:

— Кишлячок с воробьиный носок, а сколько людей! Нельзя гнаться. Много басмачей. Муллы-то удрали...

В дымке красного тумана, далеко внизу, вертелись всадники. В кучке их еще с минуту мельтешили бедными пятнышками три муллы — и растворились, исчезли. Снизу донесся приглушенный вой и снова все поглотил багровый туман.

Одновременно к комиссару подскакал всадник, выбиравшийся по крутому подъему на Дорогу Царей. Его нетрудно было узнать. Это был конный милиционер, узбек с загорелым черным лицом. Он ехал с колонной в Байсун и уже всем примелькался. На крутой его груди сверкал в лучах солнца орден Красного Знамени. И еще ярче сиял золотой темляк на рукоятке боевого, казачьего образца, клинка. Узбек, его звали Сабир, славился на всю Восточную Бухару своими боевыми подвигами.

Хрипло, задыхаясь от быстрой езды, Сабир проговорил:

— Там внизу засада! Басмачи!

— Вот те раз! — послышался голос из сгрудившихся вокруг всадников бойцов. — Только до дому дорвались и опять драться. Не желаю.

— А с тебя шкуру с живого сдерут? Желаете!

— Молчать! — скомандовал комиссар. — Дело серьезное. Слушать мою команду. Все в оборону. Кто не зарядил — зарядить. Кто струсил — ложись под брички. Винтовки отдать раненым. Они уж никак не захотят шею под нож подставлять...

Команды отдавались властно, решительно.

— Объявляю демобилизованных призванными под Красное Знамя. Назначаю отделенных...

Комиссар объявил тут же Баба-Калану:

— Мы с Сабиром уезжаем в разведку.

— Меня возьмите.

Комиссар обернулся: он увидел еще одного всадника и вспомнил: это был старик фельдшер, тоже ехавший в Гузар.

— Дайте мне винтовку, — говорил он, — я военный. Я еще в русско-японскую воевал.

Хотел комиссар освободить старика от участия в разведке, но тот заупрямился. Спорить было некогда.

Приказав выставить в сторону скрытого туманом кишлака охраненные, комиссар приказал:

— Баба-Калан, возьмите трех бойцов и следуйте за ними — за конной разведкой. Прикройте нас. Вперед!

А сам вместе с Сабиром и с фельдшером «рысью марш!» поехал по Дороге Царей. Она извивалась белой лентой к подножию уже расцветченной красками горы Байсун. Уже розовость сошла с ее вершины, и она белела снегом. Даже лицо ощущало холодное дыхание гор. Холмы и вершины загорелись красными, рыжими, гранатными скалами и бараными лбами — гигантскими валунами. Далеко-далеко зеленою, почти черной, лежало в ущелье пятно райских садов Байсуна. По склонам гор чернели пятнышки арчи.

До боли в глазах вглядывались разведчики в каждую складку гор, в каждый камень, в каждую лошину. Нет ли засады на дороге, не прячутся ли стрелки-басмачи. Сейчас от бдительности разведчиков зависело все. Не попадут ли отпускники демобилизованные под огонь бандитов, уцелеют ли запряженные в брички кони, сможет ли колонна, измученная ночным маршем, добраться до Байсуна.

Только раз комиссар оглянулся. Все в порядке. Размашистой рысью, пыля, спешили поодаль Баба-Калан с тремя конниками.

Орденоносец узбек Сабир скакал рядом на велико-лепном «арабе» вороной масти. Говорят, отобрал в бою у самого Селима-паши. «Надо порасспросить» — мелькнула мысль. Но сейчас комиссар вслушивался в слова Сабира и с трудом старался понять, что тот говорил на смешанном русско-узбекско-таджикском языке:

— Нельзя гонять за муллой... Кругом басмач... Сто-двести басмач. Я с дороги отъехал... По нужде отъехал. Смотрю — кишлак. Около кишлака сто-двести коней, заседланных... Понял, что в селе спряталась, притаилась шайка Алик-курбаши...

Подъехавший, запыхавшийся Баба-Калан поддакивал:

— Правильно... наверняка это сам Алик-курбаши... Нам рассказали, что он нашел в кишлаке новую не-

весту... хочет жениться. Собрал всех своих бандитов на пир-свадьбу.

Комиссар окинул взглядом долину, холмы, синие горы, небо... В утреннем тумане, уже потерявшем алые краски, кишлак со своими плосковерхими домиками, будто серые кубики, выглядел мирно. Еще не потерявший утренней свежести ветерок обведал лица толпившихся, загорелых до черноты бойцов. Лошади подтянувшихся бричек устало мотали головами. Из бричек к солнцу тянулись, привстав на локоть, тяжелобольные и раненые. Но и они молчали. Никто не спрашивал, что случилось. Кое-кто натирал масляной тряпочкой затворы винтовок.

Мирная дорога, мирная долина лежала у подножия величественного, спокойного отца Гиссарских гор Байсун-Тау. Он надвинул пониже свою белую папаху и, казалось, равнодушно взирал на муравьев-людишек, беспокойно шевелящихся на дороге.

Прервал тишину Баба-Калан:

— Спрашиваешь, комиссар, откуда все знаю про трех мулл, про Алика-командира!.. Хэ? Ночью в бричке проснулся... Пока умный раздумывает, глупый гору свернет. Умных мулл разговор в уши мне дошел. Их не видел, а разговор слышал про лакомого до женщин Алика-командира. Очень какой-то хитрый молодой мулла. Демобилизованные бойцы говорят, еще в Душанбе, когда грузились, все прятался, узнавал, куда лучше податься. Тайком. Никому на глаза не лез. Боялся, понятно... Говорили, будто, как собака на Бальджуанской дороге, мулла остался после турка Селима-паши. Тот молодой мулла, оставшись без хозяина, без зятя халифа, пошел пешком в степь и построил ему мазар-гумбез. И палки поставил с хвостами, чтобы ходжи ходили и молились...

— Постой, Баба-Калан. А ты знаешь, кто этот мулла?

— Кто его знает? Говорят, это тот турок, который при Матчинском хакиме назиром состоял... Потом он бежал к Селиму-паше.

— Дьявольщина, это же был, значит... сам Мирза, и мы его упустили. Значит, он уехал от Ибрагимбека в Душанбе. А в обоз демобилизованных он пристроился, чтобы пробраться в Бухару. Мог ли он думать, что мы тоже попадем к демобилизованным? — Комиссар с отчаянием смотрел на далекое селение. — А те-

перь он сидит за дастарханом, попивает чай и смеется над нами — шляпами...

Широкое, добродушное лицо Баба-Калана потемнело от прилившей крови, губы вытянулись:

— Эх! Так это он самый... Душный человек, говорю... Мы его искали, все искали, а он, хитрец-мулла, ездил по степи и горам, священный гумбез зятю халифа строил, рабочих каменщиков собирал, деньги собирал, турецкому генералу советы давал, как против Советов воевать. Селима-пашу святым Мухаммеда провозгласил.

Баба-Калан говорил с яростью, сжимая приклад винтовки. До него только теперь, наконец, дошел смысл происходящего. Он рассвирепел, что из-под носа упустил Мирзу.

— Сатана!

Баба-Калан не стоял на месте. Руки его так сжимали приклад и дуло винтовки, что комиссар всерьез обеспокоился, как бы он не сломал винтовку.

— Почему сразу не сказал мне? — задал бессмысленный вопрос комиссар.

— Они, муллы, все шептались и шептались. Я хотел побольше узнать. Понять, чего они хотят. Потом говорили, что пойти надо в Самарканд... А в Самарканд дорога через Байсун... Ну, думал я, успею сказать... К этому времени Красная Армия в основном разгромила басмаческие банды. Единственной областью в Туркестане, где еще находились басмаческие банды, была Самаркандская. Два-три главаря, вроде Хамракула и Мирзы Палвана, с двумя-тремя десятками бандитов в степи, к югу от Самарканда, метались и прятались. Такие же озверевшие остатки банд скрывались в Уртюбинском районе. Но, когда Баба-Калан на назначение в военное училище сказал, что он еще не свел кое-каких счетов с курбашами Сеид-Мурадом и Турды-Баем, ему ответили: «С ними покончат и без вас. Они не уйдут от революционного возмездия».

И вот теперь Баба-Калан ехал с отпускниками и демобилизованными на запад, учиться на высшие командирские курсы. И вдруг опять этот коварный мулла, вдохновитель убийц и изуверов.

И Баба-Калан вдруг издал воинственный возглас: «Бей его!», перепрыгнул через кювет и, взмахнув винтовкой, побежал огромными прыжками вниз, в долину, в сторону нагромождения кубиков-домишек.

До них было без малого тысяча шагов.

— Стой! Да он рехнулся!

С минуту все вопили, кричали.

Но Баба-Калан и не думал останавливаться.

«Прозевал! — мучительно вертелось в голове. — Я прозевал. Как же я не придал значения разговору этих мулл?!»

Он и вправду обезумел, прыгая через промоины и перескакивая по оврингам. Ему хотелось дотянуться до мулл. Даже первые удары выстрелов из-за глиняных стен и взвизги пуль не отрезвили Баба-Калана. Бандиты не удержались, потеряли хладнокровие, выдали себя. Что им мог сделать один красноармеец, пусть с винтовкой, пусть великан?

Они стреляли в бегущего и размахивающего винтовкой человека и... промахивались. Пули хлестали по мертвой серо-желтой колючке. Фонтанчики песка вздымались там и сям, по степным склонам холмов, но далеко еще от Баба-Калана. Но они могли и пристреляться.

— Слушать команду! Ложись! По домам кишлака огони! — скомандовал комиссар.

Грохнул дружный залп.

Баба-Калан остановился. Он опомнился. Понурившись, неторопясь, он пошел обратно, утирая лицо тыльной стороной ладони и хрипло дыша. На потном лбу веревками вздулись вены. Баба-Калан раскаивался: стоило ли ему выходить из терпения — и он впадал в ярость, неподобающую для опытного, умудренного опытом воина-горца.

А тут еще комиссар хлестал:

— Дурак! Идиот! Пристрелят как куропатку. Один полез на банду. Показать себя захотел: «И трус от стыда грозит тигру...»

— Одно хорошо... Глупый, а врага показал. Басмачи теперь проявили себя, — заметил рязанец. — Теперь знаем, где прячутся.

Кишлак притих. Солнце припекало. Бойцы залегли в кювете на кочковатой глине. Мухи назойливо лезли в глаза, нос, рот. Лапки их причиняли коже невыносимый зуд.

— Двинули, что ли, — проговорил седой фельдшер. — Там повыше хоть ветерок. Гнус отгонит.

— Хорошо бы пожевать, — заметил рязанец. — Мы что, ишаки, слушать бандитов будем? Ишаку и то по уставу полагается в день пять раз корм... Тоже хорош. Растревожил гнездо шмелей.

Баба-Калан отмахивался:

— Вкусили сладкий вкус халвы отпуска, а теперь готовьтесь попробовать горького. Алик-командир обозлен. С молодой женой не дали поспать. Теперь он нас не выпустит.

— Смотреть надо в оба, — сказал комиссар. — Видите, коней они угнали за стены... Нет... смотрите... Убираются подобру-поздорову, не хочет Алик-командир искушать судьбу.

Солнце жгло, мухи осатанели. Роились тучами.

Обоз медленно двинулся по дороге к Байсуну.

XI

Посеявший зло, пожнет раскаяние.

Саади

Письмо — кусок пергаментной бумаги, свернутый в трубочку и вложенный в полый посох, принес нищий из Тешикташа. Мюрид верой и правдой служил аллаху и ишану, но он очень уважал раиса сельского Совета Юлдузхон и, припав к ее ногам, шепелявил:

— Я у вас, уважаемая ханум, не был и этой бумажки не приносил и не показывал. Но — велик аллах! — до каких пор мы должны платить мучителю налог? У меня карман дырявый, и нет в нем даже и одного медного чоха.

Юлдуз прочитала письмо и, обнаружив, что мюрид исчез, послала вдогонку секретаря сельсовета, чтобы вернуть мюрида.

— Он не вернулся. Сказал: налога муфтию платить не будем. Действительно, безобразие, — говорил секретарь. — От муфтия уже сколько лет ни слуху, ни духу, а смеет лезть к нам.

Крайне возмущена была и Наргис, которая после долгой разлуки приехала погостить к матери, приехала «на побывку» из Восточной Бухары. Приехал с ней и Георгий Иванович, чтобы повидаться с женой и сыном. И тоже в этот момент находился рядом с Юлдуз в сельсовете.

Письмо, принесенное нищим мюридом, было адресовано ишану Тешикташскому Сеиду Заманатдину Шо.

«Если будут божьи пути, необходимо вам, почтенный, и всем ишанам собрать с жителей селения Тилляу подати божьи, но не упаковывать и не посылать нам (исключая сапоги хромовые, бархат, шелк и оренбургские платки), а продать на Тезиковской толкучке и

превратить в наличные деньги, каковые обменять в мажалле Тиканлик Мазар у знакомого вам Маулаано. А если по воле божьей его жизненный путь пресекается по каким-то причинам, то поезжайте на Жуковскую к Борману, у него всегда есть золото для зубов. Пошлите золото не с одним (не доверяйте всякому), а с двумя-тремя якобы идущими к нам, в наше государство, повидаться и облобызаться с родственниками. А когда доедете благополучно до границы, погрузите товар на ишака. Пусть мюриды идут, прося милостыню, и пригонят осла к нам, а лучше пусть пойдут через сарайскую переправу. Осенью воды в Пяндже и по колону не будет, ну, да вам известно, что надо осторожно. Знайте, что всем сеидам со стороны их святых приказываю прислать по три штуки величиной с палас шелковых сюзана, расшитых красным, черным и желтым шелком, тяжелых, увесистых, вышитых руками лучших мастериц, а всякой дряни не посылайте, тут никто на плохое сюзана и смотреть не хочет. А потом еще обязательно приказываю прислать от каждой общины по одному (можно и по два) ковру — паласу толстому, не пропускающему холода земли, из чистой шерсти размером тринадцать на девять гязов. Если ковров не будет, соберите денег на полную стоимость. Да все сначала отвезите в Куляб к заведующему базой Таджикторга в золотой магазин. У заведующего не требуют на границе пропуск, а когда ваши сеиды пойдут на ту сторону, пусть монеты припрячут лучше, а на другой стороне наши люди в Рустаке, Хазни, Чаябе всюду есть, бухарцев только на базаре спросите и скажете, откуда едете. Будьте благословенны».

— О, — сказала Наргис, — наш знакомец, сам господин муфтий дает директивы своим богомольцам. И все это, поверьте, мама и Георгий Иванович, идет в мощну эмира Бухарского, в Бухарский центр на всякие диверсии и подлые дела.

— Ну что ж, меры мы примем. Тут все есть, в письме, — сказал Георгий Иванович. — Удивляться только надо их неосторожности. Даже адреса указаны. Вот как муфтий обнаглел: слепо верит своим мюридам.

Наргис читала и перечитывала письмо. Юлдуз и Георгий Иванович с нежностью смотрели на дочь. Она еще и не представляла себе, какую поразительную цепь событий в ее жизни вызовет этот пергамент.

ХІХ

Ненависть священна!
Ненависть — это возмущение сильных
и могучих сердец... Ненависть облегчает,
ненависть творит справедливость, нена-
висть облагораживает!

Панчантра

Ведь разум юности не вынамет предо-
стережениям.

Наперекор запрету еще сильнее креп-
нет жажда свершить задуманное.

Шами

Из Тилляу, погостив у матери, Наргис вместе с Георгием Ивановичем вернулась в свой эскадрон, преследовавший банду курбаши Давлятманд-бия. Старейшина кишлака передал Наргис письмо Сеида Алимхана. Она прочитала его вслух бойцам эскадрона.

«Идите на большевиков войной. Нападайте на Самарканд, на Каттакурган. Жгите богару, палите скирды хлеба, поджигайте дома, топчите копытами коней и ступнями верблюдов их пшеницу. И если хоть одним шагом вызовете раздражение у неверных комиссаров в Ташкенте, значит, вы свершили достойное награды дело. Воспользуйтесь хоть одним случаем к убийству! Схватите и приведите связанным хоть большевика, хоть его жену или дочь! Разграбьте хоть один дом коммуниста! Разружьте хоть один дом, хоть один амбар! Это будет записано ангелом в свитке достойных добрых дел! Пригодится, когда будете входить газиями в рай».

— Очередное сочинение господина эмира Сеида Алимхана, — с отвращением проговорила Наргис. — Сидит на шелковой курпаче в своем Кала-и-Фату и выводит золотым калямом каллиграфически изящные строки. А вот перед нами и прямое следствие подобных царственных директив.

Побледневшая, вся дрожа от возмущения и ненависти, читала Наргис письмо эмира, загораясь неуголенной ненавистью к нему.

— Мстить! За все мстить подлецу и мерзавцу, окопавшемуся за рубежом и дирижирующему оттуда смертью и разрушением! Кто же выковырнет этого изверга, кто покажет ему, что возмездие неотвратимо?

..Берег мирного прохладного хауза и тихий тенистый уголок у кишлачной мечети бандиты, посланцы эмира Бухарского, превратили в место мук и страданий. Когда специальный дивизион ворвался в грохоте и

дыму стрельбы на кишлачную площадь здесь, у хауза, в единственном тенистом месте селения, — а курбаши Давлятманд предпочитал зверствовать со всеми удобствами! — обливаясь кровью, еще в смертных судорогах корчились недобитые дехкане, все больше старики.

По земле, измазанной пылью, слипшейся от спекшейся крови, ползли к воде, пытаясь охладить воспаленные рты какие-то ужасные человеческие обрубки без рук и ног, а один белобородый старец, приподнимаясь на несгибающихся, израненных саблех ногах, в окровавленных иштон цеплялся за ствол карагача и хрипел, умирая:

— Звери! Животные!

Он успел еще сказать, что здесь, у хауза, зверствовал Давлятманд-бий.

Всего час тому назад он ворвался в кишлак и потребовал, чтобы все в кишлаке, могущие носить оружие, присоединились к его банде. А его писец во всеуслышание читал воззвание эмира, которое с отвращением сейчас читала Наргис. Это Давлятманд-бий потребовал, чтобы аксакалы и родовые вожди селения заставили своих сыновей и внуков вступить в банду и идти огнем и мечом на Самарканд истреблять большевиков и все советское... И это он, Давлятманд, учинил кровавую расправу над старейшинами кишлака, когда они отказались подчиниться.

«Рубите проклятых вероотступников! Убивайте! Так повелел священный государь наш эмир благородной Бухары Сеид Алимхан. Рубите!»

И всего двадцать минут промедления особого дивизиона в тугаях Сурхана оказалось достаточным, чтобы пыльная площадка превратилась в болото кровавой грязи, а прозрачная вода мечетинского мирного хауза замутнела от стекавшей в нее крови.

«Во имя аллаха и пророка его и халифа мусульман их высочества эмира!»

Того самого эмира — чудовища из легенды со змиеми, выползающими из плечей, с оскаленной пастью, въедающегося в темечко младенца, неистово вопящего от боли.

Свой замысел Наргис таила в душе уже давно, а сегодня при виде страшного зрелища резни и мук людей, он созрел окончательно. По-своему он, этот замысел, был очень логичен.

Все зло исходит от эмира — старого, ненавистного

врага. Тяжкий дым горящих копен с пшеницей, вопли насилюемых женщин, плач детей, красные от крови пороги правлений колхозов, трупы молоденьких учительниц на виселицах, с восседавшими зловещими стервятниками на перекладинах. И все во имя того, чтобы тиран и деспот Сеид Алимхан мог снова воссесть на троне в своем Арке, чтобы он мог покинуть свой афганский дворец в Кала-и-Фату и торжественно, победителем возвратиться в Бухару.

Оттуда, из-за границы, тянутся нити зловещей паутины, оттуда из так называемого Бухарского центра идут эмирские директивы «совершать достойные ангелов загробной жизни дела, воспользоваться любым случаем к убийству». Сидит это чудище с кровавой пеной на губах, укрывшись от мирских бурь, по мановению руки которого лезут через границу контрабандисты с товарами господина эмира, и с ними происходят постоянные стычки.

Сеид Алимхан — опытнейший торговец. Совершая ракъаты и молитвы, он весьма деловито, сидя за рубежом, и небезвыгодно торгует опиумом, каракулем, золотом. «Безгрешные» доходы, орошенные кровью своих верных газиев и мирных дехкан, он аккуратно переводит на счета английских, французских, швейцарских банков «про черный день».

Отвратительный лик чудовища Алимхана буквально преследовал Наргис. Беломучнистая с мертвыми синими тенями, с черневшей полоской благопристойной бородки личина склонялась к ее лицу как в злом кошмаре.

Тяжелый бред! Бред... Жажда мести!

Наргис просыпается. Стряхнула с себя дремоту. Она спала в седле. Ведь они ехали без отдыха больше суток, извещенные о движении банды к горным селениям.

...Наступил день, когда Наргис сказала Георгию Ивановичу:

— Пошлите меня в Кабул разведчицей. Договоритесь с руководством, в Кала-и-Фату — в нору к эмиру.

Разговор Наргис с Георгием Ивановичем происходил в Вахшской долине, некогда цветущей и густо населенной, а ныне пустынной и сухой, без признаков жилья.

Стоявшее в зените дневное светило душило, давило. Бойцы, надвинув на лбы буденовки, дремали в седле. Колонна двигалась в полном молчании. Наргис с Георгием Ивановичем ехали впереди кавалерийского эскадрона.

Густая пылевая мгла встала плотной раскаленной стеной между ними и колонной всадников, и разговора их никто не мог слышать. Наргис страстно доказывала Георгию Ивановичу:

— Мы ничего не знаем, что делается в Бухарском центре... Надо пробраться в самую нору. Пробраться в Кала-и-Фату в гарем.

— В гарем? — вздрогнул Георгий Иванович.

— В дворцовом гареме, клубке сплетен и интриг, знают все и обо всем.

— А ты рискнула бы попасть на глаза Сеиду Алимхану после всего, что произошло. Да... он с его характером, его бешеным самодурством, садизмом, что он с тобой сделает!

— Нет... Он садист, он восточный тиран, но слабый, безвольный раб своих страстей. Пошлите меня. Вы же теперь можете так сделать. Я заслужила и знаю персидский язык. Я буду очень полезна.

Георгий Иванович заколебался.

— А если... мы тебя пошлем...

— ...то уже через неделю вам, Георгий Иванович, и нашему командованию будет известен каждый шаг банд, вы будете знать о самых тайных замыслах и планах эмира.

— Нет, это слишком опрометчиво.

Полное разочарование было написано на лице Наргис. Она так надеялась. А Георгий Иванович не хочет понять. Чуть скосив глаза, она видит его суровое лицо с жесткими черными с проседью усами и бородкой. Вот уже сколько лет он оберегает Наргис во время военных операций, сдерживает. И сейчас он отлично понимает, какую огромную пользу принесла бы Наргис, если бы ей действительно удалось пробраться в самое логово эмира. Но он боится за Наргис, чересчур опасно.

Тронув шпорами бока коня, Наргис выехала вперед. Она хотела скрыть слезы. Ее могли называть бойцом, героем, храбрым йигитом, но за время походов и сражений она не научилась плакать от обиды.

Голос Георгия Ивановича заставил Наргис задержать шаг коня:

— Но как ты туда попадешь?

— А Мирза!

— Что? А откуда он взялся?

Сквозь загар было видно, как кровь прилила к щекам молодой женщины.

— Он, Мирза, оказалось, недавно переходил Пяндж и рыскал по советским кишлакам. Вообще он живет на севере Афганистана. Живет, кажется, в Файзабаде. Он подсылал ко мне старуху-ведьму сказать... Словом, он возымел дикую мысль, чтобы я вышла за него замуж... Но я официально еще жена эмира и мне надо явиться на прием к эмиру, чтобы он дал развод. Все глупости и чепуха... Но так я смогу войти в ворота Кала-и-Фату... И...

— М-да... Сразу столько новостей. Во-первых, значит: этот тип, идеолог басмаческий, оказывается, в Кала-и-Фату при эмире. Во-вторых, он, эта гнида, претендует на руку и сердце героической разведчицы Красной Армии! В-третьих, — на полном серьезе сестрица Мирзы — я что-то не понял... собирается замуж за брата. Ну и ну! Это что-то новое!

— Я ему не сестра. И он мне не брат. Вы же знаете, что мой родной отец Сахиб Джелял. Моя мама — Юлдуз, после того, как мой отец Сахиб Джелял ее покинул, вышла замуж за Мергена, у которого уже были сыновья Баба-Калан и этот Мирза... Какая же я ему сестра, и никакой он мне не брат. Он отлично это знает. Он подлец. И я, конечно, за него не пойду никогда... Но повод попасть в Кала-и-Фату превосходный...

— Подожди, дочка.. Вот ты мне действительно дочка и должна слушаться не как командира, твоего прямого начальника, а как отчима... сиречь отца. Понятно! Я за тебя, ангел возмездия, отвечаю целиком и полностью и перед Советской властью, и перед твоей мамой Юлдуз, и перед Ольгой Алексеевной, и перед Иваном Петровичем, и ох... перед кем я не отвечаю. Случай серьезный.

— Георгий Иванович, прошу...

— А скажи, дочка, как ты думаешь, где сейчас Мирза? Неужто болтается где-то здесь, в горах и в степи. Что-то очень осмелел.

— Старуха-ясуман мне сказала — на базаре в Кабадиане, в Файзабаде... Она ухватила за стремя и бежала шагов десять.

— Так Файзабад по ту сторону Пянджа. Близко. День пути. И что же, доченька, ты скоро собираешься в Файзабад?

— Как только получу ваше указание..

Из нагрудного кармана она достала клочок бумаги.

— Вот письмо.

Георгий Иванович долго изучал текст письма.

— От Мирзы, — сказала Наргис.

— Коротко, сухо, деловито. Твой претендент на твою руку, видно, весьма расчетлив... Что-то во всей истории кроется не то. А не ловушка ли это? Вдруг сейчас делает предложение? А где он раньше был, этот возлюбленный.

Наргис вспыхнула.

— Он уже не раз мне говорил. И в Карнапе, и в Матче, и последний раз в Бальджуане. Я высмеивала его болтовню.

— А он?

— Он говорил просто и ясно: «Ты достойна побоев камнями и подверглась уже одному ташбурану. Ты вероотступница. Позор мира, ибо ты жена халифа, мусульманка, трепешь подол среди неверных, но ты владычица моего сердца, и я не успокоюсь, пока ты не станешь моей женой». Он говорил еще, что давно позволил бы меня казнить или сам меня убил бы, если... если не любил бы меня... И он действительно, если подумать, щадил меня и даже помогал мне избегать смертельной опасности. Только иногда я не знала, он помогает или простодушный поэт Али... Нет, Георгий Иванович, Мирза, хоть он и ужасный человек, но ловушки он мне не строит... Он действительно вообразил, что разведет меня с эмиром и женится на мне. Пусть разведет... Эмира он уговорит. Я уже стара в жены эмиру, уже не та... Пусть разведет, а замуж за Мирзу я, конечно, не пойду ни в коем случае. Ну, а в самом Бухарском центре я смогу многое узнать. И потом там Али, а это преданнейший мой Меджнун.

— Темна вода во облацех... Накручено здорово. И при чем тут Али.

— А я вижу, что письмо написал Али от имени Мирзы. Мирза слишком щепетилен... то есть трусоват. Бойтся, чтобы по почерку не пришлось отвечать... Как бы чего не вышло...

— Эх жаль, что подательница письма не попалась. Уж она кое-что рассказала бы.

— Наверяд ли.

Он не без иронии взглянул на Наргис и запнулся. Так очаровательно выглядела Наргис. Он незаметно вздохнул. Невольно вспомнил Юлдуз. Так они были похожи.

— Старуха, ничего не знает... Я уверена. И даже имени ее пославшего.

Наргис мучали угрызения совести.

Она не сказала, что со старухой уже послала ответ Али. И даже на словах обещала приехать встретиться с ним в условленном месте. На всякий случай, даже не надеясь, что ее пошлют за рубеж, она затеяла переписку с Мирзой. В этот раз она ничего не сказала отчиму. Ни единым словом она больше не помянула эмира. Ни слово «мечь», ни слово «возмездие» не сорвалось с ее уст. Но ведь разговор с многоопытным начальником разведки Красной Армии Георгием Ивановичем не был закончен.

У Наргис появилась надежда, что ее виртуозно смелый план будет одобрен командованием, что Георгий Иванович сообщит об этом ее замысле.

XII

Если волк будет врагом, с ним разговаривают явно или тайно только мечом.

Мердавидж

Воры кишели в караван-сараях, точно белые черви копошились в красном сыром мясе.

Джебран

— Мы почти ничего не знаем. Мы слепые щенки, — говорил Георгий Иванович. — Говорят, трезвонят про какой-то Бухарский центр, а что это такое, точно никто не знает.

— Прохвост Сеид Алимхан, чтоб ему... собрал около себя всякую сволочь... и строит козни, — поддержал его Баба-Калан.

— Ругней мы ничего не проясним. А то, что именно оттуда, из Бухарского центра Ибрагимбеку и ему подобным идет снаряжение, патроны, боеприпасы, мы и сами догадываемся. Что у Ибрагима в его штабе состоят три-четыре британских резидента, все мы убедились. Поторопились, погорячились наши ребята. Я говорил, что каждого подозрительного надо брать живым и ко мне доставлять для разговора. Да вот и в третьей Туркестанской сгоряча какого-то попавшегося сразу же к стенке, а он...

— Он подлец двух наших... Ну, бойцы не выдержали...

— А ведь европеец был... не мусульманин... Какого «языка» упустили! Одно ясно — эмир в своем Бухарском центре не спит. Сколько они переправили через

Пяндж пулеметов? Не знаете? А вот Баба-Калан точно знает.

— Уксочеры? Пулеметы «Люиса»?.. — проворчал Баба-Калан. — Но их считать не надо.

— Почему?

— Мои люди из затворов вот это вынули, — на огромной ладони великана-разведчика поблескивали стальные детали... — Теперь «уксочеры» Ибрагимбека и один раз не выстрелят.

Георгий Иванович одобрительно хмыкнул:

— Хорошо, что в банде Ибрагима есть такой человек, который интересуется пулеметными деталями и даже выкручивает их, когда надо, а вот в Бухарском центре такого специалиста-оружейника у нас нет.

— Что и говорить! Нам так нужны уши и глаза. Мусульманские попы такой галдеж устроили, хотят газават нам объявить. Да и среди реэмигрантов возможны враги — особенно надо проверить среди той группы, что третьего дня вернулась из-за рубежа.

— Их там несколько тысяч... И кто их разберет?

— Ну это мы разберемся... — поднял голос Баба-Калан. — Завтра выловим кого надо... А вот просьба у меня. Разрешите съездить в Кала-и-Фату.

Георгий Иванович пожал плечами. Таким нелепым показалось ему предложение Баба-Калана. Можно было подумать, что Кабул и Кала-и-Фату где-то рядом, в двух шагах отсюда.

— Душа моя, братец, — улынулась Наргис, — она до сих пор не проговорила ни слова. — Да тебя в первом же селении по ту сторону Пянджа схватят и пристрелят. По-моему, на Востоке не сыщется и пастушонка, который не знал бы тебя... Нет, нет, занимайся своими делами здесь.

— Слушаюсь, товарищ Наргис, — недовольно проворчал великан, — только, вот... Время идет, а мы ничего про «Бухарский центр» не знаем. Обязательно нужен там наш человек.

— Будет там человек.

Она говорила так решительно, тонкого рисунка брови сдвинулись так строго, что все присутствующие несколько удивились такому заявлению Наргис, но спрашивать ее ни о чем не стали.

— Тут у нас вопрос о формировании национальных частей. На тысячу квадратных километров Левобережья Вахша — вот посмотрите на карту — узбекский стрел-

ковый батальон. Таджикский кавалерийский дивизион вот здесь. Туркменский краснознаменный полк двигается вот сюда. Ибрагима мы взяли за горло. Но без местных ополченцев нам не обойтись. Сколько у нас оперативных групп?

— Да уж к десяти сотням подходит. Все население горит желанием схватить «серого волка»...

Обсуждали вопрос еще долго. Разошлись поздно.

Уезжая, Баба-Калан погонял коня и разговаривал с ним точно со старым другом.

— Ч-чу! Поехали, дорогой мой... Нет, так нельзя оставить, золотой мой. А не собраться ли мне в гости к их высочеству... Потолковать по душам... Посоветоваться. Эмир человек вежливый, воспитанный в правилах «адаби», а, ушастый ты мой? Не закроет же он перед нами двери. Законы мехмончилика ему известны...

XIII

Трус не защищает себя и остается во власти случайности.

Абу Темал

Отрави сердце языком,
Порань копьями грудь,
Наполни душу ложью.

Мердавидж

Неторопливо разглядывал Алаярбек Даниарбек мучнисто-серую физиономию Мирзы и, очевидно, это созерцание вызвало в нем склонность пофилософствовать. Заговорил он тоном заправского врача. Недаром он вращался в мире медицины немало лет и всерьез считал себя опытейшим хакимом.

Здоровье человека всегда лучше, чем кажется по его наружному облику. А у этого домуллы — все наоборот, потому что желчь просачивается у него сквозь кожу. У господина кадета — удивительно — Алаярбек Даниарбек вспомнил встречу более чем десятилетней давности в крепости Перемышль — да, у господина кадета, должно быть, во внутренностях совсем худо. Почему кадет ханжа и лицемер?.. Да потому что он раб желудка, кушать изволит жадно и хорошо, — миску плова за один присест уплетает, а с виду после принятия пищи будто всю зиму не ел...

Он покачивал головой и, не торопясь, обсасывал поджаристый жир с косточки:

— Таких вот несчастных с виду у нас называют

муж, соперничающий в силе со слабыми созданиями. — Он выразительно подмигнул.

Мирза продолжал отправлять горсточку риса за горсточкой и не устаивал Алаярбека Даниарбека ни словом.

Доктор оторвался от плова, снял и протер пенсне, вновь водрузил его на переносицу и принялся разглядывать Мирзу.

Нет. Он почти не изменился. Несмотря на прошедшие годы выглядел все таким же анемичным, малокровным субъектом, и слова Алаярбека Даниарбека просто позабавили бы, если бы не драматичность обстановки.

...Случилось так, что доктор, сопровождаемый верным Алаярбеком Даниарбеком встретился на Янгибазарской дороге с Мирзой.

Сказать, что Мирза был ошеломлен, слишком мягко. И с чего он полез в кобуру за маузером (он вообще никогда не сделал ни одного выстрела — за него стреляли его слуги и рабы), когда среди белого дня на Янгибазарской дороге столкнулся с пожилым военным на коне и другим всадником, в чалме и с винтовкой, сопровождавшим военного.

Мирза, занятый в мыслях разговором с поэтом и летописцем Али, состоявшимся в караван-сараях, видел в каждом встречном по меньшей мере всекарающую десницу закона. Он находился в состоянии затравленного шакала. Ему всюду мерещились буденовцы и пограничники, расставляющие у него на пути ловушки и засады.

И он не признал в этом седоусом военном, в фуражке с красной звездой, своего приемного отца, доктора Ивана Петровича, и уже взвел курок, но Алаярбек Даниарбек опередил Мирзу. Мирный проводник Алаярбек Даниарбек умел, когда надо, действовать без промедления и без промаха.

С огромным облегчением доктор установил, что по счастливой случайности пуля из «смитвессона» только ударила о массивную пряжку амуниции Мирзы, срикошетила и выбила его из седла. Толстый слой пыли, чуть ли не в аршин глубиной, спас Мирзу от ушибов. Выведенный доктором из шокового состояния, Мирза обнаружил, что он жив и невредим

— Помогите контуженному привести себя в порядок, дорогой Алаярбек Даниарбек. Спутники нашего знакомого улепетнули из-за вашего выстрела. А вот,

кстати, и чайхана. Здесь мы и расположимся для лечения пострадавшего.

У обочины дороги жалкий камышовый навес бросал скудную тень на иссушенную почву, усеянную кустиками полыни и янтака. Прямо на землю был брошен старенький палас. Около корявого столбика, поддерживающего раздерганную, лохматую кровлю, дымил и плескался выдавший виды тусклый самовар. Видимо, чайханщик — здоровенный йигит в малиновой со стеклярусными блестками чалме — давно увидел приближающихся всадников и спешил встретить их горячим чаем.

— Вот и отлично, — сказал доктор, слезая с коня. — Чай никому не повредит, и для инструментов нужен кипяток.

Иван Петрович приказал Алаярбеку Даниарбеку уложить Мирзу поудобнее на курпачу и занялся осмотром, пока кипятком ошпаривались хирургические инструменты. Алаярбек Даниарбек осторожно вынимал их по одному из фаянсовой, старой, выдавшей виды чашки-касы, раскладывал на ослепительно белое полотенце и, по обыкновению, гудел себе под нос:

— Проклятие! Трижды проклятие! И надо же попасться этому ублюдку на нашем пути! И когда? У нас и часа нет, чтобы мешкать в этой пустыне... Когда моего доктора, Господина Знаний, ждут в столице благородного Афганистана. Когда моего прославленного доктора Ивана-ага удостоили высокой чести поехать за границу лечить глаза самому шаху, королю государства... Проклятие! Этот сын разводки Мирза со своими змеиными глазами встал поперек дороги. Из-за какого-то гада доктор мой опоздает в Душанбе на аэроплан, который «Тирак-тирак-тирак» полетит через горы Гиндукуш в страну афган.

И, подавая скальпель Ивану Петровичу, он прошептал:

— Бросьте, Иван-ага. Оставьте его здесь... Жаль — моя пуля не отправила его в бездну ада... Едемте! А то опоздаем. Вас ждут в городе Кабуле.

— Потихше! Не болтайте, Алаярбек Даниарбек. Со всем необязательно встречным и поперечным знать, куда мы едем.

Слышал ли Мирза разговор. Дошло ли что-либо до его все еще затемненного сознания, неизвестно, а ведь его, несомненно, могла заинтересовать из ряда вон выходящая командировка военного врача Красной Армии за границу, да еще в таинственный Кабул.

Доктор и сам был озабочен. Ехать до Душанбе надо было верхом еще по меньшей мере сутки. Его очень беспокоила телеграмма, лежащая в кармашке военного кителя.

«Срочно ждем Душанбе. Указанию Москвы вам надлежит самолетом выехать Кабул распоряжение советского полпредства».

Вот уже третий день Иван Петрович в сопровождении верного Алаярбека Даниарбека ехал верхом через Восточную Бухару, лишь изредка останавливаясь, чтобы покормить лошадей в расположенных вдоль большой Дороги Царей малочисленных гарнизонах, где не столько удавалось отдохнуть, сколько надо было пользоваться больных и раненых бойцов. На дороге было не просто беспокойно, а даже опасно. Однако доктор не захотел ждать «оказий». Он был уверен, что его, доктора, не посмеет в пути тронуть пальцем ни один басмач.

— Ну, дрожайший Мирза, ты и взаправду родился в сорочке, — говорил Иван Петрович, осторожно выстукивая грудную клетку Мирзе. — Взял бы Алаярбек Даниарбек из своего «смитвессона» на дюйм в сторону пряжки — и все! А сейчас, практически, кроме кровоподтека и легкой контузии, у тебя ничего нет. И сердце работает нормально. А вы, Алаярбек Даниарбек, протрите инструмент и аккуратно сложите в футляр. Ну-с, чайханщик, побалуйте нас чайком, только заварите свежий. Помните, батенька, кем-то из мудрецов... Абу Али ибн Сино, кажется, сказано: «Вчерашний спитой чай — яд гремучей змеи». А мы заплатим. Не волнуйтесь.

Широкий нос Алаярбека Даниарбека учуял кое-что посолиднее чая. Уложив футляр в сумку с красным крестом, маленький самаркандец протопал за стенку развалюшки. Уже через секунду зазвучал победоносно его громоподобный бас:

— Э, да ты, чойчи, водишь нас вокруг самовара... А ну-ка, посмотрим, кому ты готовишь обед. То-то я за десять верст уже учуял райские ароматы жареного лука. Мой нос не обманет.

С кривой улыбкой чойчи быстренько накрыл дастархан по всем правилам восточного гостеприимства.

Он суетился, непрерывно прикладывая руку к сердцу, умудрился откуда-то извлечь фарфоровое китайское блюдо, целый сервиз из пиалушек с чайником, шелковый дастархан. Но его не постлал на пыльном паласе, а предварительно нашел, правда, выцветший, но вполне еще приличный коврик.

Украдкой поглядывая на Мирзу, он помог ему усесться на почетное место и подложил ему под локоть единственный в чайхане бархатный ястук-валик.

— Извините, простите, — бормотал он, сам отказываясь сесть за дастархан. И Иван Петрович понял, что все это проявление уважения и почета.

Мирза принимал ухаживание за ним как вполне заслуженное. Высокомерно-надтреснутым голосом он сделал несколько замечаний чойчи, а тот, склонившись чуть ли не до земли, спросил:

— А их превосходительство, господин командующий армией ислама изволят пожало...

— Слушай ты, ничтожество, — оборвал его Мирза хрипло, со скрежетом — точно наждаком провели по ржавому железу, — нас задела в степи случайная пуля. Тот почтенный человек, господин Алаярбек Даниарбек, выстрелил по ошибке... Господин Алаярбек близорук и принял нас за врага. А мы старые друзья, побратимы даже. Оказывай гостям должный почет, о человек! А особый почет этому величайшему в мире доктору, хакиму Ивану, нашему отцу и благодетелю. Угощай же нас всем, чем ты угощаешь почетных гостей, накорми коней и знай, что нам нет дела до командующих армией ислама и вообще до кого бы то ни было. И спешి. Мы не останемся здесь ночевать. Господин хаким направит свои стопы в Душанбе, а мы, восстановив свои силы и поборов слабость, изберем свой путь.

Чайханщик суетился, но у него презабавно отвисла челюсть. Он недоумевал.

— Странный человек, хозяин этой дорожной чайханы, — сказал Мирза.

Он пришел уже в себя и, видимо, решил соответствующим образом представить все в нужном ему свете.

В первый момент Мирза был ошеломлен. И не только пуля из «смитвессона» Алаярбека сразила его, самая встреча с доктором и проводником Алаярбеком потрясла его. Встретиться с людьми, с которыми он не имел никаких шансов встретиться здесь в горах Баба-тага, с людьми, которые должны были бы находиться в тысяче верст отсюда, с людьми, которые знали всю его поднаготную.

Какое стечение случайностей! Он, Мирза, один в пустыне. Сопровождавшие его йигиты сбежали. Да и Мирза, будь даже при нем йигиты, никогда не посмеет поднять руку на такого человека, который когда-то в дет-

стве воспитывал его в своей семье как сына. Схватился же он за кобуру, потому что сразу не узнал доктора.

Но прежде всего надо выяснить отношения.

— Не затрудняйте себя, мой отец, догадками и предположениями об этом чойчи — самоварщике. Ничтожество, глупость. Он немного джинны — безумец, странный человек... Странные взгляды и вкусы. Они только кажутся людьми. Про таких говорят: «Не ест курдючного сала. Близко, говорит, от бараньего зада». Ну и болтает по-обезьяньи или по-попугайски. Не слушайте его.

Доктор пожал плечами:

— Трудно, дорогой мой, не слушать. Голос — ирихонская труба...

— Раз только один... заезжал в эту чайхану. Сами видите, дрянь, а не чайхана. Заехали сюда знатные, почтенные люди. Удостоили вниманием этого дурака чайханщика.

— А кто заехал? Вы не знаете?

— Да разные. Вот один гм-гм... сам Ибрагимбек с генералом турком. Чойчи ухом зацепил слова запомнил те имена и повторяет их нужно или не нужно...

— Лучше скажите, Мирза, как народ? Что думают дехкане, карандаы, батраки?

— Народ, что?

Мирза замаялся и за него ответил сам Иван Петрович:

— Я и сам знаю. Народ Кухистана не хочет войны, не хочет воевать за зеленую тряпку, именуемую знаменем пророка. Народ отлично знает, кто у него враг, кто друг.

Доктор замолк. Он думал под невнятный лепет Мирзы.

Мысли были невеселые. Сказывалась усталость. Почти без отдыха Иван Петрович в сопровождении Алаярбека Даниарбека проделал верхом изрядный путь по пустынной степи и выжженным солнцем холмам.

«Этот Мирза не понимает простой истины: «Перехитрил себя волк, свой хвост съел». Что с ним сделал, со способным мальчиком, господин муфтий. Десять лет дурмана и шариата. Десять лет юношей, а теперь зрелым мужем он шагает... нет, семенит ножками вспять, наперекор истории. Мирза захлебывается до сих пор в болоте суеверий и предрассудков».

Иван Петрович тяжело поднялся с паласа — он очень устал и годы сказывались — и принялся застегивать серебряные, еще царских времен пуговицы кителя.

— Едем! — приказал он Алаярбеку Даниарбеку.

Иван Петрович стоял, освещенный заходящим солнцем, и под лучами его выявилось, что и китель потерт, и порыжевшие сапоги совсем ветхи, и фуражка старая, только красноармейская звезда блестит на околыше как новенькая.

И Мирза не мог взять в толк, почему этот человек, всю свою жизнь исцеляющий людей, спасающий от слепоты, не имеет дорогого суконного костюма. Всегда он только и думает, как помочь людям, и все делает своими натруженными, черными от загара руками.

И в несвойственном, казалось, Мирзе порыве он вдруг приник к этой черной руке. Осторожно высвободив руку, доктор сказал:

— Едем!

— А что с ним, с Мирзой, делать? — спросил Алаярбек Даниарбек.

— Нам не по пути. Он же едет своей дорогой — мы своей. Эй, чойчи! — окликнул доктор чайханщика.

Чайханщик подбежал:

— Ляббай! Я вас слушаю!

— Вот вам расчет, — сказал доктор, вкладывая в руку чайханщика кредитку.

— Нет, нет.. Не ломайте нашего мехмончилка... Будьте благословенны.

— У вас есть жена, дети? Купите в Душанбе что-либо из одежды. Скоро зима, а ребятишки, наверное, босиком бегают.

Он даже не оглянулся, не посмотрел, что делает Мирза. Какое-то щемящее ощущение теснилось в груди.

А Мирза сидел на краешке помоста на полосатом паласе, по-турецки поджав под себя ноги, приложив руку к груди и смотрел вслед всадникам, болезненно моргая красными веками.

Вдруг тонкие губы его шевельнулись:

— Отец мой едет в Кабул... Зачем? А если бы знали о Наргис... Что она здесь, близко, ждет только меня, чтобы переправиться через Аму. Уехали бы вы так? О, мой доктор... великой вы души человек...

И вдруг совсем уж недобрая усмешка возникла на его губах:

— А пулю-то выпустил ваш человек. Вот она разбила мне грудь. Разве такое забывается! Будь ты проклят, Алаярбек. Так ты тоже едешь в Кабул. Посмотрим... И этот мужлан едет в столицу афган! О! Мы еще не

рассчитались с тобой за санитарный вагон... за Сибирь.

Мирза спохватился и замолчал. Он никогда не позволял себе так много говорить, да еще сам с собой... вслух.

XIV

В верховьях источник перегородить
проще простого.

Когда же ручей становится полновод-
ным, через него не переправишься и на
слоне.

Саади

Страсти подобны пламени,
сжигающему горы и долины,
словно соломенную
подстилку.

Мердавидж

Толстое, щекастое лицо Баба-Калана скривилось в жалобной гримасе. Было даже смешно, что такой могучий богатырь чуть ли не хныкает. Он молчал, но всем своим видом, прижатой к животу рукой, умоляющим взглядом карих добродушных глаз, взывал к снижению...

Георгий Иванович хмыкнул:

— Меня не разжалобите... Это эмир мог, как это ни невероятно, поверить в твоё раскаяние. Или он не разглядел, что ты из себя представляешь, или уж слишком ловко ты разыграл из себя обманутого, введенного в заблуждение простака.

— Он уверился, что и мусульманский дивана — юродивый... Ну не в этом дело, — вдруг совершенно иным тоном заговорил Баба-Калан. Лицо его посерьезнело. — Поверить он поверил. Но он очень хитрый и коварный, хотя верит в клятву на воде и священном писании...

— И ты поклялся.

— Да, мы дали клятву, что ненавидим и покараем большевиков и всех кяфиров и мы делом доказали клятву... кровью...

— Чьей?

— Мы не палач... Палач зарезал человека. И по приказу эмира я должен был смотреть... А эмир приклеился глазами к моим глазам...

— М-да! И что же?

Вскочив, Баба-Калан распахнул с силой халат и со стороны произнес:

— И я сделал усилие... страшное усилие... И из мо-

его сердца не вырвался стон... И мои глаза остались холодными, как снег... И я не потерял лица... Проклятый эмир сказал: «Разрешаю служить мне».

— Наивная логика... Эмир не может поверить, что бы человек, рискуя головой, мог бы пролезть во дворец, если бы не жаждал сытой дворцовой жизни... Ну, тем более, отправляйтесь тогда обратно, дружок.

— Кто принес письмо?

— Все тот же старец.

— Но ведь он только что... неделя не прошла... Что он, летает?..

— Не летает — ходит. Ноги горца, сердце горца, дыхание горца. Но письмо важное... свехважное. Почитайте!

Георгий Иванович положил на шершавые, плохо выструганные доски листок бумаги с ладонь величиной, исписанный арабскими письменами. Баба-Калан взял листочек своими огромными пальцами и уткнулся носом в письмо.

— М-да, надо ехать... к нему самому. Все идет от него. Пока он там, у себя в Кала-и-Фату, конца не увидим безобразиям. У него деньги... много денег. У него отары каракульских овец. У него друзья англичане. Позвольте еще раз взглянуть, — он снова начал вчитываться в текст письма.

— Видали, товарищ комкор, какой жук! «Подготавливаемая Ибрагимбеком и Ишаном-Халифом под руководством... смотрите, — под руководством... инглизов новая мысль об образовании Бадахшанского эмирата, где можно было бы собрать силы для похода на Бухару, уже не туман, не воображаемый мираж. Эмир послал «буйрук» с подписями и печатями Ибрагимбеку, благословляя поднять зеленое знамя джихада против большевиков. Ибрагимбек собрал тысячи сабель, а инглизы прислали ему четыре пушки и сколько-то пулеметов. Двух своих курбашей, не пожелавших идти через Амударью, Ибрагимбек приказал раздеть, вымазать малярной краской и провезти задом наперед на паршивых ишаках в посрамление по улицам города Мазар-и-Шерифа.

— Но помимо этих двух курбашей у эмира сколько угодно оголтелых фанатиков. Вот донесение с границы: «Пятого апреля на переправе Сартали недалеко от Куляба банда — пятьдесят басмачей в черных камзолах и шапках — перешла границу, бандиты разгра-

били базар и обстреляли заставу Чубек... Три наших пограничника дали им бой. Но что поделать трем против пяти десятков? Бойцы отступили.

Баба-Калан вздохнул:

— Товарищ комкор, и все же заберите меня поскорее из этой дыры... Надоело мне сторожить сеидалимхановских баб. Довольно я вам новостей сообщил. Ибрагим, я же вам говорил, собрал уже две тысячи человек. У него восемьсот винтовок английских и всяких. Ибрагим готовится. Вот это совещание в Алиабаде, о котором я говорил. Меня же эмир туда послал. Я сам там видел и Утанбека, и Мулла Халдара, и Палван-ишана, и Каюма-парваначи, и Кузыбека, и Мурада-Датхо и всех локайских других курбашей. И этого дьявола Хуррамбека, и Алимардан-Датхо, и Абдукарима-командира... Всех видел, всех слушал. И господин наш — будь он проклят! — Мирза, там на почетном месте сидел, чай пил, слушал. И от эмира со мной через Гиндукуш приезжал Мир Фаталибек Усман бек Кушбеги... Все сидели. И много других. О гневе аллаха сокрушались. Вроде собирали деньги на постройку медресе. Шнырял среди молящихся домулла Юнус. А кто не знает, что домулла Юнус — из мусульман пенджабцев — по торговле английским оружием. А ишан Халфа вдруг покраснел, как разрезанный арбуз, встал и ушел, крича во весь голос: «Нечего вам соваться... Большевики — большое и сильное государство. Не ввязывайтесь, если вас не трогают...» Я проверил: ишан Халфа сел на лошадь и уехал со всеми своими... Не захотел, чтобы его позорил Ибрагим. Ну да у Ибрагима руки короткие. Ишан Халфа не меньше имеет воинов.

— Ладно. Ишан Халфа не пойдет сейчас против нас. Ума у него больше, чем у Ибрагима. Ну, а остальные, конечно, полезут. И, по-видимому, скоро.

— Полезут. И снова прольется кровь невинных.

— Вот видишь. Ты еще болтаешь: не хочу охранять эмирских баб.

— Великая просьба, товарищ командир!

— Нет уж. Раз ты забрался в Кабул, твое место при эмире... Взялся за гуж — не говори, что не дюж. Чтобы через неделю... нет, — он перелистал страницы перекидного настольного календаря, — вот здесь помечу... Я получу от тебя точные сведения, о чем думает и что говорит их светлость эмир, с кем он встречался

из англичан... Ведь ты сам сообщал нам, от кого и когда он получает субсидии, как он якшается с итальянцами, с турками, с французами, кто приезжает из Лиги Наций? На то ты там и сидишь. Ты еще смеешь думать, что сбежишь... Ничего подобного — сумел влезть в доверие и действуй. Только осторожно, не попадись. Желая — ни пуха ни пера, дорогой... Обнимемся на прощание.

XV

Голос ее нежнее шепота
жизни и сильнее
крика смерти.

Санхи

Приход ее для него был слаще выздо-
вления от смертельного недуга.

Кабадиани

Чистенькая, вылизанная до глянца глина дворика — можно щекой приложиться, не запачкаешься. Жук постыдится пробежать, не снявши кавушей. Супа, тоже глиняная, оштукатуренная искусно, даже не поверишь, что это глина, а не полированный мрамор. Золотом отливающие берданы, циновки из расплющенного камыша, красная кошма с орнаментальными разводами морковно-оранжевого цвета. И поверх ватные одеяла-стеганки, и валики-ястукки такие удобные, если во время разговора подсунуть их под локоть. И плотная тень от гущины круглой кроны карагача. А когда от зеленоватой воды хауза лицо обвеивает прохлада даже в полуденный зной, когда перед тобой в фарфоровой каше шурпа со слоем бронзового жира и в руке лепешка, пышущая жаром тандыра, тогда в голову не полезут мысли даже о бихиште — рае.

И к чему? Когда тут, посреди знойной пустыни, после яростного треска винтовки и лязга клинков ты в тенистой прохладе вдыхаешь запахи роз и райхона. А за дастарханом сидит красавица, опираясь точеным локотком на ястук. Перед ней белая фарфоровая каша с шурпой.

Вокруг этой гурии рая мечется поэт и летописец Али. Он прислуживает, в голове его сумбур. Мчатся обрывки мыслей.

«Подлинная пери... Разве сравнить с ней моих жен?.. Прекрасная Наргис!.. Или мир перевернулся?..»

Нет, она не эфемерное видение... Наргис сидит за дастарханом и крошит белую горячую лепешку в шурпу.

Поистине она, Наргис, периф Такая желанная, такая близкая и безумно далекая.

Обречен, о влюбленный,
На безумные страдания!

То, что она говорила, с трудом доходило до его сознания и даже пугало.

— А вы какой-то деревянный! — вдруг прервала она сама себя и улыбнулась.

— Что изволили сказать? — встрепенулся он.

— Говорю, говорю, а уши ваши словно воском залеплены.

— Ваш приход. Ваше появление, о несравненная!

— О чем вы, Али? Или вы не поняли, зачем я здесь? Так слушайте же: братец Мирза разве не объяснил?.. Он же послал вас договориться со мной. Сам не мог приехать, — он ранен. В записке, что мне передала старуха, указано, где мы с вами встретимся. И вот я приехала.

Но Али только закатывал глаза, прижимая руки к сердцу, и бормотал нечто возвышенно-поэтическое.

Она странно усмехнулась:

— А вы, мой поэт, вижу, не изменились. Или вы вообразили... Нелепость. Вы не знаете, что такое — «подковать осла Карима?» Дать взятку. Вы, значит, тот самый Карим, а? Длинноухий. И вы вообразили что я взятка. И вы могли хоть на минуту подумать, что меня пошлют в виде взятки, вы, который твердили о высоких чувствах годы!

Она отчаянно прижала ладони к горящим румянцем стыда щекам:

— И это могли подумать вы, поэт Али, сочиняющий прекрасные газели. Видно, вас не проймешь. Соловей живет в благоухающем саду, а филин в развалинах. Всяк строит себе жилище по своему желанию...

Поэт и летописец Али так мечтал о встрече с ней, еще со времен Матчинских событий... но не о такой встрече. Горечь, злость, ревность просто душили его... Опять Мирза, но уже не похититель. Она сама хочет вернуться к Сеиду Алимхану! Он никогда не думал, что она такая.

Какая? Прекрасная. По-прежнему совершенная по красоте и привлекательности. Его взгляд скользнул по ее стройной фигуре — образцу совершенств — и задержался на талии. На тонком пояске он увидел неболь-

щой кинжал — дамасский, с серебряной ручкой, в изящных кожаных тисненых арабским узором ножнах.

Гурия проследила его взгляд. Надменная улыбка чуть вздернула ее губы:

— Окажись бесплодной взятка для осла Карима... можно поиграть кинжальчиком. А? Неплохо все задумано?

Наргис поставила касу на дастархан и вскочила. Али остался сидеть и любовался ею. Все прошлые чувства всколыхнулись в его душе. Он никогда не переставал любить ее.

— О, — протянула она, — вы все тот же! Вы все такой же... доверчивый... К вам приходят враги, а у вас даже нечем защититься от них...

— Это вы, о божественная, мне враг?

— Мужественному человеку нужно сильное сердце... А у вас? Ваши враги, господин поэт, подобны львам. Прогневите их, и голову оторвут. Поостерегитесь! Куда змея не поползет, а ёж ей навстречу.

— Поразительно! Это, значит, по-вашему, что вы, Наргисхон — змея, а я ёж... О прелестная змейка души моей, клянусь, вам нечего опасаться. Хоть вы и говорите, что вы враг мне, но я никогда вашим врагом не сделаюсь, даже если замахнетесь на мое нежное сердце сотней кривых ножей...

— Перестаньте... Я серьезно. Степь полна скакунов на конях с широким крупом. У всадников остро наточенные сабли. Ваши оголтелые курбаши рыщут в ярости. Они подобны тому шейху, который целует в лобик дитя и тут же стреляет в его мать... И я здесь. Я красива, я огонь... Студня из меня не сварись. Никто, даже пророк, не устоит передо мной. Так вот к делу... Времени у нас нет. Что поручил вам передать мой братец Мирза? Как он думает переправить меня через Амударью?

— Зачем вы, Наргисхон, хотите ехать на ту сторону? И при чем тут эмир Сеид Алимхан?

— А! Значит, братец Мирза помянул и эмира. Что ж, эмир — мой супруг... Правда, он волк, а волк раскаивается лишь перед смертью... К тому же он фанатик. Эмир заставит имама мести бородой порог своей мечети, коль имам посмеет быть добрым к неверному. Он готовится к прыжку, который смертелен...

Наргис устремила взгляд своих прекрасных глаз куда-то в пространство и говорила медленно, перебирая

слова. Она ответила в полубреду на какие-то свои мысли, а не на вопрос Али.

— Чего надо Сеиду Алимхану? Зачем вы едете в сторону афган, о госпожа моей души?

Молодая женщина опустила глаза. Краска прилила к ее смуглым щекам.

— О, поэт Али, быстро вы забываете все... Карнап... Камни в ущелье... Долину дивов в Матче, звон струй водопадов... Голубую луну... Тогда уста ваши пели.

— Мечты о звезде и луне... — как-то пробормотал поэт и летописец Али... — Передо мной прекрасная гурья, но у нее нож в руке... А когда ваш супруг, о госпожа души, прознает, что вы приезжали в сад к своему воздыхателю... И разговаривали с ним с глазу на глаз без посторонних? О, эмир — ревнитель шариата, а вы забыли, что повелевает шариат... Ташбуран — побивание камнями — забыли?!

— Ничего он не скажет... Да и к тому же он соби-рался дать мне развод — трижды сказать «талак».

— Не знаю, Наргис-ханум, кому в голову влезла нелепая мысль прислать вас ко мне... Или брат мой Мирза прознал про мое отношение к вам...

Лицо Наргис потемнело. Тень легла на него. Она стояла перед ним, гордо выпрямившись. И почему-то он только теперь обратил внимание на то, что на ногах ее дорогие махсы с изящными кавушами, дорогое хан-атласное платье и даже ожерелья, подчеркивающие смуглую нежность ее шеи.

— У каждого человека своя тропинка, — сухо сказала Наргис, — и не всегда тропинки пересекают друг друга.

Наргис и Али прошли по вылизанной, мраморно-твердой дорожке и вышли через низкую калитку. На пороге ее Наргис вздрогнула. «Я почувствовала дыхание Джо-ни Сакар, — рассказывала она впоследствии. — Это так в Бадахшане зовут Ангела Гибели. Я подумала, что с Али ничего не поделаешь, но...»

В раскаленной солнцем пыли топтался ее гиссарский аргмак. Наргис подошла к коню. Великолепный конь ласково заржал, пытаясь своими бархатными губами дотянуться до своей хозяйки.

Стоя по щиколотку в терпкой, соленой пыли и ласково поглаживая шею своего гиссарского жеребца, она достала зеркальце и, смотрясь в него, задумчиво протянула:

— Зеркало и добродетель одинаково нужны нам —

мусульманкам... Даже... даже когда мы беремся за дела мужчин.

Но Али ничего не сказал. Он с тревогой смотрел на одного из йигитов. Костлявый малый, с хитрыми глазами, он лениво развязывал повод от коновязи и прислушивался к разговору с таким вниманием, что казалось, хрящеватые уши его шевелились.

«Вот сатана! Каждое слово ловит, чтобы положить его в уши Ибрагимбека. Ишь ты, даже улыбается в ожидании милостей и награды. Ибрагимбек очень щедр с преданными слугами».

А конь уже дергался и храпел. Он косился на костлявого и все пытался куснуть его. Наргис нервно выхватила повод у йигита из рук, и сама принялась дергать узду. А ведь про нее говорили: выучила его наша Кырк-кыз по команде ходить, вставать, ложиться, детишек возить — ведро полное с водой поставь на круп, не расплескает.

Распахнув ресницы карих, с искорками глаз, царапнула своим острым язычком:

— Трус вы, Али!

— О! — он даже отступил на шаг.

— О, он головаст, чернобород... Его боитесь? Пса? От него псиной несет, от вашего Ибрагимбека!

Не выпуская из рук повода, она подступила к Али вплотную:

— Вы не узбек. Разве узбеки из всех тридцати двух племен такие? И еще все восторгаетесь и восхищаетесь. Да, я красива! И ради этой красоты вы и рукой боитесь пошевелить. Разве вы йигит? В теле каждого мужчины четыре жидкости, говорят, — кровь, мокрота, желчь, черная желчь... В вас одна мокрота. Разве вы можете заслужить внимание настоящей женщины. Оставайтесь же здесь со своими одами и газелями. А я пойду искать... О, лучше живая мышь, чем дохлый тигр...

Она не знала даже, что говорила. В минуту она выпалила тысячу слов.

— Не хотите! Струсили! Ха, разговор закончен о, богатырь, о поэт! Одно скажу: мое дело правое и если не вы — поэт, то сам аллах перенесет меня через кроважидную теснину на коне пророка Дульдуюля. Ну а если что случится, приезжайте в степь, полюбуйтесь, как эти прекрасные руки, этот кипарисоподобный стан будут пожирать могильные черви. И вы пожалеете меня и сочините какое-нибудь месневи о том, какой желан-

ной, полной страсти была Наргис. И как пила она с неким факиром мысли и мечты из одного сосуда.

Наргис гарцевала посреди дороги. Костлявый йигит отступил в сторону и не спускал глаз с прекрасной всадницы. Фонтанчики пыли вырывались из-под копыт коня.

Но Наргис не спешила уезжать. Ей казалось, что в мире нет мужчины, который мог бы отказать ей в чем бы то ни было. Она понимала, что поэт Али потрясен ее появлением и готов сделать для нее все.

И она не ошиблась.

Али подскочил вплотную к коню и, не сводя глаз с Наргис, воскликнул:

— О несравненная, приказывайте!

— Где и когда, Али, вы встретите меня на той стороне? И поклянитесь, что вы доставите меня в Мазар-и-Шериф.

Неосторожно, ужасно неосторожно вела себя Наргис. Старуха в парандже все еще сидела на своей кляче почти рядом. Хрящеватые уши костлявого шевелились по-прежнему, пытаясь уловить какие-то крамольные слова в скороговорке Наргис.

— Ваши приказания на моей голове, — простонал Али, — но...

Он все еще метался. Ужасно было бы, если б его любимая потерпела неудачу в своих планах и в то же время ужасно, если бы она с помощью его, Али, успешно выполнила свое намерение. И в том и в другом случае золотой сосуд любви его разбился бы на мелкие осколки.

Красовалась всадница на великолепном аргамаке и сама выглядела прекрасной статуей, только живой, с золотом, отсвечивающим пушком на нежных щеках и полуобнаженных до локтя руках.

Волнение перехватило ей горло:

— Так, значит, нет? Верблюд возит на себе вьюки с золотом, а сам пощипывает колючку... Так и вы, поэт, тянете на спине груз, а сами что имеете? Как там у вас, поэтов: «Под взглядом любимой и железо плавится и обращается в прах...» И вы смеете болтать о любви! О! Вы камень, вы мертвая кость! Ударь ножом — и из раны не выступит кровь.

О, женщины!

Предпочитаете вы сойти

за порочную красавицу,

Чем слыть ангелом!

— Я... я не могу.

— Ага, боитесь потерять себя! — Она протянула ему руку. Сколько лет мечтал он о том, чтобы коснуться руки любимой. Он схватил ее и прижался к ней губами.

Затем проговорил:

— Послезавтра... Переправа Патта Гиссар... На той стороне...

И он добавил несколько примет и ориентиров на афганском берегу реки.

Мгновенно успокоившись, Наргис обняла шею коня и повернулась к Али, стоявшему на пыльной дороге и, обращаясь к коню, процедила сквозь зубы:

— Послушай, быстроногий, чего тут вообразил этот несчастный! Вступишь за свою хозяйку.

Непостижима природа женщины! Или во мгновение ока она забыла, что сама она явно кокетничала со старым своим воздыхателем. Или слова ее сейчас предназначались для сидевших тут же и вскочивших при ее появлении телохранителей и выглядывавшей из-за коня, сидевшей на жалкой лошаденке старухи, толстой, желтолицой, дрожащей от любопытства и откинувшей рваный чачван, чтобы лучше видеть и слышать.

Но ошеломленный Али не мог и слова вымолвить. Пошатнувшись, он вцепился в притолоку калитки и восторженно смотрел на исчезающее видение.

В развалинах души
печаль обосновалась.

Он даже сразу не понял, что строфа поэта Бобо-Тахира не прозвучала в его мозгу, а произнесена нежными устами Наргис. Небо синело в зените, солнце обливало жаркими лучами лицо, пыльная степная дорога слепила, а в душе его было черным-черно.

— Все пророки, — сказал громко в раздумье поэт и летописец Али, — считали женщину противоречием здравому разуму... Ужасно, когда любимая тебе не верит... видит в тебе заклятого врага... Но, велик аллах, не возноси на трон свои слова...

Он поплелся, волоча ноги по пыли, к калитке. Возле калитки он обернулся и встретился взглядом с красными, вытаращенными глазами Костлявого. Боже, чего только в них не было: и страх, и коварство, и жадность!

— Зайди, — приказал Али. — Слушай ты, согляда-тай, и запоминай. Когда госпожа Наргис соблаговолит переступить эндарун моего дома в Мазар-и-Шерифе, ты получишь того самого коня, на котором она приезжала... Понял?

— Слушаю и повинуюсь, господин мой Али.

— А если кто-нибудь узнает о сегодняшнем разгово-ре... — и он взглянул на ослабившееся лицо костля-вого, — ты знаешь, как поступают с бешеными псами...

— Слушаюсь и повинуюсь.

— Да, — вдруг Али почувствовал странное томле-ние под ложечкой, — а что это была за старуха с от-кинутой паранджой?

— Это тетка жены Ибрагимбека.

— Поезжай за ней! Найди ее, хоть из-под земли до-стань. И...

— Я вас слушаю, господин Али.

— Я знаю, что у тебя полон дом детей... Дети любят молоко. Что ты скажешь, если у тебя окажутся в руке деньги... на корову?

— Да будет с вами милость аллаха, господин Али!

— А старуха прожила свой век... Иди же... Догони... Спускаются сумерки. Ночью в степи темно, безлюдно, дикие звери... Возьми моего коня. Быстро скачи...

Али прошел в мехмонхану и, усевшись за маленький столик, принялся ножиком вырезать из тростинки калям. Чувства его искали выхода в поэтических строфах:

О, Меджнун, ты умирал от любви
в пустыне, где только львы и тигры.
И Лейли плакала над твоей могилой.
Но ты, о Али, живой обнимешь
свою Лейли, свою Наргис.

Он выбежал в ночь и, смотря на сияющий лик лу-ны, воскликнул:

— И ты, госпожа луна, будешь светить нам, когда мы будем прогуливаться с любимой по цветникам на-шей мечты!

Он вздрогнул. Далекий удар — словно по коври стукнули палкой — заставил его оторваться от поэзии. Он пожал плечами и пошел в мехмонхану, чтобы завер-шить свое стихотворение.



Часть шестая

ДАМАССКИЙ КИНЖАЛ

I

Человеческая судьба и за одну ночь
не раз переменится.

Закир Кабадиани

Он до того обрадовался его приезду,
что если бы такому дорогому гостю
вздумалось позабавиться и отсечь голо-
ву всем его близким и даже родному
брату, он бы получил превеликое удо-
вольствие.

Гассан Тебризи

Встреча ошеломила поэта и летописца Али.

Жар пустыни, песчаный вихрь, мучительная жаж-
да — и вдруг видение каравана. И вот сам караван...
Это ибрагимбековцы с добычей — на конях несколько
женщин, закутанных в персидские искабэ. Али со сво-
ими людьми обратил их в бегство. Одна женщина оста-
лась. Она сама приподняла покрывало.

И тогда

Силы небесные бросили его
в пылающий костер.

Он опустил покрывало и, отступив на несколько шагов, склонился в поклоне. И точно издалека до его слуха сквозь свист ветра донеслось:

— И ты, Али, тоже разбойничаешь? Не ждала от тебя!

Али не стал возражать. Он был так рад, что вырвал Наргис из лап басмачей Ибрагимбека, напавших на караван Мирзы в песках к югу от Амударьинской переправы и пленивших Наргис.

— О, Наргисхон, разве вы не знаете, что натура моя полна пылких вздохов, от которых может воспламениться лед ледников Гиндукуша?

— Господи, — сказала совсем просто Наргис, — вы стали совсем почтенным дядюшкой, но мыслями ничуть не повзрослели. Что вы, Али, изволите делать среди барханов? И почему вы оказались на моем пути?

— Нет пределов моему счастью! Неземная радость озарила мое сердце. Каанэ мархамат! Пожалуйста в наши края, ханум моего сердца!

Но Наргис ничуть не изменилась. Защищая лицо от пригоршни горячего песка, брошенного злобным ветром, капризно протянула:

— Спасибо, дядюшка. Но скорее уведите нас отсюда, а не то эти бандиты, слуги Ибрагима-вора, снова вернутся, и нам придется худо.

— Скорее, госпожа моего сердца, вперед, прочь из этой проклятой пустыни под сень чинаров!

Он даже не сел на услужливо подведенного ему коня в богатой сбруе, а ухватил поводья лошади, на которой сидела вместе с еще одной пленницей Наргис и с трудом, проваливаясь в горячий песок, потащился вверх по склону крутого, сыпучего бархана.

— Идем, сияние моего сердца, скорее идем!.. И вы скоро узрите сады рая. Сейчас вы утолите жажду ледяной водой источников нашего имени. Вот смотрите! Еще немного терпения, и ваши муки, столь неподобающие для ангела, кончатся...

Он вел коня с восседавшей в седле царицей его грез, наслаждался звонким голосом, которого не могли заглушить ни скрип песчинок барханов под порывами жестокого «афганца», ни тяжелый храп вьючных верблюдов. «О, Али, теперь и ты в минуты шуток и веселья сможешь восклицать:

О, свалились груды камней
с моей груди, истомленной многолетним
ожиданием счастливой встречи!

Изнемогая от усталости, потрясенная событиями дня, Наргис не отвечала ни слова.

А когда они наконец обрели в оазисе благодатную тень над головой и оказались в имении господина помещика и владетельного бухарского каракулевода отца Али муфтия, Наргис, поблагодарив своего спасителя, нашла, наконец, отдых на женской половине дома.

Лишь на следующий день страдающий от разлуки поэт смог встретиться и поговорить с Наргис. Она равнодушно слушала его восторженные признания и предложение об их прекрасном будущем среди розовых и жасминовых цветников вдали от войны и тревог.

— О, Наргис, владычица моего сердца! Вы здесь вдали от всех страхов и злобы. Поверьте, ваш раб Али сумел создать для вас уголок блаженства и красоты. Посмотрите вокруг — на эти цветы, на эти журчащие арыки, на эти расписные мехмонханы, на этих радужно-хвостых павлинов, на серебряные подносы с персиками и прочими плодами, и воскликнете: «Слава их создателю!» — а создатель этого блаженства поэт Али.

Надо сказать — за годы эмигрантской жизни в стране Гиндукуша лирический поэт Али сумел проявить не только поэтические способности, но и немало практической сметки. С помощью умело сбереженного золота своего отца муфтия он обзавелся в Валхской провинции немалым количеством плодородных джерибов, владея в окрестностях достославного города Мазар-и-Шерифа обширным имением.

С гордостью он рассказал Наргис о своих жизненных успехах и даже попытался изобразить все это в стихотворной форме, но опасался, что Наргис ему не поверила. И в самом деле было так:

Ложью стираются все хорошие качества,
Уничтожаются без остатка все свойства.
Ложь губит все хорошее, что в нем есть.

— Вы, Али, умело воспользовались тяжелыми обстоятельствами, в которых я оказалась. Неужели вы такой низкий и подлый человек? Сейчас мне некуда деваться

и негде искать спасения. Я, о поэтах думала лучше. Послушайте, Али, когда смерть и гибель носились рядом, вы нашли для меня путь спасения. И не один раз. Но неужели вы требуете за свое благородное дело плату? Нет, не поверю, что произошло с вами? Вы ведь знаете, что я не люблю вас и не могу полюбить и все-таки хотите меня заставить...

Воздев руки, Али ошалело взирал на девушку. И Наргис процедила сквозь зубы:

— Я знаю, что вы думаете. «О аллах, до чего эта Наргис безнравственна! Вместо того, чтобы склонить шею и скромно, потупив глаза, сказать — «повинуюсь и сочту за великую милость ваше благорасположение, о господин», — она, дерзкая, смеет возражать и отворачивать лицо». Уходите! Сейчас же уходите!

Али ушел с опущенной головой, всхлипывая. И Наргис стало жаль его. Лучше было бы, если бы он повел себя, как полагается всеильному господину?

Взгляд ее скользил по гранатовым драгоценным коврам, по золоченым светильникам, по шелковым гардинам на высоких зеркальных окнах-дверях!

И среди всей показной роскоши азиатских хором она увидела в огромном до потолка зеркале болезненно бледное, без кровинки лицо в обрамлении черных траурных кос, спадавших черными змеями на плечи. Лицо прекрасное, на взгляд поэта, да и любого, но несчастное, жалкое, с точки зрения самой Наргис. А впрочем, вовсе неплохо, что она попала в Афганистан и находится под защитой Али.

Так или иначе она встретится с эмиром. Она ни на минуту не забывала о том, что она посвятила себя благородной мести. И Наргис снова и снова вспоминала, лаская рукой смертоносную, такую изящную игрушку, спрятанную под атласным широким платьем, слова, прочитанные где-то у любимого Тургенева:

«Тут не до частной мести, когда дело идет о народном, общем отмщении».

Не за себя одну она будет мстить, а за Шамси и в лице его за всех. Эмир притаился и строит козни против Советов, против народа. И все — и разоренные кишлаки, и изуродованные трупы, и плач женщин и детей — все-все, что Наргис видела у себя на родине, все это идет из Бухарского центра. А главой этого заговорщического центра является не кто иной, как Сеид Алимхан — виновник ее несчастий и горя.

А теперь, кажется, сама судьба вручает ей карающий меч. Сколько лет она в своем воображении шла по пятам эмира и находилась вблизи его в Ситоре-и-Мохасса, сколько раз в лихорадочных мыслях она протягивала в его сторону свою недогнувшую руку... Белое, пухлое лицо, в обрамлении черной бородки, расплывалось в кошмаре. Теперь-то она отомстит!

Что же делать? Али, старый друг; ее Меджнун, он ей поможет осуществить свой замысел, он отвезет ее в Кала-и-Фату.

II

Богач любит в родне свои деньги. Вне денег нет родных. Сердца же их изъедены собственностью.

Кабдиана

Только здесь, в Мазар-и-Шерифе, Наргис воочию убедилась, что из себя представляет ее братец Мирза. Он предстал перед ней в новом свете, когда ей пришлось переехать к нему, — было признано, что ей приличествует жить в доме брата. На этом настоял Мирза, который любил с важным видом повторять: европейская цивилизация разрушает принципы собственности, всецело окунулся в эту самую «цивилизацию» и усердно насаждал ее в благоприобретенном в недавние годы обширном имении близ священного города Мазар-и-Шерифа, избранного им как постоянное место жительства, с тех пор как обстановка в Средней Азии сделала невозможным его пребывание в Таджикистане и Узбекистане.

Все в имении — и дом, более похожий на дворец-замок, и ковры, и мебель, телефон, электрическое освещение, скаковая конюшня, и водопровод, и даже автомобиль дорогой марки, и сельскохозяйственные машины, и комнаты для гостей со всеми удобствами: ванными, душевыми и прочее — все говорило о том, что это имение вполне цивилизованного помещика западноевропейского типа, вроде английского лорда.

Но...

Наргис очень скоро обнаружила это «но». Правда, ей была отведена прекрасная двухкомнатная квартира со всеми удобствами. Да и как могло быть иначе — ведь она супруга самого халифа Сеида Алимхана — эмира, правда, бывшего, Бухары. Прислуживали ей две ке-

низек — горничных в крахмальных передничках и кружевных наколках. Кушания подавались в столовую лакеями в министерских фраках.

Однако цветники, разбитые перед главным зданием замка и благоухающие розами и цветами всех географических широт (Мирза, показывая на них, говорил: «Я могу себе все позволить»), упирались в голубой кладки высокую кирпичную стену с маленькой калиточкой...

О женское любопытство! А оно не могло не проявиться и в Наргис... Она спросила:

— А что за стеной?

— Тебе будет интересно?

— А вот и интересно!

Мирзе же, по всей видимости, не хотелось удовлетворить любопытство Наргис. Хотя для нее было очевидно, как богат Мирза, но он привык скрывать это, выказывая себя как «бессребреника», как некоего дервиша-каландара, бескорыстного борца за веру.

О Мирзе говорили, что из имущества у него только то, что на нем: чалма белоснежная, четки, халат верблюжьей шерсти, мягкие ичиги. И все... Что даже одеяла у него не имеется и кошелька нет... Что он аскет, отказавшийся от мирных утех. Что он даже дал обет не сочетаться браком до тех пор, пока хоть одна большевистская нога будет топтать улицы городов Туркестана...

И вот крайне нехотя, побледнев еще больше под «змеиным» взглядом этой неземной красавицы, которой ни в чем не мог отказать, он своими бледными трясущимися пальцами повернул ключ в замке калитки и позволил Наргис переступить порог.

В эндарун! В гарем!

В европейски цивилизованном имени, принадлежащем дервишу, монаху, оказывается, имеется женская половина — принадлежность жилища правоверного мусульманина, где он хранит своих жен.

Это было для Наргис что-то новое и неожиданное.

В лицо пахло затхлостью. В комнатах, на айванах ни одного стула, ни одной электрической лампочки. За розовой клумбой первобытная «хolidжой» — отхожее место.

В глубине двора — длинное низкое здание со многими дверями, выходящими на мощенную плоским квадратным кирпичом террасу. В приоткрытых дверях

мерцают огоньки чирагов. Почти на каждом пороге сидела молодая женщина с рукодельем в руках.

Но все они вышли не подышать вечерней прохладой, а посмотреть на редкое зрелище. Два здоровых батрака вилами собирали и забрасывали конский навоз на арбу с огромными колесами. На оглоблях арбы восседал молодой черноусый арбакеш и смущенно выбивал из тыквянки зеленые крошки наса и заправлял их под язык. Кучер был явно смущен. Юные красавицы бесцеремонно разглядывали его и вслух обсуждали его арбу, его коня и его самого, его бекасамовый халат и синюю в стеклярусе чалму.

«Сидит как петух на дувале. А бедняги работают. Эй, петушок, спой свое ку-ка-реку. А навоз-то надо было давно убрать».

Юные затворницы морщили носики и хихикали. Арбакеш багровел и кряхтел.

— О, — иронически поджав губки, заметила Наргис, — а я-то думала, что это ты прячешь за спиной. Оказывается, тут такой цветник! Прелестный букет!

Оказывается, у отшельника-женоненавистника целый восточный сераль с женами-затворницами. Хороши же клятвы и заверения!

— Обезьяны настоящие. Не могут не шкодить. Только отвернись. Эй, кто тут есть?

Из дома уже семенил в полной растерянности евнух, с другой стороны бежали мелкими шажками старухи.

— Мирза уже теснил Наргис обратно к калитке и бормотал смущенно:

— Ты — владетельница этого дома, Наргис... И хозяйка. Прикажи — и ни одной обезьяны здесь не будет... Поверь, наше положение помещика, бая заставило... Косо смотрят, что за человек без жен.

— И потому ты завел двадцать жен... Умница!

— Мне по положению... Высокие обязанности... Власть.

Но Наргис остра на язык. Она не могла удержаться:

— Не заносись выше головы... Почести почестями...

Помни:

...

Но свои почести он несет,
Словно навьюченный золотом осел.
Он кряхтит под своей ношей,
Он тащит ее туда,
Куда его вздумают погнать!

Мирза был отвратителен. Ненависть мutilа сознание Наргис. Но ей нельзя было рвать с Мирзой. Только он мог помочь ей выполнить задуманное...

И она сдержала свой язычок...

— Ты прав, братец. Хорошая жена — спасение. А много жен — рай на земле...

III

Не сгорит никто от страсти,
муки страстной не познав.
Храбрецом никто не станет,
битву злую не познав.

Машраб

Если бы он мог,
то скупости ради
Дышал бы
через одну ноздрю.

Ибн ар-Руми

Мирза, странствуя по Таджикистану, давно избрал своим постоянным местопребыванием священный город Мазар-и-Шериф. Помимо усадьбы в этом городе, он приобрел и пригородное поместье с домом, который своим богатством и благоустройством мог поспорить с замком феодала-пуштуна. И это свидетельствовало не только о материальном благополучии, но и о политической роли советника беглого эмира Бухарского, если не во всей стране, то, во всяком случае, в Афганском Туркестане к югу от Амударьи.

До последнего времени узбеки не имели права владеть здесь землей. В конце прошлого века этот богатейший край афганские завоеватели отобрали у бухарских ханов, и узбеки были только батраками и чайрикерами у помещика.

В корне изменилось положение лишь после того, как низложенный с трона Сеид Алимхан нашел прибежище в Афганистане. Бежавшие с ним его приверженцы-эмигранты, с разрешения правительства Кабула, получили возможность обосноваться на Севере страны и пустить в оборот свои капиталы и держать каракульские отары, воровски прихваченные с собой. Среди них предприимчивые такие, как муфтий, Мирза и некоторые другие «господа богатства», обзавелись обширными поливными земельными угодьями и пользовались славой преуспевающих помещиков, на которых работали тысячи обманутых беглецов-бухарцев.

Когда, весьма довольный «захваченной добычей»,

господин Мирза привел «владычицу сердец» Наргис в свой дом, он надменно объявил:

— Ты — владетельница и хозяйка сего жилища!

Наргис, хоть ей было не до того, высмеяла самодовольного и напыщенного Мирзу с его, как он принялся тут же разглагольствовать, «передовыми и цивилизованными» взглядами и привычками, что особенно он подчеркивал «высокой прогрессивной, свойственной тюркам, культурой».

— Только что ты мне сделал предложение, говоря о возвышенной любви, а у самого целый выводок жен. Очень современно, не правда ли? Ты ханжа.

— Прикажете, о божественная, — и ни одной «обезьянки» здесь не будет.

— Что ж, выгнать несчастных слабых созданий на улицу, в степь... Это очень похоже на тебя.

Наргис отказалась даже разговаривать на эту тему. Ей важно было выиграть время. Тем более, что до поездки к эмиру за разводом, Мирзе не подобало даже заикаться о будущем.

Наргис случайно узнала, что в доме Мирзы есть радио. Не без внутреннего трепета Наргис очень скоро поняла, куда привели ее замыслы и сколь трудно ей будет распутать паутину, которую она сама сплела.

Прежде всего было ясно, что мазаришерифская усадьба Мирзы и является Бухарским центром. Эмир оказался не столь глупым человеком, чтобы непосредственно навлечь на себя все удары. Он сидел себе в своем Кала-и-Фату и руководил всеми контрреволюционными действиями через Мазар-и-Шериф. Этот весьма почитаемый на Востоке город он избрал для сосредоточения всех антисоветских сил, тем более, что Мазар-и-Шериф находится у самой границы, менее чем в одном пути от границы Советского Узбекистана.

Город, несмотря на многократные разорения, оставался могущественным и богатым. Здесь скрещивались торговые и стратегические дороги. Сюда стремились со всего Востока люди, товары, материальные средства. Сюда, к величественным священным мавзолеям, исламским святыням тянулись бухарцы, узбеки, таджики, туркмены, хозарейцы, могулы, пуштуны, здесь завязывались клубки интриг и заговоров в среде эмигрантских кругов.

Здесь же, у самого главного купола святыни халифа

Али, под крылышком старого, уже порядочно одряхлевшего муфтия находился Бухарский центр. Муфтий был богатейшим коммерсантом, и золотые ручки текли в его трясущиеся руки, по-прежнему не выпускавшие колбасовых четок, которые вечно шевелились, пощелкивали, потрескивали наподобие гремучей змеи.

И подлинно своими змеиными повадками почтеннейший муфтий снискал от Кашгара до Багдада и Каира себе славу «бухарской кобры». Поговаривали, что муфтий без особых церемоний держит за горло самого эмира Бухарского, который, как все знали, числится в миллионерах Среднего Востока.

Старческая бородка тряслась, поблекшие глаза прикрывались красными веками, беззубый рот шамкал, косовые четки издавали змеиное потрескивание. Темные дела творились здесь, в скромной мехмонхане, устланной текинским с геометрическим орнаментом ковром, единственной, быть может, ценной вещью в обиталище того, кто на самом деле являлся хозяином и главарем Бухарского центра, как выяснила Наргис после того, как Мирза приводил ее к муфтию на допрос.

Ласково, но явно недоверчиво ее расспрашивал муфтий. Начал он с Тилляу, проявил великолепную память насчет семейства батрака Пардабая, поохал, вспоминая Сахиба Джеляла, ее отца, и очень тактично и осторожно насчет «несчастной», «брошенной» Юлдуз.

«У тебя красивая, достойная мать. Но правда ли, что теперь она раис кишлака Тилляу и большевичка?»

Сердце у Наргис упало было, но Мирза поспешил напомнить муфтию, что Наргис воспитывалась в семье доктора Ивана Петровича, стала избранницей эмира, является женой халифа и после многих лет разлуки стремится вернуться к законному своему супругу, согласно установлениям шариата и адата.

Неясно, убедили ли доводы Мирзы старца, но он пошамкал беззвучно и произнес одобрительно:

— Бабаракалла! Похвально! Принадлежащее халифу да принадлежит ему!

Он тут же вознес хвалу доктору, когда-то вернувшему ему зрение, и принялся расспрашивать: где доктор? Жив ли? Здравствует ли? Лечит ли? Возвращает ли людям свет?

Вряд ли «зловещий старик» — так его прозвала Наргис — поверил объяснениям молодой женщины. Скорее наоборот, но воспоминание о «чуде», совершенном с его

глазами доктором, дало толчок его мыслям совсем в ином направлении. А затем, по-видимому, Мирза познакомил старца со своими планами, и муфтий благословил весьма важно и благодушно намерение Наргис явиться пред светлые очи эмира для получения законного развода.

Наргис понимала, что муфтий опасен для нее и для ее замыслов, что именно здесь, в этой комнате, украшенной резьбой по алебастру, заваривались самые хитроумные заговоры, предательство, измена, шпионаж, целью которых было подчинение советских рабочих и крестьян вновь власти эмира. Это отсюда тянулись нити диверсий — железнодорожные катастрофы, взрывы мостов, — спекуляция на базарах хлебом и мясом, саботаж на промышленных предприятиях, убийство колхозников за отказ подчиниться запрету сеять хлопок, убийство учительниц на глазах школьников, зверские убийства сбросивших паранджу...

Неужели этот жалкий старичок — главный в Бухарском центре? Не может быть.

Невольно она посмотрела на Мирзу, скромно потупившего свои крысиные глаза.

И вдруг мелькнула мысль:

«А не братец ли здесь главный...»

И тошнота подкатила к горлу.

«Неужели, чтобы пресечь всякие заговоры, предательство, провокации достаточно...»

И она снова посмотрела на Мирзу. А он, более бледный, чем обычно, с надвинутой на лоб белой чалмой, из-под красных век, осторожно поглядывал на светившееся красками молодости, возбужденное лицо сестры. И тут же прятал глаза, не выдержав жесткого, испытующего взгляда молодой женщины.

Да, да, какой момент, какая возможность одним ударом пресечь зло, нанести удар по Бухарскому центру и помочь Красной Армии. Никакой пощады врагам, никакой пощады избалованному тирану!

Да, тирану! Это будет возмездие, а здесь — два презренных червяка... Даже мстью не назовешь, если...

Но послушайте, что говорит, шамкая и распуская слюни, этот старикашка. О, он, оказывается, несмотря на свою дряхлость, полон фантастических замыслов:

— Прекрасная Наргис, вы не только красивы, вы умны... И ваша миссия велика. А когда... когда вы получите трижды таляк и освободитесь от уз брака, вы

скажете за занавеской «да» достойному нашему мюриду Мирзе? Он, хоть и из черной кости, но достойный помощник и продолжатель нашего дела. И вы станете женой великого назира, мудрого и могущественного, нашего помощника.

Плохо понимающая невнятное бормотание старца, Наргис не могла удержаться от вопроса, хотя ей надлежало в присутствии столь высокочтимых собеседников лишь молчать и слушать, а она...

— Но если я получу развод у халифа, как же я буду женой визиря и первого советника... халифа... Кто же халиф?..

Муфтий испуганно взглянул на нее.

— Дочь моя, любезная красавица, халифом мусульман надлежит быть достойному и светлому уму. А когда ум меркнет и халиф впадает в неприличную слабость, жизненный путь его закончен, тогда надлежит достойному избраннику... э... занять место... освободившееся... Но мы недоумеваем... — обратился он к Мирзе... — Разве восхитительная гурия не едет в Кала-и-Фату? И эта нежная ручка... — он вдруг встрепенулся и погладил руку Наргис, что заставило ее с отвращением отстраниться.

В отвратительном настроении Наргис вернулась к себе в худжру. В ее комнатке все было перевернуто, перерыто. «Что там искали? Пусть! С тем, что искали, — с оружием, — она не расставалась. А обыскать ее Мирза, видимо, не решился. Впрочем, успокаивала себя Наргис, все идет пока в соответствии с заданием, данным в отделе разведки Георгием Ивановичем.

IV

Носом звезды шпигает,
Глазами луне подмигивает,
Лев ступает по земле гордеца
Мягко, словно врач
ощупывает больного.

Али Мутаньби

Он затаил месть в сердце.

Алишер Навои

Поэт Али не скрывал своих намерений. Едва переступив порог парадной мехмонханы, он подошел к возвышению. Склонившись в глубоком, почтительном поклоне перед Наргис, он сказал:

— Да будет с вами мир, госпожа моего сердца!

Добро пожаловать в наши находящиеся под солнцем правоверия края.

Одетый в полувосточное одеяние с элегантным небольшим тюрбаном на черных длинных волосах, с изящнейшими усиками, без столь неслучайной для узбека того времени бороды, поэт и летописец Али походил на молодого индусского раджу. И держался он так, что казался белым лачином-соколом среди мрачных неуклюжих чалмоносцев, ввалившихся гурьбой в залу — мехмонхану, где хозяин поместья Мирза, бледный и хилый, совершенно потерялся.

Но именно к ней обращался надменно державшийся, — это что-то новое, подумала, скромно опустив глаза и наблюдая за поведением присутствующих, Наргис — все еще напыщенно говоривший Али:

— Что вы так недовольно смотрите, дорогой братец Мирза? Да, да! Говорю полным голосом и пусть все слышат. Я кланяюсь госпоже, супруге халифа, и осмеливаюсь смотреть на красоту ее лица без всякого смущения, ибо я смотрю на сияющий лик, как на солнце. И пусть все слышат мое слово: «Клянусь, если кто хоть пальцем коснется золотого луча из кос госпожи, тому не жить...»

И Али наполовину выхватил клинок из ножен, усеянных драгоценными камнями, и, полюбовавшись блеском дамасской стали, снова поклонился Наргис и почтительно прикоснулся губами к подолу ее парчового длиннополого камзола.

Как и подобает супруге халифа правоверных, Наргис даже не улыбнулась — хотя ей и хотелось от души посмеяться над поведением своего старого поклонника, усвоившего за годы эмиграции нравы и обычаи этой страны — обычаи пуштунских и хазарейских кочевников, у которых женщина пользуется большой свободой и во всяком случае отнюдь не может считаться гаремной затворницей. Но эта легкость и свобода, конечно, не распространялась на городских жителей Мазар-и-Шерифа и тем более на городскую знать.

Поведение Али многим в мехмонхане не понравилось.

Надменнее всех держался Мирза, боясь за свой авторитет в глазах всех этих фанатиков — курбашей и беков, которые явились к нему в дом, прослышав о прибытии из-за рубежа самой супруги халифа, каким в то время провозгласил себя бывший эмир Бухарский

Сеид Алимхан. Стараясь проявить свои верноподданические чувства, главари басмаческих шаек принесли с собой подарки и заверения в преданности, чтобы попросить ханум эмиршу замолвить словечко за них, попросить побольше английского оружия и всякого рода боеприпасов, каковыми распорядился, сидя в Қала-и-Фату господин эмир. Свое недовольство поведением Али они не выказали. Все знали, что Али сын муфтия, что за последние годы он еще более разбогател, что у него на пастбищах Гиндукуша пасется по меньшей мере сто тысяч каракульских баранов, а в приамударьинских долинах полтора десятка табунов чистокровных карабаиров и «арабов», что, наконец,— и это, может быть, самое главное — он содержит свыше четырехсот вооруженных с головы до пят воинов, готовых по малейшему его знаку скакать, рубить, жечь.

Ибрагимбек, который был назначен эмиром Сеидом Алимханом главнокомандующим армией ислама, тяжело зашагал по бесценному ковру к возвышению, на котором восседала Наргис в драгоценных монистах, поклонился не очень низко — на нем было по меньшей мере полдюжины халатов по локайскому обычаю — но достаточно подобострастно:

— Госпожа бегим, позволь сказать слово.

Он говорил глухо, невнятно. И Наргис думала:

«Вот он какой, Ибрагимбек, мрачный и дикий, видимо, здесь играет первую скрипку. Почему и другие курбаши, узнав о моем приезде, сбежались сюда. Мирза говорил, что со мной, женой халифа, они пошлют в Қала-и-Фату свои «ариза» — прошения и заверения, они только ждут сигнала от эмира из Бухарского центра, чтобы вторгнуться в пределы Таджикистана и Узбекистана...»

Она старалась запомнить каждое слово Ибрагимбека.

Монгольские складки век курбаши, несколько деформированные глазными болезнями, превращали глазницы в щелочки, сквозь которые хитро поблескивали черные зрачки. Широкий тупой нос шевелился и лоснился меж широченных скул, обрамленных от висков черной курчавой бородой. Губы шлепали и брызгали слюной и, в такт им, грозно шевелились борода и кожа на лбу, и небольшая, по-афгански завязанная на голове темно-красная чалма, и даже многочисленные болтавшиеся на груди тумары с заговорами колдунов и молитвами ишанов от вражеских пуль.

Ибрагимбек говорил, а Наргис, стараясь уловить смысл его путаной речи, в то же время разглядывала его!

«И этот тупой, морщинистый скотовод, с противно оттопыренными, звериными ушами, с выпирающими надбровными дугами первобытного человека, — орудие эмира и тех, кто заседает в Бухарском центре».

И невольно она перевела взгляд с багрового потного лица Ибрагима на бледно-мертвенное лицо Мирзы. И надо же — в то самое мгновение Мирза поднял веки, и в глазах его Наргис прочитала все, о чем она думала...

«Боже! Не Ибрагим, не тупые курбаши, не эмир Сид Алимхан — зачинщики и виновники разорения, крови, страданий народа... А вот он, ее «братец», елейный святоша и дипломат! Он!»

А Мирза прочитал в прекрасных глазах Наргис ненависть и презрение... Иначе он мгновенно не опустил бы синеватые, больные веки и не прикрыл бы глаз бесильно приподнятой ладонью...

Наргис перевела взгляд на курбашей. Но их физиономии слились в безобразное серое пятно, из которого выделялся своими малиново-красными скулами и чернящей бородой Ибрагимбек. Поймав взгляд госпожи эмирши, он заговорил:

— О, ханум, о, бегим! Мы подняли зеленое знамя и скоро большевики затрепещут от грома нашей конницы. Мы приказали нашим людям отправить письмо в Локай, в Гиссар, в Нурек, в Кабадиан всем нашим родичам и друзьям, чтобы нас встречали, дабы наш поход был победоносным и успешным. Эй, писец, прочитай-ка, что мы написали.

— Не надо! — воскликнул Али и встал между Ибрагимбеком и Наргис. — Зачем утруждать слух госпожи сердец всякими там писаниями?!

— Нет, пусть прочитают, — вмешался тихо и вкрадчиво Мирза, он даже слегка поднял руку от лица и пристально поглядел на возбужденного Али.

— Читайте! Читайте! — забурдели курбаши.

Выскочивший из толпы курбашей человек быстро произнес «бисмилля!» и принялся гнусаво читать:

«Командующий армией ислама мусульманам Гиссарского вилайета домулле Хаку, домулле Асадулле Максуму. Рады вашему письму. Но все, что вы писали — ложь. Вы пишете — «Советская власть сильная». Нет.

Бог сильнее. Нет никого сильнее аллаха, так как бог создал на свете все существа. Из этого следует, что создающий существа сильнее существ. Советская власть—существо, и она не сильнее бога.

Сила Советской власти против бога тоже ничего не стоит. Вы написали нам: «Советская власть помогает дехканам, вспахивает землю машинами, получает много хлопка». Все это «курук гап» — сухой разговор. А до Советской власти вы видели, что ли, чтобы кто-либо умирал от голода и холода. Бог всем дает. Вы упрекаете нас, что мы были на стороне Баче Сакао... А мы вам говорим, что сейчас падишахом здесь Надир-Хани. По закону шариата мы должны все исполнять. Мусульманин мусульманину никогда не будет врагом. Слава богу, Афганистан — ислам. Падишах Надир — ислам, эмир Сеид Алимхан — ислам, и мы мусульманин. Вы стали грешниками. Мы ваших посланцев хогели убить. Но для того, чтобы они передали вам мое слово, я их велел отпустить.

Не бойтесь казни от большевиков. Бойтесь казни от бога. Скоро мы придем к вам с войском и тогда спросим с вас исполнение воли аллаха. Мы хотим освободить правоверных от большевиков и наставить их на путь ислама. Если бог позволит, в скором времени будет такой конец».

Писарь замолк и вопросительно взглянул на Ибрагимбека. Тот напыжился, упер руки в бока и посмотрел на Наргис, словно ожидая одобрения. Но она молчала.

— Пусть их высочество Сеид Алимхан знает, что мы бьем в барабан похода! Две тысячи наших всадников точат сабли! — довольный, выкрикивал Ибрагимбек.

Тут Али выхватил клинок из ножен и двинулся на укутанного халатами Ибрагимбека.

— Уходи! Госпожа утомилась слушать тебя, Ибрагим-конокрад!

Но Ибрагимбек меньше всего собирался слушать этого изысканного красавчика и тоже обнажил свою саблю. Так они и стояли друг перед другом, похожие на двух бойцовых петухов. Мирза суетливо метался вокруг Ибрагима и Али, готовых кинуться друг на друга.

— Прекратите спор, — сказала с возвышения Наргис. — Спрячьте свое оружие. Нечего спорить. Через неделю мы прибудем к эмиру, и он все решит.

Али со звоном послал клинок в свои драгоценные ножны и приказал:

— Госпожа супруга халифа изволит удалиться! Всем почтенным бекам отправиться на покой!

На возвышение взбежали закутанные в чадры прислужницы и увели Наргис.

Курбаши цепочкой, один за другим, направились к выходу. Мехмонхана опустела.

Посреди ее остался Ибрагимбек, который держал в нервно-вздрагивающей руке саблю и тупо поглядывал на нее, а в стороне стоял Мирза, сосредоточенно перебирая зерна четок.

V

На насилие отвечают насилием.

Кайс ибн Зарих

Сладкое сделать горьким легко, а горькое сладким не сделаешь.

Узбекская пословица

Мужчина построил дом —

женщина его разрушила.

Но вот когда женщина

построила,

и дьявол не смог

его разрушить.

Баба Тахир

Наргис не считала поведение Али надоедливым. Али по крайней мере ее развлекал и успокаивал. В бурном и жестоким Мазар-и-Шерифе это было весьма кстати.

Чуть ли не ежедневные беспорядки на базарах, стрельба пуштунов, публичные казни на площадях, виселицы с разложившимися трупами мятежников, тревожные вести из Кабула, слухи о кровавых замыслах курбашей, вождей горных племен... Все это внушало тревогу и беспокойство.

А тут еще разговоры о разбойничьих замыслах Ибрагимбека, который, имея в своем распоряжении несколько тысяч боеспособных воинов, собирался объявить себя шахом Горно-Бадахшанского царства, независимого от Афганистана.

Наргис с открытым лицом — какое нарушение законов религии! — в сопровождении Али совершала поездки по стране Афган, которую раздирали междоусобицы и сотрясали мятежи.

Поэт и летописец Али понимал всю опасность поло-

жения Наргис, пытался протестовать, но под взором ее прекрасных глаз он терялся, превращаясь в покорного исполнителя ее воли: он безропотно сопровождал Наргис в ее верховых прогулках, не снимая руки с резной рукоятки своей дамасской сабли, готовый, несмотря на отнюдь не воинственную свою натуру, выхватить клинок из ножен и кинуться на защиту своей возлюбленной.

Он не смел порицать сумасбродного поведения молодой женщины, которая в порыве своих замыслов совершала один безрассудный поступок за другим, то она бросалась, очертя голову, в гущу всадников, дравшихся из-за козла в байге, то мчалась на чистокровном скакуне куда-то в ущелья Гиндукуша, чтобы своими глазами увидеть, как басмаческие банды Ишана Халфы точат ножи и чистят свои винтовки, готовясь вторгнуться в советские пределы, то, совершенно пренебрегая обычаями ислама, отправлялась в глубь городских махаллей посмотреть на многотысячные моления местного духовенства.

И все это делалось открыто, откровенно, и все свои поступки она прикрывала тем, что она супруга халифа.

«Пади ниц и целуй стремя!» — восклицала она.

И ее, жену халифа, слушали, и падали ниц перед прекрасным видением всадницы в парчовом камзоле, в бархагной шапке, отороченной лисьими хвостами, с золоченым оружием на поясе.

Во всех поездках поэт и летописец Али был рядом с Наргис и отговаривал ее от поездки в Кабул. Он боялся, что эмир воспримет появление Наргис совсем не так, как ей хотелось. Ведь эмиру уже через Гиндукуш донесли о появлении пропадавшей столько лет супруги, и Али совсем не был уверен в том, что Наргис оставила у слабовольного эмира воспоминания, достаточные для того, чтобы принять ее вновь.

Кроме того, Али ревновал, с мукой вспоминая, как именно он, Али, по настоянию своего хозяина — Змеиной головы — так он с той поры называл про себя Мирзу — отвел трепещущую, ошеломленную, жаждущую мести Наргис к воротам эмирского гарема.

И теперь очень боялся за Наргис, которая должна, по ее мнению, явиться в Кала-и-Фату и увидеть эмира, чтобы... боже! Он даже не мог понять, зачем!

А Наргис слишком поверила его чувствам, его открыто заявляемой любви, забыв об осторожности.

— Они, эти мерзавцы из Бухарского центра и сам гнусный тиран эмир, готовы ворваться в мою страну убивать, резать, жечь. И это ужасно, зажечь пожар в мирной стране, где колхозники трудятся на полях, где детишки бегут в школы, где девушки и юноши поют прекрасные песни о любви. Надо помешать ему свершить кровавое дело. И сделать это смогу только я. Только я одна создана, чтобы поразить своей рукой тирана.

Али, горяча своего коня, чтобы не отстать от прекрасной всадницы, покорно слушал. И слова мести эмиру были бальзамом на его сердечную рану.

Ведь Наргис уже не раз за время пребывания в Мазар-и-Шерифе говорила ему, что ей нужна его помощь и что Али заслужит ее искреннюю и величайшую благодарность. И это она говорила даже в присутствии Мирзы.

«Пусть погибнет эта Змеинная Голова. Она тоже осмеливается смотреть на эту красоту!» Конечно, эта реплика произносилась Али мысленно. И он сравнивал Наргис с индусской богиней мести — Кали.

Словно в густом тумане он внимал ее словам.

— Надо во что бы то ни стало помешать эмиру! Разве не видно, что эти звери-курбаши, этот отвратительный павиан Ибрагимбек и все его присные трясутся от страха? Мало кто из них горит желанием продолжать войну. Один эмир, подталкиваемый англичанами и сидя на мягких курпачах в Кала-и-Фату, толкает басмачей на новые зверства. Надо остановить их, остановить во что бы то ни стало.

Наргис и Али скакали в облаках золотистой балхской пыли, озаренной гиндукушским солнцем.

Али был против того, чтобы Наргис, его повелительница, поехала к эмиру.

Из намеков, отдельных слов, обрывистых фраз он вдруг понял скорее инстинктивно, чем сознательно, что Мирзой руководят какие-то странные стремления.

Мирза очень решительно поддерживал намерение Наргис поехать в Кала-и-Фату. Почему?

Объяснял Мирза это тем, что Наргис должна попросить у эмира развод.

Но если Наргис получит развод, она не будет супругой халифа и тогда к чему было устраивать аудиенцию, приглашать виднейших глав басмаческих банд? И разве станет эмир слушать разведенную супругу,

когда мусульманские правители вообще не прислушиваются к мнению даже самых любимых жен.

Тогда зачем же надо ехать Наргис в Кала-и-Фату?

Кто заинтересован в том, чтобы молодая, в расцвете красоты женщина, жена являлась пред очи мужа? Для чего?

Одна мысль об этом заставляла Али корчиться от ярости. Но это не мешало ему думать. Его вдруг озарило...

«Так вот зачем Мирза везет Наргис в Кала-и-Фату!»

Окажись Али в это мгновение в присутствии Мирзы, вполне возможно, что он кинулся бы на него и несладко бы пришлось худосочному Мирзе в руках Али.

Значит, это правда, что Мирза затаил мысль самому жениться на прекрасной Наргис.

Вот что он замыслил! Он хочет сочетаться браком с бывшей супругой халифа. Поднять свое имя и авторитет.

Али знал о том, что халифы Багдада и Мисра выдавали своих надоевших им жен за своих визирей и полководцев и таким образом одаривали приближенных.

Проклятие! Эта Змеинная Голова в постели рядом с чудом любви и красоты!

Вбежав в конюшню, Али вскочил на первого попавшегося коня и поскакал в степь. Он хотел хоть немного успокоиться и все обдумать.

Он отъехал довольно далеко от города и очутился в лагере Ибрагимбека. Его приняли как дорогого гостя, несмотря на столкновение в имени Мирзы. Он сидел на красной почетной кошме, его кормили жареной бараниной с тающим нежным салом, поданной на выделанной, тисненной золотом кобыльей коже, его поили крепким, бьющим в нос, локайским кумысом да и коньяк не забыли преподнести. В честь его пели лучшие певцы, прикрывая рот тарелками из кузнецовского старорежимного фаянса. А Ибрагимбек, расчесывая свою кудлатую бороду жирной пятерней, все гудел на ухо Али, а тот вначале не понимал, хотя очень важно было понять. Ибрагимбек говорил о Наргис, о своем намерении жениться на ней.

И только усталость от скачки, туман в мозгу, опьянение от кумыса и коньяка помешали Али сразу воспринять сказанное Ибрагимбеком.

Все-таки смысл он уловил.

Да как он, этот лошажник, навозник смеет даже думать о совершенстве красоты!

Али ответил Ибрагимбеку:

— Что вы, бек? Она жена халифа... наставника веры истинной. И кто не знает, что особа женского пола, удостоенная хоть раз милости и благосклонности халифа, неприкосновенна... запретна, раз и навсегда.

Али говорил, отчаянно стараясь сдержать ярость. Не будь он один-одинешенек здесь, в лагере воинственных соплеменников «дикаря и людоеда» Ибрагимбека, и сопровождай его, Али, хотя бы две сотни его джигитов, тогда бы он заговорил другим языком.

«Скотина, конокрад! — думал Али. — Ему бы конюхом в конюшне караван-сарая выгребать навоз, а он корчит из себя владетельного эмира».

Али понял главное — на честь и свободу его мечты, его возлюбленной готовится покушение. Надо быть на чеку, надо предупредить насилие. Но для этого прежде всего необходимо вырваться из западни, в которую он сам завел себя, надо спокойно уехать, не вступая в пререкания с Ибрагимбеком. Иначе он мигом засадит тебя в яму.

А Ибрагимбек бубнил прямо в ухо:

— Что из того, что красавица была женой... этого, так сказать, халифа... Ну была... Ну и что? Халифу Алимхану не грешно было бы подарить эту прелестницу нам, верховному главнокомандующему.

Сколько ни уклоняйся, а разговор ведь не оборвешь грубо. Уже собираясь вдеть ногу в стремя, Али повернулся к Ибрагимбеку и самым любезным тоном сказал:

— О, великий сардар, мы милостью аллаха не воин... Мы поэт, в грудь которого бог вдохнул талантливый дар воспевать природу и властелинов, розы и возлюбленных... Без стеснения скажу, что по всей Бухаре трудно было найти равного нам в искусстве складывать стихи и поэмы:

На устах моих
сладкоголосый соловей.

И передо мной все остальные поэты
держат во рту по вороне!

А имея такой талант, мне подобает заниматься торговлей лишкой... считать и пересчитывать барыши?

Али ехал по степи медленно, стараясь не подгонять

коня. И нет-нет да и оглядывался: не скажут ли за ним локайцы, не дошел ли до мозгов Ибрагимбека отказ Али помогать ему. Не догадается ли Ибрагимбек, что нельзя выпускать из рук того, кто теперь может предупредить всех об опасности, грозящей Наргис.

«О, госпожа красоты и счастья! О сколько бед и несчастий на пути твоих изящных ножек! О, несчастный влюбленный поэт Али! Уже много лет ты терпеливо переносишь удары кинжалов ресниц красавицы. Утомляешься скачкой своих коней! Притесняешь своих близких и слуг! И все ради того, чтобы увидеть на нежных твоих губках подобие улыбки, о жестокосердная!»

VI

Хоть одаряй, хоть почитай,
хоть доверяй, хоть угрожай,
Хоть поучай — непостоянна женщина.
Баба Тахир

Спрошу я вас,
убивает ли человека любовь?
Джемили

Бурные, суматошные дни, подобные кошмарному сну! Гаремные стены, усаженные поверху железными шипами, «бахчисарайские» фонтаны, розы, евнухи или служители, несчастные чернокобые наложницы, одуряющие курения, черноликие старухи «ясуманы».

И все же Наргис вырвалась из-под свирепого надзора. Она с отвращением отвергала гаремное заключение, властно поломав все прутья золотой клетки, куда попытался было ее засадить Мирза.

«И ничего он не может, потому что я ему нужна, а без моего согласия он ничего в своих планах не добьется».

А может быть, он не во всем имел железный характер и пасовал перед теми чувствами, которые постепенно завладели им. Временами в его обычно пустых глазах Наргис обнаруживала что-то, похожее на обожание и восторг.

Наргис потребовала у Мирзы, чтобы он свозил ее на общегородской саиль — праздник.

Я долго проливала потоки слез,
Я ведь не скупилась.
Я сыпала вокруг жемчугом!

Из каких-то недр черствой природы Мирзы всплыли эти поэтические обрывки. Мирза повез Наргис на сайль.

Более того, он позволил ей одеться девушкой-йигитом и ехать с открытым лицом, повергнув в смущение духовных лиц города, отличавшихся приверженностью к соблюдению религиозных правил и канонов.

Иное дело народ. И горные таджики, которыми кишели улицы, и длинноусые афганцы, и туркмены в белых огромных папахах, — все открыто восторгалось девушкой-йигитом. Никто в северном Афганистане, за исключением, пожалуй, бухарских баев-эмигрантов, не напяливал на своих женщин и девушек паранджу или чачван. А стройная в атласно-золотом камзоле и каракулевой шапочке с разгоревшимся на солнце и горном ветру лицом Наргис пленяла взоры и вполне могла заставить сопровождавших ее Мирзу и Али гордиться такой прекрасной спутницей.

Но Мирза был подавлен, вдруг увидев себя со стороны — жалкого и блеклого.

Ослепляющая жара, иссиние-темное небо.

Сюда, на большой сайль, собрались всадники со всех гор, степей и долин.

Народу набралось столько,
что друга надо искать
целую неделю.

У зеленоватого хауза дикими вскриками резались в карты и игральные кости широкоскулые хеварийцы. С воплями, словно рушится мир, горцы-таджики продавали фисташки. В отрепьях, с открытыми лицами сказочных принцесс девушки торговали пухлыми пшеничными лепешками, только что выхваченными из тандыра.

С песнями, хохотом, бранью, увешанные оружием, пуштуны вели на продажу курдючных баранов.

А это что за божественная мелодия!

Красавицы мира!
Вас украшает одежда.
А ты, красавица красавиц,
так прелестна,
что сама украшаешь свое платье.

Длинными бледными пальцами Мирза затыкает уши. Его коробят такие слова. Он как-никак хранитель чести — гаремной чести самого халифа. А тут не только

любуются и восторгаются открытым лицом, но еще и воспевают красоту. Да ведь завтра же дойдет слух до Кала-и-Фату. И сколько возникнет непредвиденных осложнений.

А вот Али, едущий рядом на вороном жеребце, — доволен. Он никого не видит, кроме своей прекрасной Наргис.

Он только недовольно поморщился, когда вдруг заревели праздничные карнаи, мелодично заняли сурнай и заглушили слова, произнесенные Наргис. Но и тут было утешение: так прелестно шевельнулись очаровательные губки молодой женщины в капризной гримаске.

Вот побежали файзабадские певцы-хафизы и, поставив фарфоровые тарелки ко рту, завели во весь голос старинный маком. Чтобы лучше слышать и из уважения к хафизам, Наргис легко и грациозно прыгнула на землю. Ее спутники сделали то же. Тут, откуда ни возьмись, на возвышении раскинулся дорогой красно-желтый палас, и Наргис с Али и Мирзой оказалась на этом паласе, окруженном толпой любителей пения.

Наргис хлопала в ладоши в такт мелодии, и Али не сводил с нее восторженных глаз. Лишь Мирза сидел деревянным чурбаном: всякий власть имущий должен быть важен, а все знали, что этот бледнолицый из могущественных. Так, по-видимому, посчитал распорядитель саила, толстяк в бархатном халате, почтительно доложив Мирзе:

— Ваша милость, начинаются скачки. Кто доскачет первым, получит белого верблюда. Сам Утанбек подарил его народу!

— На что мне твой верблюд?—с досадой сказал Мирза.

— Отдай мне! Отдай верблюда! — заверещал над ухом бледнолицого не то шут, не то фокусник, вынырнувший из первых рядов зевак.

Загрохотали барабаны. Все побежали.

Вскочила с паласа и Наргис и бросилась к коню. Но Мирза вцепился в поводья и пытался что-то сказать, но лишь странное шипение вырвалось из его горла.

— Запрещаю! — прохрипел он.

Наргис вырвала у него из рук узду так резко, что сделала ему больно. Легко, по-кавалерийски она вскочила на коңя и, склонившись, посмотрела ему в глаза.

— Пусти! Камчой стукну!

И столько ненависти было в ее карих глазах, что Мирза попятился.

— Ты не посмеешь! — почти выкрикнул он. — Я не позволю!

— А я и не спрашиваю...

Она хлестнула плетью коня Мирзы, а сама погнала своего коня вдогонку за всадниками. Поравнялись с ватагой готовившихся к старту йигитов. Она подняла своего скакуна на дыбы и заставила его вертеться в столбе пыли на задних ногах.

Ревом одобрения встретила площадь появление всадницы.

Подъехавший какой-то мазаришерифский вельможа с важностью заключил:

— Вот кто достоин приза! И где вы, господин Мирза, скрывали от глаз сие творение аллаха, подобную гурии всадницу.

Длинноусый пуштун с выпученными глазами, поддакивая ему, восторгался:

— Не иначе она из наших момандов. Почему только я не видел это совершенство красоты и силы? Ай да ну! Смотрите! Смотрите! Всадница, не всадница, а шестиногий и длинноголовый див. А косы-то, косы! А посадка в седле! Да разве это девушка? Это воин! Дай ей в руки меч — и ни один парень не усидит и минуту в седле!

А Мирза метался, выкрикивая:

— Остановите ее! Нельзя! Не смеет!

Но тут вмешался Али.

— Эх, братец Мирза! Разве вы из шакаленка прератитесь когда-нибудь в волка? А берегесь пугать ее,

Что бы ни делал враг врагу,

Ненавистник — ненавистнику,

Ложно направленная мысль

может сделать еще хуже.

— О аллах, о боже, — стонал Мирза.

Перед черствым, сухим Мирзой Али всегда трусил самым позорным образом. Мирзе ничего не стоило силой своей изуверской логики заставлять его делать все, чего ему хотелось. Но когда стоял выбор между Мирзой и неземной красавицей... кто бы вздумал колебаться!

— А если она покончит с жизнью? О, всемогущий! Безумная она. Увидит, что путь к бегству закрыт, поедет по горным тропинкам... упадет — горе мне! — в

пропасть. Она предупреждала. Что скажет тогда народ Кухистана. Что мы скажем их высочеству... Бегите! Скажите! Остановите ее!

Но Али оказался самым рассудительным. Он погнал своего коня вперед, перегородил путь своим наемникам, готовым ринуться в погоню, и скомандовал:

— Тихо! Ни с места! Не искать! Не стрелять, не пугать! Сейчас я поеду с вами. Найдем без шума. Уговорим добром...

И добавил уже задумчиво:

Твоя любовь, о Баба Тахир,
таит смертельный яд.
Но если ступишь
на край моей могилы,
Я скажу, вдохнув твой аромат
— О, любимая!

Он так ехал, не замечая ни толп народа, ни скачущих взад и вперед всадников.

Позади трусил на лошади Мирза. Глухая ярость терзала ему грудь, его тонкие губы не находили ни минуты покоя и все время шевелились. Но с них отнюдь не срывались поэтические строфы:

— Провела меня как мальчишку... Оставила в дураках. Никогда не знаешь, на что способна она. Ну, попадись мне!

Не придерживая коня, Али резко повернулся в седле:

— Что ты сказал?

Взгляд его был угрожающим. Мирза вобрал голову в плечи.

— Она уехала... бежала...

— Как посмел ты так сказать?!

И, нахлестывая коня, Али умчался вслед за своими наемниками.

Ошеломленный Мирза остановился: еще никогда Али не говорил с ним подобным тоном. Что случилось с этим покорным, вечно витавшим в поэтических далях сочинителем лирических газелей?

Стоявший рядом махрам, у которого забрали коня для Наргис, задыхаясь от бега, выкрикивал:

— Конь мой! А ханум вернет мне коня?! Куда уехала ханум?!

Толстогубый вельможа, нагнавший Мирзу, важно спросил:

— Господин, извольте распорядиться. Послать людей за той особой... за госпожой?.. Прикажите!

Да, Мирза в этой провинции был, несомненно, важной персоной, и эти слова подействовали на него как охлаждающий душ.

Мгновенно его лицо приняло надменное, непроницаемое выражение — надо же тушить пожар, пока он не разгорелся! — он потянул на себя узду и принялся распоряжаться.

Мирза внутренне ругал себя за то, что позволил себе погорячиться. Это было так несвойственно ему. Он решил действовать по-другому.

Попросив есаулов подъехать, он спокойно, насколько мог, заговорил:

— Не надо шума и беспорядка! Ханум — знатная госпожа, бегим... Не умеет обращаться с конем. Конь понес ее, и мы очень взволнованны. Не дай боже, что-нибудь случится!.. Господин Али поехал вслед за госпожой. Возлагаю надежду, но того недостаточно. Разошлите людей по всей долине. Ищите. Предупредите во всех селениях и аулах — где бы бегим ни объявилась, предоставить ей отдых на шелковых коврах, царский прием, заботу, кушанья для принцесс... В лучшем доме на женской половине... Послать сюда арзачи с радостной вестью, что нашлась...

Проследив, что его распоряжения выполнены и десятка два всадников во весь опор поскакали во все стороны, Мирза медленно повернул коня и, понурившись, — надо же всем показать, как он всем сильно озабочен, медленно повернул к своему дому.

Самые невероятные предположения терзали его. Убегала? Но куда?

Боясь унизить свое достоинство, он силился унять беспокойство, но никак не мог утишить биение сердца. Быть может, он теряет или уже потерял Наргис для себя. Ревнивая мысль, что Али уже мог встретиться с Наргис, туманила ему мозг и вызывала что-то вроде спазматических припадков бешенства.

Все планы рухнули. Наргис коварно обманула его — многоопытного политика и дипломата, чуть ли не самого богатого человека в Афганистане. Неужели она не поняла, что достаточно ему нахмурить брови — и жизнь ее оборвется.

Но и его положение ужасно. Зачем только он исполнял капризы Наргис? И эта возмутительная прогул-

ка верхом средь бела дня среди тысячных толп народа?

Сейчас, когда Наргис совершила непотребство и ускакала, он держался холодно, спокойно, будто ничего предосудительного не было в ее поступке.

Но Мирза терзался ревностью и злобой, и тут еще этот Али. Было от чего сойти с ума.

Мирза застонал так громко, что толстогубый чиновник с тревогой спросил:

— Что угодно, ваша милость?

Ничего не угодно было их милости господину Мирзе, кроме того, чтобы ужасное видение растаяло.

Конечно, решено. В его силах и власти сделать так, чтобы этот предатель Али больше не встречался с Наргис. И первое — не пустить его в качестве провожатого Наргис через перевал Гиндукуша. Он, Мирза, сделает так, что Али останется в Мазар-и-Шерифе.

И вдруг голос толстогубого чиновника, точно выстрел, пробудил его от размышлений:

— Ее коны! Конь ханум Наргис! Взгляните, ваша милость.

Все внутри помертвело. Остановившимся взглядом смотрел Мирза на попавшего на глаза мирно стриженного ушами отличного скакуна, на котором своенравная Наргис менее часа назад ускакала с участниками байги.

Ничего не говорило о том, что скачка была утомительной. Стоявший перед высокими глинобитными башнями ворот конь, прекрасный по всем статьям, был свеж и бодр. Он совсем не походил на скакуна, промчавшегося десяток верст. Рядом с ним топтался вороной рысак.

Мирза застонал. Он узнал этого коня. На нем уже несколько лет разъезжал не кто иной, как поэт Али.

О, ты возвел себя на трон!
Ты карабкался и падал,
Но дотянулся...
И сотворил себе призрак...

С И
М

VI

Свиньи не чувствуют аромата духов.
Воры боятся хозяев дома.
А песни ангелов о жертвах любви
не достигают ваших ушей.
Джебран Халил Джебран

В тот раз после бурного празднования «саиля» Мирза вернулся к себе опустошенным. Злоба душила его. Однако он, обуреваемый ревностью, не попытался даже не только войти в таинственные ворота, у которых были привязаны кони, но даже задать вопрос вооруженному стражу — дарвазабону.

Мирза и без того знал, чьи это ворота и чей это дом. Это резиденция советского консула. Если бы Мирза, как обычно, владел своими нервами, он вспомнил бы об этом еще за три квартала. Но с Мирзой творилось что-то невероятное. Задумав сделать Наргис после развода с Сеидом Алимханом своей женой, он ни о чем не мог судить трезво.

Когда Наргис оказалась в его богатом имении, Мирзе показалось, что он приблизился к своей цели: она прямо и резко не отвергала его домогательств. Все представлялось Мирзе в розовом свете. Казалось, оставалось преодолеть последнее препятствие. Надо было добиться, чтобы эмир дал официальный развод Наргис. И Мирзе рисовалось, как он вместе с Наргис и своей «тенью» Али переправляется через высочайший горный хребет Гиндукуш из мазаришерифской провинции в долину Пяндшира. Али отводилась роль сочинителя и декламатора своих стихов среди серебряного сияния вечных снегов и среди зелени альпийских лугов, усыпанных цветами всех цветов радуги.

Но Мирза недооценивал Али, по давней привычке считая его «своею тенью». Али считал, что его многолетняя любовь к Наргис и служение ей возымеют свое действие, и Наргис станет его женой.

Совсем недавно он послал в Узбекистан по адресу: Самарканд, Михайловская, 3, такое письмо:

«Во имя аллаха единого и всемогущего и пророка пресветлого и мудрейшего пишет вам, глубокоуважаемая Ольга Алексеевна, преданнейший ваш раб и безумный поэт, известный вам Али, припадающий к подолу вашего священного одеяния, полный тревожных предчувствий и опасений. Несравненная и восхищающая взоры ангелов любимая ваша дочь Наргис отвергла все

наглые вздохи и стенания этого исчадия преисподней господина Мирзы, после непродолжительного пребывания в городе Благородной Могилы намерена направить свои стопы через невероятной высоты горы Гиндукуш, достигающие луны, в резиденцию проклятого эмира, гнусного червя в яблоке надежды Сеида — будь проклят его отец Алимхан — дабы не обрушился на прелестную головку нашей любимой кровавый меч бухарского палача. Когда состоится развод с эмиром и дабы не попала, неземная, в когти проклятого Мирзы, надлежит вам, уважаемая Ольга Алексеевна, проследовать в надлежащую контору и показать это несовершенно послание, начертанное дрожащей рукой сомнения неутешного Меджнуна, проливающего свои слезы по прелестнице моей души нашей дорогой Наргис-ханум, и чтобы в Кабуле, в представительстве русского государства, узнали по телеграфу, что Наргис уже скоро прибудет в гарем эмира и чтобы посол и кто-то там другой выручили и высвободили ее, нашу несравненную Лейли, и избавили бы ее от ужасной гибели, от ножа эмирского палача Болуша. Целует пыль ваших ножек Меджнун, жалкий рифмоплет Али».

Письмо это Али писал наспех без ведома Наргис и консула, которые беседовали в кабинете у телеграфного аппарата.

Али передал свое письмо старому своему знакомому персу, служащему консульства, с тем, чтобы тот отправил его с дипломатической почтой на ту сторону Амударьи.

Лирическому поэту не подобают всякие там хитрости, но обстоятельства были слишком остры, и свое письмо Али не запечатал, вполне уверенный, что друг его перс покажет только своему начальнику, а начальник-консул прочтает его и поставит в известность советское представительство в Кабуле о поездке Наргис.

Кроме того, Али тайно надеялся на то, что консул передаст по радио, что его навестила такая-то с такой-то целью.

Верный рыцарь Али единственный, — так он думал — знал, зачем Наргис едет в Кала-и-Фату и какая драма может быть там сыграна с главными действующими лицами: Наргис и эмиром Сеидом Алимханом.

Когда Наргис, Мирза и Али были в пути, в горах, она прямо сказала о своем возмездии, прервав лирические излияния поэта.

И пока кинжал мести
не обагрился кровавой влагой,
кто может даже заикнуться
о соловьях и розах?

Отдавал ли Али себе отчет, какой опасности подвергала себя Наргис, трудно сказать. Возможно, и представлял. Во всяком случае, напускал на себя мрачную меланхолию, и суровый взгляд его обычно добрых глаз приобрел какую-то остроту и целеустремленность, точно он видел в будущем ужасную, трагическую картину. И он твердил одно и то же:

Ангелам небесным не подобает
Своими нежными ручками
играть острыми предметами.
Не лучше ли, чтобы в руках красавицы
Мы видели розы и нарциссы,
А в лапе иблиса —
кинжал мести и яд возмездия.

На дневке в ущелье Бамиан поэт увлек любимую к гигантским колоссам, но не только для того, чтобы она могла полюбоваться неповторимыми творениями рук древнего скульптора, но и потому, что он в присутствии Наргис купил у ножевых дел мастера отличный стальной кинжал. Играя его тонко выработанной и изукрашенной золотом и рубином рукояткой, он картинно мрачно изрек:

Позолоту с горла тирана
Соскоблит золотой нож.

Но кинжал в руке Али воспринимался Наргис вовсе не трагически, а как маскарабозлик, то есть самая примитивная клоунада.

Странно и непонятно вел себя Мирза.

Он в тот же день узнал, зачем Наргис заезжала в русское консульство. «Я послала весточку своим и больше ничего», — сказала ему Наргис.

Мирзе оставалось поверить, тем более, что эта версия в какой-то степени снимала поводы для ревнивых подозрений. Наргис не могла разъезжать по азиатскому городу одна да еще с открытым лицом, и Али любезно

взялся охранять ее. Повод для посещения консульства тоже казался вполне обоснованным.

Мирза, было, хотел отложить поездку Наргис в Кабул.

— Наши дела идут к счастливому разрешению.

— Что вы имеете в виду? — насторожилась Наргис.

— Вам, очевидно, не нужно будет совершать трудного и тяжелого путешествия в Кала-и-Фату.

Наргис резко запротестовала:

— А самое главное? А развод? А уч таялк?

— Рад сообщить вам, госпожа, господин муфтий нашел в своих книгах «иджозат». Развод господин муфтий объявит здесь в Мазар-и-Шерифе. И вам не надо будет никуда ездить. И мы с вами сможем сочетаться браком. Вот здесь муфтий составит бумагу, отошлет в Кала-и-Фату. И останется ждать ответа...

VIII

Самое его рождение на свет кажется какой-то непостижимой насмешкой судьбы.

Рукнуддин

Лицом к лицу он смотрит овцой, а за глаза он волк-людоед.

Саади

Мирза решил во что бы то ни стало жениться на Наргис. Главным считал соблюдение законов и обычаев ислама: он разведет Наргис с эмиром, получит соответствующий «иджозат» — разрешение — и затем вступит в брак по шариату. И тогда его мечта исполнится.

Любит ли его Наргис, согласна ли она стать его женой, его мало интересовало: Наргис обязана стать его женой, как только получит у эмира развод и дело с концом.

Он совсем забыл — предпочел забыть, что всю свою жизнь он делал Наргис только зло, что его поступки могли вызвать в ней и вызвали ненависть к нему.

Он даже не заколебался, когда увидел отчаяние в ее загадочных глазах гурии «с белым белком и черным, как ночь, зрачком».

— О, необыкновенная,
подобная деве рая...

пробормотал Мирза.

Дальше у него не шло, потому что он вообще почти ничего не знал наизусть из поэзии, а собственных слов для выражения столь высоких чувств, как любовь, он в глубине своей черствой природы найти не мог.

Считая Наргис уже чуть ли не женой, он не раз по пути через Гиндукуш предъявлял ей свои претензии: в частности, потребовал, чтобы Наргис закрыла лицо, надев чачван. Она категорически отказалась, согласившись накинуть на голову лишь весьма прозрачную кашмирскую кисею.

— Но, госпожа, — возмущался Мирза, — их священство эмир вправе прогневаться и возревновать.

— К кому? К вам, дорогой братец?

— Ко всем, кто видит ваше лицо. Еще в хадисе сказано: «Да не падет взор постороннего на лицо жены халифа! Такой позор искупается кровью». Прикройте лицо, прошу вас. Луна и та стосковалась по вашей тени! Некоторые впадают в отчаяние...

— Что с вами, Мирза? Вы заговорили строфами из поэтов.

— Но вы так красивы, что и луна ревнует к вам.

— Ревность? Фи! У нас, мусульманок, это чувство подменено завистью... Пришел эмир не к одной жене, а к другой, развлечения, сладости, подарки... На один день, другой... А ревновать, будучи одной из сорока, глупость... Вы, мужчины, вопите на своих жен и дочерей, сбросивших паранджу, а сами бежите в эндарун и заглядываете каждой кенizeк в лицо и, как говорят поэты, «подаете знаки глазами и бровями...»

— Ты скоро будешь моей женой, — перешел на «ты» Мирза, — как смеешь так разговаривать со мной, твоим будущим мужем?! Но я не могу на тебя сердиться. Приказываю тебе — накинь на себя паранджу и чачван. Это персидское платье так непозволительно облегает твой дивный стан! Я не могу так... Этот Али смеет смотреть на тебя.

— Али — поэт, и его приятно слушать! Хоть один живой голос среди мертвых скал и снегов!

И Али не преминул откликнуться:

— Глаза подобны черным миндалинам!
Прелестны соблазны сатаны.

Когда засияет солнце,
Звезды меркнут и гухнут!

— И тебе, братец Мирза, пора бы знать это.

— Молчи, — возмутился Мирза. Он с трудом мог говорить, ибо копыта его лошади вдруг начали скользить и казалось, вот-вот под ногами развернется пропасть.

— Это плохое предзнаменование — упасть в бездну, — издевательски заметила Наргис. — И разве вы не чувствуете, что из меня выйдет плохая мусульманская жена... Да и вообще у вас ничего не получится. Я не желаю и не буду!.. Разве можно покориться мусульманским обычаям? Лучше нож в сердце. Когда в семье бьют в наказание девочку, она не смеет даже кричать. Она должна говорить: «Благодарю!» Видите ли, те части тела, к которым прикасается палка или кулак мужа, не будут гореть в аду! Утешение, не правда ли?

— Так сказано в священном писании!

— А я... я бы убила того, кто поднимет на меня руку!..

— Уф! — вздохнул с величайшим облегчением Мирза. Наконец он справился со своим конем и выехал на широкую тропинку. — О ты, аллах, господь высоты и низины! Не знаю, что ты. Все что есть — ты...

Бледность, покрывшая было лицо Наргис, сменилась нежным румянцем — она невольно испугалась, потому что в азарте спора Мирза неосторожно правил конем, а опасность на этой горной тропе подстерегала всадника на каждом шагу. Минуту назад желавшая смерти ему, она испугалась.

— Мы, несчастные, горемычные жены, — сказала она громко.

Наш ад и рай всегда в нас самих,
Зачем же искать вне себя?..

Если бы кто-нибудь ехал рядом с Али, он услышал бы странные слова: — «Страсть не знает стыда! Кто знает, к кому придет удача? Но вот и средство добиться удачи — перо, калям или...»

А Наргис между тем думала... о Мирзе. Его жизнь, несмотря на видимость деятельности, пуста и бездумна! Он обрек себя на безмерный холод одиночества. И что

спорить с этим человеком? Он не видит, что она его презирает. Но

Дай гневу правому созреть!

Пусть думает что хочет. Разве он может понять истинные ее чувства и намерения?

Она едет через высочайшие в мире хребты Гиндукуша, испытывает лишения пути. Она вынуждена кривить душой, притворяться, хотя с детства воспитана в духе правды, прятать истинные чувства под маской лицемерия. И все ради одного — ради возмездия.

Ты помнишь первую любовь
И зори, зори, зори!

Наргис вспоминает строки любимого поэта:

Мне пусто,
мне постыло жить.
Я не свершила того...

и сама добавляет: того, что должна была свершить...

Еще не свершила, но свершит. Не слезая с коня, Наргис с тревогой смотрит с перевала на город Кабул, цель ее путешествия. Что ждет там, в этом, сказочно прекрасном издалека, городе?

Мирза же и в Кала-и-Фату мнил себя великим политическим деятелем. Он всерьез с важностью носил дарованное Сеидом Алимханом высокое звание низам-уль-мульк, что можно примерно перевести — Устроитель Государства. Но какое государство он мог устраивать, когда эмир его вот уже несколько лет, как бежал из Бухары.

Низам-уль-мульк Мирза редко появлялся в Кала-и-Фату. Там давно уж верховодили придворные из эмигрантского — самого реакционного мусульманства, которые и близко не подпускали Мирзу к решению важных вопросов. Ему даже присвоили прозвище—Змеинная Голова. А другие чуть ли не в открытую говорили про него: «Джадид с глазами змеи», и вслух сожалели, что он не попал в резню, учиненную эмиром в предреволюционные годы в Бухаре, когда под нож попадали все «вольнодумцы».

В каждый свой приезд в Кала-и-Фату Мирза ставил

себя в крайне затруднительное положение. Приходилось чуть ли не с азов заниматься «воспитанием» их высочества Сеида Алимхана, склонять на свою сторону всякими посулами, обещаниями. И Мирза чувствовал себя очень неуютно в стенах Кала-и-Фату. И только то, что каждый раз он появлялся перед эмиром с кошельком, набитым золотом, позволяло ему удержать местечко близ трона.

Эмир близоруко разглядывал Мирзу и, страдальчески щуря большие глаза, посмеивался:

«Вы юный старикашка, дорогой низам-уль-мульк, я знаю, вы начнете ворчать. Не надо. Времена такие. Поговорите лучше с нашими бухарцами».

Но и здесь Мирзе, откровенно говоря, было нечего делать. Заправила Бухарского центра откровенно ненавидели джадидов и не доверяли Мирзе, считая его джадидом.

А этих буржуазных либералов по заданию центра сейчас беспощадно уничтожали, наряду с советскими активистами.

«Придет час, — думал Мирза, — когда нам доведется воздвигнуть дворцы демократии на месте исполкомов и большевистских совдепов. А этих ваших советников мы носом в грязь... в грязь и навоз!»

Но время было не то. Эмир благосклонно принимал от Мирзы золотые дары, выслушивал советы и столь же благосклонно отпускал своего низам-уль-мулька в его мазаришерифское имение. Там, на покое, Мирза занимался финансовыми операциями, то есть попросту ростовщичеством.

Для ростовщика деньги,
Что кровь для мухи.

Лела его процветали, но самолюбие и честолюбие не давали ему покоя.

— Лукавые еще будут говорить, как потребно.

Наргис только теперь увидела, что политик Мирза все же прежде всего торгаш.

В свое время Сахиб Джелиал открыл глаза на Мирзу.

— Своей черствой лепешкой Мерген воспитывал в своем сыне Мирзе здравый ум, а он, попав в семью этого святоши муфтия, растратил его на плов баев. Настоящий джадид. А джадид — вероломная собака — стучит по полу хвостом, а сама грызет двери вечности...

Но и он кое в чем ошибался: Мирза был прямолинеен в одном — в жестокости.

Теперь же Мирзу терзали противоречивые мысли: с одной стороны, он сожалел, что привез Наргис к этому городу, что встреча ее с эмиром неминуема. А, с другой, считал, что Наргис должна мстить эмиру.

«Рука Наргис — рука смерти. Пусты!» — думал Мирза.

Сам он ненавидел эмира Сеида Алимхана глухой ненавистью. И за многое. Он никогда и никому не признавался в этом. Ни словом, ни намеком. Служил эмиру верой и правдой и... ненавидел, даже презирал его. Слабохарактерный эмир мешал «великим замыслам» тех сил, которые возглавлял Мирза. Эмира давно надо было отстранить от дел Бухарского центра. Убрать. Сам сделать этого Мирза не мог. Не был способен.

И вот появляется Наргис. У нее есть все основания ненавидеть эмира и... возникает мысль убрать эмира рукой мстительницы.

Мирза в тайниках души рассуждал: «Женщина бросит факел жизни Сеида Алимхана в реку забвения. Я спасу женщину. Женщина будет вдовой халифа и, забрав ее в жены, приму благодать и звание халифа. Я всемогущ и возьму в свои руки вожжи правления Бухарским центром. Друзья англичане помогут деньгами и оружием больше, чем покойному эмиру».

Он вздрогнул. И весь долго дрожал, не в состоянии умерить волнение.

Мирза стоял на перевале. Позади бурные напряженные годы. О, он сделал немало. Теперь богат и силен. Но зачем ему богатства без власти? Мысленно Мирза смотрит с перевала на мир, лежащий у его ног. Он, Мирза, у порога власти. От него самого зависит или воспарить в небеса честолюбия или... скромненько поползти с перевала вниз, в тень от утесов, в толпу ничтожных. Нет, Мирза мечтает о власти и славе. У него сердце ноет от честолюбия. И сейчас здесь, на перевале в долину Пяндж Шир, он мог думать только о том, что все зависит от Наргис. Казалось бы, Мирза все решил: он отвозит Наргис в Кала-и-Фату. Она смиренно просит развод, и он, Мирза, с торжеством привозит ее в свое имение близ Мазар-и-Шерифа, где по истечении шестимесячного, установленного исламом срока, состоится бракосочетание.

Настойчиво, с дикой решимостью в глазах Мирза уже

много раз мысленно объяснял свои намерения. И он ничуть не скрывал, что честолюбие играет едва ли не самую важную роль во всех его планах.

И вот они уже на перевале, и долина «Пять тигров» лежит у их ног. Осталось спуститься с перевала — и они на пороге Кала-и-Фату.

IX

Что видел — не истина,
Что слышал — не истина,
Что обдумал — истина.

Ибн Хазм

Придворные летописцы и свидетели — благочестивые мюриды — сильно расходятся в своих рассказах о дне и обстоятельствах приезда супруги бывшего эмира Бухарского в Кала-и-Фату и о той встрече, которую оказал ей супруг.

В одних показаниях утверждается, что Наргис-бегим — из узбекского бегим ее успели переименовать из-за близости индийской границы в «бегум» — прямо прибыла во дворец беглого владыки. В других — Наргис-бегум проживала первое время в доме недавно поселившегося в Кабуле некоего весьма известного на Востоке коммерсанта и политического деятеля Сахиба Джеляла. Почему, зачем? Тут все очень путалось. Но в одном все сходилось — по очень достоверным данным — Сахиб Джелял был родным отцом бегум, а кому как не отцу оказать гостеприимство и прибежище в чужой стране дочери.

Но все осталось под покровом тайны. Известную ясность может внести письмо (запись в тетрадке в бархатном переплете, принадлежавшая поэту и летописцу Али), которую мы приводим целиком:

«Преклоняемся, почтительно целуем подол шелкового халата господина знатности и богатства Сахиба Джеляла, который собственноручно соизволил встретить в Чирикаре несравненную Наргис-бегим и отечески обнять ее.

Так Наргис покинула наш караван и приказала господину Мирзе и нам, ничтожному рабу ее, ждать приказаний, а сама отбыла в дом своего почтенного отца Сахиба Джеляла, — да произносится имя его с уважением!

С почтительным уважением мы узнали, что бегум была принята при дворе ее величества королевы Афганистана и ей было пожаловано звание первой придворной дамы.

О хитрость женщины! И чем красивее женщина, тем запутаннее хитросплетения золотой паутины. И Наргис-бегум еще сказала, что сама королева знает обо всем, а раз известно королеве, значит, знает о том и ее муж — король.

Нам довелось побеседовать с Мирзой и с Сахибом Джелиалом. Господин сказал Мирзе, что чаще всего замыслы с коварством только выявляют и проясняют тщету человеческих намерений и желаний и что он уедет в Тибет в поисках камня мудрости».

В сопровождении отряда белуджей Сахиба Джелиала, вместе с Мирзой и Али Наргис направилась к резиденции бывшего эмира.

Наконец-то молодая женщина получила возможность добиться цели. Она в Кала-и-Фату. Здесь нашел прибежище свергнутый с трона эмир Бухарского ханства. Здесь он вот уже несколько лет ведет частный образ жизни, занятый своим гаремом и операциями по продаже каракуля.

Да, эмир частное лицо, но... кто не знает, что Кала-и-Фату — гнездо интриг и заговоров, диверсий и террора. И, говорят, все нити Бухарского центра в руках эмира...

Ради того, чтобы суметь отомстить, Наргис простила Мирзе его домогательства. Во всяком случае пусть так думает.

Он ведет двойную игру. Она примирилась с ним, дала понять, что категорически не отвергает его противозаконного сватовства, то есть оставила ему какие-то надежды.

Когда кортеж приблизился к воротам Кала-и-Фату, его встретила эмирская стража.

— Милость с вами, бегум, — приветствовал Наргис начальник стражи... И каково же было удивление Наргис, когда она узнала в начальнике стражи Баба-Калана.

Но молодая женщина была слишком опытна и учена, чтобы хоть чем-нибудь проявить свое недоумение.

Острый ум, собранность в самые рискованные моменты жизни позволили ей молниеносно сообразить, что она не может выказать свое удивление, тем более, заговорить с Баба-Каланом.

Она выпрямила свой усталый стан, улыбнулась ровно на столько, сколько полагалось при встрече с посланцем своего супруга-халифа и процедила сквозь перламутровые свои зубки:

— Вам — милосты!

И изящно кинула прямо в ладонь Баба-Калану золотую монету достоинством в один николаевский имперал.

Блеск золота сгладил все шероховатости встречи супруги их высочества с начальником охраны дворца.

Х

Глаза — глядите!
Уши — слушайте!
Рот — молчите!

Закир Кабадиани

Знанию нет конца.

Ду Фу

По указанию из Москвы доктор Иван Петрович срочно вылетел на самолете советского Аэрофлота в столицу Афганистана — Кабул—в распоряжение советского посольства. Его сопровождал медицинский персонал, среди которого оказался, по настоянию доктора, и Алаярбек Даниарбек...

Еще доктор приводил себя в порядок после полета через Гиндукуш и завтракал, когда Алаярбек, опоздавший к завтраку, поспешил с новостями.

— Мы присланы сюда лечить глаза их светлости эмира Бухарского Сеида Алимхана.

— Любезнейший Алаярбек Даниарбек, мы и без того это знаем, но откуда такие сведения?

Иван Петрович знал, что его, опытного офтальмолога, прислали в Кабул для того, чтобы он полечил глаза самому эмиру.

— Разве эмир здесь, в самом Кабуле? — спросил Иван Петрович. — Впрочем, припоминаю... Он здесь околачивается в эмиграции.

— Околачивается, проклятый... С тех пор, как крысой убежал сюда.

— А где именно?

— Во дворце Кала-и-Фату.

— Слышал, слышал. В Кала-и-Фату жил царский посол Российской империи. Говорят, очень красивое место... Чем же изволит болеть их бывшее высочество? Что же это вы? Садитесь... Вы еще не завтракали.

— Извиняемся. Не могу. Не полагается садиться с вами за стол.

— Здравствуйте, дорогой, это что еще за новости?

По-моему, не было случая, чтобы вы отказывались от того, чтобы перекусить.

— Извините, доктор, не могу... Я ваш слуга, а слуге в чужом государстве не подается сидеть с господином за одним дастарханом. Я принижу ваше достоинство. Разрешите обслужить вас.

— Ну и выдумщик... Мы советские люди, а у нас нет ни господ, ни слуг...

— Нет, не могу. Извините.

Тут он отчаянно скосил глаза на дверь и, наклонившись к самому уху доктора, быстро зашептал:

— Я видел его... О, пророк Али! О, Хусан! О, Хасан!

Доктор насторожился и отставил тарелку. Алаярбек Даниарбек тайно исповедовал шиитский толк ислама, скрывая это от всех и поминая пророка шиитов Алия только в исключительных случаях.

— О ком вы говорите? Кого вы встретили здесь в посольстве?

— Нет, не в посольстве. На базаре.

Оказывается, Алаярбек Даниарбек не усидел на месте и чуть свет, вопреки запрету, успел пробежаться по базару города Кабула, где и встретил...

Красноречивую паузу резко прервал доктор:

— Кого?

— Баба-Калана!

— Что-о?

— Клянусь Алием, это был он. Но еще клянусь, я его не видел, и он со мной не говорил: его нет ни в Кабуле, ни в Кала-и-Фату... Это тайна...

— Что может делать Баба-Калан в Кабуле, а тем более в Кала-и-Фату у эмира? Да там ему давно бы горло перерезали, если на то пошло... Ведь его многие знают.

— В том-то и тайна... Знают его, а горло у него целое.

— Чтобы наш Баба-Калан, сын славного Мергена, командир...

Глаза Алаярбека совсем пропали в щелочках век. Вся его физиономия олицетворяла хитрость. Говорил он свистящим шепотом, который, вероятно, был слышен и за воротами посольства.

— Баба-Калан теперь не Баба-Калан, а начальник охраны... личной охраны при эмире. Но, клянусь, он не предатель...

— Час от часу не легче.

— Баба-Калан — хитрец. Он обманул всех. Эмир рад. Советский командир прибежал к нему, и он назначил советского командира своим миршабом — «эмиром ночи».

— Туманно. Не совсем понятно, но... и что же, Баба-Калан сказал, что я должен лечить эмира?

— Да. Сегодня вас повезут к эмиру. Очень болят у него глаза, очень испуган эмир... Темная вода в его глазах. Сколько врачей, восточных и западных, со всего света, съехались лечить глаза их светлости, будь он проклят. Но никто не может ему помочь. В прошлом году их высочество изволили ездить в Индию, и в Америку, и во Францию... И ничего не получилось. Тьма в глазах господина эмира все гуще и гуще, а лекарства не помогают. Слепнет эмир. Ужасается он, плачет. Требуется новых врачей и мудрецов. Пуд золота обещает тому, кто исцелит его, вернет ему свет.

Придвинув тарелку, доктор молча ел.

Ивана Петровича не очень прельщала мысль встретиться с эмиром, с которым судьба столкнула его много лет назад, когда эмир наградил его за помощь пострадавшим во время Каратагского землетрясения. Доктор тогда резко отказался от этой награды, не считая возможным принять бухарскую звезду из рук тирана, оставившего на произвол судьбы несчастных жителей погибшего города.

Своим отказом от награды доктор, как он отлично понимал, нанес смертельное оскорбление правителю Бухарского ханства. Правда, доктор не видел оснований бояться мести или гнева эмира, просто ему было неприятно встретиться с ним. Но ничего не поделаешь: он специально направлен сюда, кроме того не в принципах доктора было отказывать в помощи кому бы то ни было. Он медик, а медик должен лечить всех — и друзей, и врагов.

— Лечить так лечить... — сказал он вслух... — А вы напрасно не садитесь со мной. Здесь повар преотличный.

— Нет, нет... А вот еще одна тайна...

— Вы, Алаярбек Даниарбек, настоящий хурджун, набитый тайнами.

— Очень важная... тайна.

— Что же это еще за тайна?

Доктор одной рукой чистил зубы изящной зубочист-

кой с позолоченной резной ручкой, а другой высвободился от белоснежной заткнутой за воротник крахмальной салфетки и поднял глаза на Алаярбека Даниарбека. По тем «коварным» гримасам, в которых корчились черты его лица, можно было подумать, что тайна какая-то особенная. И Иван Петрович приготовился выслушать ее с благодушной готовностью, так как он был настроен очень заинтересованно ко всему, что его ожидало в Кабуле.

Оказывается, его дочь Наргис, нежная девочка Наргис, пропавшая, или, как все думали, увезенная басмачами Ибрагимбека за рубеж, храбрая, смелая разведчица Красной Армии, находится в Кала-и-Фату в гареме Сеида Алимхана.

Наргис — пленница Бухарского центра!

Больше того, советское посольство знает о том, что Наргис находится во дворце эмира Кала-и-Фату, но ничего не может сделать для ее спасения.

Баба-Калан все знал и рассказал все подробности. Советское посольство ничего не может сделать потому, что Наргис официально жена бывшего Бухарского эмира, и правительство Афганистана не считает возможным и нужным поднимать вопрос о Наргис, так как эмир живет уже ряд лет в Афганистане почетным гостем правительства. Эмир — халиф мусульман, а Афганистан исламское государство, оказывающее приют и покровительство исламским государям, оказавшимся в изгнании.

XI

О, ворон разлуки, горе тебе!
Скажи мне, что знаешь про нее!
Ты ведь всезнающ!
А если ты не скажешь,

то взлетишь
Со сломанным крылом
И будешь кружить над врагами,
Среди которых твоя любимая...

Кайс ибн Зарех

И высекло огниво тоски огонь страсти
меж моими ребрами.

Ибн Хазм

— Черная ночь — черные дела, — сдавленным голосом бормотал Али; — умоляю, не медлите! Они придут!

Он появился внезапно на озаренной бледным светом

луны тропинке сада Кала-и-Фату и бросился к Наргис так внезапно, что она не на шутку испугалась.

— О, поэт мой! Вы здесь? Уходите! Скорее. Если вас застанут... Как вы попали сюда, в гаремный сад?

— Я... пришел, Наргис, вырвать вас отсюда! Умоляю — бежим! Там, за оградой, ждут кони. Привратник куплен. Стража считает мой червонец. Все ослепли!

— Нет... С чего вы взяли, что мне нужна ваша помощь? Зачем вы проводили меня сюда?

— Клянусь себя за это!

— Уходите! И не вмешивайтесь в мои дела.

Наргис была резка. В ее планы не входило принимать услуги непрошеного спасителя. И потом она опасалась, что ежеминутно кто-нибудь из гаремных служителей может появиться на дорожке парка.

Но влюбленный поэт преградил путь молодой женщине и, воздев руки, декламировал.

Там насилие! Там жестокости!
Бежим, о несравненная из этого ада!
Плачущие турчанки
в золотых поясах на бедрах
Готовы на все
перед блистательными
горами золота.

— Уходите, Али! Вы толкаете меня на верную гибель, а еще смеете говорить, что любите меня. Вы же знаете, что я, слабая женщина, явилась сюда, чтобы освободить себя, расторгнуть ненавистный брак. Я буду плакать! Нет! Я не плачу. Я никогда не плачу с тех пор, как я... увидела голову любимого.

— Вы не плачете, несравненная, но на глазах ваших жемчужины слез.

— Слезы не вернут ушедшего.

— Позвольте же мне, вашему рабу, утереть кристаллы ваших драгоценных слез. Бежим!

— Оставьте меня. Вы накидываете мне на шею шелковый шнурок удавки. Тише! Темная ночь. Кто-то ходит там, по стене.

— Решайтесь, Наргис! Пусть провалится в преисподнюю и эмир, и презренный Мирза!

— Уходите!

Она бросилась бежать и мгновенно исчезла в тени деревьев.

Али стоял посреди дорожки. Потом он побрел через цветник к стене, где, сидя верхом на ней, его ждали слуги. Они потянули его на стену, а он громко, чуть не во весь голос, восклицал в отчаянии:

Поднимись, несчастный!
Налей в золотую чашу
Веселящей влаги,
Прежде чем чаша черепа
превратится в совок
для сора!

Оказавшись по ту сторону стены, он не сел на коня, а побежал по пыльной дороге, ломая руки и подвывая.

— Она погибнет! О аллах всеильный! Ни любовь, ни золото ей не нужны! Сколь бы женщина ни была учена и прекрасна, если у нее нет в голове и крупницы разума, — она бедствие для влюбленного и для всех людей.

Али бежал, не обращая внимания ни на камни, ни на рытвины. И свое отчаяние он выразил в вопле:

— Я насыплю гору золота. И куплю ее! Устрою засаду. Я исполню любое ее желание. Наточу кинжал для... эмира, для того, чтобы лезвие его достигло его гнусного сердца. Она, я знаю, ненавидит и эмира, и Мирзу... Я теперь понял, зачем она здесь! Приехала мстить. И моя рука поможет ей! Нельзя допустить, чтобы она сама взяла в руки кинжал.

Али уже не бежал. Шаги его делались все медленнее по мере того, как он разгадывал намерения Наргис.

Али вдруг остановился и ударил себя по тюрбану так, что тот свалился на землю. Пока слуги поднимали тюрбан, он говорил:

— Да, теперь я знаю, знаю! Божественная не может забыть зла! Зло смывается только кровью. О благородная Наргис! О, какой я дурак! Как я не понимал этого...

Схватив за плечо подвернувшегося слугу, Али крикнул:

— Лошадей! Быстро!

Он вскочил в седло и маленькая кавалькада, поднимая облака серебрившейся в свете луны пыли, помчалась по дороге обратно в сторону Кала-и-Фату.

ХII

Точно птица Семург,
что попала в сеть,
Всю ночь она вырывалась,
а крыло запуталось.

Кайс ибн Зарих

Только слабые приходят в отчаяние
оттого, что на свете существуют негодяи.
Зачем терять самообладание? Надо по-
кончить с негодяями.

Закир Кабадиани

Сеид Алимхан соблаговолил принять Наргис только после долгих раздумий и колебаний. Он советовался со своим духовником, несколько вечеров беседовал с законооведами. Специально навестил Бош-хатын, свою первую жену, чтобы испросить совета у нее.

— Как так?.. Он не помнит... э... доставила ли ему эта, желающая развода, дозволенные утехи... э... женщина... Ну, одно ясно... Утверждают, что она не родила. Как же так? Все женщины, которых он удостаивал вниманием, рожали. Тут что-то не так... Может быть, она не удостоилась нашей милости... Тогда какие могут быть разговоры об «уч талаке»?.. Сначала надо воспользоваться правами супруга...

Бош-хатын, умная и властная женщина, держала весь калаифатуский гарем в крепких руках, сама подбирала новеньких жен и наложниц для своего супруга. По ее совету, а вернее указанию — Сеид Алимхан послал за Наргис.

— Вы посмотрите на нее... — скрипучим голосом тянет Бош-хатын.—Этой вашей жене, господин, уже немало лет и от красоты цветка мало что остается осенью.

Привели Наргис. При появлении Наргис она вскидывает глаза и невольно багровеет. О, нет, отнюдь не из ревности.

Со своими яркими, нежнейшего рисунка губками, нежным румянцем щек, ослепительной улыбкой, огромными, мрачно горящими глазами — надо сказать, как ни пытается Наргис притвориться тихой, покорной, скрыть полностью вопль души она не в состоянии — молодая женщина неотразима. И к счастью, она ничуть не походит на мстительную пери или на богиню возмездия.

Наргис очаровательна своей женственностью, и Бош-хатын ужасно досадует, что предварительно не взглянула на эту, аллах ведает, откуда взявшуюся из прошлого бывшую жену.

Бош-хатын не ревнует. Она не боится, что эмир прельстится красотой и прелестью этой жены. Пусть забавляется.

Сама Бош-хатын уже давно потеряла женскую привлекательность, поблекла, раздалась вширь. Не в телесной красоте дело. Бош-хатын прежде всего проверяет новеньких на ум и сообразительность. Она подбирает для гарема дур и наивных девчонок. Она строго следит, чтобы все эти красавицы были глупы как индюшки.

А в лице Наргис, в ее взгляде она мгновенно прочитала мысль. И переполошилась. Нет, она, Бош-хатын, первая жена и... визирь эмира и никому своего места не уступит.

Не вставая, она уперлась в колени бренчащими от золотых браслетов округлыми руками и все также скрипуче протянула:

— Красива! Прекрасна! Но на что она тебе, господин?! Ей почти столько же лет, сколько и мне!

Все советовали эмиру дать развод этой женщине — «трижды развод». Первый советник только сегодня сказал: «Прогони!» А вот теперь и Бош-хатын.

Эмир очень считался с Бош-хатын. Да и как не считаться, когда в минуту слабости и страха перед событиями эмир переписал все свои миллионные угнанные из Туркестана стада каракульских овец и почти все финансы, хранившиеся в заграничных банках, на имя этой толстухи, обладавшей какой-то неестественной душевной властью и чуть ли не мистическим влиянием на Сеида Алимхана.

Кряхтя и сопя, Бош-хатын поднялась с помощью двух сидевших позади нее темноликих дравидок и направилась к выходу, тяжело ступая босыми, отеками ногами по гранатовому, текинскому ковру.

Судорожно подняв голову — и тут только Наргис впервые увидела его обрюзгшее, словно посыпанное мукой лицо, — эмир прошепелявил:

— Не уходите, госпожа Бош-хатын... Я боюсь ее глаз.

— И бойся! Зачем вдруг она приехала? Чего ей надо! Ну а если хочется, приласкай ее, она еще свежа. Кто ее знает, сколько мужчин забавлялись с твоей женой? Жалким псам нравятся объедки...

Бош-хатын сунула ступни ног в туфли из золоченой кожи и, громко фыркнув, скрылась за бархатной портьерой.

Они остались наедине. В небольшой мехмонхане было душно от аромата восточных курений и духов... Эмир и сейчас, восседая на подушках и одеялах, курил из резного лахорского кальяна. Его толстые желтоватые щеки ритмично надувались и спадали бессильными мешочками, отчего топорщилась его черная крашеная борода, серпом окаймлявшая белую маску лица.

Жалкий вид был у этого, еще недавнего властелина многомиллионного государства — бухарского эмирата. Тот, кого увидела Наргис, вселял не ненависть, а совсем неподходящую презрительную жалость. Маленький, с выпирающим животиком, с обрюзгшим личиком, на мучнистом фоне которого болезненными ранами краснели глазные впадины, с черными, лихорадочно мерцавшими зрачками глаз. А пальцы беспомощно щелкали громадными кокосовыми зернами мекканских четок, отсчитывая секунды, мгновения, минуты. В кальяне что-то хлюпало, дым со свистом вырывался из мундштука, который сосали синевато-желтые губы эмира. А глаза его лихорадочно ощупывали лицо, руки, всю стройную фигуру Наргис, все еще стоявшую на краю гранатового ковра.

«Сейчас на гранатовых цветах растечется багровое пятно... И его не сразу увидят. И вот сейчас... мгновение мести».

Возмездие!

Сладко твое мгновение!

Наргис часто думала об этом мгновении. Нет, у нее не дрогнет рука, думала она раньше. Лишь бы ей не помешали, когда она окажется с глазу на глаз с тираном. Вот он сидит, опираясь дрожащим локтем на вышитую подушку. Один взмах руки и... пресечены всякие заговоры, обезглавлен Бухарский центр интриг...

Наконец-то! Столько времени мучений, странствий по пустыням и перевалам, столько трудностей!.. И она тут, в двух шагах. Протяни руку — никто не помешает.

Но что это? Наргис не понимает. Чтобы нанести удар, необходим гнев, яростный гнев... Вспышка! Молния!

А ярости нет. Да и может ли вызвать ярость прикосновение к слизняку?

Не понимая, что с ней творится, Наргис не двигалась с места.

И все же она, наконец, решилась.

— Господин эмир, читайте молитву, — сказала она и сама удивилась, почему она так спокойна. Ни на мгновение голос её не дрогнул. А пальцы уже сжимали рукоятку небольшого кинжала. Но она не помнила, не понимала даже, когда она выхватила его из изукрашенных бирюзой ножен.

Сам эмир ничуть не испугался. Он просто не верил тому, что говорила эта прекрасная, похожая на гуриюрая, женщина. Еще меньше он ждал, что она может поднять на него руку с ножом.

Ведь всю жизнь женщины боялись его и... любили... и ласкали.

— Что ты сказала, красавица? — пробормотал он.

— Я сказала то, что сказала. Вот этот нож прервет твою гнусную жизнь, тиран!

И она решительно ступила на ковер к возвышению, на котором возлежал эмир.

Это побледневшее лицо, глаза, полные дикого огня, кинжал в руке... Эмир странно взвизгнул, скатился с возвышения и пополз в сторону.

— Не тронь! Не тронь! — бормотал он. — Меня нельзя!

Отвращение, презрение остановило Наргис. И тут в мехмонхану двумя прыжками ворвался Али. Он схватил Наргис за руку, вырывая осторожно, боясь причинить боль, рукоятку кинжала и бормоча:

— Не надо, несравненная! Я сам! Сейчас!..

Он наконец вырвал оружие из руки Наргис и наклонился над эмиром, барахтавшимся на спине и выставившим перед собой скрюченные ноги и руки, к тому же он пронзительно верещал, катаясь по ковру. Сейчас, даже если бы она и держала в руке кинжал, она не смогла бы ударить.

Она повернулась и пошла. У двери ей навстречу попался Мирза. Нижняя челюсть у него отвисла. Он с трудом проговорил:

— Ты убила его?

— Мразь не убивают — мразь давят, — сумела говорить Наргис и выбежала из мехмонханы. На нее с воем накинудись какие-то женщины и поволокли по длинному коридору.

В открытую дверь она еще видела, как Мирза под-

нимал под мышки эмира с гранатового ковра и как вместе с Али они усаживали его на возвышении.

И вдогонку, пока Наргис тащили по коридору, не прекращался истерический визг:

— Не смейте казнить ее!.. Я такую хочу! Дикую... кобылицу!

ХIII

Истинный друг —
прямодушный, искренний,
знающий.

Друг не настоящий —
лицемер, подхалим, болтун.
Конфуций

О, мир!
Зачем ты не жалуешь
своих детей?
То мать ты им,
то мачеха.

Ар Рази

Истинный смысл всей сцены в мехмонхане эмира Наргис поняла позже, когда, якобы для допроса, по велению эмира явился в глинобитную мазанку, куда ее заперли, советник Мирза.

Мазанка была со щелявыми стенами и шаткой деревянной дверью, пыльным паласом и глиняным хумом для воды. У дверей мазанки-тюрьмы сидела на глиняном возвышении старуха «ясуман». Похожая на ведьму, она своим трескуче-пронзительным голосом отгоняла от мазанки любого, даже самого смелого человека.

Маленький дворик, где находилась тюремная мазанка, имел только один вход-выход — низенькую калитку, где стоял страж с винтовкой, весь увешанный амуницией. Он обычно лежал на земле, загораживая подход к калитке. Чтобы открыть ее, надо было попросту ступить на стража. Что чуть и не сделал Мирза, когда шел в мазанку с поручением эмира.

С горящими от ненависти глазами в сумраке чулана стояла Наргис — вот теперь она без колебаний пустила бы в ход кинжал. Мирза говорил сбивчиво, туманно.

По его словам получалось, что он обуреваем самыми возвышенными чувствами преданности и любви. Он невнятно повторял, что он пришел к ней с единственным намерением спасти ее. Что он не видит света в мире без света ее глаз. И далее он очень пространно,

поворачивая факты так, чтобы создать видимость его любви и преданности, разглагольствовал перед Наргис. Особый упор он делал на то, что спасал ее в Матчинском бекстве, и в Нуреке оказался, чтобы помочь ей. Неужели Наргис не поняла, что тогда он, Мирза, нарочно попал в Нурек и только для того, чтобы оказаться на месте, когда понадобилась его помощь... И вообще все эти годы он всегда принаравливался к Наргис.

— Ты лицемер! Уходи... — сказала Наргис тихо. Все, что произошло, не сломало ее. Тюремщики не связали руки Наргис, но тут же, у порога, валялись кандалы. Ненависть к Мирзе достигла такого накала, что она готова была убить его.

И вдруг Наргис почувствовала огромное облегчение. Нечаянно коснувшись ладонью корсажа, она нащупала длинную пластинку, вшитую вместе с китовым усом в материю корсажа. О, оказывается, она не безоружна!

Стилет! Настоящий стилет, который хранился в ящике письменного стола доктора вместе с некоторыми другими реликвиями. Да, именно Иван Петрович однажды вынул это тончайшее, гнущейся дамасской стали оружие и отдал ей, когда она собиралась в один из своих опасных военных походов:

— Девушке, со столь несвойственной ее полу и натуре профессией разведчика, никогда не мешает иметь при себе то, чем она может защитить себя и свою честь.

Доктор был тогда мрачен и взволнован, он даже прибег к носовому платку, хотя до того Наргис никогда не видела на его глазах ни слезинки. Доктор очень любил свою приемную дочь и всегда возмущался, что ее, девчонку, всерьез держат в разведке Красной Армии. Просто Иван Петрович отдавал себе отчет, насколько опасна работа в разведке...

Но стилет был. И пальцы нащупали его. И потому Наргис, уже не протестуя и не перебивая, выслушала стоявшего на пороге Мирзу.

Говорил он чуть слышным шепотом:

— Эта старая ведьма глуха как пень... Слушай! Сегодня тебя отведут к нему... Будь он проклят! Он заставит тебя... быть покорной. Ты его жена. Подчинись. Завтра он даст тебе развод, но будь покорной. Иначе он прикажет казнить тебя.

— Уйди!

Рука тронула корсаж. Увы, стилет был тщательно

защит и замаскирован. Мирза словно понял этот жест и шагнул за порог.

Упав на пыльный палас, Наргис повернулась к черной, закопченной до блеска стенке и лихорадочно начала распарывать швы, высвобождая тонкую, гибкую сталь.

— Хи-хи-хи!

Наргис стремительно повернула голову к двери. Старуха, щеря остатки желтых в зеленых пятнах наса зубов, сидела на пороге и хихикала.

— Ты красивенькая, правильная девушка. Ножиком его! Ножиком! Давно пора! Сколько он девушек погубил, испортил... И ни одна не постояла за себя, за нас, женщин... Иди к нему!.. И когда он полезет к твоему телу, ты возьми его за его поганую бороду, потяни вверх и ... ножичком... За всех... за мою дочку... за всех дочек...

Она уже хохотала за захлопнутой с треском дверкой. Каркающие звуки неслись в темноту каморки, и холодные мурашки забегали по спине Наргис.

Молодая женщина подползла к порогу и в шель громким шепотом попросила:

— Выпусти меня, бабушка. Прошу! Выпусти! Скорее!

— Э, нет... А кто будет ангелом мести?

— Ангелом? За что?

— Мою беленькую... мою нежную... этот тиран, этот пожиратель детей, убил... уморил... И ее в крови принесли мне... О, возмездие!

— Но, что я могу?

— Тебя отведут к убийце детей. Ты сильная, здоровая! Одно движение руки... и — радость мести!

— Пусти меня, бабушка!

— Вот когда ты заставишь его захлебнуться кровью, его кровью, тогда я отпущу тебя. Иди в светлый мир, мстительница!..

— Бабушка! Умоляю!

— Молчи! Тише! Кровь за кровь, глаз за глаз... э...

Я слышу шаги.

Шепот затих. Где-то действительно шаркали чьи-то шаги. Далеко, далеко лаяли собаки и ухал филин. Понимался голос:

«Эй там, у ворот! Не спать!»

Подобравшись к самой двери, Наргис ногтями до боли царапала шершавые доски и шептала.

Бесполезно. Старуха больше не откликнулась.

Наргис осталась одна наедине с мыслями о смерти и ужасе завтрашнего дня. Стилет свой, длиной с четверть, спрятала в складки одежды так, чтобы он был под рукой.

Старуха, очевидно, ушла. Наргис больше не слышала ее ворчания. Ночь тянулась бесконечно. Спать молодая женщина не могла. Едва она закрывала глаза — ее окружали чудовища из кошмаров. Кагарбек дышал ей в лицо и тянул липкие пальцы к ее груди, муфтий шамкал что-то беззубым ртом, а бледный Мирза поджимал свои губы... Матчинский бек снова и снова рубил головы баранам, и струи крови подкатывались к горлу... И вдруг среди звериных образов неправдоподобно-малиновое лицо, лицо страдающего поэта и летописца Али.

«И ты здесь, — пробормотала она, когда среди этих видений показался реальный Али. Она плохо понимала, что вполголоса бормотал поэт, но все сводилось к тому, что он сыпал где-то и перед кем-то золотые ашрафи, что он умоляет ее потерпеть часок, и что он придет за ней и уведет ее в кущи рая к светлым прозрачным водам источника «зем-зем». И Наргис подумала, как не вовремя он со своими «раями». «А ведь в источнике «зем-зем», говорят, тухлая вода».

Наргис не ждала, что Али появится здесь, хотя и можно было предположить, что он попытается ее освободить, ведь сумел же он проникнуть в гаремный сад, подкупив всех стражников.

Наргис очень хотела вырваться из эмирского заключения, понимала весь ужас своего положения, но она не желала, чтобы ее освобождал Али: просто по-женски не хотела быть обязанной ему. Наргис понимала, что воздыхатели вздыхают, вздыхают, а потом начнут требовать воздаяния на вздохи.

XIV

Все, что хочешь, проси у него.
Ибо, кроме него, никто не развяжет
узел бедствий.
Гиясэддин Али

В советской колонии в Кабуле знали, что Наргис в Кала-и-Фату.

— Но мы ничего не можем сделать, — говорил Са-

хиб Джелял доктору Ивану Петровичу, когда тот приехал к нему с визитом. — Официально она одна из жен бывшего эмира. Эмир нашел политическое убежище в Афганистане — мусульманской стране с очень жесткими мусульманскими законами. Блюстители шариата свирепеют, едва вопрос коснется женщин, а тем более гаремных дел таких персон, как халиф правоверных, а сие звание Сеид Алимхан успел присвоить себе, как только был низвергнут с халифского трона турецкий султан и Кемаль-паша провозгласил отделение церкви от государства. Именно тогда Сеид Алимхан сумел подобрать на сорной свалке халифский тюрбан, и представьте, никто не пытался отбирать у него эту реликвию. Итак, эмир имеет теперь священное звание, а это уже кое-что для беглого властелина, для придания ему авторитета во всем исламском мире, среди темных, малограмотных масс. Можете себе представить, какой «шурум-бурум» на дипломатическом уровне поднимется, если официально попытаться убедить афганские власти потребовать из эмирского гарема, из этой тайной святыни, одну из жен халифа. Это недопустимо!

— Вызволять Наргис надо тайно, — решил Сахиб Джелял. — И этим делом лучше всего заняться вам, доктор. Вы имеете доступ в Кала-и-Фату. Ежедневно общаетесь с эмиром.

Именно потому, что, отбросив всякую дипломатию, доктор пошел в разговоре с эмиром напрямую, он успел там, где оказалась беспомощной дипломатия.

Доктор без всяких церемоний поставил перед эмиром вопрос: Наргис получает немедленно «рухсат», и лишь тогда доктор приступает к лечению.

Доктор действовал так твердо и решительно, что уже в тот же день получил возможность разговаривать с приемной дочерью в той землянке, которая служила тюрьмой.

Но она успела рассказать Ивану Петровичу обо всем и в частности о поведении Мирзы и Али, об их роли. Именно это помогло доктору, а особенно Алаярбеку Даниарбеку при посредстве Баба-Калана, начальника личной охраны эмира, разработать хитроумный план освобождения Наргис.

Но этому плану грозил провал: свою роль сыграли низменные страсти. На второй аудиенции эмир вдруг объявил доктору:

— Соизволили мы объявить трижды развод... нашей супруге... по имени Наргис.

Обрадованный доктор поинтересовался, когда Наргис может покинуть Кала-и-Фату.

— Дали мы... развод той женщине, она ваша дочь и, по нашему решению, вы, отец, сами увезете ее, когда...

— Позвольте увезти сейчас же.

— Позвольте нам конфиденциально (он со смаком произнес это трудное слово)... У нас, правоверных, женщина... разведенная не имеет права получить развод, пока не пройдет девять месяцев. Понимаете почему... а вдруг у нее в чреве... Значит... дитя.

— Но, ваше высочество, мы с вами наедине, нас никто не слушает. Вы европейски образованный человек и отлично понимаете — все эти формальности — шариатская чепуха... И, наконец, дочь моя не собирается выходить замуж.

Эмир благодушно и лукаво улыбнулся.

— Кто знает мысли женщины, а особенно такой коварной красавицы...

— Но, уверяю вас...

— Что знает отец о мыслях дочери... И потом, глупоуважаемый хаким, вам нечего торопиться... Вы же будете лечить наши глаза... А в Европе ференги говорили, лечение займет много времени. Вы же не можете оставить лечение нашей ужасной болезни на полпути... Лечите, а там видно будет. Наступит в нашей беде облегчение, и мы найдем... узенькую щелочку в наших строгих и мудрых законах... о браке и разводе.

И Сеид Алимхан, спокойный, выдержанный, был преклонен.

— Но... но я видел... девочка в ужасных условиях. Бесчеловечно с вашей стороны так обращаться с ней.

Эмир вдруг важно напыжился, лицо его налилось кровью, что было у него первым признаком приближения приступа ярости. Задыхаясь, он выдавил из себя:

— Злодейка!.. Несчастная!.. э-э-э... пробралась в наше обиталище с ножом... э-э-э... Если бы не бдительность наших, не осторожность нашего начальника охраны Баба-Калана... Он остановил руку преступницы...

После неудачного покушения на жизнь эмира сбжавшиеся придворные потащили Наргис в тюремную кибитку. Кинжал послужил страшной неотвратимой

улыкой, и только то, что «преступницу» первым схватил сам Баба-Калан и получил от эмира право расправиться с ней, спасло Наргис.

Было важно предотвратить расправу именно в самый горячий момент. Это Баба-Калан успел запрятать Наргис в домашнюю дворцовую тюрьму подальше от разъяренных придворных, которые рвались учинить «ташбуран» злодейке.

А тем временем страсти улеглись. Обезумевший от страха Сеид Алимхан успел поостыть. Красота женщины на него действовала неотвратимо. Уже через полчаса он призвал Баба-Калана и похвалил его, что он не казнил ее сразу.

А там пошло разбирательство и расследование, причем Сеид Алимхан проявил полное безволие и слабость. Он не принимал никаких решений, колебался и даже дошел до мысли, которой поделился с Баба-Каланом: «Поговори с ней. Если она согласна разделить со мной ложе. Ведь она законная жена, я прошу ее». Только яростный отказ Наргис оттянул вынесение приговора.

Сейчас в разговоре с Иваном Петровичем Сеид Алимхан хитрил и лицемерил. Под конец он заявил:

— Объявляю... милость ей и прощение.

— Наконец-то... — с облегчением вздохнул доктор.

Поистине вы мудрец.

Доктор было обрадовался. Но преждевременно.

— Нашу разведенную супругу мы прощаем и даруем ей милость. Эй, Баба-Калан, прикажите освободить госпожу Наргис из заключения. Пусть отведут ее в наш гарем и поселят в комнате с коврами и да ухаживают за ней, как и подобает ухаживать за первой женой эмира и дочерью знаменитого на Востоке и Западе мудрого, дарующего свет хакима Ивана-дохтура. Я сказал!

И, льстиво улыбнувшись, он обратился со страхом и надеждой:

— Господин доктор, скажите, а вам приходилось излечивать подобную болезнь? И много ли времени надо, чтобы исцелиться? И не причиняют ли ваши лекарства нестерпимую боль? — и совсем как капризный ребенок: — Не делайте мне больно, доктор. Прошу вас.

ХV

Они мертвы, хоть и живы,
Они живут, но в сущности
мертвы.

ар Рази

Вор воров остается.

Узбекская пословица

Несмотря на все еще мучившие его сомнения, Иван Петрович ликовал: ему удалось отвести опасность от Наргис, выиграть время. Он вполне резонно тревожился за будущее. Характер болезни эмира для него был ясен. Состояние его глаз тяжелое, с каждым днем можно ждать ухудшения. Болезнь крайне запущена. Результаты лечения весьма гипотетичны. И не так уж много времени пройдет, когда эмир поймет это. А тогда...

И тем не менее доктор радовался: мало ли что произойдет. Он был уверен, что выход найдется. Надо было найти выход.

Но хорошее настроение доктора едва ли продержалось бы и секунду, если бы он присутствовал при разговоре эмира со своим верным стражем и телохранителем Баба-Каланом.

— Мы дали недостойной «рухсат».

— Да, господин.

— Мы дали недостойной тройной развод.

— Да, господин.

— Однако недостойная прекрасна.

— Да, господин.

— И в сердце нашем болезненное ощущение... А если недостойная посмеется над нами, своим супругом, повелителем, и бросится в объятия какого-нибудь проклятого...

— О, господин!

— Веление времени... таково: советский доктор... лучший, говорят, в мире, возвращающий зрение... ох... неповторимое искусство излечит нам глаза... Ты обрадуешься?

— О, как возрадуюсь, господин! Мое сердце возрадуется, и печенка возрадуется, и душа возрадуется, господин.

— В награду я обязался отпустить злодейку с кинжалом... Ох, останется она безнаказанной... проклятая.

— Вы обещали, господин!

— Что делать?.. э-э-э? Нельзя так!.. Нет, окажем ей

милость... заплатит она нам... Красота ее тела — наше достояние.

— Но, господин, она получила трижды развод от вас.

— Э... ты, кажется, возражаешь.

— О, господин!

— То-то ж... разводка на ложе еще слаще... Знай, так и будет... Придет время нашего выздоровления — доктор получит свою разводку.

— О, господин!

С ужасом и отвращением взирал Баба-Калан на эту жалкую, судорожно вертящуюся на шелковой подстилке фигурку толстячка с черной, тщательно крашеной бородкой. Эмир развеселился и хихикал от души.

— Э, мы не пойдем к ней... Когда зрение вернется к нам... о! — тогда мы насладимся мезтью.

Сеид Алимхан вдруг вскинул больные, гноящиеся глаза на Баба-Калана.

— Ты молчишь?

— Я не смею молчать, господин!

— Но ты молчишь!.. Почему молчишь?

Эмир вскочил с подстилки, вцепился в отвороты камзола Баба-Калана, пытаясь сотрясти его громадное тело. И если бы он лучше видел, если бы мог заглянуть прямо в глаза (а заглянуть ему было невозможно, потому что голова его достигла только уровня груди великана), то умер бы от страха.

Что помешало великану «раздавить букашку»? Прямодушный, честный Баба-Калан боготворил названую свою сестру Наргис и делался слепым от ярости при малейшем намеке на оскорбление ее.

Какое-то мгновение смерть заглянула в душу Сеида Алимхана. Откуда это шло? Непонятно. То ли грудь Баба-Калана под руками эмира напряглась и стала каменной, то ли хоть частица ненавистного взгляда великана была перехвачена эмиром, то ли в тоне его последней реплики зазвучала страшная угроза...

Бессильно выпустив отвороты камзола, эмир упал на шелковую подстилку. Он задышался...

— Да, господин!

Слова успокоили эмира.

Да, они звучали покорно, холопски. Баба-Калан нашел в себе силу воли и выдержку. Разве он не понимал, что Сеид Алимхан полон подозрительных чувств и мнительности? И было бы чудовищно глупо разбудить их в нем окончательно.

Баба-Калану удалось забрать Наргис из дворцовой тюрьмы и спрятать ее. О бегстве Наргис судачили во всех уголках дворца Кала-и-Фату.

Говорили, что эмира чуть ли не хватил удар при этом известии. Говорили, что он успел приказать:

— Какой позор! Молчать.. Искать тайно!.. Что скажут обо мне, халифе? За нос провела какая-то разводка. Найти!.. Придушить... шелковый шнурок...

Баба-Калан сказался больным и не появлялся в эмирских покоях.

У Баба-Калана в женских покоях находились только две молоденьких дравидки, которые были преданны Баба-Калану и которые умели не говорить лишнего.

Наргис спросила у Баба-Калана:

— О, братец, ты обзавелся здесь не только милостями эмира, но и парочкой одалисок. Никогда бы не подумала! И что бы сказала Савринисо, узнав о них. Ладно, ладно, но ты запрети им выходить отсюда. Кто поручится, что они нас не выдадут.

Баба-Калан оправдывался:

— Если бы я не принял от эмира этих... их... мне перестали бы верить, а...

— Ладно, ладно... А теперь что же мы будем делать?

Наргис тем временем выбрала — надо сказать, что помещение начальника охраны дворца Баба-Калана представляло по существу небольшой арсенал — изящный браунинг и «дамский» маузер и проверила затворы и заряды. Наргис была напряжена и деловита. Щеки у нее горели румянцем, глаза были полны решимости. Вот теперь-то она полностью оправдывала свое прозвище Кырккыз, которым ее наделили друзья и враги.

— Что делать? — повторила она вопрос.

Баба-Калан сел на тахте. В это время пришел Иван Петрович.

— Не мое дело, как ты попал на службу к господину эмиру, но ты здесь во дворце свой человек и... давай действуй, да попроворней, — говорил доктор. — Скоро рассвет, и господин эмир потребует, чтобы я явился... лечить глаза их светлости. Я сам придумал, как спасти Наргис. Пойду прикажу, чтобы разбудили шофера. Только тебе, Наргис, надо на голову надеть что-то вроде паранджи... Закрой лицо. А я сейчас вернусь за тобой. Хорошо, что эмир отдал приказ, разрешающий мне ходить повсюду, даже в гарем...

Доктор понимал, что план увезти Наргис в автомобиле, принадлежащем эмиру, — чистейшая авантюра, что план очень рискован, но другого выхода он не видел. Он надеялся, что эмир не посмеет (даже если и заговорит) ему отказать, так как с глазами у его светлости дела обстояли весьма и весьма неблагоприятно.

— Не надо автомобиль, не надо!.. — стал просяще возражать Баба-Калан. — Кони готовы и взнузданы, охрана зарядила карабины. Сахиб Джелял со своими белуджами ждет.

— Так в чем же дело? Чего мы копаемся?

— Мы сами с ветром летели бы по долине Пяти Львов... и за нами не угнался бы и вихрь. Но пока не можем покинуть дворец. — Баба-Калан направился к двери. — Прошу, побудьте здесь... надо посмотреть, что во дворце.

— Быстрее!.. Шевелись!.. Утро уже!

Иван Петрович быстро ходил взад и вперед. Густые черные с проседью брови хмурились, губы под коротко подстриженными усами сжались. Он ласково поглядывал на Наргис, ни одного слова упрека не сорвалось с его уст, хотя он считал поступок молодой женщины безумием.

Не настолько был наивен и глуп эмир, чтобы упустить добычу. Он, все знают, страшно упрям, когда дело касается его вождедений. Нет, он не так уж прост, чтобы отдать Наргис.

Было о чем думать.

А тут... дверь раскрылась и вошел Баба-Калан.

— Всюду бегают!.. Всех подняли на ноги!.. Но пошли. Делать нечего... Проведу вас незаметно к автомобилю. Сахиб Джелял ждет у себя дома.

XVI

Воля человека рассекает горы.

Арабская пословица

Один я с муками своими

сгораю в пламена.

Машраб

В победе зла — падение твое.

В доброте твоей — спасение твое.

Джами

Чуть заметно пляшет язычками пламени костер. Он почти ничего не освещает. Лица сидящих вокруг костра на песке прячутся в душной темноте. Ветерок еле

чувствуется, только по колебанию неверного всплеска огонька в костре можно судить о том, что скоро из тьмы пустыни задует сухой, жаркий «афганец» и примется бросать пригоршнями в лицо острый, точно осколки стекла, песок.

Осветилось всплесками пламени лицо Наргис, сдвинутые брови-луки.

Рядом, в тени, возникло будто из бронзы лицо Сахиба Джеляла. Черные завитки его бороды поблескивают, когда он начинает говорить:

— Разъезд... на той стороне. Скоро разъезд. Уши мои привыкли к пустыне. Разъезд пограничников близко, дочь моя! — он обращается к Наргис, и в голосе его звучат нежность и уважение... — Надо решать!

— Я не могу... Он же брат мой...

— Сама посуди, дочь моя...

Зашевелился сидевший серым кулем Мирза.

— Отпусти меня, сестра. Зачем я вам? Я, посвятивший себя высокой идее мусульманского братства, забыл обо всем ради тебя... Я ходил босой по лезвию смерти... Я ослабел, одряхлел духом. Увы, дворец могущества рухнул.. Бухары нет... Великого Туркестана нет... И зачем я боролся?.. Ради ислама? Ради джадидов? Ради жадных на имущество и золото? И теперь вот он, конец... Я перед тобой лицом в пыль... Зачем я тебе? Меня же на той стороне расстреляют твои красноармейцы... Зачем это тебе? Я жалкий, несчастный... Отпустите меня... И я пойду по тропинке жизни в одиночестве, и, клянусь, я и на мизинец ничего больше не буду делать против вас... против тебя, о Наргис! Я твой брат, ты моя сестра. Пощади!

И только последние слова, вырвавшиеся из его тощей груди, воплем жалкой птицы заставили Наргис поднять глаза... Такому воплю нельзя было не поверить.

— Какой ты мне брат?.. — сказала Наргис. — И как твои губы могут произносить эти слова: «сестра», «брат»!.. И говоришь это ты! Народ нашел свое счастье. Твой народ... А ты, а эмир, советчиком которого ты был и есть... Не понимаешь, что вам возврата нет. У тебя кровь детей на пальцах. Смотри!

Костер горел багровым огнем, и пальцы Мирзы, обычно столь бледные, сейчас казались окровавленными.

Мирза испуганно втянул их в рукава своего белого,

верблюжьей шерсти халата, но и халат казался окровавленным.

Мирза с жаром воскликнул:

— Уповаю на твою доброту! Не стреляй! Ты женщина:

Божья кара постигла меня
За содеянное зло.
Я упорствовал, я не знал,
Что от затягивания петля делается
туже.

Все признаки раскаяния и смирения были на его лице. И лишь близко поставленные глаза горели, точно угли, от отсветов пламени. Мирза вдруг протянул неизвестно откуда взявшийся у него большой ургутский нож.

— Ударь брата! Бей!

Тогда Сахиб Джелал властно отобрал у Мирзы нож.

— Плохие шутки. Этот человек, доченька, уверяет, что есть волки без клыков... Э, не шевелись!.. Умирай спокойно. Тебе давно пришло время. Так будет лучше для тебя. Не тревожься, не волнуйся...

Он зевнул и прислушался.

С реки доносился скрип. Точно весла медленно двигались в уключинах.

— Пойдем, дочка. Сколько ты натерпелась. Разве под силу такой милой, слабенькой девушке вынести столько зла и бедствий? Пойдем. Я провожу тебя до переправы. А о нем не думай. И не тебе решать его судьбу. Судьба сама распорядится с ним.

Мирза лгал... лгал, как всегда и во всем. И ему не верили. И он сам понимал это.

Он встал с земли, стряхнул песок с пол своего дорогого верблюжьего халата и приволокся к костру. Здесь он сел, бессильно опустив голову в своей белой чалме. Он обессилел. Всем своим видом он говорил: «Покаяние на мне. Горе мне. Я в пыли у твоих ног...»

И опять он лгал.

Это он организовал погоню за Наргис. Возглавил отряд эмирских головорезов. И сам после их разгрома был схвачен и приведен к Наргис белуджами Сахиба Джелала. Теперь затравленным зверем он поглядывал на лица сидящих у костра, с ужасом прислушиваясь к звукам, доносившимся с ночных просторов Аму. Скрип

весел в уключинах для него звучал ужасно: «Возмездие! Возмездие идет!»

Чаще всего он вглядывался на сидевшего против него по другую сторону костра Али. «Умоляю! Ты должен помочь!» Но видел сам, что просить бесполезно.

Неужели Мирза мог еще думать, что Али придет ему на помощь? Он плохо знал «свою тень». Али принял самое горячее участие в спасении Наргис. И с того момента, когда молодая женщина была доставлена доктором Иваном Петровичем в эмирском автомобиле в кабульский дом своего отца Сахиба Джеляла, поэт и летописец служил ей верой и правдой.

Сахиб Джелял не мешал ему нести охрану каравана, в котором тайно ехала Наргис, при переходе через перевалы Гиндукуша и позже, когда караван вышел на дороги Балхской провинции.

В целом же караван охранял сам Сахиб со своими телохранителями белуджами, которых он вызвал из провинции Гильменд, как только приехал из СССР и поселился в Кабуле. Старый вождь племени считал, что в условиях разрухи и беспорядков в странах Среднего Востока не лишне почтенному негоцианту и уважаемому человеку во время странствий и путешествий держать на случай встреч с разбойными шайками вроде ибрагимбековских головорезов, приличный вооруженный отряд под главенством верного испытанного воина Катрана.

Именно с бесстрашным Катраном было послано письмо в советскую комендатуру на другой берег, написанное еще Иваном Петровичем в Кабуле (как доктор ни хотел отвезти Наргис сам в советские пределы, сделать это ему было невозможно: приходилось лечить эмира).

И сейчас все сидящие у костра с тревогой и надеждой вслушивались в тихий шелест могучей Амударьи, дышавшей прекрасной сыростью и чем-то еще невыносимо родным. И робкий скрип весел в уключинах звучал в ушах Наргис напевами родных песен.

Наконец-то!

Всю ее била дрожь. Она трепетала от нервного возбуждения.

Страшиться надо вдали,
А вблизи надо действовать.

Это важно сказал Сахиб Джелял, добавив:

— Волею всевышнего пришел конец твоим беспокойствам, мужественная дочь моя. Будь же такой всегда. Счастья тебе в мечтах твоих, в жизни твоей.

Дрогнул его голос, и он отвернулся, вглядываясь в тень, возникшую на чуть поблескивающей спине могучей реки.

— О, увы мне! — как всегда картинно простонал поэт и летописец Али.

Самое плохое —
лучше плохого.

А плохое —
лучше самого плохого.

Увы мне, тысячу раз увы!

— Спасибо вам, Али, — просто сказала Наргис, и в словах ее прозвучало что-то вроде нежности, смешанной с жалостью. — Вы настоящий друг. И я никогда не забуду вашей... вашей доброты.

Но ничего не могло утешить поэта. Он все повторял: «Увы мне, несчастному!» — повторял даже тогда, когда он бережно и нежно поддерживал под локоть девушку на крутом спуске к воде и когда она, его несравненная, ступила ногой на борт пограничной шлюпки...

Свои вздохи он прервал только в тот момент, когда увидел, кто подал руку Наргис, когда она перешагнула через первую скамейку.

— Аллах велик, поверю ли я своим глазам, Баба-Калан!

— Неужели это ты, братец мой Баба-Калан! — воскликнула Наргис. — Каким образом?

— Потом объясню... Короче говоря, пока тебя, Наргис, прятали да через горы перевозили... Ну, словом, нам надоело служить прохвосту эмиру, мы взяли билет на гражданский самолет и в Термез... а тут вот и встречаем тебя... Как я рад!..

— Прощайте, друзья! — прозвучал голос с кормы.— Весла в воду. Нажать.

— Увы мне, увы! — стонал поэт и летописец. Он метался по берегу и стонал еще долго, и даже тогда, когда всплески весел стали чуть слышны и об исчезновении шлюпки можно было судить только по далеким всплескам брызг под веслами гребцов пограничников.

— А Мирза? А господин Мирза? — вдруг очень трезво проговорил Али. — Что делать с этим?..

Сахиб Джелаял уже тяжело шагал вверх по едва видной в темноте тропе. Он задумчиво проговорил:

— Есть дела, которые вправе решать только женщина. Наргис! Ей причинил зло этот злосчастный человек, и только сама Наргис, моя достойная дочь, может решать и повелевать.

— И что же решила ваша достойная дочь? О, сердце мое!

— Наргис, в неизреченной доброте своей сказала: пусть идет и пусть... подумает о зле, которое он причинил людям. О, царь поэтов, великий Рудаки!

Есть темные тени на земле,
но тем ярче свет.
Иные, подобные нетопырям и филинам, —
Лучше видят в темноте,
чем при свете.

Когда они вернулись к костру, Катран уже держал коня Сахиба Джелаяла под уздцы. Мирзы нигде не было видно.

— В путь! — приказал Сахиб Джелаял. — Едемте, дорогой поэт, и знайте:

Наш мир — родник,
бежит, бежит.
Сколько существует —
закон его круговорот.
Что было лекарством,
станет ядом.
Что было ядом,
станет лекарством.
Время старит то, что было новым,
И со временем то,
что было старым,
Становится новым.
Много цветущих замков
рухнули в прах
И цветущими стали пустыни
и развалины.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Часть первая.</i> Ситоре-и-Мохасса	3
<i>Часть вторая.</i> Крах	82
<i>Часть третья.</i> Степные призраки	146
<i>Часть четвертая.</i> Дерзание	213
<i>Часть пятая.</i> В водвороте	283
<i>Часть шестая.</i> Дамасский кинжал	383

Шевердин Михаил Иванович

ВВЕРЯЮ СЕРДЦЕ БУРЯМ

Р о м а н

Рецензенты: член СП СССР **А. Р. БЕНДЕР** и доктор исторических наук
М. Г. ВАХАБОВ

Редактор И. В. Валенская
Художественный редактор А. И. Кива
Технический редактор Т. И. Смирнова
Корректор Т. И. Красильникова

ИБ № 3244

Сдано в набор 15. 07. 87. Подписано в печать 03. 06. 88. Р—16151. Формат 84×108^{1/8}. Бумага типографская № 2. Литературная гарнитура. Высокоточная печать. Усл. печ. л. 23,52+0,31 вкл. Усл. кр.-оттисков 24,04. Уч.-изд. л. 26,01+0,95 вкл. Тираж 60 000. Заказ № 172/131. Цена 2 р. 10 к. Договор № 214—85.

Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 700126
г. Ташкент, ул. Навои, 30.

Набрано и отматрицировано в типографии изд-ва «Таврида», г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.

Типография № 2 Государственного комитета УзССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, Янгйюль, ул. Самаркандская, 44.